

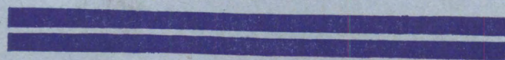
ISSN 0130-7673

НОВОЫИ
МИР

НОВОЫИ
МИР

1983

8



1983



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 8

Август, 1983 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Ст. Золотцев, Михаил Беляев, Борис Слуцкий	3
ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ — Городской пейзаж, повесть	10
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Евгений Евтушенко, Николай Новиков	141
ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО — Река моего детства, рассказ	145
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ВЛ. ЛИДИН — Рассказы. Публикация Е. В. Лидиной	158
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО — Болгарские огороды	176
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Б. М. КЕДРОВ — Запечатленный образ Ленина. Глазами юноши. Окончание	202
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ — Соперница времени	215
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	233
С. Фрейлих. Немеркнущие идеи.	
М. Галлай. Полномочиями совести наделены.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
Д. Самойлов. Картина мира.	
П. Николаев. Вера в художественную истину.	
Ст. Рассадин. Слово — дело.	
Владимир Фирсов. Роман о великих просветителях.	
А. Павловский. Нацеленность поиска.	
<i>Политика и наука</i>	254
В. Макаревский. На Курской дуге.	
И. Кузнецов. Форпост ленинской партии.	
О. Алякринский. В поисках утраченной утопии.	
И. Забелин. Продуктивная сила идей.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	266
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Е. Щеглова. — Василий Лебедев. Посреди России. Повести и рассказы. ✦	
Ю. Пашков. — Н. Злотников. Единственный дом. Книга стихов. Натан Злотников. Наивный охотник. Стихи. Натан Злотников. Стихи. ✦	
Ю. Архипов. — Н. С. Павлова. Типология немецкого романа. ✦	
Марина Кизима. — Роберт Лоуэлл. Избранное. ✦	
Л. Почов. — Николай Александрович Морозов, ученый-энциклопедист. ✦	
Михаил Кривич. — Станислав Старикович. Зверинец у крыльца.	267
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

★

СТ. ЗОЛОТЦЕВ

Твердыня

Когда дрожат
ночные фонари
над волгоградской набережной Волги,
пройди по ней в предчувствии зари,
волнение вод в глаза свои вбери
и в грудь вбери
дыханье дали водной.
Высокий берег в каменной броне
поднялся над рекой, как витязь вольный.
...Разбейтесь, орды,
захлебнитесь, войны,
шагнув наперекор ее волне!

На границе

Над карликовыми березами
полярная зима плывет,
высокими звеня морозами,
дыханье превращая в лед.
До дна промерзли рек излучины.
Дремучие снега легли..
А мной с утра
письмо получено —
листочек
с дерева любви.
За сопками туман качается,
что значит — опадать морозам.
И кто-то обо мне печалится
в краю, где высоки березы.

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ

Новые стихи

Не люблю неподвижных, невидящих лиц,
Как пустынных небес
Без созвездий и птиц!

Как замрут: не ищи! Словно в мрамор уйдут.
Словно каменный мастер
Работает тут.

Как прониклись желаньем таким каменеть?
Замечают ли радость?
Тревожит ли смерть?

Словно время сменило над ними свой бег.
Вьется вечный
Над лицами этими снег.

Где ни глянут они, мир им кажется пуст:
Знойных дел не коснулись —
Остались без чувств.

Натыкаюсь. О каждое ранюсь. И в них
Ничего я не вижу,
Что вижу в живых.

Живость словно цветочная стерлась пыльца,
И осталась лишь только
Основа лица.

* *
* *

Спохватываюсь:
Как ни встану рано,
Все опоздал!
Все кажется — ленив!
Не в поле житном,
А среди бурьяна
Стою, свои желанья смежив.

А пенье птиц?
А взлеты гибких радуг?
А топот подступающих деревьев?
А шествие цветов?
Плодов на грядках?
А гнев жары?
Ветров?
А ливней гнев?

Они вокруг.
Я вызван к жизни ими.
Они во мне,
Они растут со мной.
И остаются шири молодыми,
Пока я сам
Меж ними молодой.

Пока встаю,
Спохватываясь, рано,
Пока люблю
И гневаюсь в любви.
О жизнь!
Как вечно на земле прохладно,
Но от зари
Меня не оторви!

Возникаю из боли

Зацепился рубахой
За вспоротый
Вязовый ствол —
Кто-то здесь с топором,
Забавляясь,
По лесу прошел.

И хрипит на боку
Завалившийся
Клен-звездочет,
И течет сок березы,
Беззвучно
Течет и течет.

Не склонюсь,
Не напьюсь.
Всхлип мальчиший
В поблекших ветвях.
Перед тихой
Доверчивой болью
Смирю свой шаг.

И молчит тишина,
Словно птица
С подбитым крылом,
Так глядит на меня,
Словно тоже пришел
С топором.

И уже в тишине
Затухает
Родник в глубине.
Размахнулся один —
Тишина не поверит
И мне.

Он, кружа над лесами,
Со свистом
Кружит надо мной —
Сверк топорного счастья,
Жжет
Каждою раной сквозной.

Он опять воровски
Между дел,
Меж рассветов ходил,
Срезал пение птицы,
Луч света живой
Подкосил.

Но хватаюсь за воздух,
За тени
Листвы и травы.
На земле не сдержать их —
Как мне
Не сносить головы.

Возникаю из боли
 И каждый сжимаю раскрой.
 Слышу боль глубины.
 Я корнями
 С основой земной.

* * *

Приехал Петр,
 Приехала Мария,
 Демьян вошел в деревню.
 Стар и сед!
 Весной какая гонит в глушь
 стихия?

Какой приснился
 Деревенский свет?

Затопали
 В покинутых проулках,
 Сидят
 На почерневших кирпичач.
 Коровки божьи,

Бабочки на булках.
 Друзья сошлись
 В своих родных местах.

Пришли!
 Они из тех неуловимых,
 Не пожелавших вырастать
 в глуши.

Что их роднит
 В краю густых озимых?
 Речное эхо?
 Обморок души?

Вон как Денис
 Глядит на ветки клена,
 Как будто клена
 В жизни не видал.
 Вон к одуванчикам идет Алена,
 Платок японский
 С плеч ее упал.

Артистка ли,
 А может быть, ткачиха.
 Идет босая
 Молодой травой.
 И слушает гостей
 Деревня тихо,
 Перебирая в памяти
 Род свой.

Росли тут,
 Пчельному созвучны гуду,
 По рыбной ловле,
 Ягодам дружки.
 Куда ни глянут,
 Видится повсюду
 Не разнотравье —
 Детские шажки.

Вон повилика,
 По камням развесясь,
 Свой утвердила непорушный
 час.

И в каждом взоре
 Проступает месяц,
 В глубинах мокрых
 По-ребячьи глаз.

БОРИС СЛУЦКИЙ

Азбука и логика

Сказавший «А»
 сказать не хочет «Б».
 Пришлось.
 И вскоре по его судьбе
 «В», «Г», «Д», «Е»
 стучит скороговорка.
 Арбузная
 «А» оказалась корка!
 Когда он поскользнулся, и упал,
 и встал, он не подумал,
 что пропал.

Он поскользнулся,
 но он отряхнулся,
 упал, но на ноги немедленно встал
 и даже думать вовсе перестал
 об этом.
 Но потом опять споткнулся.
 Какие алфавит забрал права!
 Но разве азбука всегда права?
 Ведь простовата,
 и элементарна,
 и виновата
 в том, что так бездарно
 то логикой, а то самой судьбой
 прикидывается пред честным
 народом.
 Назад! И становись самой собой!
 Вернись в букварь, туда,
 откуда родом!

По честной формуле «свобода
 воли»
 свободен, волен я в своей судьбе
 и самолично раза три и боле,
 «А» сказав, не выговорил «Б».

Рука и душа

Не дрогнула рука!
 Душа перевернулась,
 притом совсем не дрогнула рука,
 ни на мгновенье даже
 не загнулась,
 не задержалась даже
 и слегка.

И глядя
 на решительность ее,
 руки,
 ударившей,

 миры обруша,
 я снова не поверил в бытие
 души.
 Наверно, выдумали душу.

Во всяком случае,
 как ни дрожит
 душа,
 какую там ни терпит
 муку,
 давайте поглядим на руку.
 Она решит!

Лицо в автобусе

Сосредоточенное лицо человека,
 сжатого в автобусной давке
 множеством людей, у которых
 лица
 сосредоточены ничуть
 не меньше.
 Ребра человека тоскуют,
 но лицо человека спокойно.
 Ребрам человека известны
 ребра всех ближайших соседей,
 на автобус шесть тридцать
 не сядут, которые на шесть
 сорок.
 Ребрам человека знакомы
 названия пролетающих станций.
 Из всей мировой культуры
 им интересна только давка.

Ребра человека тоскуют,
 но лицо человека спокойно —
 сосредоточенное на вечности,
 а также на семье и работе,
 иногда на мировой культуре,
 иногда — на попытках разгадки
 причин отставания
 автотранспорта.
 Автобус — тоже школа
 мужества,
 школа выдержки, школа
 вежливости —
 пригородный. Шесть тридцать.
 Впрочем, так же, как шесть
 сорок.
 Впрочем, так же, как все
 автобусы
 в утреннее и вечернее время.

* * *

Хороша ли плохая память?
Иногда — хороша.
Отдыхает душа.
В ней — просторно. Ее захлупить
никому не удалось,
и она, отрешась от опеки,
поворачивается, как лось,
загорающий на солнцепеке.

Гулоч лес. Ветрами продут.
Березняк вокруг подрастает.
А за ней сюда не придут,
не застанут ее, не заставят.
Ни души вокруг души,
только листья лепечут свойски,
а дела души — хороши,
потому что их нету вовсе.



ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ

★

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Повесть

Вороненок выпал из гнезда, стукнулся о землю, встревоженные родители ринулись к нему, и начался переполох в птичьем мире. Вороненок, подволакивая крыло, смело вышагивал по московскому дворику под сенью раскидистого майского тополя и вел себя так, будто первый неудавшийся его полет — это лишь маленькая неприятность, о которой он уже успел забыть...

Чувствую себя нетерпеливым вороненком, покинувшим гнездо и затерявшимся в лабиринте московских улиц, на каждом перекрестке которых ожидали меня когда-то опасности. Я только теперь догадываюсь об этом, вспоминая с улыбкой свои смертельно опасные прыжки с подножек старых трамваев, мчавшихся по рельсам давно перестроенной Шаболовки. Слышу звон кондукторских колокольчиков, раздававшийся сначала в прицепном вагоне, а затем в моторном; вижу женщин в форменных одеждах трамвайщиков с большими дерматиновыми сумками, похожими на ягдташ, и рулонами билетов, без которых мы обходились, уцепившись за поручень открытых дверей с низкими подножками. Грудью ощущаю напор встречного ветра, раскачивающийся из стороны в сторону грохочущий вагон, скорость которого возрастала как раз посередине перегона между остановками, и сердцем чувствую этот миг, когда в прыжке, оторвавшись от деревянного поручня, я касался напружиненными ногами булыжной мостовой и в стремительной пробежке как бы укрощал несущуюся подо мною твердыню улицы моего детства, сбегая с мостовой на тротуар и поджидая там своих братьев и товарищей, которые кто раньше, кто позже меня спрыгивали с подножек удивительных этих трамваев с протянутыми из вагона в вагон веревками... За эти веревки и дергали кондукторы, когда видели, что пассажиры сошли на остановке и вошли новые... Вот тогда-то и звонили колокольчики, дающие знать водителю, что можно трогаться в путь... В путь, который продолжался для нас и зимой, когда мы в бесшабашной своей храбрости цеплялись крючьями из железных прутьев за подножки или за буфер заднего вагона и, высекая коньками, накрученными на валенки, искры из обледенелых булыжников, неслись в счастливом угаре, не зная и даже не догадываясь о том, что играем со смертельной опасностью.

Мы играли запоем в футбол, переплывали Москву-реку, попадая на тот берег, в Лужники, которые тогда были застроены серыми деревянными складами и как бы не существовали для нас, а были просто другим берегом реки, через которую перекинулся ажурный стальной мост окружной железной дороги...

Самым приятным для нас теперь было подплыть как можно ближе к речному трамвайчику, как назывались тогда пассажирские катера, и, чуть ли не коснувшись руками его крутого белого борта, пока-

чаться на оливковых волнах родной реки. Завидев вдалеке тихоходный трамвайчик, спешили на саженках наперерез ему, подплывая чуть ли не под нос его, режущий воду с жутковатым равнодушием не замечающего нас чудовища...

Всех нас отлучила от дома война. Мы возвращались в свой дом с неохотой, не замечая в нем вещей, помня лишь, что мать обязательно накормит чем-нибудь, поворчит немного, радуясь тайком, что мы вернулись из города, с его улиц живыми и невредимыми, и успокоится, видя, как сон тяжелит нам с братом веки.

В сорок третьем мы всем классом работали в летние каникулы на доке, то есть на деревообрабатывающем комбинате, делая ящики для артиллерийских снарядов. Я любил сколачивать крышки, и у меня это неплохо получалось. Потом перешел на сверлильный станок и стал делать отверстия в железных скобах, которыми крепились эти крышки к ящикам. Видимо, эти ящики предназначались для снарядов противотанковых пушек. Мне и теперь иногда кажется, что день Победы был по праву и моим днем. Мне тогда еще не исполнилось пятнадцати лет, но я не помню в своей жизни дня, который был бы радостнее того великого дня мая, словно именно с него началась моя сознательная жизнь, до тех пор проходившая в ожидании этого величайшего праздника Победы. Я понял тогда, что и я тоже победил! С той поры и вселилась в меня спокойная уверенность в том, что я в этой жизни победитель, что Москва — это мой город, а ее улицы — мои дороги!

Иногда мне чудится, что я родился в сорок пятом году в ночь с восьмого на девятое мая, когда ликовала бессонная Москва, празднуя свое возрождение.

Много раз в истории торжествовал мой город, празднуя победу над врагами! И как же не быть счастливым, если и я тоже, на кратком миге ее великой истории, был участником самого высокого празднества, какое знала когда-либо белокаменная. Удивляюсь, откуда взялись слова такие высокие, как они написались вдруг пером, когда моя любовь к тебе гораздо проще и задумчивее звучит в моем сердце.

Птичьим перезвоном наполнен воздух, будто заморские рыбки в прозрачных аквариумах радугой своих расцветок издают этот звон среди застывших водорослей.

Бывший Конный, на котором можно было в сороковых годах купить лошадь или корову, а ныне Птичий рынок, с которого давным-давно убрали изгрызенные лошадьми коновязи, — не это ли дань твоих жителей тебе, не признание ли это в любви? Толпы людей стекаются к Таганке, и все маршрутные такси, перевозящие в будни тысячи пассажиров, собираются в субботние и воскресные дни на Таганской площади, чтобы возить и возить москвичей с утра до вечера на знаменитый рынок.

Его нельзя сравнить ни с одним рынком мира. Детская наивная любовь к меньшим нашим братьям побеждает корысть или страсть к наживе. Нежность сердец, бьющихся здесь учащенно, витает над голубиными рядами, над многоцветьем аквариумных рыбок, воздух звучит этой нежностью, когда ты слышишь пение канареек...

Благословенный твой уголок, Москва! Он так же нежен, как нежна бывает застывшая капля краски на чугунной решетке какого-нибудь дворика, который вдруг выгянет из-за ажурного кованого или литого орнамента старинной ограды. Окаменевшей слезой покажется эта капля сурика, кольнет сердце грустная радость, будто ты узнал в этой застывшей капле свое недавнее детство, вспомнил разорванные на коленях брюки, а дворик, мимо которого ты прошел, так и будет жить в твоём сознании, пока ты сам живешь на земле: к Солянке ли ты шел от Таганки, легко спускаясь под горку, к Яузе, к Устьинскому мосту, или где-нибудь в другом месте увидел ты каплю

краски на ограде, эту застывшую слезу твоей тайной радости, которую никто, кроме тебя, не заметил, быть может, никогда...

Москва жива не сама по себе, не своими гигантами домами со скоростными лифтами и мусоропроводами или старинными особняками с лепными фасадами — она жива в сердцах людей. Дело людей приглядываться к своему городу и славить его. Пусть поэты слагают песни о нем. А наш зоркий глаз увидит в преломлении какого-нибудь кривого или горбатого переулка, тесно застроенного домами, истинную поэзию линий, красок и той особенной московской тишины, какая бывает порой милее сердцу горожанина, чем тишина душистого соснового бора. Неужели улыбка не осветит ваш разум при виде заревого неба над Москвой-рекой, когда огни окон, вознесшихся над тихой водой, сияют как сквозные отверстия в темных уже стенах домов, будто сквозь дома просвечивает оранжевый закат? Или когда вечерние или утренние сизые облака плывут над древним Кремлем?

Не об этих ли неспетых песнях говорили наши предки, когда собиравшись «в Москву за песнями»?

Москва! Жизни не хватит, чтоб разглядеть тебя, полюбоваться твоим простором и милой теснотой твоих переулков. Да и времени мало у москвича на эти занятия: спешит на работу или с работы домой, а там, глядишь, уже пятница, тянет за город. Кто на машинах, кто на электричках за грибами или за ягодами, купаться или просто побродить по лесу, кто в свои садики, а кто на реку рыбу ловить. Или зимой на лыжах...

Иностранный гость и тот порой больше увидит и узнает о Москве, чем коренной ее житель. Да и то надо сказать, что жители бывают в Москве очень разные... Об этих разных я и хочу рассказать в своей повести, поделившись с тобой, добрый мой читатель, своими раздумьями...

Я, может быть, потому и вспомнил в начале этого предисловия о вороненке, выпавшем прежде времени из гнезда, что сам себя чувствую этим вороненком, не научившимся летать. Ибо взялся я за рассказ очень сложный и далеко не однозначный. Люди, о которых я хочу рассказать, я надеюсь, будут тобою поняты, может быть, ты сам мог бы лучше меня рассказать о таких же примерно людях и вывод сделать более отчетливый и решительный, чем это делаю я... Но я и тем уже буду счастлив, если рассказом своим разбужу в тебе желание задуматься над жизнью этих людей, разобратся в том, что хорошего есть в каждом из них и что плохого. Литература ведь так и делается — сообща... Вот я и утешаюсь надеждой, что мы сообща придем к естественному, а потому и самому верному решению той задачи, непосильной для меня одного, какую я пытаюсь разрешить в своей повести. Сообща сумеем ответить на вопрос, что же это за люди, о которых я рассказываю и которые живут рядом с нами. Если же мне удалось изобразить этих людей так, что они будут понятны, то большего я и ожидать не могу: значит, не зря я так много времени потратил на то, чтобы написать эту повесть.

И прежде чем перейти к рассказу об этих людях, я бы хотел еще немного отвлечься, и уж коль скоро я вспомнил о Птичьем дынке, то вспомнить заодно и о своем хорошем знакомом, в прошлом заядлом любителе певчих птиц, державшем когда-то канареек.

Негромкий, сильный его голос, навсегда потерянный после операции на гортани, звучит в моем сердце залихватой песней весенней птицы, встречающей рассвет, и слышу я каждое слово немудреных его рассказов о жизни, то недоуменно печальных, то задиристо веселых и насмешливых, которые он обычно начинает так:

«Встал, помылся, забинтовался и пошел...»

И всегда-то эти рассказы начинаются с утреннего часа, будто все в жизни начинается утром и, как положено, кончается поздним вечером, хотя и приходится ему с некоторых пор, чтобы быть предельно

точным, вставляя в свой зачин слово «забинтовался», потому что шея его повязана теперь марлевым бинтом, из-под которого виднеется белесовато-гладкий рубец шрама...

— Самое красивое,— говорит он мудрым своим полусшепотом, полусипом,— это когда птица начинает с кузнеца, а потом — синичный отбой. Шесть колен радости! — Глаза его сияют хитровой радостью обманувшего смерть человека, щеки плавают в улыбке.— Нет! — продолжает он, отмахнувшись рукой, как от назойливой мухи, от песен нынешних птиц.— Теперь птица стала не та. Даже на конкурсах допускается два брака. Что ж это такое? Разве так можно? О песне много можно говорить, да разве все скажешь... Дудка, например, или дудочный напев, это как органная музыка, например. А то есть птица с овсяночным напевом... С овсяночным нежнее, ласковее песня. Дудка звучит хорошо, но мне по сердцу больше овсяночный напев... Что такое кузнец-то? А это когда птица издалека начинает, чуть слышно, как кузничек, и все сильнее, все ближе... А когда уж задохнется, то тут отбой дает синичей... Эх! — хлопает он в азарте ладонью об ладонь.— Это у меня была птица! Я четыреста рублей отдал за песенку. И больше бы дал, последнюю рубашку снял, а птицу бы ту купил...

Смотрю я на этого человека, слышу его рассказ о песенке, за которую он отдал столько денег, хотя и не богат он вовсе, а простой слесарь, и знаю, что никогда не переведутся на Руси люди, высоко ценящие настоящую песню... Будь то песня птицы или песня человеческой души, радеющей за доброе дело.

И думая так, с трепетом и страхом начинаю свой рассказ.

1. Братская любовь

В растянувшейся оранжевой авоське лежали три бумажных пакета картофеля, а сверху пучился парниковой зеленью ранний лук, себрясь льдисто-белыми головками.

Пахло распустившимся тополем и бензиновым перегаром, было сухо, солнечно и тепло. Песчанистая пыль, сметенная в холмики вдоль брусчатки тротуара, дождалась уборочной машины. Разноцветные автомобили, сияя улыбками крыш, стекол, бамперов и пассажиров, бесшумно пронеслись в общем шуме майского дня...

А он злился на всех людей и особенно на тех троих, которые прошли мимо, не обратив на него, Федора Лунышина, ни малейшего внимания, как если бы его вообще не было на свете, и, переливаясь эмалевыми бликами черных пиджаков, пахнущих новой кожей, затерялись в субботней толпе.

«Собаки! — подумал он в расслабляющем озлоблении.— Чтоб вам ни дна, ни покрывки. Дебилы несчастные».

Дома он с отвращением, на какое только был способен, рассказал жене об этих троих прохожих, видя опять их у себя перед глазами.

...Трое в кожаных пиджаках, в синих, как подснежные фиалки, джинсах, в ботинках на каблуках. Занятые самими собою, они о чем-то вкрадчиво говорили, внимательно слушая друг друга, что-то обсуждали вполголоса, словно предстояло им совершить дельце, о котором никто, кроме них, не имел права знать. Лица их маслились приятной озабоченностью, и видно было, как уважают друг друга одинаковые эти люди, как понимают и, может быть, даже любят... Из притуманенных взоров, какими обласкивают они друг друга, течет таинственная змеиная сила, и чувствуют они себя в отличие от прочих людей, которые как бы голенькими спешат мимо них, одетыми в латы средневековых рыцарей.

Он шел злой на весь белый свет, и ему, у которого рука затекла от тяжести, казалось, что люди сошли с ума, штампуя себя на автоматическом станке времени...

— Я думаю, знаешь,— говорил он,— есть люди, которые заводят огромных собак. А почему? Потому что они не уверены в себе. Собака как оружие устрашения. Так и эти — кожа, парусина, прочные куртки. А иначе им страшно жить. Понимаешь меня?

...Рассказал жене, но она не поняла его и, облизывая ложку с сахарившимся вареньем, мстительно, как ему почудилось, усмехнулась, сказав, что он просто им позавидовал.

— К тому же,— добавила она,— ты их совсем не знаешь. Может быть, очень хорошие люди, а ты их с грязью смешал. Как же можно по одежке судить? — И спросила между прочим, зачем он так много купил картошки.

— Я? Ты это серьезно? Подумай, что ты сейчас сказала.

В ответ она засмеялась, не понимая его опять.

— Ты про что?! Ну разве это плохо? — спросила она, не подозревая о страданиях мужа. — Что я сказала? Если бы у тебя был кожаный пиджак и джинсы и эти... как ты говоришь, куртки... Разве плохо? Что ты на меня так смотришь? Разве плохо? Ничего не вижу плохого. И не ври, не ври, не поверю! А зачем ты купил столько лука? Мы его не съедим, и он завянет. Перевод денег.

Он внимательно посмотрел на нее, вглядываясь в злобную, как ему показалось, веселость холодных глаз, и, чувствуя, что кровь отхлынула от головы и лицо его бледнеет, сказал с перехваченным дыханием, сдерживаясь из последних сил:

— Я тебя больше не люблю.

На что жена отозвалась смехом.

Со временем забылась кожано-джинсовая черная меланхолия, примелькались из козьей кожи пиджаки и пальто, улеглось после очередного отпуска раздражение, но неожиданно для него самого признание в нелюбви засело в мозгу и стало чем-то вроде оправдательного документа, который он как бы носил все время в кармане на всякий случай. Или чем-то вроде потаенной пещерки, в глубине которой он прятался, как дикарь, от житейских неурядиц и тоже как бы носил в своем сознании, предчувствуя, что она ему когда-нибудь пригодится.

Если теперь они ссорились, он в минуту наивысшей опасности нервного срыва вдруг вспоминал, что не любит жену, сразу же успокаивался и глохнул, не слыша больше ее голоса и докучливых упреков.

«Я ведь ее не люблю,— думал он с удивлением и тревожной радостью.— Нет, не люблю, и только! И она это знает, я ей сказал. Кричит, а мне не больно. Раньше я тоже ругался, доказывал что-то, тратил нервы на чепуху, срывался на грубость, а теперь мне абсолютно все равно. Неужели и в самом деле не люблю? — спрашивал он себя и с удовольствием отвечал: — Нет, не люблю, черт побери! Красивая? А я все равно не люблю. Кричит, а мне не больно».

Жена была похожа на хорошо тренированную пловчиху с красивой головой и с прозрачно-водянистыми, по-заячьи широко раскинувшимися настороженными глазами. Ей было двадцать четыре года. На нее заглядывались мужчины, но он знал, что она верна ему. У нее были всегда холодные, будто только что из ледяной воды, длинные и плоские пальцы с большими ногтями, заканчивавшимися аккуратно подточенными, чистыми белыми коготками, никогда не знавшими лака.

Он был тоже недурен собою, не придавая, впрочем, значения внешним своим данным. Но был неряшлив и с детства не любил мыться, купаться, ходить в баню, хотя ему и нравились пасмурные дни и он никогда не прятался от дождя, получая удовольствие под его каплями.

— Что? — спрашивал он иногда, откликаясь на пристальный взгляд жены.

Ему порой казалось, что она, бессмысленно вперясь в него взглядом неморгающих пугливых глаз, ощупывает ему голову прохладными пальцами.

— Что тебе?

— Нет, ничего, — отвечала она, очнувшись от задумчивости, и лицо ее с полусонной утренней улыбкой распускалось перед ним, как лилия на воде. — Ничего, — повторяла она с тихой радостью. — Я не на тебя смотрела. Я просто так.

У них, наверное, могли бы быть красивые дети, но за три года супружества детей они не нажили, точно оба предчувствовали, что так им будет проще расстаться.

Над ними постоянно довлела странная сила, которая была все время где-то поблизости, угрожая им обоим, и они как бы все время слышали эту угрозу; как цветы и птицы чувствуют приближение грозы или холодного ненастья, так и они ощущали приближение чего-то непонятного, заставляющего их в отрешенной задумчивости вглядываться друг в друга. Но ни он, ни она, носившая прохладно-водянистое имя Марина, не придавали ей, этой силе, того значения, какое она имела в их судьбе, хотя и знали, что обречены на непоправимое несчастье.

Этой силой был старший Федин брат — Борис Луняшин.

Братья Луняшины так нежно любили друг друга, что не могли и дня прожить, не поговорив хотя бы по телефону. Они рассказывали друг другу, как прожили день, что у них хорошего случилось и что плохого, выслушивая обоюдные излияния с таким трогательным вниманием и участием, как это иногда делают добросовестные врачи, спрашивая больного и пытаясь понять общую картину жизни страдающего человека.

Старший выспрашивал младшего и давал советы, как ему поступать в том или ином случае, а младший внимательно слушал и всегда соглашался. В отличие от него старший, то есть Борис Луняшин, в советах младшего не нуждался. Из любви к брату тот тоже что-то советовал, успокаивал, если у старшего были какие-либо неприятности, утешая его в таких случаях и болея за него душой. Борис же слушал Федю со снисходительным вниманием, словно бы любуясь волнением младшего брата, искренней преданностью Феденьки, чувствуя при этом потребность обнять его и расцеловать.

— Все хорошо, Феденька, все хорошо. Не принимай близко к сердцу, — прерывал он его хриловатым своим, как после холодного пива, глухим баритончиком. — Это все, знаешь... жизнь, братишка! Ты мне лучше о себе расскажи, как ты себя сегодня чувствуешь. Здоров ли? Сейчас какой-то грипп по Москве ходит, ты уж поостерегись. Слышишь, что я тебе говорю? У нас четверо на больничном... Я-то? Пока ничего. Держусь. Это тебе так кажется. Какой насморк! Никакого у меня насморка! Ты же знаешь — лак. Вот и заложило нос. Аллергия. Конечно... Пуша у меня тоже вся в слезах от запаха. Спасибо, Феденька! Да уж как-нибудь перетерпим. Ну где мы у тебя разместимся, чудак ты человек? Спасибо, братишка. Ты мне лучше вот что скажи: когда в гости к нам соберешься? У меня в холодильнике знаешь что есть? Ха! Нет, не угадал. Приезжай, угощу. Когда? А ты уже сколько? Ты уже почти две недели у нас не бывал... Вон Пуша подсказывает — больше. Поклон тебе от нее. Я понимаю — полы! Но сейчас-то? Проветрились. Вот слушай, что я тебе скажу: в эту пятницу, в девятнадцать ноль-ноль прямо с работы ко мне. Алло! Ты меня понял? Жду тебя, Федя. Я соскучился. Ну и хорошо, что и ты тоже, я не сомневался. С Мариной или один, как хочешь, но чтобы обязательно был. Целую тебя, целую и обнимаю, Феденька. Не забывай про нас. А мы с Пушей только о тебе и думаем...

Младший Луняшин вешал трубку, и улыбка долго еще теплилась на его лице.

И так это было каждый день. Изо дня в день братья разговаривали друг с другом, беспокоились или радовались, горевали вместе, когда одному из них было плохо, вместе молчали, сопя в трубку, пока один из них со вздохом не нарушал затянувшееся молчание.

А уж когда встречались, радости их не было границ, как если бы они наконец-то увиделись после долгой разлуки. Только что слез не было! А объятья, а поцелуи, а сияющие счастьем глаза — все это выплескивалось наружу и долго-долго длилось, пока наконец старший брат не усаживал младшего на почетное место за празднично убраным столом и не начинал потчевать его яствами, один вид которых вызывал у обоих братьев умиление. И тогда они опять смотрели друг на друга, и чудилось, будто глаза их наконец-то набухали счастливой, водоственной слезой обоюдной любви.

Надо сказать, что жена старшего брата Пуша была на самом деле Марией. Но кто-то из братьев (теперь уже трудно вспомнить) в шутку назвал ее Пульхерией Ивановной за хлебосольство, за всякие соленья, варенья и печенья, в чем она была мастерица. Потом (трудно сказать каким образом и когда) ее стали звать Пушей, рассудив вероятно, что если Лукерья — Луша, то Пульхерия, конечно же, Пуша. Со временем она так привыкла к новому прозвищу, что, казалось, сама забыла исконное свое имя.

— Закусывай, Феденька, закусывай,— приговаривала она всякий раз в счастливом оживлении, подкладывая на тарелку то пирожок с луком, то селедочку, янтарно-молочный кусок которой, истекая жиром, таял во рту, то лепесток севрюжьего балыка, похожий на диковинную бабочку с большими, распахнута сияющими крыльями, то соленых «душек», как они называли грибы свинушки.— Феденька! Ну что же ты не ешь ничего? Вот попробуй-ка салата из нерки с майонезом. Тебе понравится, я знаю. А про тебя-то я уж и не говорю,— обращалась она к Марине, которая без всякого участия наблюдала за братьями, поднимавшими тяжелые хрустальные рюмки, наполненные коричнево-красной, как крепкий чай, холодной водкой, настоянной на кедровых орешках.

Марина, словно очнувшись, податливо кивала, поблескивая золотисто-русыми гладко причесанными, как если бы она только что вынырнула из-под воды, волосами, и со вздохом бралась за вилку с ножом.

Братья Лунышины, будучи родными, были так не похожи внешне, что люди, впервые узнавая об их кровном родстве, невольно улыбались, а тайные их мысли сразу же уносились в то отдаленное прошлое, когда престарелая мать Лунышиных была молодой и в ней еще играли жизненные силы... Впрочем, ни у кого, конечно, не могло быть каких-либо оснований сомневаться в супружеской верности Нины Николаевны Лунышиной, и всякие домыслы, невольно возникавшие при виде ее сыновей, пропадали сами собой, стоило только взглянуть хотя бы одним глазком на эту опрятную, вежливую и очень скромную женщину. Никаких сомнений не оставалось в том, что разительная непохожесть братьев — простая игра природы, случайность, хотя и закономерная, потому что Борис Лунышин, как говорила иной раз сама Нина Николаевна, пошел в ее дедушку по материнской линии, а Федя вобрал в себя черты бабушки по линии отца. Нина Николаевна так доброжелательно и сердечно улыбалась, таким любовным взглядом обласкивала взрослых сыновей, с такой искренностью звучал тихий и смущенный голосок, исходивший как будто из самой глубины души, что все слушатели с какой-то блаженной истовостью начинали верить в бессмертие рода Лунышиных, а заодно и всего человечества, способного возрождаться в отдаленном потомстве. Все вспоминали про генетику и чуть ли не аплодировали скромной женщине, которая на примере своих детей доказала еще раз реальность этой науки. Лишь однажды Феденька смутил ее, вспомнив про какой-то

старый журнал, до которых он был большой охотник, сказал при гостях, что в начале века всерьез говорили и писали об обычае крестьян подводить рабочую кобылу к окну конюшни, где стоял заводской жеребец. Когда кобыла приходила в возбуждение, ее спаривали с обыкновенным, тоже рабочим, жеребчиком. Но таким способом выводили якобы полукровку с признаками породистого жеребца, не имевшего никакого отношения к жеребенку... Феденька, рассказывая о прочитанной в старом журнале статье, смеялся и сам, как жеребенок, удивляясь легкости, с какой люди брались судить о теории Вейсмана. Он вспоминал и о том, как всерьез обсуждалось тогда в печати влияние гостей, на которых лишь смотрели хозяйки домов, рожая потом деток, похожих на гостивших мужчин, а ученые в своих статьях объясняли этот феномен влиянием телегонии, ничего не понимая, конечно, в новой науке о наследственности.

Федя рассказывал и не обращал внимания на мать, не имея, конечно, никаких задних мыслей, но Нина Николаевна в это время очень покраснела, а улыбающееся ее лицо словно бы отекло в улыбке, и только ресницы мелко дрожали над сощуренными глазами.

— Да, это, разумеется... Какие же это ученые! — сказала она, пересилив себя. — А что такое телегония?

Все гости взглянули на Нину Николаевну и сами очень смутились, увидев странную ее растерянность.

— Ну мама! — воскликнул увлеченный Феденька. — Телевизор — это тебе понятно? Теле — передача на расстоянии, а гония — это рождение, нарождение... Вот и все! В это верили, представь себе!

— Ну и что ж... И сейчас тоже, — нашлась наконец-то Нина Николаевна, сбросив с себя груз непонятого ей самой смущения. — До сих пор сохранилось поверие... Все, наверно, знают, что беременные стараются почаще смотреть на красивых, высоких, статных... Думают, что и у них тоже родятся такие же... Неужели это оттуда? Какие глупые были раньше ученые!

— Были и умные, — снисходительно заметил ей Федя. — Ручаюсь тебе в этом. Взять того же Вейсмана... Его неверно толковали, только и всего.

Разгорячившегося Федю прервал старший брат, заметив общее замешательство за столом.

— Были умники, были! — сказал он. — И давай последуем их примеру: не будем рассуждать о том, чего не понимаем. Мне, например, довольно и того, что мой прадед, в которого я пошел, прожил на свете сто восемь лет! Я пью за генетику!

— Что верно, то верно! — подхватила и Нина Николаевна и пригубила белого вина. — Он у нас долгожитель, — добавила она, имея в виду далекого пращура, но лаская при этом влюбленным своим взглядом старшего сына. — Дай-то бог и тебе, Бориска.

Этому Бориске шел уже тридцать шестой год, и был он старше брата на семь лет. Он жил со своей Пушей, родившей ему двух сыновей, в трехкомнатной квартире кооперативного дома, неподалеку от Белорусского вокзала, в шумном месте, на углу перекрестка, отличавшегося от множества других перекрестков Москвы тем, что тут чуть ли не каждую неделю сталкивались автомобили, кореза друг дружку, но водители и пассажиры при этом всегда оставались целыми и невредимыми. Лишь однажды владелец новенького, шоколадного цвета «ВАЗ-2103», сильно помятого при столкновении, так жалко плакал, в таком исступлении бил кулаками по капоту черной «Волги», гоже пострадавшей от удара, что его, истерично рыдающего, увезли в карете «Скорой помощи».

По ночам тут свистели маневровые тепловозы, доносился подымающий шум разгоняющихся электричек. Иногда, если ветер дул со

стороны хлебозавода, в воздухе курился очень приятный запах, вызывавший всегда у Бориса странное чувство, будто он никак не мог понять, что же это за запах, как никогда не мог вспомнить, например, чем же пахнут ярко-синие васильки в знойный день.

Место тут было пыльное, даже седьмой этаж не спасал: квартиру приходилось часто убирать, чем и занималась Пуша, протирая мебель, полы и подоконники влажной тряпкой или шаркая всюду алюминиевой трубой пылесоса.

Но Борис был одним из тех людей, приспособившихся к сугубо городской жизни, которым бывает совершенно все равно, что творится за стенами и окнами их жилища. Ревет ли за стеной телевизор, растут ли внизу под окнами деревья или нет их — Борису до этого не было никакого дела.

Он оставался спокойным и мог заниматься своими делами, напевая какую-нибудь песенку из кинофильма, даже в те часы, когда к его сыновьям приходили соседские ребята, включали магнитофон и в квартире стоял такой грохот, шум и смех, что другой человек взбесился бы на его месте. Борис же не обращал на это внимания, обитая в непроницаемой своей оболочке, которая лучше толстых стен отгораживала его от внешнего мира.

Было похоже, что он и в самом деле проживет на свете очень долго, обладая таким завидным типом нервной системы.

И если соседи говорили ему, чтобы он гнал вон из квартиры бесцеремонных ребят, он словно бы не понимал в таких случаях, о чем идет речь.

— Почему нет житья? — спрашивал он удивленно. — Наоборот. Они там веселятся, играют. Дети! — восклицал он с неподдельным восторгом. — Дети есть дети! Я люблю, когда они возятся. Сам был маленьким! — И смеялся, будто удачно сострил, сказав, что тоже был маленьким, обвораживая этим смехом и долготерпением благодарных соседей, которые считали Лунышиных самыми милыми, добрыми и порядочными людьми в кооперативном своем доме.

Борис Лунышин частенько отращивал себе усы, носил их, пока они тешили его душу, а потом сбрасывал. Усы свои он отращивал на особый манер: то они узенькими полосочками серели на голубоватой коже верхней губы; то пушистились, заполняя все пространство под мясистым носом; то, как наклеенные, спускались вертикальной полоской; то лихо топорщились в стороны, заостряясь бровями штопорами.

Поносив усы, поулыбавшись вдоволь приятелям и родственникам, он однажды появлялся на людях с неожиданно голым лицом и бывал похож на близорукого человека, снявшего привычные для всех очки. И опять он улыбался приятелям, ощущая прохладу под носом, опять выслушивал мнения своих знакомых и родных, одни из которых, как это всегда бывает, уверяли его, что он правильно сделал, сбросив усы, другие же говорили, что с усами он был лучше... Но это продолжалось тоже сравнительно недолго.

Теперь он носил усы на турецкий лад, спустив пушистые их кончики на подбородок, и, видимо, был доволен ими, то и дело с кошачьей какой-то повадкой поглаживая пружинящие волосы усов и поглядывая на людей с мурлыкающей улыбкой в прищуренных глазах.

Борис был плотен телом, но не казался толстым, и лишь когда садился в глубокое кресло, видно было, как неловко он себя чувствует в нем, как лоснится лицо от напряжения. Над брючным ремнем выпирал тогда мягкий вал излишнего жира, нависая тяжелой складкой и распирая рубашку, нижняя пуговичка которой порой даже растегивалась под напором. Полы рубашки развезжались и, не заме-

ченные Борисом, так и оставались разъехавшимися, обнажая уголок белой майки или теплого зимнего белья, а то и просто волосатого живота.

В одежде он, как и все Лунышины, был всегда неопрятен и надевал на себя все что придется, лишь бы это все не было слишком уж грязным и мятым. Впрочем, за этим строго следила Пуша, заставляя его менять рубашки, носки и белье. Зато галстуки, которые он так и не научился завязывать сам и, завязав однажды с помощью какого-нибудь умельца, снимал их через голову,— галстуки на узле были всегда залоснившимися, а цветной их рисунок затуманенным, как городской пейзаж в пыльный ветренный день, случающийся ранней весной, когда сойдет уже снег, подсохнет земля, а деревья еще не распустились.

Голова Бориса была занята совсем другим. Она была набита именами знаменитых киноактеров, о жизни которых он, казалось бы, знал все, помня, разумеется, каждый фильм с их участием. К известным режиссерам и сценаристам он относился вообще запанибрата, называя их в своих рассказах Сашками, Валерками, Сережками, точно они были его закадычными друзьями.

Он работал на киностудии. Но, занимая там значительную, как все понимали, и ответственную должность, на дело свое, когда оказывался в кругу семьи, смотрел с насмешливым и в некотором смысле модным цинизмом, желая как бы подчеркнуть свою отстраненность, свою непричастность к той организации, в которой работал. Он словно бы обижен был, зная про свои потенциальные возможности, которыми никто не хотел воспользоваться, и вроде бы все время точил на кого-то зуб. Как тот раб на торговой площади Древнего Рима, которому забыли повесить на грудь дощечку с надписью о том, что он умеет делать... «Что ты умеешь делать?» — спросил у него глашатай, на что пленный воин гордо ответил: «Приказывать». «Кому нужен хозяин?!» — закричал тогда глашатай и, как пишет Дидро, кричит, наверное, до сих пор.

Примерно таким же воином, которого даже не спросили, что он умеет делать, чувствовал себя и Борис Лунышин, с саркастической ухмылкой щеголяя профессиональным жаргоном, превращая распространенное в наши дни выражение «глобальная тема» в куцую «глобалку», а такое понятие, как «эпохальное произведение», в «эпохалку».

В таких случаях даже родственники смеялись неуверенно и то лишь, чтобы не обидеть Бориса. Нина Николаевна смыкала ресницы и с осторожной улыбкой укоряла ехидного сына:

— Ну, Бориска, это уж совсем никуда не годится. И не смешно вовсе.

Пуша краснела и соглашалась со свекровью.

Марина, нервно мотнув головой, обливала его холодным взглядом.

— Ужасная пошлятина,— шипящим шепотом отзывалась она, кисло морщась, будто ее заставляли съесть лимон.

Один лишь Феденька смеялся, находя все эти словечки вполне естественной реакцией на привешийся шаблон.

— Какие вы умные! — восклицал он, обращаясь к женщинам.— Ваши мозговые извилины — бигуди! Шестимесячная завивка, черт побери! Интересно, какой же мастер сделал этот перманент? Вот тебе, например? — спрашивал он в ребячьем возбуждении у Марины.— Чур меня! Я тут ни при чем.

И поднимал рюмку за здоровье брата.

— Какова настоечка? — спрашивал тот.— А ты знаешь, как я угадал рецепт? Именно угадал! Заходим с Пушей на рынок, а на прилавке шишки вроде ананасов, все в смоле... Говорю мужичкам, которые шишками этими... Они только что пообедали на двоих, что-то пожевывают, а я говорю: «Вот это то, что надо. На них я буду настаивать»

водку». Улыбаются, как брату родному, как ты сейчас улыбаешься. У щербатого вот такой рот с дыркой вместо резца... губа к уху поползла... Говорит: «Этот дедок все понимает. Вот именно,— говорит.— Кое-кто! Кое-кто, тот же Коккинаки... Всю жизнь,— говорит,— пьет водку на орехах дальневосточного кедра, а курит только «Приму»». Меня дедком обозвал, а о нем как о лучшем друге. Сразил наповал! «Давай,— говорит,— рупь, а потом рассчитаемся». Червонец с меня взял, тигролов! Чувешь, Феденька, аромат? Ее только для смака, не для пьянства пить. Будь здоров, братишка!

Пока братья разговаривали, смакуя настойку, Марина незаметно поднялась, вышла, а потом все услышали клацнувший хлопок входной двери, который как бы поставил вдруг точку.

С ней это и раньше бывало. Федор терпел, зная наперед, что она будет дома, когда он вернется, и встретит его как ни в чем не бывало.

Но на этот раз стукнул по краю стола пальцами, будто они у него были деревянные, простонал, как от боли, и, обедя всех тоскливым взглядом, спокойно сказал:

— Я с ней разведусь.

Никто не возражил ему, все промолчали, со строгими лицами задумавшись над его словами.

Борис хмуро налил ароматной кедровки, жестом пригласил брата выпить, коснувшись своей рюмкой Фединой, стоявшей на столе перед ним, и, не дождавшись, выпил один. Почмокал влажными губами, погладил тугой волос турецких усов и вопросительно взглянул на брата.

— Не могу больше,— тихо ответил тот.— И не хочу.

— Ты это... о чем? О ней? — с грубоватой ухмылкой спросил Борис, кивнув на водку.— Или... о ней? — И он мотнул головой в сторону двери.— Я ничего не понимаю! Почему она не любит меня?!

Младший не поддержал братскую шутку и даже не улыбнулся.

— Не умеет этого делать,— ответил он.

— Я не об этой любви...

— А я и о той и об этой.— Федор судорожно выпил водку и поднялся.

Его не стали удерживать. Нина Николаевна уже в дверях сказала сыну, погладив по голове:

— Прошу тебя, Феденька, подумай хорошенько и, ради бога, не пори горячку. Мне жалко вас обоих.

Но, видимо, что-то в интонации ее голоса не понравилось сыну, что-то он, видимо, услышал свое, какое-то давнишнее страдание почувдилось ему в ее словах, точно мать была бы не против, если бы он и в самом деле развелся с женой. Что-то его покорило, и он взорвался.

— А я прошу... Не только тебя! Я всех! Очень всех прошу не жалеть ни ее, ни меня! Когда человек говорит сторяча: я убью, он не собирается убивать. Я не собираюсь с ней разводиться. Что вы на меня устались? Не собираюсь. Люблю ее, и она меня тоже! Я не собираюсь этого делать. Я даже не умею, не могу писать заявления. Для меня пытка! Пытка писать: «ввиду того... что...»

— Проводить тебя до метро? — спросил Борис.

— Только не это! Приеду домой и позвоню. Честное слово. Прошу тебя, Боря, не надо. Я позвоню. Все нормально.— Он наконец виновато улыбнулся и сказал:— А настойка очень хорошая. Прости. Испортил вечер...

— Песню! — весело поправил его брат и со сдержанной нежностью сжал костистый его локоть. Федя с привычной благодарностью ответил ему тем же и чуть не заплакал от обиды.

По дороге домой, в вихревом гуле и вое вагона метро, он вдруг в каком-то ошеломлении, в страхе понял, что обязательно разведется с Мариной. Он понял с удивительной ясностью, что все идет к этому и что случись это, все будут довольны, все будут делать вид, что ничего не произошло: Борис промурлычет что-то неопределенное, мать

будет ласково улыбаться, а Пуша с особенной старательностью хлопотать над его тарелкой, а сам он тоже будет...

Он шел в толпе среди мраморных, мутно сверкающих стен, поднимался по серой гранитной лестнице, ноги несли его по подземным переходам, от поезда к поезду, а сам он в это время ничего не видел и не слышал. Он напрягал все свое воображение, на какое был способен, но не мог представить себе не только общей картины будущей жизни в одиночестве, то есть без Марины, он не мог мысленно нарисовать даже маленькой сценки этой непонятной грядущей жизни, которая должна была наступить для него.

Почему должна, он не знал, но предчувствовал ее приближение.

Но ничего не изменилось. Они так же жили друг с дружкой, смеялись, когда было весело, ссорились из-за пустяков, быстро мирились, убажывая друг дружку за причиненные обиды всякими супружескими нежностями. И Федору порой казалось, что ему только в страшном сне могла пригрезиться нелепая мысль о нелюбви и о разводе с этой женщиной, лучше которой он и представить себе никого не мог.

— Ты мне ответь на один-единственный вопрос,— говорил он ей в эти блаженные минуты жизни,— почему ты такая?

А Марина понимала бессмысленность вопроса и в задумчивой улыбке отворачивалась.

— Ну что? — спрашивал он.— Ты что там увидела?

Она не знала, как ему ответить, и отвечала с водянисто-зыбкой улыбкой на зачарованном лице.

Отвечала удивленно и взволнованно-медленно:

— Ничего. Я просто так.

У нее вообще был замедленный, затяжной какой-то голос. Она знала об этом, объясняя тем, что родилась левшой, но родители, а потом учителя в школе и все, в чьи руки она попадала в детстве, отучивали ее что-нибудь делать левой рукой — держать ложку, карандаш, авторучку,— заставляя трудиться правую.

— Не-ет, ну правда,— смущенно говорила она мужу.— Это теперь доказано. Этого нельзя было делать. Я должна была остаться левшой, а теперь у меня обе руки почти одинаковые. Поэтому и голос у меня такой... Вот ты смеешься, а я-то ведь знаю. Раньше думали, что надо обязательно отучивать от левой руки. Если бы я осталась левшой, я была бы совсем другая и ты никогда не спрашивал бы меня, почему я такая. Не смейся, пожалуйста, это правда.

Были минуты в их жизни, когда он в порывистом нетерпении просил ее, чтобы она послушала, что он написал за последние недели, готовясь к сдаче кандидатского минимума по теоретической грамматике современного английского языка. Он был лингвистом.

— Ты, конечно, ничего не поймешь,— горячо говорил он, выхватывая из пластмассовой папки исписанные листки.— Но это ничего... Дело не в этом! Мне просто надо, чтоб ты послушала. Понимаешь? Ты даже не вдумывайся в то, что я буду тебе тут... Просто сиди и слушай, как будто тебе интересно...

— Почему как будто? Мне и в самом деле интересно,— отвечала ему Марина.— Я тебя очень хорошо понимаю.— говорила она с каким-то скрытым, глубоким изумлением, всем видом своим говоря ему, что дело, которым он занимается, волнует ее больше всего на свете.— Читай, пожалуйста, я слушаю.

И он, тоже волнуясь, начинал читать про классы слов и синтаксические структуры, размышляя о проблемах морфологии и синтаксиса; о принципах морфемного анализа Франсиса, о парадигмах и морфонетике; о роли просодических факторов в анализе грамматических явлений у Хилла, о его дистрибутивном анализе, о сигментных и суперсигментных морфемах и о том, что такое флексии и парадигмы...

Он страшно волновался, будто сдавал экзамен. А когда заканчивал чтение, смущенно говорил, ворочая пересохшим, липким языком:

— Вот такой галиматъей я и занимаюсь. А ты говоришь — хорошо понимаешь меня. Налей мне чайку какого-нибудь холоденького, что-то все во рту... язык как деревянный...

Она приносила с кухни чашку чаю и спрашивала:

— А может быть, подогреть?

— Спасибо,— отвечал он, жадно глотая жидкий прохладный чай.— Что-то я хотел сказать? А-а, впрочем... Слушай-ка, ну что? Ты хоть что-нибудь поняла? — И он с глуповатой улыбкой вглядывался в нее.

Чашка дрожала в его пальцах, как у пьяницы. Под глазами появлялась маслянисто поблескивающая серость, точно он не спал несколько суток и теперь страдал от невыносимой усталости.

— Только не ври,— предупреждал он ее.— Я сразу пойму. Ты этого не умеешь делать. Так что вот, учти...

— Если хочешь знать,— отвечала она в счастливой задумчивости,— я действительно ничего не поняла.

— Слава тебе господи!

— Нет, но теперь ты, пожалуйста... Теперь я скажу тебе, а ты послушай, потому что это ничего не значит, что я ничего не поняла... Ровным счетом — ничего! Вот я не знаю, почему это так бывает, но иногда я включу вдруг телевизор, а там что-нибудь неинтересное. На другой программе тоже нет ничего... И вот как-то я случайно остановилась на учебной программе, а там черная доска, как в школе, и какой-то мужчина в обыкновенном костюмчике, у него даже, я помню, лацкан один отогнулся, потому что он его не погладил... Старомодный серый костюмчик, с острыми уголками на лацканах... И лицо тоже простоватое, усталое. А в руке мелок, и он быстро-быстро этим мелком что-то пишет на доске... Наверное, что-то из высшей математики... Я ничего не понимаю! Но ты не можешь себе представить, как мне было интересно! Я смотрела на него во все глаза, как на знаменитость... Вот ты не веришь, а это правда. Голос у него такой спокойный, и объясняет он про то, что на доске написано, без всякого волнения... А на доске! Там всякие скобочки, круглые, квадратные, всякие значки, цифры, черточки, уголки. Он чуть ли не полдоски исписал, а все пишет и пишет и что-то все время говорит, говорит... Мелок быстро постукивает по доске, а из-под него все новые значки и цифры — строчка за строчкой. Просто чудо какое-то, а он спокойно об этом говорит. Лицо у него усталое, но не потому, наверное, что он устал, а, наверно, ему скучновато все это объяснять, и он словно бы от скуки устал. Он пишет и говорит, а я смотрю и ничего не понимаю. Но мне так интересно, что я просто глаз отвести не могу, потому что вижу, что этот человек так много знает, что все, что он на доске написал и о чем рассказал,— все это ему уже и не интересно даже, как какая-нибудь таблица умножения. А я все смотрю и думаю, что же это происходит: я ничего не понимаю, а мне интересно! Потом уж подумала, что это, наверно, потому, что для него все, о чем он говорил, так просто и ясно, что рука сама как будто исписала всю доску всякими цифирками, а сам он всего-то навсего объяснил, что рука его написала. Ты понимаешь? У него рука умная, нервная, а сам он спокойный, уверенный. А мне почему-то приятно. Смотрю на него и думаю: есть же люди, которые все это понимают, а другие смотрят и тоже все понимают. Думаю, вот ведь как хорошо! А про себя тоже думаю, что тоже хорошо, что ничего не понимаю. Так странно все это! Даже когда передача закончилась, я даже пожалела, что так быстро все это... Так бы и смотрела целый час. А потом на другую программу перевела, а там что-то понятное говорят. Все понятно, а мне совсем не интересно. Ну почему это так бывает? Вот ты мне не веришь, дума-

ешь, что я тебе просто что-то приятное хочу сказать, а ведь это правда, я ничего не сочинила, все так и было... Не знаю почему.

И она задумывалась, будто внутренним своим зрением опять видела лектора в старомодном костюме с острыми уголками помятых лацканов и с простецким, усталым лицом.

— И вот с тобой тоже так же,— говорила она в тихом и радостном изумлении, что случилось с ней очень редко.— Тоже ничего не понимаю, а мне интересно. Ты у меня такой умный, даже страшно...— И она внимательно смотрела на мужа, словно бы изучая его и как бы пытаясь понять: он ли это только что был перед нею или ей показалось.

Он же слабел в такие минуты, кожа его покрывалась мурашками, руки делались прохладными и влажными, и пахло от него в эти минуты младенческой пеленкой.

«Я глупец,— думал он, собирая вздрагивающие листки бумаги.— А она настоящая умница! Все понимает... Все!»

Волнение его доходило до того, что он с трудом порой удерживал слезы умиления, впадая чуть ли не в полуморочное состояние немощного склеротика. В голове стоял шум, мысли путались, и он, пошатываясь, уходил мыть лицо холодной водой.

Потом говорил с наигранной бравадой в голосе:

— Вот какого мужа себе подцепила! Гений! Это все еще цветочки. Вот сдам кандидатский, вот тогда... Тебе страшно?! У меня у самого спина холодеет! То ли еще будет!

— Все будет хорошо,— говорила она уверенно и спокойно.

Но наступал момент, когда он, соскучившись по брату, поднимал трубку телефона и набирал его номер. Не успевал он услышать гудок, как она, потупившись и кося холодными глазами, вставала и тихонько уходила из комнаты. Будто вместе с телефонной трубкой он поднимал в душе молодой жены какой-то рычажок или включал какую-то энергию в ней, которая ветреным порывом поднимала ее с места и уносила прочь, как если бы ей грозила вдруг опасность.

— Федюша, ты? — слышал он голос брата.— Здравствуй, родной. Ты чего молчишь? Алло! Не слышу твоей улыбки! Как настроение? Ага, вот теперь слышу. Ну рассказывай, что новенького... Спихнул денек с плеч? Как, говорю, денек прошел? С плюсом или с минусом? Ну и хорошо. И у меня тоже с плюсом. Ты знаешь, что у меня в холодильнике? Ни за что не угадаешь... Приходи, угощу. Нет, не то! В банках, длинненькие, в собственном соку, твои любимые. Они самые — сосиски! Но это не все, Федюша! В банках — пиво! Финское — фирмы «Хофф». Не пробовал, конечно. Знаешь, откуда это «хофф»? Говорят, жил там русский по фамилии Синябрюхов. При царе еще. Стал варить отличное пиво, а пиво как-то ведь назвать надо. Отбросил синее брюхо, а хов оставил. Почему не улыбаешься? Не слышу. По-моему, смешно! Говори, когда приедешь, а то я за себя не ручаюсь! Какой двор? Ах, «хофф» — двор? По-немецки, понятно, может, и так. Да какая нам разница! Было бы пиво хорошее.

Где и когда, каким образом добывал он все эти ярко раскрашенные банки, склянки, бумажные свертки, картонки, пакеты, наполненные продукцией, над приготвлением и упаковкой которой немало поработал изощренный ум человечества, и какой добрый дядя помогал ему в этом — для всех было тайной. Казалось, что даже сам Борис Лунышин не совсем ясно представлял себе тот сложный путь, какой совершает вся эта вкуснятина, появляясь словно бы не за деньги в его доме и не за какие-нибудь особые заслуги перед обществом, а так, по какому-то случайному стечению обстоятельств. Если же его иногда спрашивали, он поглаживал усы, коли носил их в это время, и улыбался с кошачьим мурлыканьем, ничего определенного не говоря в ответ, отшучивался, рассказывая про какую-то дверь в стене старого

дома, на которой ничего не написано и которая покрыта невзрачной краской, какой обычно красят заборы перед праздниками, и что за этой дверью, если в нее постучит знающий человек, лестница ведет в низ погребка, освещенного лампами дневного света, и что посреди погребка плавают в аквариуме красные, желтые, синие и серебряные рыбки между зеленых водорослей... Ни столов, ни прилавков, а просто застекленный угол, словно какая-нибудь касса Аэрофлота, а вместо кассира милейшая Елизавета Петровна в белоснежном халате и с такой же белоснежной улыбкой на лице. Она как бы за счастье считает, если он, Борис Луняшин, согласится принять от нее помимо того, что уже упаковано в коробке, еще что-нибудь заманчиво разрисованное, поблескивающее эмалью, тяжеленькое и наверняка очень вкусное: то ли консервированные сосиски, то ли баночное пиво, то ли сок экзотического какого-нибудь фрукта...

Правда, гости Бориса Луняшина очень редко задавали ему вопросы на этот счет и, поедая с аппетитом всевозможные яства, предпочитали молчать. Добрейшая и хлебосольная Пуша, открывая или распечатывая очередную какую-нибудь баночку, любовалась ею и на смешливо говорила, как обо всем, что ей казалось красивым: «Прямо хоть на комод». Она даже о своих толстеньких и шумливых сыновьях говорила иногда то же самое. Слово «комод», впрочем, произносила она с шутовским кривлянием, как бы подчеркивая свое презрительное отношение к мечте некоего мещанина. Она тоже, как и ее муж, любила коверкать слова, называя, например, высшее образование верхним, а какой-нибудь фильм, который нравился, потолочным. Этому она, конечно же, научилась у Бориса, но с некоторых пор, пытаясь соревноваться с ним, пропускала многие слова через мясорубку своего остроумия.

Даже в то печальное время, когда Федя Луняшин все-таки развелся с Мариной, не в силах больше выносить ее патологической ненависти к его родному брату,— даже тогда Пуша, приглушая улыбку сердито-печальной озабоченностью, тихонечко говорила всем своим знакомым, живо играя глазами:

— У нашего Федечки реконструкция. Теперь он у нас жених. Ах, как его жалко! Он такой бесперспективный у нас, хоть и с верхним образованием. Ничего, кроме языка, ничего! Мы с Борей не оставим его, конечно, вы ведь знаете, как они любят друг друга — вот уж поистине братская любовь. У нас говорят: братская любовь, братская любовь! А много ли примеров из жизни? Вот я, например, только один и знаю. У меня тоже два брата, но разве можно сравнить их с Федей и Борей! Если бы я не узнала Федю с Борисом, я бы и понятия не имела, что такое братская любовь. А Марина женщина неглупая и красивая, но она не понимала их, не верила, что может на свете быть настоящая братская любовь. Это, конечно, не вина ее, это горе, я понимаю, но что тут поделаешь. Недаром же говорят, что любовь это талант, а Феденьке нужна женщина добрая, понимающая его. Она должна любить Федю не только как мужчину, как мужа, но и понимать должна его любовь к брату, любить еще больше за эту любовь. Вот тогда он будет поистине счастлив, я-то уж знаю! А как будет счастлив Борис! Ведь Марина совсем не любила его. Федя и разошелся с ней, можно сказать, из-за этого, не перенес двойственного своего положения, разорваться не мог между Борей и женой. Я его хорошо понимаю. Он замечательный человек! И такой искренний, такой нервный, жертвенный... Почему бы Марине не пойти навстречу, почему бы ей хоть чуточку не притвориться? Ради любви к тому же Феде! Она неглупая женщина, она же понимала! А на деле получается, что очень глупая. Ну и чего добилась? Себя и Федю сделала несчастными. Может, она и меня заодно не любила, но ведь нам-то с Борей от этого теперь ни тепло, ни холодно... Скорее даже тепло! Во всяком случае, Борис одобряет поступок брата... Но я очень про-

шу, что-то я уж очень разоткровенничалась, ни слова о нашем разговоре — ни Феде, ни Боре. А то я очень уж разоткровенничалась...— И она умолкала, с трудом сдерживая себя и стараясь оставаться в рамках приличия.— Она, конечно, красивая была, прямо хоть на комод.— Срывалось все-таки у нее с языка.— Но что толку в красоте, если сердца мало! Женский ум — сердце, женщина сердцем думает, ей другой ум и не нужен. Она и с таким умом все равно умнее всех. С такой женщиной и посоветоваться можно, она все поймет, все правильно рассудит... В этом все дело! А Марине не дано было... Вот и результат... Только я очень прошу: ни слова никому.

В семье Лунышиных почему-то считалось, что Марина ушла от Феде, бросив его на произвол судьбы. Но это было не так. Случилась обычная в наши дни, банальная история, опасность которой для общества состояла в том, что она не имела явно выраженных мотивов. Ни один социолог, как бы ни был он эрудирован, не смог бы подвести какую-либо базу под это явление, как-то объяснить причину распада молодой семьи — распада, похожего на немотивированное преступление, которое ставит порой в тупик очень опытных криминалистов. Преступление — слишком сильное, конечно, слово, но все-таки было в этом, для многих неожиданным, разводе что-то преступно легкомысленное, что-то противоестественное и непонятное, дающее людям повод лишний раз подумать о себе и о своем племени с горькой усмешечкой и усомниться в своих правах называться человеком разумным. Потому что на вопрос — любит ли она своего мужа? — Марина бы ответила, будь она, как на духу, откровенна, что да, конечно, любит и ей будет трудно жить без него. Ну и, разумеется, то же самое ответил бы Федя Лунышин, коли спросили бы его, любит ли он Марину. Именно в этом смысле их развод был преступен. С точки зрения элементарной логики оба они поступили неразумно, будто ими руководил жестокий каприз рассорившихся друг с другом детей, упрямых и избалованных. Что-то нездоровое было в их скоропалительном разводе, сработала какая-то дурная энергия, о которой, кстати, упомянула однажды сама Марина, адресуя ее, правда, Борису Лунышину, а не себе. Да и сам тот толчок, который привел их в зал Народного суда, был так ничтожно мал и даже смешон, что можно олять и опять говорить о преступлении этих молодых людей против собственной духовной сущности, можно оплакивать несостоявшуюся их жизнь, можно усомниться в совершенстве самой человеческой сущности, но все это так и останется, к сожалению, только словами, только состраданием и сомнением и не более того. И не лучше ли в данном случае пожать плечами и усмехнуться, как это сделал бы человек, обладающий «здравым смыслом» и понимающий, что в наш торопливый век глупо делать ставку на крепкую семью, на супружескую верность, а уж тем более на какую-то там любовь, о которой и упоминать-то неприлично, как о пресловутом комодe...

Все это только кстати! Потому что случай с Мариной и Федей Лунышиными не имел ничего общего с высоким порывом запредельного чувства.

Гому было много безымянных свидетелей, столпившихся над плачущей девушкой, сидевшей на краешке тротуара на углу перекрестка возле Самотечной площади, неподалеку от магазина «Инструменты». Был неестественно жаркий осенний день, было пыльно и душно, как бывает иногда в разгар московского лета, дул ветер, горячими своими порывами сметая г бортикам тротуара скрюченные сухие листья лип, опадавших на Цветном бульваре... А она сидела, отчаянно сгорбившись, расставив по-мальчишечьи ноги в стареньких джинсах, и громко рыдала, спрятав мокрое лицо в руках. Спина ее, обтянутая розовым батником, сотрясалась в судорогах. Звучные ее рыдания были так жалобны и вызывали в людях такое сострадание и испуг, что каждый, кто стоял над этой девушкой, готов был немедленно помочь ей, хотя

никто не понимал, что с ней случилось, и люди встревоженно спрашивали друг у друга и у нее тоже: «Что с вами, девушка?! Что случилось? Что?!»

Слева, со стороны Садового кольца, поворачивали на Цветной бульвар автомобили в два ряда, проносясь мимо ног сидящей и мимо толпящихся над ней людей, которых становилось все больше и больше и которых, казалось, не замечала плачущая, не отвечая на их вопросы, пряча лицо свое от склоненных над нею лиц, продолжая все так же мучительно и горько плакать, будто она была одна на всем белом свете: ни машин, ни людей, ни грязного тротуара, ни мостовой — ничего этого не было как будто, а было только ее нестерпимое горе, которого она не донесла до дома, выплакивая тут, на краешке тротуара, над мостовой, не в силах больше бороться с ним и с собою... Ее жалели люди, не зная, что же им делать и как поступить, что предпринять в этом трагически-скорбном случае непонятного чужого горя, которое, по-видимому, было так велико, что требовалась экстренная помощь. И когда какая-то женщина сказала, что надо немедленно разыскать и позвать сюда милиционера, в этот момент со стороны Центрального рынка к плачущей торопливым и нервным шагом подошел молодой мужчина с серым, точно напудренным по загару лицом... Он шел по мостовой навстречу автомашинам, не обращая на них внимания, а когда приблизился, остановился над ней и, задыхаясь от гнева, спросил:

— Что тебе от меня нужно?

Это был единственный звук, который она сразу услышала и, еще сильнее зарыдав, резко подняла голову и каким-то стоном громко выдала из себя:

— Ключи! У тебя ключи от квартиры!

Тот на глазах у растерявшейся публики с трудом вытащил потной рукой из брючного кармана ключи на брелочке и со злостью швырнул их к ее ногам. Ключи жалобно звякнули, а мужчина повернулся и с вывернутым наружу карманом пошел обратно, в сторону Центрального рынка, не замечая тряпичного мешочка, усом болтающегося с правой стороны брюк.

Люди возмутились, поворчали на современную молодежь, посмеялись над самими собою и стали расходиться. А плачущая подобрала ключи и, хлюпая носом, поднялась. У нее было опухшее от слез, мокрое лицо, но в покрасневших глазах не было и тени страдания — они водянисто-холодно смотрели вперед, все так же не замечая никого вокруг, даже автомобилей, которые завизжали тормозами, когда через дорогу на красный свет пошла эта заплаканная девушка, пошла так, будто была не на Земле с ее притяжением, а на безжизненной Луне, пошла в невесомом каком-то состоянии, медленно и неуверенно, как если бы училась заново ходить...

Кто-то высунулся из кабины затормозившего автомобиля и злобно крикнул ей:

— Жить надоело?! Куда ты прешь под колеса?!

Но она не услышала и не обернулась на крик.

А началось все с сущего пустяка. На Центральном рынке Федя увидел кедровые орешки и захотел их купить.

— Нет, — сказала ему Марина.

— Почему?

— Я сказала — нет.

— Но почему такой тон? А-а-а, понимаю, понимаю...

— Вот и прекрасно, если понимаешь. Твой братец не человек, а прямо какое-то астральное тело; ты ему поклоняешься. Для меня же он низший астрал, как насекомое... У него дурная энергия. Я боюсь насекомых и боюсь твоего брата... У насекомых тоже дурная энергия.

Ты же знаешь, как я боюсь всяких бабочек! Неужели ты не можешь понять меня и хотя бы немножко пожалеть? Но как же, как же! Братец всего дороже! Превыше всего! Противно, ужасно противно все это! Как ты не можешь понять! Я боюсь его дурной энергии, он мне противен, как ночная бабочка, жирная, скользкая, ой, какой кошмар... какая я несчастная... И ты тоже, ты тоже... Отойди от меня и не дотрагивайся, ты тоже с этой дурной энергией, ты тоже, как только вспомнишь о нем... Отойди, пожалуйста!

Все это она выговорила ему в случившейся с ней истерике. Она махала на него рукой, лицо ее искажено было гримасой нестерпимой боли, и, отгоняя от себя мужа, она сама торопливым шагом пошла от него прочь: темнея на фоне стеклянных дверей рынка, сквозь которые видна была освещенная солнцем улица...

— Что за бред?! — успел он крикнуть ей вдогонку. — Кто низший астрал? Какой еще астрал, черт побери!

Она чуть ли не побежала от него, услышав сзади его шаги и его голос. Тогда он сам остановился, проклиная тот час, когда впервые увидел эту женщину, и громко сказал ей вслед:

— Беги, беги! Я не собираюсь тебя догонять.

И пошел сам назад, уверенный, что она опомнится и сама догонит его. Но этого не случилось. Возле стоянки такси он оглянулся и, не увидев ее, опять остановился, вглядываясь вдаль, надеясь среди людских голов увидеть ее голову...

— Далёко ехать? — спросил у него калымщик, крутя на пальце ключики от машины.

— Далёко, далёко, — механически ответил он и в страшной злобе пошел к Самотеке, где и увидел плачущую свою жену, сидящую на тротуаре в окружении столпившихся людей.

В назначенный день и час, когда их должны были развести в судебном порядке, он подошел к желтовато-грязному зданию и увидел возле входной лестницы тещу, худощавую женщину с прокуренным, отечным лицом. Она и теперь держала в руке пачку сигарет и, щурясь от дыма, внимательно смотрела на него сквозь этот голубенький дымок, часто затягиваясь на манер военного времени, когда курили махорку.

Марина была больна и не явилась в суд, послав вместо себя несчастную эту женщину, которая и слышать не хотела о разводе дочери. Он узнал, что без жены его не разведут и даже не будут слушать дело. С трудом поймал такси и вместе с тещей помчался за Мариной, уговорил ее подняться и привез в суд. И снова ему пришлось уговаривать, но теперь уже не Марину, а судебную администрацию, чтобы их дело не переносили на другой день, а рассмотрели сегодня же. К просьбе присоединилась и Марина, показав больничный лист, объясняющий ее опоздание. Им уступили и, соблюдая все формальности, как-то уж очень быстро и легко закончили дело в их пользу, отчего Федю Луняшина бросило даже в пот, потому что он рассчитывал на уговоры остаться вместе, на какие-то речи в защиту их супружества или хотя бы на искреннюю заинтересованность в его и ее судьбе.

Когда он вышел из синей комнаты, называвшейся почему-то залом, и попал в синие сумерки коридора, он увидел бледное лицо, подкованное турецкими усами, и, поймав протянутую руку брата, пошатнулся от тошнотворной слабости, очень испугался, что вдруг упадет, напугает своим обмороком Бориса, а потому превозмог себя и изобразил на лице некое подобие улыбки.

— Ну вот... — сказал он, — и все.

— Такси у подъезда, — прохрипел Борис и, крепко взяв его под руку, повел, как пьяного, к выходу.

— Хорошо, что ты... приехал...— говорил Федя, с трудом удерживая отяжелевшую голову и вяло улыбаясь.— Я не хотел тебе говорить... Но как ты узнал? Как это ты... Хорошо, что приехал. Это такая мука... Нет! Не мука... Что я говорю! Это как-то непонятно... Почему-то хочется спать. Лег бы сейчас на пол и уснул. Я сейчас к тебе, Боря, я только к тебе... Ты меня домой не отвози, пожалуйста, я потом, а теперь только к тебе...

В такси попахивало, машина была старая, шофер — совсем еще мальчик в кожаном пиджаке.

— Вы подсказывайте мне, а то я плохо знаю Москву,— говорил он, считая колесами своей колымаги все дырки и трещины мостовых; машина громыхала железом и тряслась, ядовито воняя бензином.

Борис держал руку брата в своей и говорил все одно и то же:

— Ничего, братишка, все хорошо... Ничего. Все хорошо. Ничего, братишка.

2. Ра Клеёнышева

За пыльными стеклами граненых эркеров медленно двигались, гудя машинами, кабинки лифтов. Темно-серый дом был построен в двадцатых годах столетия и представлял собой плохой пример конструктивизма. Он угрюмо возвышался над улицей грязноватой массой. Авторы проекта сумели бы, наверно, выделить целый ряд функциональных особенностей жилого здания. Но люди, жившие в этом доме, вряд ли смогли бы что-нибудь путное и вразумительное сказать о своем жилище, вряд ли даже ответили бы на такой простой вопрос: какова наружность их дома, как выглядит, например, его фасад. Они не замечали его, никогда не приглядывались и, конечно, не любовались со стороны.

Все окрестные жители называли дом не иначе как серым, и даже сами обитатели допотопного чудовища говорили про себя, что они живут в сером доме. Промтоварный магазин, занимавший угол первого этажа, тоже приобрел серую окраску, не избежав неяркого эпитета в обиходных разговорах местных жителей.

Рядом с витринами магазина пестрел нарядными коробочками сигарет табачный киоск, в котором сидел угрюмый старик, брезгливо бросающий эти красивые коробочки покупателям и сдающий мелочь в мраморную, стершуюся тарелку с таким треском, будто играл в домино.

Слева от «Табака» зеленел летний овощной ларек, в котором Ядвига, толстая сорокалетняя женщина, страдающая одышкой, сиплым голосом покрикивала на покупателей. Опухшие ее глаза истекали злобной слезой, когда она закуривала папиросу. А курила она часто, с бабуьей неистовостью и, не вынимая дымящуюся папиросу изо рта, работала, выщипывая огрубевшими, опухшими пальцами гнилой виноград из грозди или отбирая помидоры из ящиков. Ядвига питала слабость к покупателям мужского рода, отпуская им товар получше и поспелее, обожая тех, кто смачной шуткой веселил ее. У нее было так много знакомых женщин, называвших ее по имени, что все они ей очень надоели, всех их она тайно ненавидела, взрываясь всякий раз, когда слышала просьбу покупательницы, которой захотелось вдруг, чтоб ей досталась кисть винограда с туманно-желтыми ягодами, лежащая в соседнем ящике. Ах, как свирепела тогда Ядвига! Какие только бранные слова не вылетали из ее осипшей глотки, точно вежливая просьба была самым страшным оскорблением для нее. Ядвига знала, что ее не уволят с работы за грубость, и распускалась порой до безобразия — никто тогда не в силах был укротить ее и урезонить. Люди, живущие поблизости, знали об этом, и, когда приходила их очередь, они робко произносили: «Здравствуй, Ядвига».

Ядвига молча бросала в грязную пластмассовую миску зеленые бананы, закидывала в пакет тугой виноград, рылась пальцами в ящике с помидорами, бросала на весы темно-зеленые, кривые и длинные огурцы...

«Почем метр огурцов?» — спрашивал ее какой-нибудь разбитной мужичок, знающий крутой нрав Ядвиги, и она его облобызать готова была за шутку; старалась для него как для дорогого гостя, хохотала сипло и глупо, выкладывая товар лицом, желая всячески угодить хорошему человеку. Очередь тоже улыбалась тогда вместе с ней. И казалось в эти минуты, что люди очень любили свою Ядвигу... А за что?

Поблизости от «Овощей и фруктов» опрятная старушка торговала мороженым, и было похоже, что она и ночует в стеклянной своей будочке, освещенной изнутри яркой лампой. Щечки у старушки всегда были розовыми от благостного удовольствия, будто она их поддурманивала, как молодящаяся девица. В зимние вечера будочка ее, заросшая искристым инеем, сияла до позднего часа, пока ходили трамваи, автобусы и троллейбусы.

Однажды в жаркий летний полдень за стеклами витрин шла какая-то работа. Стекла сначала были занавешены, и за ними ничего не было видно, но именно в этот жаркий полдень серенькую штору одной из витрин сняли, и все увидели живую девушку в джинсах цвета индиго, в мягких дорожных тапочках — художницу, которая заполнила собой все пространство застекленного проема.

Никто не успел разглядеть ее лица, но люди сразу узнали в ней красавицу, отвернувшуюся от них и не замечающую их взглядов, как это делают все истинные красавицы. На плечах ее, закрывая шею, волновались тяжелые каштановые волосы, отсвечивающие, как полированное дерево. Некоторым даже показалось, что в витрине установлен очень искусно сделанный манекен. Но узкие, маленькие пятки, обтянутые золотистым капроном, розовели сквозь чулки; когда же девушка потянулась руками вверх, из-под темно-синей блузки оголилась бронзовая ложбинка упругой поясицы. Движения ее рук были так осторожны и медлительны, что чудилось, будто эта живая красавица пребывает в каком-то волшебном сне, во власти колдовской воли, которой она неохотно, но покорно подчиняется, безошибочно прикасаясь чуткими пальцами к золотому флакону духов или к газовой косынке, парящей в воздухе, поправляя крутые складки яркой драпировки, ниспадающей радужным водопадом к ее ногам... Она гибко приседала вдруг среди искусственных белых и красных роз, разбросанных у ее ног, среди россыпи сверкающих металлом и пластмассой карандашиков с губной помадой, покоящихся на наклонной полочке. Она то и дело к чему-то легко прикасалась, точно сама прихорашивалась перед зеркалом, поправляя собственную прическу, и, выпрямляясь, оцепеневала в задумчивости, разглядывая самое себя, отраженную во всех этих искусно расставленных, развешанных и разложенных предметах. Но вот снова она оживала, наклоня голову, и волосы ее, дрогнув, переливались волной на плечо, открывая розовую мочку упругого уха... Было жарко в тот день. Солнце, казалось, готово было сжечь красочную витрину вместе с гибкой и медлительно-осторожной художницей, которая будто бы демонстрировала странный какой-то танец. Рука ее плавно поплыла вверх и там, в сияющей вышине, прикоснулась пальцами к широкополой летней шляпке, висящей в воздухе на невидимой нити, и белая с белыми лилиями шляпка тоже ожила и стала в тихих поклонах раскачиваться... Потом эта необыкновенная танцовщица долго стояла в глубокой задумчивости, невидимо поводя взглядом, отчего ее волосы играли бриаровым вересковым огнем.

Но таинственное представление внезапно закончилось. Девушка, изогнувшись, присела, так и не показав своего лица, мягко спрыгнула

куда-то и исчезла, прикрыв за собою, как дверь, глухую внутреннюю раму витрины..

В фанерной виньетке, окрашенной бронзой, на сером полотне был написан сухой кистью портрет улыбающейся женщины: рыжие кудри из-под широких, изогнутых полей шляпки, зеленый кулон на цепочке и мертвенно застывшая на длинных губах улыбка соблазнительницы. Вокруг виньетки колесо, составленное из черных букв, гласящих на весь мир: «Хочешь быть красивой — будь ею!» Подразумевалось, наверное, что женское лицо, изображенное на полотне, очень красиво, потому что именно оно как бы обращалось к людям, бегущим мимо, смотрящим на него из окон проходивших мимо трамваев, троллейбусов и автобусов: «Хотите быть красивыми — будьте как я!»

Кто-то хмыкнул, садясь в трамвай, кто-то покачал головой, вздохнул, отвернувшись, а кто-то и присвистнул.. У всех, кто видел исчезнувшую художницу, было такое ощущение, будто их одурачила эта мечтательно-гибкая фигурка с распущенными волосами, показав наконец-то свое истинное лицо: будто именно она, эта танцующая девушка, посмотрела вдруг на них и произнесла пошловатые слова, обращенные ко всем и ни к кому в отдельности. И каждому показалось, что та живая девушка, которая только что плывала в невесомости за стеклом омертвевшей теперь витрины, на самом деле была куклой, у которой кончился завод. Явился откуда ни возьмись этот плоский портрет, обрамленный дешевой бронзовой краской и всевозможными духами, косынками, бижутерией, тряпичными розами и губной помадой,— явился этот злой дух и убил сказочное видение. Улыбка длинных красных губ — все, что осталось от недавнего представления.

Новая же витрина, которая была не лучше старой, пропыленной и выжженной солнцем,— эта витрина яркой картинкой кое-как вписалась в каменное чрево серого дома, не оживив его..

Не произошло ничего особенного, и люди вскоре забыли об увиденном, а те, кто не наблюдал за работой художницы, вообще не обратили внимания на обновленную витрину, не помня, как выглядела старая.

И лишь одна душа на свете живо откликнулась и затрепетала от восторга, впитав в себя, как иссохшаяся земля дождевые капли, эти удивительно понятные и нужные слова: «Хочешь? Будь... Ну конечно, хочу!»

Девушка в полинявшем платье, простоявшая в очереди за огурцами, а потом купившая себе в награду мороженое, с нарастающим интересом следила за работой художницы, любясь ее движениями, ее новыми джинсами, ее волосами. Она ела тающее мороженое, когда художница вдруг исчезла и появилась эта рыжая, которая посмотрела ей прямо в глаза и спросила: «Хочешь быть красивой?» — угадав ее тайные желания. И сама же ответила: «Будь ею».

Повелительный тон ответа, колесом прокатившийся в ее встревоженном сознании, поразил своей определенностью и простотой, сразу разрешив все ее прежние сомнения. Она, обмерев, стояла с раскрытым ртом, веки ее нервно вздрагивали и распахивались от пугливого восторга, пухленькая губа, нежная, как мандариновая долька, была облита прозрачно-белой эмалью растаявшего мороженого. Слова звучали в ней расслабляющей музыкой, и ей казалось, что сама художница, только что плавно приседавшая за стеклом, мелодично и печально спрашивала у нее: «Хочешь быть красивой, как я?»

Она в волнении лизнула оплавившееся мороженое и, разглядывая витрину, оглушенная, с дрожащей улыбкой перекатывала это пестрое колесико из букв: «Хочешь быть? Ну а кто же не хочет? Но как? Легко сказать! Очень хочу, конечно!»

Только что она стояла в очереди, сутулясь над низкорослыми женщинами, хмуря туго натянутую на лбу кожу, слыша грубую перебранку Ядвиги с покупательницами; только что глаза ее, напомиавшие своим овалом листки березы, выражали скуку и полное безразличие, а лицо казалось запыленным. Теперь же ее невозможно было узнать: раскрасневшаяся от волнения и нервного сбоя, она была похожа на ту счастливицу, которая, сдав экзамены в институт, увидела свою фамилию в списке зачисленных.

Первое, что пришло ей в голову, когда она осознала всю важность этих заманчивых слов, было желание тут же разыскать художницу. Кинуться вслед за ней, прорваться туда, куда вход посторонним запрещен, дойти до директора, расспросить и во что бы то ни стало найти художницу, которая знает, как стать красивой. Бессознательно подчинившись этому толчку, она вбежала по ступенькам к дверям магазина, бросила в урну протекшую пачку мороженого, вошла, возбужденно дыша носом, в полусумрачный зальчик, пропахший шерстью и душистым мылом, и стала вглядываться в лица, хотя и не знала лица той, которую искала.

Порыв ее был так яростен и искренен, что она не успела подумать о последствиях. Вопрос, который она собиралась задать, не имел ответа и был безумен. Но она была уверена, что ее поймут, если она спросит. «Вы знаете,— сказала бы она, глядя в глаза красавицы,— я вот тут увидела вас... Посмотрите, пожалуйста, на меня. Я очень хочу быть красивой. Я знаю, что я смогу, но только вот сомневаюсь, посоветуйте, пожалуйста, что мне надо делать. Нет, я понимаю, нужны настоящие джинсы. Но где же их взять? У моей мамы нет таких денег. Мне бы как-нибудь без джинсов, если можно. Но чтобы обязательно быть красивой, как вы,— сказала бы она, не отводя взгляда от художницы.— Пожалуйста, я вас очень, очень прошу».

Слыша в себе эту небывалую доселе мольбу, которая готова была вылиться в слова, в неразрешимый, вечный вопрос, обращенный к кумиру, она верила в чудо, забыв о себе, и ей казалось, что жизнь подарила единственный шанс получить ответ не только на вопрос, как быть красивой, но и — как жить.

Она всегда отличалась нетерпеливостью, а тут нетерпение ее достигло силы истерики или безумия. У нее жаром горели щеки и пересыхало во рту, дышала она неровно, будто навзрыд, и даже пошатывалась от ударов огромного, распирающего грудь сердца.

На нее внимательно и строго посмотрел какой-то мужчина.

В этот момент она почувствовала вдруг свои липкие от растаявшего мороженого пальцы.

«Да что же это такое! — подумала она в отчаянии.— Как же я с такой рукой...»

Она была уверена, что художница протянет ей руку, но почувствовав липкую кожу, неприятно поморщится и отвернется от нее, как на витрине. Это было самым страшным, что могла она себе представить, и опрометью кинулась прочь из магазина. Расталкивая людей в дверях, выбежала на улицу, порылась в кошельке, зажатом вместе с авоськой в потной руке, и, не найдя копейки среди мелких монет, бросилась к табачному киоску.

— Дяденька! — воплем взмолилась она.— Разменяйте, пожалуйста!

Тот тоже внимательно и озабоченно посмотрел на нее и не стал спорить.

Она подбежала к автомату, коленками ухватила, как клещами, авоську с огурцами, бросила в щель копейку и подставила руки под фыркающую воду. Она торопилась. Вода из пригоршни лилась на платье и на ноги, и ей было приятно прикосновение воды. Она чувствовала, как невесомо колышится тело от ударов сердца. Щеки были так

горячи, что ей казалось, будто у нее вспотели глаза от этого ядовитого жара и какая-то липкая пелена затмила свет.

Вдруг она услышала бранчивый голос за спиной.

— Вон до чего дожили! — говорила старая женщина. — Люди воду пьют, а она тут... Ты б еще ноги помыла, нахалка!

Неожиданно для самой себя, с искаженным лицом, она закричала истошно и площадно:

— Да ладно тебе! Не твое дело! Не твое это... понятно?! Не твое! И не суйся! Страхолюдина несчастная! Уйди! — Даже ногой притопнула и сжала кулаки, судорожно сведя локти к животу. — Уйди, зараза! — кричала она, и слезы текли у нее по щекам. — Уйди!

Старая испугалась и торопливо пошла прочь, бормоча себе что-то под нос. Кто-то поблизости недоуменно нахмурился, не понимая причины крика и слез, кто-то из ожидающих троллейбуса отвернулся, не желая ввязываться.

А она прижала мокрые ладони к лицу и старалась унять слезы, которые душили ее беспричинной, казалось, обидой. Вытирая слезы руками, вытирая мокрые руки о волосы, как бы поглаживая себя и успокаивая, она остро ощущала жар потной и обезумевшей от какой-то ереси головы.

Потом взяла в руку авоську с темно-зелеными огурцами, одетыми в белесую пленку, и та ей показалась тяжелой и безобразной. Увидела на ногах стоптанные, сбитые босоножки, из дырок которых торчали длинные, пропылившиеся пальцы, и устало-раздраженная, опомнившаяся, как после припадка, пошла домой с острой, неутоленной жаждой ругани. Мать была на фабрике, но дочь уже знала со злорадством, что дотерпит до вечера и обязательно поругается, доведет мать до слез, потому что дальше так жить невозможно, — она не хотела так жить, хотя и не представляла себе, как надо. А ругаться она умела.

Она шла домой, поднимаясь по крутой улочке вверх, и думала о себе так, будто прожила уже долгую жизнь, все в ней узнала, о многом догадалась и поняла главное — так жить нельзя.

Сколько помнила себя Рая Клеенышева, Райнька, как звала ее мать, хотя ей самой нравилось, когда ее называли просто Ра, она никогда не сомневалась в том, что в жизни ждет ее что-то необыкновенное.

Ей было семнадцать, и ничто не в силах было поколебать в ней этих предчувствий: она понимала себя одинокой, никем не понятой и таинственной жительницей Земли.

Уровень ее самооценки был очень высок!

Порой она как бы из своего грядущего, которое не имело, конечно, никакого определенного образа, с сожалением и сочувствием смотрела на мелкие и, как ей казалось, жиденькие и мутные удовольствия людей, усмехаясь из своего далека над всей этой суетой.

Со временем у нее выработалась и закрепились жалостливо-сочувствующая гримаса на лице, с которой она выслушивала рассказы людей об их мнимых удачах и маленьких поражениях. Особенно любили жаловаться ей и часто приходили, как на исповедь, девочки, с которыми она училась, укрепляя в ней чувство исключительности.

— И что? — с вялой горечью в голосе спрашивала она, выпячивая пухленькую губку и скучающе оглядывая взволнованное лицо рассказчицы. — Все это глупость, — заключала она со вздохом.

И у нее появлялось порой желание погладить девочку по голове, словно перед ней был бездомный мягкий котенок, вызывавший в ней жалость.

Никто из подруг никогда не обижался на нее, и, приходя к ней с душевными своими тайнами, они успокаивались, а острота их переживаний сглаживалась после исповедального разговора.

— Все это глупость. Забудь,— говорила она, если ей признавались в очень серьезных и непоправимых бедах.— Что для тебя изменилось? — спрашивала Ра в таких случаях.— Ты заболела? Нет. Глупость все это. Теперь никто не обращает внимания. Это не самое главное. Раньше косы носили, а если стригли — считалось грехом. А потом стали стричь. Ну и что? Что от этого изменилось? Надо жить по совести.

— Ой, Ра! Ты ужасно сильная личность, а я дура. Я никак не могу успокоиться. Боюсь, мать узнает. Скажи, а у тебя это было? И ты ничего, да?

— А это, девушка, не твое дело,— грубо и зло отвечала Ра Клеенышева и надменно откидывала голову.— Не я к тебе, а ты ко мне пришла. Ты свое белье трясешь перед моим лицом. Хватит с меня и того, что я терплю.

Она уже знала, что на нее не обидятся, если она и побольнее хлестнет, потому что те, кто приходил к ней, должны бояться ее, раскрыв ей свои секреты. У нее не было никакого расчета, но она инстинктивно чувала, что именно так и должно быть: тот, кто боится, не обижается или, во всяком случае, скрывает свою обиду даже от самого себя.

Так оно всегда и выходило на деле.

Но она никогда и никого не хотела обидеть. Пока ей было интересно, она наблюдала и терпела радость или слезы человека, а когда он ей надоедал, она отмахивалась от него и тут же забывала о доверчивом сизом голубе, которого ей приятно было кормить хлебными крошками, но у которого она могла бы со злостью выдрать хвост, если бы он сел на плечо и испачкал платье. Она отмахивалась от людей вовсе не со злостью, а с тем щекотным нетерпением, начинавшим вдруг мучить ее,— нетерпением остаться наедине с собой, с ощущением своего мистического превосходства над всей этой жиденькой кашицей жизни.

Еще большее нетерпение она испытывала, когда ее начинали в чем-нибудь поучать взрослые люди. Это ей казалось проявлением высшей человеческой жестокости. Они, поучая, хотели, чтоб она повторилась в них, то есть была бы такой же, какими были они, и ей страшно становилось от мысли, что эти люди не догадываются, что впереди ее ждет нечто небывалое, нечто не сравнимое ни с чем: еще никогда это ни с кем, ни с одним человеком на земле не случалось, а случится только с ней одной.

У нее начинала дрожать губа. Березовые листики ее глаз трепетали, как на ветру, готовые облететь с пожелтевшего лица: зеленоватые радужки глаз светлели и расширялись, как если бы она вдруг попала во тьму, и в них, казалось, начинали поблескивать багровые отсветы, будто все жилки глаз набухали кровью.

— Ах да, передача опыта... Без опыта невозможно,— гнусавила она с отвращением, на какое только была способна, пытаясь из последних сил изобразить благостную улыбку на лице.— Я так и поступлю, как вы мне советуете. Ничего умнее я никогда не слыхала,— одно тонно тянула она, пока не лопалось ее терпение и пока глотка ее не исторгала визгливо-злобную ругань.— Отстань, дура ненормальная! — кричала она.— Розетка старая! Уйди отсюда, а то я не знаю, что со мной будет! — кричала, наклекая на себя беду, которую с облегчением принимала и как бы пряталась в ней, успокаиваясь и сохраняя таким способом независимость и величайшую тайну своего бытия, на которую было совершено очередное покушение.

Она панически боялась в ком-то повториться.

Ра Клеенышева и отца своего, который ушел из семьи, когда ей только исполнилось шесть лет и который потом умер, облившись вина, любила лишь за то, что он не успел ничему научить ее в жизни. Она

почти не помнила его, но все-таки кой-какие сценки из жизни с отцом вдруг ярко всплывали в памяти... Дождь, трамвай, черная мокрая улица, бегущие мимо тротуары с отражениями светлых домов, черные зонтики, люди. А она, глядящая в окно с колен отца, на весь вагон со вздохом восклицает:

— О-ой! А в деревне сейча-а-ас! Грязь. Около фермы утонуть можно до головы, да, пап?

Он в ответ засмеялся, и все люди в вагоне тоже заулыбались, а она вместе со всеми стала смеяться, не понимая, чем она рассмешила их, и так разошлась в своем желании еще больше развеселить всех, что стала подпрыгивать на коленях у отца и, показывая пальчиком на уплывающие назад дома, спрашивала с визгливым захлебом в голосе:

— А это дом для преступников? — веселя людей и смущая отца. — А этот? Тоже для преступников? Да, пап? Этот тоже для преступников? А этот? Ну, пап! А этот?

Она до сих пор чувствовала душевную неловкость перед покойным отцом, особенно когда приходила на могилу, за которой никто не ухаживал, кроме нее. Что это ей взбрело вдруг в голову? «Дом для преступников». Откуда? Она этого не знала. Зато хорошо помнила и берегла в себе то ощущение детской безнаказанности и шальной радости, какой никогда больше не испытывала в жизни, будто что-то отмерло в ней навеки, потерялось, как ключ от квартиры. Без конца надо было взламывать запертую дверь, чтобы сохранить в себе эту счастливую безнаказанность!

Осенью рано ударили морозы. Температура упала до минус шести градусов по Цельсию. Два дня и две ночи дул холодный, пронизывающий, очень непривычный для этого времени года ветер. Улица была наполнена незнакомым доселе тревожно-трещащим шумом — это шумели на ветру промерзшие пластинки зеленых листьев тополя, в жилах которых был лед. Миллионы этих зеленых ледяных листиков постукивали друг о дружку, издавая шумный и недружный хруст и стук. Но на третью ночь небо затянулось облаками, и утром люди проснулись под дождем. Листья тополей обмякли, разбухли, залоснились неживой уже темной зеленью и стали падать. Улица опять наполнилась незнакомым, шмякающим, лягушечьим каким-то шумом. Листья опали с катастрофической быстротой, вселяя тревогу в души людей. День был пасмурный, деревья стояли мертвенно-тихие. Движение воздуха совсем прекратилось. И в этой тишине днем и ночью падали вниз тяжелые и мягкие листья, убитые морозом. Все палисадники и тротуары были устланы толстым слоем мертвой зелени. Сырой воздух, пронизанный невесомым бусом, который невидимо опускался из облаков, туманя все вокруг, был насыщен запахом оттаявших листьев, источавших смолистую горечь. Листья падали вниз отвесно и быстро и, шмякаясь, безжизненно расплывались на земле. Дворники не успевали сметать их в кучи.

В одну из таких тихих и тревожных ночей Ра Клеенышева вернулась домой в четвертом часу ночи. В темном пространстве спящего дома раздался предательски громкий щелчок дверного замка. Затворив за собой дверь, она разулась и в одних чулках, держа в руке грязные туфли, прошла, пошатываясь и заплетаясь ногами, в темную свою комнату в коммунальной квартире и рухнула на застеленную кровать.

Ее стало подташнивать от вина и от всего, что с ней в эту ночь случилось.

Мать спала, похрапывая во сне, но Ра знала, что она не проснется, даже если в комнате зажечь все лампы. Не мать ее пугала, а сероватая тьма узкого коридора, в которую надо было обязательно сейчас

выйти, и шум воды в ванной, от которого могли проснуться соседи. Никогда еще в жизни не пугала ее так эта жуткая, небывалая тишина спящей квартиры! Она зажгла похожий на свечку ночничок над кроватью, взяла с этажерки круглое зеркало и боязливо, как в пропасть, заглянула в блеснувший круг, в котором не уместилось ее лицо с опухшими и безумноватыми глазами. Она поднесла еще ближе это зеркальце и увидела теперь только свои глаза, смятые распирающим, тоскливым испугом и удивлением. И внутренний ее испуг, который она чувствовала всем телом, каждым волосиком обезображенной, как ей теперь казалось, кожи, который голодом подводил ноющий от тоски живот, — этот ее испуг столкнулся вдруг с испугом внешним, увиденным ею в зеркале.

Онемевшая от поцелуев губа тоже распухла, покрывшись лощеной, сухой пленкой. Очень хотелось курить. В сумочке у нее две сигареты, которые она взяла у него: своих она еще не покупала. Медленно и брезгливо сняла с себя одежду, точно она была заразной, накинула халатик, сунула ноги в тапки и, слыша их тихое пошептывание по паркету, вышла в темноту коридора или, точнее сказать, в узкую щель длинной прихожей. В кулаке она зажимала спички и сигарету, неприятно пропахшую духами, которую она с отвращением выкурила в уборной, задушив себя дымом...

А потом долго отмывалась в ванной, в панике думая о возможной заразе, о беременности, казавшейся ей страшнее любой заразы. Как о внезапной, заразной и чуть ли не смертельной болезни думала она о том, что с ней случилось в эту ночь. У нее как будто не было теперь ни будущего, ни прошлого. Время, в котором она жила теперь, остановилось, наполнив душу страхом и пустотой. Ее вдруг начинала колотить нервная дрожь, и она завинчивала тогда кран холодной воды до отказа, обжигаясь под белыми струями кипятка, терпя этот ад, это чистилище, в котором она, великая грешница, казнила себя и свою опозоренную плоть. Ее порой подмывало закричать во все горло, стоило ей только вспомнить о простом и чистом вчерашнем дне, и кричать на весь дом, чтобы все сбежалось на крик. «Это он во всем виноват! — кричала бы она людям. — Я не хотела! Нет!» Но она в ужасе понимала, что это была бы ложь. Красивый, похожий на писанного Христа с длинными локонами, в бороде и в усах, высокий парень, у которого на левой коленке потертых джинсов была кожаная заплатка, а черный пиджак истекал запахами старой пропотевшей кожи, табака и духов, возбуждающими и пленительными ароматами мужской силы... Нет! Она теперь не думала о нем: ей не хватало на это сил и времени.

Все было теперь заполнено ее собственным горем, ее неразрешимой тоской, и не было ни единой щелки в этом уплотнившемся, густом времени, в которую можно было бы втиснуть что-нибудь из того внешнего мира, где жили люди и этот красивый парень и где ей самой теперь как будто бы не было места. Все ее силы были сосредоточены теперь на борьбе с невидимым и непонятым злом, которое надо было во что бы то ни стало отторгнуть от себя.

— Учти, девочка, я не собираюсь на тебе жениться. Я из другого клана.

— Я тоже.

— Тогда мы подойдем друг к другу.

Молчание.

— Мне нужна женщина.

Молчание.

— Женщина, а не девушка. Понимаешь меня?

— Понимаю.

— Я ненавижу белые платья невест. Белый цвет — цвет невинности. А под ним скрываются опытные женщины, им дарят розовые и белые гвоздики. Люди лгут друг другу. Мать невесты плачет от счастья, радуясь, что избавилась от идиотки, которая в пятнадцать лет

сделала первый аборт... Все это называется свадьбой. Я ненавижу это. А ты?

— Я тоже. Надо жить честно.

— Да, надо жить честно, смотреть правде в глаза. И ничего не бояться. Ты читала «Сорок вторую параллель»?

— Да, но только давно.

Смех.

— Первая ложь, которую я слышу от тебя. Bravo! Начнем счет. Женщины лживы по натуре. Это их спасает.

— Но я другая. Не веришь?

— Чем ты это докажешь?

Молчание.

— Я давно заметил тебя. Ты будешь очень красивой, когда станешь женщиной. Хочешь быть красивой?

— Ты читал, да?!

— Что?

— Там, в сером магазине, в витрине.

— Я, девочка, в магазинах читаю только цены. Между прочим, я давно знаю тебя, ты училась в нашей школе, я знаком был с одной из вашего класса. Ты, может быть, тоже знаешь меня. Должна была видеть — я ведь тоже учился в этой школе.

— Знаю.

— Ты не боишься меня?

— Нет.

— Мы будем с тобой?

Остановленный взгляд, испуг и удивление. Вопрос:

— Что?

— Жить. Мы, кажется, договорились: ничего, кроме правды. Я тебя верно понял?

— Да.

— Что «да»? То — «да» или то, что я верно тебя понял.

— Лучше потом.

— А вот и вторая ложь. Ты сказала, что не боишься меня.

Впросительный испуганный шепот:

— Но где?

— Это серьезный разговор. Пошли. Ты мне нравишься.

— Куда?

— Есть клевый парадняк, теплый и чистый, с широкими подоконниками. В доме живут сурки, они залегают спать в девять вечера, а просыпаются весной. Я беру бутылку, и мы уходим по-английски. Знаешь, как уходят по-английски?

— Нет.

— Не прощаясь.

Раньше она уже видела этот старинный дом с лепным вензелем на фасаде, похожим на фамильный герб. Теперь, идя следом за Владом, как звали парня, — не рядом с ним, не рука об руку, а именно следом, еле поспевая за ним, — она не могла остановиться и одуматься, находясь в каком-то бредовом состоянии духа.

Ее не испугал чужой подъезд, коричнево светящийся тусклыми лампами, громоздкий лифт с туманным зеркальцем в кабине, в котором она успела увидеть себя и понравиться себе...

Лифт остановился, подняв их на последний, шестой этаж. Она увидела чужие двери, почуяла чужой запах, приятно тепло ухоженного дома. Влад, схватив и дернув за руку, уверенно повел ее вниз, гулко скрежеща подошвами по каменным ступеням, в сумрак межэтажья, к полукруглому окну в глубокой и тоже полукруглой нише с широким, глянцево-светлым подоконником.

— Наш свадебный стол, — сказал он, ставя высокую, узкую бутылку на подоконник. — А ты мне нравишься, черт возьми! Ты будешь очень красивой женщиной. Поверь мне, я это вижу по твоим глазам, я знаю.

Она выглянула в запыленное окно, скрывая от него волнение и стыд. Внизу, в мокрой черноте, пустынно отражались огни фонарей.

— Ты не волнуйся, — сказал Влад, подавая ей бутылку. — Хлебни сухарика.

И она подчинилась, влив в себя из узкого горлышка теплое, согретое у Влада на груди вино, или «сухарик», как назвал его Влад — этот прекрасный, этот удивительный, бесконечно красивый и остроумный, обтянутый черной душистой кожей, сильный и властный, как настоящий мужчина, спокойный и смелый Влад, перед которым она теперь робела, думая со стыдом лишь о своей неумелости.

Он тоже пил вино из горлышка, куря сигарету и глядя с улыбкой на оробевшую девушку. Но наконец решительно бросил недокуренную сигарету на чистый пол, устланный узорчатой ковровой плиткой.

Все это вдруг промелькнуло в сознании Ра, когда она спряталась под одеялом, трясаясь в ознобе. В памяти ее протянулась остренькая стрелочка, которая как бы вонзилась в холодно-спокойное лицо с резко подведенными черной тенью, лиловатыми, как современная оптика, глазами. Она со страхом увидела всепонимающий взгляд, когда они с Владом уходили «по-английски» из полутемной комнаты, в которой собрались ученики бывшего десятого «Б» отметить свои провалы на экзаменах в институты, посидеть осенним вечером вместе, потрепаться, поболтать за бражным столом и забыться. В компании этой оказался и Влад с некрасивой девицей, весь вечер просидевшей возле магнитофона, ни разу не колыхнув могучим своим торсом, словно бы изборажая окаменевшую богиню плодородия.

Ра Клеенышевой было очень хорошо в этот вечер. Она тоже провалилась на экзамене в Плехановский, не рассчитывая на удачу, и только теперь стала с удивлением и любопытством присматриваться к новой жизни: не надо было учить уроки, ходить в школу и исправлять двойки, бояться черной доски и контрольных работ — все это кануло в прошлое. Она с колотящимся сердцем просыпалась порой среди ночи, если ей снились экзамены, но, проснувшись, опять в блаженстве зарывалась в теплую постель и счастливая засыпала, зная, что ей никуда не надо торопиться.

Вечерок устроили в складчину, каждый чувствовал себя хозяином, и только эта девица, эта Эрика, как она назвалась, понимала себя незваной гостьей.

— Влад, — сказала она, фотографируя своими окулярами Ра Клеенышеву, когда она с Владом проходила мимо нее.

Но тот словно бы не услышал своего имени, не заметив некрасивое, глазастое чудо, неподвижно сидевшее в кресле.

Тут бы и остановиться, но Ра, откинув голову и не простившись ни с кем, прошла к выходу и выдернула свое блекло-розовое пальтишко из тесной груды одежды.

Кто она? Ра не знала, не успела спросить ни у своих, ни у Влада.

Но теперь, лежа с открытыми глазами в темной комнате, думала под ровный храп усталой матери о ней. Надо было во что бы то ни стало убедить себя, что девица эта не опасна. Но ничего не получалось — слишком уж уверенно и властно окликнула она Влада, не вышла следом, не поднялась и даже не шелохнулась, как опытная дрессировщица, работавшая с молодым, дурашливым еще псом, которого бессмысленно наказывать, если тот вышел из подчинения.

«Влад», — слышала Ра его имя, произнесенное той, что осталась.

Чем дальше она думала, тем сильнее теперь ее мучила неизвестность; не терпелось скорее увидеть Влада и объясниться с ним. Они расстались до вечера, но она, как пропащий пьяница, мучимый жаждой, ждала рассвета и утренней жизни, чтобы начать поиски Влада, придумывая всевозможные варианты розысков, и старалась найти такой, который не вызвал бы подозрений.

Очень хотелось курить! Она уже успела привыкнуть к этому, хотя приучалась к курению сигарет исподволь и с уверенностью, что в любой момент перестанет это делать. Переимчивая ее натура не выдержала однажды соблазна, и Ра закурила, задохнувшись жгучей вонью дыма, и закашлялась до слез. Но желание быть похожей на случайную незнакомку победило.

Сливочного цвета пальцы с розовым лаком на длинных ногтях, не тронутых работой, коньчико поблескивающий топаз и дымящаяся сигарета, тоже похожая на украшение холеной руки незнакомки, сидящей за легким столиком в летнем кафе в тени парусинового зонта... Именно эта рука приковала внимание Ра. Она исподтишка смотрела, как курит незнакомка, в каком счастливом самозабвении подносит сигарету к губам, как затягивается дымом, откидывая голову в сладостной истоме поцелуя, и как небесно-голубой дым кручено плывет в солнечном луче. И Ра с восхищением вдруг поняла, что вся эта загадочная, воздушная игра дыма на фоне черной земли, во влажной тьме которой цвели нарциссы, и есть та недоступная красота, о которой можно только мечтать. Невесомый цилиндрок пепла упал нечаянно на желтую пластмассу столешницы, а незнакомка, улынувшись своей оплошности, легонько лизнула подушечку безымянного пальца, прикоснулась ею к поверхности серебристо-рыхлого пепла и как магнитом перенесла его в пепельницу. И тут же, прижмурившись, вновь поднесла к губам сигарету, наслаждаясь на зависть всем сладким ядом дыма.

Ра с тех пор невольно стала подражать той незнакомке, которую увидела весной в парке, и, начав курить, иной раз нарочно на глазах у подруг роняла пепел, чтобы так же, как та, перенести его в пепельницу.

Она была очень способной ученицей: все у нее было впереди...

Была драка в морозном блеске зимнего вечера, а точнее сказать, избивание полупьяного Влада, которого она долго выслеживала, не теряя надежды отомстить за себя.

Как она решилась, Ра и сама не знала. Да и трудно было назвать решением привязавшуюся тоску, ведшую ее по следу Влада, которого она очень хотела видеть, готовя себя к неизбежной встрече и не в силах уже что-нибудь изменить в роковом мучительном преследовании. Затаившийся до поры до времени зверь вцепился когтями в душу и не давал ей жить.

Она предчувствовала, что рано или поздно это должно было случиться, и потому в пугливой тишине чужих подъездов, которые менял предприимчивый Влад, торопилась как можно больше взять от дикой своей жизни, с головой погружаясь в круговерть страстей; торопилась, пока был с нею Влад, хоть немножко понять эту жизнь, насытиться ею, набить оскмину, а уж потом когда-нибудь оттолкнуть от себя привязчивого Влада, с которым она покорно шла в дьявольские ущелья спящих домов, перебрасываясь по пути пустыми словечками... Закуривала и, прислушиваясь к особой тишине каждого нового дома, целовала Влада, гладила тугую упругость густых волос, торопясь с новыми поцелуями и замирая, если в тишине раздавался стук двери.

Только шепотом изъяснялась она со своим Владом в этой новой и скоротечной жизни, которая так затянула Ра, что она уже не видела ей конца.

Но Влад однажды не пришел, подослав вместо себя друга.

Веселый и смешливый парень в большой пушистой шапке из серого кролика, некурящий и, как выяснилось, непьющий, сумел сделать так, что она опьянела, просидев с ним весь вечер в теплом и темном подъезде, в котором она никогда не бывала с Владом. Она выпила чуть ли не полную бутылку «Фетяски», которую парень принес с собой в кармане. А опьянев, расплакалась, когда тот поцеловал ее, сказав, что она красивая мышка и хорошо пахнет. Ее никто еще так не называл и не говорил, что она хорошо пахнет. Видимо, у этого был чутыстый, не забитый никотином, все обнюхивающий нос. Но она-то понимала, что от нее пахнет вином, и обиделась.

— Пстой, мышка! Куда ты? — сказал он, силой удерживая ее, когда она, чуть ли не падая, подошла к лифту. — Время есть, посиди, оклемайся, а потом уж... Что ты, мышка, мороз на улице! И не спят милиционеры.

Она осталась не потому, что он ее не пустил, а потому, что и сама почувствовала, что очень пьяна и не дойдет до дома.

— Я курить хочу, — сказала она с испугом. — Курить. Понимаешь?

— Курить вредно... Особенно таким симпатичным мышкам.

— А я хочу очень. Не можешь, да? Сигарету... А тогда пойдем к Владу.

— Нельзя.

— К Владу нельзя?

— Его сейчас нет дома.

— А где Влад?

— Придет. А чем я хуже?

— Ты? Ты даже сигарету не можешь достать. Уйди от меня! — закричала она на него. — Где Влад?

— Чего ты, мышка, шумишь? Сиди спокойно. Хочешь отрезветь? Хочешь?.. Хочешь отрезветь? — слышала она его шепот возле уха. — Хочешь быть трезвой? Хочешь?

— А где Влад? — спрашивала она, ничего уже не понимая и проваливаясь в тошнотворную тьму. — Ты сказал... Где он?

— Кто? — слышала она.

Влад... Нет, ты... не он, ты... сказал...

— А если без Влада? Ты же красивая женщина, чего ты вяжешься к нему? Твое дело выбирать, а не вязаться. Покажи пальцем, и каждый будет твоим. Виснешь на нем, как в третьем раунде... Играть надо! Понимаешь меня? Создаешь впечатление умной герлы, а ведешь себя... Что ты! Я ж к тебе с открытой душой, а ты... Ну, как знаешь, — сказал он с досадой и, поправив кашне, повернулся и вдруг ринулся вниз по ступенькам темной лестницы, отбивая в тишине дома дробную чечетку, которая, замирая, оборвалась далеким стуком входной двери.

Испуганная и плачущая, она боялась пошевелинуться во враждебной настороженности пустынных лестничных маршей, в пролетах которых вдруг оживал ворчливый шумок чужого лифта. Кто-то поднимался, выходил, стуча железной дверью, выше или ниже, а она прижималась к откосу окна, словно хотела втиснуться в холодную стенку, понимая с ужасом, что ноги ее не удержат, если она попробует сейчас пойти домой... Наконец лифт, этот злобно поблескивающий желтым светом ящик, остановился на этаже, где она сидела. Кто-то неторопливо вышел и стал медленно подниматься, направляясь к ней, разглядывая ее из потемок, оцупывая страшным, невидимым взглядом. Она обмерла, готовая закричать во все горло от ужаса, но в последний момент поняла, что это вернулся он.

Как же она обрадовалась! И как благодарила его, когда он протянул ей несколько сигарет и спички.

— Ну, Вла-ад! — мстительно шептала она, затягиваясь дымом.— Ну, Влад. Об этом мы с тобой не договаривались. Такого уговора не было, Влад.— Говорила она звенящим шепотом, от которого самой ей становилось холодно до озноба; говорила так, будто думала вслух, не замечая человека, сидевшего на подоконнике рядом с ней.— Ну, мальчишечка мой хороший! Этого я тебе не прощу... Слушай! — вдруг обратилась она к тому, что сидел рядом.— Ты, наверно, хороший парень. Ты не бросай меня сегодня, ладно? Проводи до дома. Ладно? Я замерзла как не знаю что... Ужас — замерзла как...

И бросила окуроч на пол.

Незадолго до Нового года, в один из вечеров, на заснеженной улице, светло припорошенной и нарядной, протекающей, как речка подо льдом, меж высоких отвалов убранного снега, Ра Клеенышева вышла наконец на Влада. Она его заметила раньше и долго шла за ним в отдалении, не решаясь напасть на него на виду у прохожих. Она знала дом, откуда он вышел с лиловоглазой Эрикой, и догадывалась по его настроению и по шатающейся походке, куда он направится дальше: она успела изучить его маршруты, когда была с ним.

В морозном воздухе шевелились мельчайшие снежинки, поблескивая в свете фонарей. Все было убрано снегом, который даже на мостовой не таял, прикрыв соленую кашницу свежей порошей. След проехавшей недавно машины подчеркивал двумя черными полосами зимнее запустение тихой улицы, ее глушь и пустынность, ее похожесть на реку под тонким еще льдом: каждый шаг опасен, а лед поет и гудит под ногами.

Ра Клеенышева вышла из-за угла дома, из своей засады, когда Влад приблизился вплотную, и, ошеломив его быстрым своим и неожиданным наскоком, со словами:

— С наступающим тебя, Влад! — которые вопреки ее воле вырвались криком, сильно, с разворотом корпуса, наотмашь ударила его по уху.

Тот не удержался на ногах и от неожиданности повалился в сугроб, но не успел подняться, как снова получил сильный и очень удививший его удар, точно палкой, и опять упал, почувствовав кровь на губах, капающую из онемевшего носа.

Ра налетела на него и, не давая подняться, не помня себя, била крепким, промороженным носком сапога, била с остервенением истеричной женщины, норовя попасть по лицу, по голове, которую он защищал скрюченными руками, прося ее сквозь дребезжащий, хихикающий смех остановиться.

— Ты что! — восклицал он.— Ты что ж делаешь?! — И не переставал хихикать, пытаясь подняться на ноги.— Мне же больно! Собака!

Он с трудом поднялся и, горбачась под ее отчаянными ударами, пряча лицо, ощупывая с крайним удивлением окровавленный подбородок, протянул к ней черные от крови пальцы.

— Видишь? Ты что делаешь-то?! — сказал он сорвавшимся от обиды голосом.— Я ж не могу тебя ударить. Была б ты мужиком! — вскрикнул он, резко замахнувшись.— Горбатой бы сделал.

Под этот крик, изловчившись, она снова сильно и метко ударила его по лицу, свалила с ног, будто он стоял на скользком льду, и, свалив, исторгнула из груди рычащий звук, задохнулась от злости и ударила по спине окаменевшим на морозе носком сапога.

На этот раз она сама почувствовала, что удар получился.

— Ах, гадюка! — вскричал Влад, потянувшись от боли.— Что же ты делаешь-то! Я ж не могу! Ты ведь пользуешься, что женщина. Я б тебе врезал сейчас! Больно же мне!

Он поднимался и опять падал, закрывая руками голову, и опять пытался подняться на ноги и поднимался враскоряку, пошатываясь то ли от вина, то ли от побоев.

Наконец Клеенышева выдохлась и, запыхавшаяся, испуганная тем, что так легко избила здорового парня, сказала, переводя дыхание: — Это... тебе за все! Лапонька...

И вдруг увидела ту, о которой совсем забыла в пылу драки. Эрика, кашляя от хохота, держалась за живот и, согнувшись, переступала ногами на хрустящем снегу.

Влад, белый от снега, с окровавленным лицом, пытался поднять шапку и никак не мог этого сделать — его шатало, он поскальзывался и падал, как клоун.

— Собака, — бормотал он. — Пользуешься, что не могу ответить... Ах, соба-ака!

В голосе Влада слышался мычащий, еле сдерживаемый вскрик. Ра, напялив шапку на его голову, на гущину упругих волос, набитых снегом, толкнула его, крикнув в слезах:

— Иди к своей! А то лягушку родит от смеха! Дурак!

И побежала прочь. Она бежала, пока несли ноги, потом долго шла, точно в гудящем и ревушем вихре, ничего не видя и не слыша вокруг. Она не слышала, как под бегущими ногами всхрапывает жеребенком холодный снег, будто у нее оборвалась всякая связь с миром, который был прозрачно-ясен и тих в эту предновогоднюю ночь, разноцветно помигивая елочными лампочками в полутемных окнах людей. Лишь в голове у нее гудел угрюмый и все усиливающийся гул, похожий на шум леса, над которым нависла грозовая туча.

Со стороны могло показаться, что она пребывает в глубокой сосредоточенности, что у нее пылливый и наблюдательный ум и что она не может отвлечься от решения сложной и неведомой людям задачи. Она хмурила тугую кожу на лбу, которая собиралась бесформенными складками, напрягала взгляд опухших от слез, покрасневших глаз, точно вглядывалась в какую-то ускользающую от нее, мерцающую впереди точку. Лицо ее было болезненно-желтым и некрасивым, губа подобралась, утратив нежность и придав лицу зябкое, скорбное выражение обиженной женщины...

Долго рассказывать, как тяжело переносила Ра Клеенышева свое падение, сколько слез было пролито и каково было матери ее, которая не могла понять перемены, происшедшей с дочерью. Куда девались ее заносчивость, ее брезгливое нетерпение, ее взбалмошность и пугающая смелость... Бывало, летним вечером вдруг раздавался на улице зычный свист, в ответ на который кто-то игриво басил ломающимся голосом: «Ыгы-гы-гы! Го-го!» — и слышался гулкий топот, позвякивание дешевой гитары или бешеный ритм магнитофонной записи, а потом пугающий все живое вокруг резкий свист резал ледяным ножом тишину. Если дочь в этот вечер сидела дома, она тут же бежала и распахивала окно, ложилась животом на подоконник и внимательно всматривалась в потемки улицы, пытаясь разглядеть сквозь густую листву знакомых ребят, без которых она не могла жить. Лицо ее оживлялось надеждой, она вся превращалась в слух, слыша в диковатых выкриках и свистах что-то очень заманчивое и призывное, у нее заколачивалось сердце, если она узнавала своих; торопливо причесывалась, обувалась, мысли ее были уже далеко, она уже шла среди басистых и сильных, смелых ребят, слушала их магик, посмеивалась, оглядывалась по сторонам, смеясь над испуганными прохожими... Мать недовольно и тоже испуганно говорила ей, когда дочь убежала на улицу: «Бандиты какие-то пройдут, а она уже — одна нога здесь, другая там! Господи, чего они тебе?! Мать бы пожалела!» На что дочь удивленно откликалась: «Какие же это бандиты? Скажешь тоже! Нормальные ребята».

Теперь не то. Теперь ее не выгонишь из дома. Стала тихая и задумчивая и даже ласковая с матерью, жалея ее, усталую, доводя до счастливых слез... «Мамочка, милая моя,— говорила она теперь, глядя на нее провалившимися, потемневшими глазами,— давай я тебе руки твои поглажу, давай массаж сделаю, я умею, у тебя сразу перестанут болеть руки... А голова не болит? Я могу снимать головную боль. Не веришь?»

Долго рассказывать о той перемене, на которую обратили внимание и соседи Клеенышевых, замечая непривычную вежливость и скромность Раи, ее тишайшую улыбку, когда она гладила какую-нибудь греющуюся на солнце кошку или кормила крошками сизых голубей.

Клеенышева не могла нахвалиться дочерью, взявшейся за ум, и шепотом, будто боясь спугнуть доброго ангела, рассказывала соседям про свою Раиньку, которая закончила курсы машинописи и уже поступила на работу в большое издательство машинисткой, зарабатывая деньги и отдавая их матери, хотя и откладывала немного, чтобы скопить на собственную машинку и подрабатывать по вечерам... Рассказывая, она иногда плакала, говоря, что у них теперь у обеих болят руки от работы, но слезы ее блестели на смеющемся лице, а такие слезы вызывали только зависть людей или чистую радость в ответ.

«Не пьет больше? — спрашивали одни.— Не курит?»

«Нет,— отвечала мать,— она не пьет ни капельки... Только вот курить никак не отучу, хоть и обещала мне».

«Ничего,— успокаивали ее другие.— Раз уж обещала... Она у тебя хорошая, ласковая, приятно смотреть. Ничего... Теперь уж все хорошо будет».

Долго рассказывать о той тишине раскаяния, которая воцарилась в душе Ра Клеенышевой... Она скопила деньги и купила по случаю старую, но очень надежную немецкую машинку «Консул», всего за сто рублей, за которую мастер, менявший зачерствевший резиновый валик, предлагал ей в полтора раза больше, расхваливая эту трофейную и хорошо сохранившуюся машинку, похожую то ли на паровоз Джорджа Стефенсона, то ли на старинный автомобиль, сохранявший еще признаки кареты — так она была громоздка, тяжела и напичкана всевозможными лишними, казалось бы, деталями, которые именно и делали ее чрезвычайно прочной и легкой в работе. По вечерам теперь из окна четвертого этажа, где жили Клеенышевы, раздавался щелкающий треск пишущей машинки, к которому быстро привыкли все люди, живущие в пятиэтажном доме, зная, что это работает Рая Клеенышева, бережливая, как о ней стали думать, и расчетливая девушка, копившая уже деньги на дорогую шубу, о чем им тоже шепнула мать Клеенышевой, ставшая со временем говорить о дочери с такими ужимками, таким таинственно-радостным шепотом, как если бы она не о дочери своей говорила, а о какой-то преуспевающей и не очень понятной ей родственнице, от которой она целиком и полностью зависела в жизни.

В нашем городе бывали раньше душистые и теплые летние вечера, когда в зеленых двориках, утопающих в прозрачной темноте, настаивался прохладный запах ночного табака. Светящиеся цветы смутно виднелись в зеленой тьме, являя собою источники удивительного благоухания, над которыми вились невидимками пофыркивающие крыльями, напудренные и жирные на ощупь ночные бабочки. Они летали и на улице, над тротуарами, кружась вокруг ярких фонарей и отбрасывая на пыльный асфальт большие, скользкие тени; сияли холодным, фосфорическим светом в ядовито-зеленой от электричества листве тополей или лип, пропадая и снова вылетая на огонь... Казалось тогда, что и на улице тоже пахнет цветущим табаком, от аромата которого кружилась голова.

Впрочем, так оно и было на самом деле: именно цветами табака пахло на тихих улочках огромного нашего города. Воздух был еще

чист, улицы просторны, и даже на площадях, куда сходились многие улицы, автомобилей было так мало, что люди шли через площадь в любом удобном для них направлении, не заботясь о пешеходных дорожках, о которых тогда никто еще всерьез не задумывался. Что уж тут говорить о маленьких улочках и переулках, многие из которых остались лишь в памяти коренных москвичей!

Когда наступал вечер, редко-редко заезжали на эти улочки автомобили — блиставшие неизменным черным лаком «эмки» или обтекаемые «ЗИС-101» — канувшие в Лету такси нашего города. Личных машин было очень мало в городе. Нигде не видно было стоящей возле тротуара на улице или во дворе автомашины. Иногда лишь какой-нибудь старый вояка выкатывал из оббитого жестью гаража трофейный «опель» и, дымя вонючим выхлопом, выезжал со двора в город, не зная наверняка, вернется ли своим ходом домой.

Теперь, конечно, другие масштабы, другие названия улиц, застроенных большими домами со многими удобствами: от старых московских дворишков ничего уж не осталось. Вдоль тротуаров и между домами поблескивают запыленной эмалью всевозможных оттенков автомобили разных марок и моделей, отражая по вечерам свет фонарей; из открытых окон летними вечерами слышны включенные телевизоры или ревущие магнитофоны — улицы стали громче, звончее, стеклянистее. Город как бы засмотрелся с башенных высот в эмалевые и стеклянные отражения своего каменного величия, поблескивая вереницами светящихся окон в кривых зеркалах, которыми стали ему служить теперь сотни тысяч автомобилей, и возгордился, вознесся еще выше в холодном равнодушии к людям, к этим счастливым рабам города, навеки потерянным в самих себе и в лабиринтах бетонно-каменного господина.

Однажды майским вечером, когда владельцы автомобилей, приехав домой, включили противоугонные устройства, проверили, бренча ключами, дверные замки и, влюбленно окинув прощальным взглядом затихшие возле тротуаров машины, разошлись по домам; когда владельцы телевизоров, в ожидании программы «Время», с ленцой поглядывали на экраны, скучая без футбола или детектива, которых не было в программе светло розовеющего за окнами вечера, — в этот сиреневый и спокойный час в квартире на четвертом этаже, где жили Клеенышевы, раздался звонок.

Мелодичный его перезвон поперхнулся, но снова огласил квартиру ксилофоническим аккордом и опять в напряжении умолк, зудя над дверью. Кто-то нетерпеливо жал на кнопку, как это всегда делала почтальонша, приносившая пенсию старой соседке Клеенышевых.

Но на площадке стоял очень худой и бледный мужчина среднего роста в коричневой куртке из кожзаменителя и держал в руке картонную папку. Когда Ра отворила дверь, он все еще нажимал на кнопку. Он посмотрел на нее так, будто имел право на нетерпение, и, как бы тоже имея право, шагнул в прихожую.

— Это получается опять так, ага, — сказал он, оглядывая узкий коридор и тощие вешалки по стенам. — Боровков Афанасий Степанович. — И протянул сухощавую руку с набухшими жилами, которую Ра не осмелилась пожать.

Человек был похож на какого-то маленького, но вредного начальника. Взгляд его бесцеремонно вперился в растерявшуюся Клеенышеву, которая была в этот час одна в квартире, занимаясь перепечаткой скучнейшей, но очень выгодной рукописи, надеясь заработать на ней около ста рублей. Звонок застал ее за работой, и она не на шутку испугалась, встретив суровый взгляд незнакомца.

— Что вы сказали? — спросила она так вежливо и так приветливо, как только могла.

— Боровков, Афанасий Степанович,— повторил опасный гость.— Вы работали на машинке. Я рассчитал. Четвертый этаж, окно с фасада, третье от угла. Так, ага... Я не мог просчитаться. Проходил мимо и услышал.

— Нет,— еле слышно ответила Ра Клеенышева, понимая с ужасом, что это какой-нибудь инспектор, который пришел по ее душу.— То есть, я хотела сказать, я не успеваю и поэтому беру домой... Не хватает опыта...

— Получается опять так, ага... Жаль. Я думал здесь,— сказал он с равнодушием смертельно уставшего человека.— Вы? Или, получается, я опять?

— Что?

— Не писатель?

— Какой писатель? Что вы, товарищ Боровков, то есть Афанасий Сергеевич... Что вы! Вы ошиблись. У нас нет.

— Степанович,— строго поправил гость.— Хотя... Стихи, стихи! Все пишут стихи. А я нет! Я — книгу. Но я не виноват. Ни в чем. И могу доказать.— Боровков в задумчивости умолк, переложив из руки в руку свою папку, а потом произнес восторженно-тихим полупшепотом, полукриком: — Докажу только в книге! Когда напечатают. Вы еще пригодитесь мне. Как вас зовут?

Ра всплеснула руками и с недоумением воскликнула:

— Я ничего не понимаю! Вам кто нужен-то?

— Евтушенко. У вас есть полчаса времени? — спросил Боровков и стал снимать свою куртку из искусственной кожи, распространив в прихожей запах изношенного резинового сапога.

— Нет, зачем же... Нет. Я очень занята,— заторопилась Ра.— Извините! Извините, а что вам нужно? Я ведь ничего не понимаю в вашем деле.

Но было поздно. Боровков повесил вонючую куртку на крючок и, не выпуская из руки картонную папку красного цвета с белыми тесемочками, сказал:

— Надо договориться об условиях. Так, ага. Это ваша комната? Третье окно от угла с фасада...

И сказав это, прошел в комнату, словно и на это имел право. Дверь в комнату была полуоткрыта, но Боровков проскользнул в свободный проем боком, не задев ни двери, ни стояка.

— Ну что это такое! — только и сказала Ра плаксиво и жалостливо, не зная, как ей поступить.— Что это такое! — говорила она, проходя следом за ним.— Я никого не ждала. У меня не убрано. Ну что это такое!

Страдальческая улыбка исказила зябкое, точно мурашками подернутое, болезненное лицо Афанасия Степановича Боровкова.

— Никто! Но неужели и вы? Имеете дело со словом... Святое дело! Перед вами человек, который много лет вынашивает вот здесь,— Боровков стукнул себя по груди.— Вот здесь вынашивает главную книгу. Пришел к вам... Какое имеет значение! Убрано или нет. Вот здесь! — воскликнул он с неожиданным озлоблением, опять стукнув себя по груди, да так сильно, что Ра услышала глухой гул.

— Но я-то при чем?! Вот интересно! Если надо перепечатать книгу, я хотела сказать рукопись... Но я совсем не знаю вас. И это как-то странно. При чем тут я, если вам нужен Евтушенко?

От Боровкова нехорошо пахло. Куртка, надетая не по погоде, компрессом распарила его тело, и неистребимый запах пота смущал Клеенышеву.

— Может, вы голодный? — спросила она ни с того, ни с сего, разглядывая усталые его и вместе с тем встревоженные глаза.— Извините, пожалуйста... Я не хотела обидеть, но я не знаю... Просто удивительно!

Ни один мускул на лице его не дрогнул, но Ра по какой-то неуловимой перемене во взгляде поняла, что Боровков снисходительно улыбнулся: глаза его, беспокойно-бледные и словно бы раздавленные невыносимой мукой, только теперь разглядели ее, а сухие желтые уши расслышали.

Он ей показался сорокалетним стариком. Лоб с глянцевыми залысинами, бесцветные волосы, одна засалившаяся прядка которых свалилась серпом на узкий лоб с высоким бугром на темени,— весь вид измучившегося этого человека, с пугающим упрямством вторгшегося в комнату, сбил совсем с толку Ра Клеенышеву. Но, как ни странно, она не боялась его, а насмешливо жалела.

Он сидел перед ней на стуле, положив на колени папку, которую не выпускал из руки, и, смущая Ра напряженным молчанием, чего-то ждал. Она же стояла возле двери и тоже ждала.

— А зачем он вам? Вы его знаете? — спросила она.

Боровков, не взглянув на нее, ответил:

— Мне нужен знаменитый писатель.

— А ведь он же поэт.

— Жизнь была тяжелая,— продолжал Боровков,— образования не получил, а мыслей получается опять так, ага, много. Вот и вы тоже: рукопись, рукопись. А что рукопись, если не знаю, как начать книгу. Горький давал советы. А уж если сам Горький, то любой писатель обязан. Потому что книгу мне надо написать так, чтобы ее сразу напечатали. А то я напишу, а сам умру. Книга так и провалиется. Кто-нибудь найдет и напечатает под своей фамилией. Меня в живых не будет, а ему денежки и слава. Потому что это будет самая главная книга всего человечества. У меня мыслей много, я просто так не могу, не знаю, с чего начать, не умею. Я честно об этом говорю, я ж не виноват. Я без совета никак не могу. Даже и не хочу пробовать. Мне настоящий писатель нужен, чтобы знал, как это делается... У меня образования не хватает, а разве я виноват? Нужда. Пошел работать. Моей вины никакой. Пусть помогут. Сами достигли, надо и другим дать. А то получается опять так, ага,— говорил Боровков, глядя теперь в упор на Клеенышеву, не сводя с нее пепельных своих, опасных, как осиные гнезда, иссушенных злостью глаз. Лицо его было мертвенно спокойно при этом, и странно было видеть шевелящиеся губы, выталкивающие слова, странно было вообще смотреть на этого худого человека, сидящего на стуле с красной папкой на коленях и почему-то горящего про какую-то свою ненаписанную книгу.— Я его везде искал, но от меня скрывают. Боятся. Спрашиваю, а мне говорят: не знаем. Знают, а не говорят, я же вижу. Получается опять так, ага. А я не умею складно писать. Не получается. И что обидно — вины моей никакой нет.

— Вы сегодня обедали? — опять спросила Ра.— У меня там борщ, и могу поджарить яичницу. Извините, конечно, но мне так некогда, просто ужас.

— Вы про еду все время. Я вам про книгу, а вы не хотите ничего понимать.

— Про какую книгу-то? Книгу надо сначала написать, а потом говорить.

— Книгу-то? — переспросил он со священным трепетом в голосе.— Это будет самая главная книга. Никто такой никогда не писал. Потому что я хочу написать про людей, которые ни в чем не виноваты. Разве виноват парикмахер, что он не академик?

Боровков вытянулся всем корпусом в сторону Ра Клеенышевой, вскинув руку, как трибун. Глаза его заволокли туманной розовой слезой. Он поднялся со стула, и Клеенышева увидела, какой он маленький рядом с ней и старенький, тощенький, как фанера.

«Больной,— мелькнуло в ее сознании.— Сумасшедший? Нет... Измучился со своей книгой. Мало ли!»

— А почему он должен быть виноватым? — спросила она с удивлением.

— Вот именно! Почему? Он не должен чувствовать вины. И никто! Я хочу написать... Вот вы, например, тоже ни в чем не виноваты. Ни в чем! Вы делаете в жизни все, что вам полагается. Но философия, этот организм идей... Вот именно! А то получается опять так, ага... Потому что... Эх! Надо мне книгу написать, я в ней все обязательно скажу. Неправильно люди живут. А вот чем надо жить.— Боровков медленно поднял руку и мягко приложил ее ко лбу, а потом так же медленно опустил к груди и прижал к сердцу, совершив все это в торжественном молчании.— И вот,— продолжил он,— третьего июня тысяча девятьсот семьдесят второго года мне открылся новый мир. Я вдруг понял, что люди все хорошие. Все! Материальные условия мне не позволяют, нужда, а книгу надо писать. О другом я не забочусь. Жаль, что нельзя быстро написать. Люди потом будут говорить, почему же книга так поздно написана, напечатана. А у меня — нужда. Книга моя всех примирит, врагов с врагами. Никто ведь не виноват ни в чем! Это я третьего июня понял. Зачем это мне открытие пришло в голову? Может, для того, чтобы и я не прожил на земле бесследно? Я теперь всех людей люблю. Всех! И напишу об этом в своей книге. Все будет понятно всем. Нужно найти для людей место блаженства и успокоения духа! И я знаю, как это сделать, только не умею складно писать. Таланта, может быть, нет. Может быть... Мне в издательствах так говорили. А при чем тут? Они говорят, один человек сказал: знания можно купить, нанять репетитора, например, заплатить ему за уроки, а стать писателем нельзя. Знания покупаются, а талантом люди награждаются от роду. Я задумался... Похоже на правду. Но это получается опять так, ага, что мне, значит, никогда нельзя стать писателем, если я не имею таланта. А если у меня вот тут, в груди, самая мудрая книга? Что тогда? Знания для людей я ношу в груди и не могу об этом никому сказать! А разве я виноват?

Лицо Боровкова было бледно и как бы затуманено внутренней энергией, которую источал этот крайне возбужденный, иссушенный своей страстью человек.

— Я пойду поджарю яичницу,— с жаром сказала Ра Клеенышева, ничего не понимающая в его рассуждениях.

— Какая яичница! Главное — победить в себе зло. А если не победишь, ты раб, потому что зло всегда служит кому-нибудь. Зло всегда в услужении у кого-нибудь. Это лакей — зло! И если оно сидит в человеке, тот и сам превращается в лакея своего зла. Маленькое зло служит злу огромному, наворачивает на себя, как снег, холодный ком зла. Я думал об этом, я знаю. Добро же — это вершина, и только с нее человек может судить зло и оплакивать лакея, который служит злу. Я все это опишу в своей книге. И люди все сразу поймут... Но я, конечно,— сказал Боровков в счастливой усталости, от которой голос его обмяк и стал мечтательно тихим и благодушным.— Я, конечно, начну свою книгу, когда опять наступит весна, расцветут цветы и придет вдохновение. Потому что без вдохновения как же писать книгу про самое главное, про то, что никто из людей, никто ни в чем не виноват: ни я, ни вы — ни один человек на свете. Но вот так, ага... Я пошел. Я, конечно, запомню,— говорил он, выходя в коридор и надевая влажную свою куртку,— четвертый этаж, третье окно от угла с фасада.

И не прощаясь, этот странный гость стал отпирать дверь, вертя рукоятку замка не в ту сторону, сильно дергая дверь, словно его заперли и не выпускали.

— Нет, ну зачем же, не надо,— говорила ему Ра,— я ведь просто так не печатаю... Я ведь художественную литературу никогда не пе-

чатала и не знаю. Я не смогу. Не надо ничего запоминать! А замок вы не в ту сторону крутите.

Она выпустила Боровкова из квартиры и с тревогой подумала о своем будущем.

«Зачем же он ко мне приходил? — думала она с чувством облегчения оттого, что человека этого больше уже нет рядом.— Стал о книге своей рассказывать. Кто я такая? Вот интересно! Что-то, значит, есть во мне такое, чего у других нет, наверное. Другие бы прогнали, испугались... Мало ли! А я нет, я прямо как в сказке. Мне ведь не страшно было, даже интересно».

Работа в этот вечер у нее не шла, она делала много опечаток, ее клонило в сон, в ушах залегла бархатная тишина, и, когда мать вернулась с вечерней смены, она уже крепко спала и не слышала ничего.

А утром проснулась с ощущением предпраздничного нетерпения, зная и веря заранее, что день этот, который только-только начинался, будет особенным. Она с улыбкой вспоминала, но не могла вспомнить и понять, почему в сознании ее звучат такие небывалые, ликующие слова, которые она все время слышит: «...когда в человека влетает утренняя душа», — почему ей так хорошо и жутко слышать их в себе, не зная смысла и значения всей фразы, в которую были вплетены эти слова-цветы: «утренняя душа», но которая как бы тоже где-то звучала, хотя и не для нее. Весь мир был словно озвучен, расцвечен и осенен этими словами, проникшими так глубоко в ее сердце, что уже перестали быть просто словами, а превратились в счастливый настрой души и тела.

Улица за окном наливалась привычным звоном, гулко разносящимся в утренней прохладе: Волкогонов, сосед Клеенышевых, заводил свой автомобиль. Торопливый и жвакающий скрежет стартера потонул в стреляющем урчанье остывшего за ночь двигателя. На балконе у Волкогоновых слышно было, как воркуют и хлопают крыльями, стучат клювами по фанерной кормушке сизые голуби. Пощелкивали каблучки по тротуару. Автомобиль под окнами согрелся, мотор его трижды зычно рявкнул, и Ра услышала, как с подвыванием тронулся с места синий «запорожец», ночующий и летом и зимой на тротуаре под топодем. Крыша с тяжелым багажником и капот всегда у него в белых пятнах воробьиного помета, осенью в дождливые дни прилипают к нему листья, зимой укрыт он слоеной коркой снега, и в лютые морозы кажется, что никогда уже не вернется к нему жизнь. Но всякий раз весной, подкрашенный, отполированный до блеска, с отмытыми серыми шинами на белых ободах, синий, как подснежник, оживает он в один из воскресных дней, съезжает на мостовую, жестко пружиня и попыхивая рубиновыми катафотами на перепаде асфальтированных плоскостей, и с пронзительным ворчаньем, с воющим ревом голодного после зимней спячки зверя вырывается на волю бесконечных улиц. Бессмертному автомобильчику лет уже, наверное, двенадцать, а от Волкогонова, живущего в двух соседних комнатах с женой, маленькой дочкой и старой матерью, всегда пахнет, как от горячего старого мотора, маслом и бензином.

Ра Клеенышева всегда узнавала по голосу визжащий автомобиль соседа и, не глядя на часы, знала, что если сосед отъехал от дома, то у нее в запасе сорок минут: Волкогонов работал на заводе и выезжал из дома без опозданий — ровно в семь тридцать.

В этот день Ра ни с того, ни с сего, как это часто она делала, купила себе обручальное кольцо из позолоченного серебра, надела на безымянный палец правой руки и, очень смутившись, вышла за двери ювелирного магазина, с испугом ступив на тротуар старой московской улицы. Смущение было так велико, что ей казалось, будто все прохожие с усмешкой поглядывают на нее. Она не спеша шла по

улице, освещенной вечеряющим солнцем, и старалась вызвать в себе и проявить на лице спокойствие. Но, как бы разглядывая себя в бесчисленных зеркалах встречных взглядов, она не умела скрыть ответной улыбки, глаза ее застенчиво блестели, как только что распустившиеся листья березы, голова была горделиво откинута назад, губа и подбородок вздрагивали, а ноги не чувствовали прочности тротуара, точно она шла по зыбкой, пружинящей поверхности. Она понимала себя страшной обманщицей, ее веселило и пугало ложное положение, в какое она себя поставила перед людьми. Кольцо приятно стискивало палец, заставляя ее с усмешкой думать о несуществующем муже, с каким она обручилась, и этот мифический супруг тоже казался ей многоглазым насмешником, смущавшим ее, как и прохожие, которые, как ей чудилось, прыскают смехом у нее за спиной.

Она ошибалась. Никто не обращал внимания на обручальное кольцо, желтеющее и горящее искоркой на безмянном пальце. Только казалось Ра Клеенышевой, что люди догадываются об ее обмане. На нее они поглядывали совсем по другой причине: они видели перед собой девушку высокого роста, сильную и хорошо развитую физически, лицо которой броско выделялось в толпе своими очень приятными формами, цветом и изменчивой игрой чувств.

Люди всегда замечают необычность чего бы то ни было, не пропуская мимо и выделяя для себя хоть на миг промелькнувшую красоту или уродство, инстинктом своим чуя необходимость делать это ради утверждения запечатленных образов, которые с рождения до смерти волнуют их своей тайной. «Это красиво, а это нет», — безжалостно фиксирует подсознательный разум, отсчитывая мелькающие перед глазами предметы, достойные примечания, одухотворенные и низменные, живые и взявшиеся тленом. В этом отборе не участвует здравый смысл, но глаз тем временем выхватывает из толпы яркое лицо или грубый мужской профиль и заносит в книгу памяти, словно без этой неусыпной и бессмысленной бдительности сердце может забыть, что есть красота и что — уродство.

Может быть, именно так, случайно, подспудно и проявляется образ извечной национальной красоты? В каждую эпоху, в каждое столетие, а то и в течение десятка лет он обновляется, обретает иной характер, иную манеру или выражение, хотя, разумеется; народ не отходит в прихотливых своих поисках далеко от идеального образа, лишь иногда перенимая у других народов модели удобной и красивой одежды, атрибуты изменчивой моды.

Ра Клеенышевой в этом смысле повезло: она по нынешним понятиям была близка к идеалу красоты русской женщины. Особенно в этот майский день, когда купила себе обручальное кольцо и была крайне взволнована своим поступком. Казалось, что даже и волосы блестели у нее ярче обычного, обрамляя лицо коричневыми локонами, как если бы только что искусный мастер поработал над ее прической. В этот вечеряющий день сама Ра и не догадывалась, как она красива, забыв о себе и думая только о той лжи, которую она выдавала за правду, надев на палец кольцо.

Не этой ли недогадливостью и сомнением, неуверенностью в себе и отличается истинная красота от мнимой, то есть бесспорной, о которой знают все и в первую очередь сама обладательница бесценного дара, требующая поклонения? «Цену себе знает», — говорят про таких женщин, вкладывая некий отрицательный смысл в расхожее высказывание. «Она не знает себе цены», — говорят о другой, подразумевая таинственную сторону женского обаяния.

Ра Клеенышева гоже бывала разная, но именно в этот вечер, неся на своей руке обручальное кольцо, она являла собой пример удивительной, очень нежной и застенчивой красоты, думая между тем о том, как же она объяснится и что скажет своим знакомым,

которые рано или поздно увидят кольцо и, конечно, очень удивятся.

Она не была бы женщиной, если бы не нашла оправдания!

Во-первых, думала она, представляя себя на улице или в кино и словно бы уже объясняя знакомым причину странного своего поведения, теперь люди сразу узнают в ней замужнюю женщину, которой гораздо проще отделаться от ненужных знакомств, уйти от глупой болтовни развязных, прилипчивых парней... «Вы об этом лучше поговорите с моим мужем. Как он на это посмотрит»,— уже звучала в ее сознании фраза, обращенная к ненавистным, нахальным ребятам. Ей казалось, что теперь ей будет намного проще и надежнее жить среди людей. Это кольцо, как она думала, стало теперь в ее руке оружием против той слепой силы, какую она впервые вдруг почувствовала в настырном госте, ворвавшемся в ее комнату. Если бы Боровков увидел кольцо, он, может быть, побоялся бы вести себя так бесцеремонно.

Ох уж этот Боровков! Ра напугали на работе, когда она рассказала «девочкам» под механический треск машинок о странном посещении ее этим сумасшедшим, назвали легкомысленной дурехой и стали сами рассказывать случаи из жизни один страшнее другого, которые были чем-то похожи на вчерашний случай с Боровковым, хотя кончались они все, по их рассказам, трагически: кого-то зарезали, кого-то изнасиловали, а потом... Ах, да что вспоминать ужасные истории в этот золотистый майский вечер!

Кольцо, конечно, не чудовище, но все-таки тоже сумеет сыграть, как рассчитывала Ра Клеенышева, отпугивающую роль, и, если ей понадобится теперь охладить чью-нибудь горячую голову, она может незаметно выставить руку так, чтобы колечко блеснуло своей позолотой.

Все эти доводы в свое оправдание она легко прокрутила, как киноленту, в своем сознании, увидев в картинках все то, о чем думала, и, поверив в магическую силу кольца, стала с этого дня надевать его на безымянный палец, снимая лишь когда мылась или стирала. И так привыкла к нему, что вскоре перестала замечать, как если бы оно всегда было на пальце. А к осени на коже белел уже гладенький след от него, не тронутый летним загаром.

Люди на работе и дома посмеялись над ней слегка и, конечно, посудачили меж собой о дикой выходке незамужней женщины, побранили молодежь, но со временем тоже перестали замечать кольцо, как будто оно и в самом деле всегда золотилось на правой руке у Клеенышевой.

Даже мать и та смирилась, не понимая дочери и чувствуя в ней душу чуждую, не находя в своей Раиньке ничего общего с собой, словно не было у них с ней ни в чем соприкосновения или взаимного участия на жизненном пути.

3. Кормящая

Печальный опыт прошлого возымел на Раю Клеенышеву такое действие, что она стала с задумчивым каким-то недоумением, с излишней осторожностью относиться к людям, хитря и лукавя с ними в мелочах, как если бы они были несмышлеными и наивными детьми, но мнили себя мудрыми учителями, которых ей не хотелось обижать. В каждом из них она видела сумасшедшего Боровкова, лелеющего в больном своем воображении великую книгу, способную очастливить человеческий род. Она была беспредельно ласкова с каждым, понимая себя чуть ли не сестрой милосердия, ухаживающей за безнадежными хрониками.

Она легко и даже как будто с удовольствием давала займы небольшие суммы денег, никогда и никому не напоминая об отдаче.

Если ей отдавали занятый рубль или три рубля, она всегда возражала, горячо объясняя людям, что ей сейчас деньги не нужны и она может еще подождать.

— Ну что это такое?— разочарованно говорила она, если ей не удавалось убедить своего должника и приходилось брать деньги, которые она нерешительно клала в мягкую замшевую сумочку.— Что это вы так торопитесь?.. Я вполне могла бы подождать.

Но в большинстве случаев ей удавалось отказать от денег. Со временем многие сотрудники издательства стали вечными ее должниками, вспоминая о заржавевшем каком-нибудь рубле в самый неподходящий момент, когда в кармане не было лишней копейки. Таким образом Рая Клеенышева раз и навсегда откупалась от людей, просящих взаймы по мелочам. Маленькими одолжениями она приучила любителей алкогольных экспромтов, самых опасных попрошаек, относиться к себе с должным почтением. В решительную минуту, вместо того, чтобы сгоряча стрелкнуть у нее в обеденный перерыв трояк, они закусывали языки и в растерянности топтались перед ней, как школьники перед строгой учительницей, стараясь поскорее ускользнуть за дверь, потеряться из виду Раи, которая всегда с нежнейшей улыбкой разглядывала их, с наслаждением наблюдая их смущение.

Ее считали добрейшим безответным существом, относясь к ней с искренним почтением, не догадываясь о расчетливом ее лукавстве, которое одно только и спасало от лишних хлопот и объяснений с неприятными ей субъектами мужского пола, потерявшими всякий стыд и просящими денег у женщин.

Если же кто-нибудь из них, выходя из подъезда издательства после окончания рабочего дня, оказывался с ней рядом и начинал с добродушной улыбкой о чем-нибудь рассказывать ей, она всегда останавливалась и, потупившись, очень вежливо просила его:

— Вы идите вперед. Мне надо побыть одной. Идите, пожалуйста.

Исключений из этого правила не было. «Идите, пожалуйста»,— говорила она всем, будто и в самом деле свято хранила верность мистическому своему супругу, колечко которого не снимала с руки.

Самой же ей бывало очень плохо, и она чувствовала себя несчастной в кругу многочисленных, но отнюдь не близких подруг, когда речь при ней заходила об интимных чувствах и делах. Она в этих случаях думала о себе с унижением и с душевной гримасой на лице, за что и прослыла со временем холодной святошей, которой недоступны естественные чувства, будто надев колечко, она дала обет безбрачия, навеки лишив себя права любить и быть любимой. Ее жалели, как неизлечимую больную, обреченную на муки.

— Тебе что ж, не нравится никто?— спрашивали иногда, стараясь из простого любопытства вызвать ее на откровенность.

Клеенышева отмалчивалась, разглядывая с печальной улыбкой наивных подружек.

— Разве ты не хочешь выйти замуж? Ты что ж, в старые девы записалась? Ну-ка посмотри, посмотри на меня... Что-то ты скрываешь, девушка, у тебя кто-то есть. Не может быть, чтобы такая красotka была одна!

— Никто мне не нравится,— отвечала Клеенышева, краснея в искреннем и предательски жгучем смущении.

В залоснившейся замшевой сумочке всегда у нее карамельки или печенье — увидит бездомную собаку на улице, подзовет и отдаст ей. Потреплет грязные уши робеющей бедолаги, скажет ей ласковое словечко и пойдет своей дорогой. А собака, оглушенная неожиданной этой лаской, вперется в спину благодетельницы, и в зеленовато-желтых ее глазах, наостренно-внимательных и зорких, заслезится

вдруг не собачья растерянность, словно воскреснет в затуманенном ее сознании, пройдет перед слезливым взором полузабытый образ богочеловека, который когда-то так же ласкал ее, прежде чем затерялся в толпе.

Затаив дыхание, проследит собака за удаляющейся женщиной, ошеломленная внезапной догадкой, и часто-часто задышит, высунув розовый, влажный язычок: не та ли это богиня, которой она служила когда-то? Или забывшийся в зыбкой памяти запах теплой руки, протянувшей ей лакомство, одно лишь напоминание о ней? Не оглянется ли? Не позовет ли к себе? Нет, не оглянулась, не позвала...

Понюхает собака таинственный след ее ноги и снова вскинет голову, но никого уже не увидит в той затянутой дымкой дали, куда ушла обласкавшая ее женщина. Зеленые глаза несчастного пса, гонимого людьми и злыми собаками, жалостливо сощурятся, точно упадет в них яркий лучик солнца; собачонка опять подождет грязное перышко хвоста, уткнется мордой в тротуар и бродяжьей, неторопливой рысью косо побежит через улицу.

Ни одна бездомная собака никогда не увязывалась за Раей Клеенышевой, хотя некоторые из них хорошо знали ее и порой даже прибегали в урочный час на ту улицу, по которой проходила кормилица с душистой сумочкой.

Она тоже узнавала двух «своих», как она стала думать, собачек, которые, завидев ее издалека, улыбались и облизывались заранее. Однажды она догадалась, что они живут среди серых бетонных стен законсервированного строительства, на площадке которого грохотала когда-то и искрилась работа, но потом почему-то все строители, кормившие этих собачек, ушли со стройки. Умолкли механизмы кранов, заржавели рельсы, заросли лебедой и иван-чаем горы земли и песка, бетонные блоки и порыжевшие штабеля труб, а собачки остались по привычке сторожить брошенное людьми строительство, лая по ночам на случайных прохожих, воюя с пришлыми хвостатыми бродягами и отсыпаясь днем в неведомых норах в ожидании второго пришествия шумливых хозяев. Собаки не замечали течения времени: человек, ушедший и вернувшийся к ним через час или неделю, встречал одинаковую радость соскучившихся собачонок, для которых он был уже навсегда пропавшим, а вдруг счастливо возвратился к ним. Но прошло слишком много дней с тех пор, как ушли со стройки люди, и вряд ли вспомнят одичавшие сторожа своих богов, когда те вернутся на площадку.

И все-таки волчино-серенькие бедолаги с копеечными пятнышками желтеньких бровей, с привычно поджатыми хвостами ютились где-то на стройке, исправно исполняя работу добровольных ночных сторожей.

У одной из них появились пушистые, бурые щенята с дикова-тыми, по-медвежьей угрюмыми глазками. Но порезвиться они не успели на пустынном дворе стройплощадки. Их отловили работники санэпидемстанции, о чем догадалась, конечно, Клеенышева, приносящая чуть ли не каждый день еду этим недоверчивым дикарятам, которые обычно как из-под земли появлялись перед ней, осторожно поглядывая на стеклянную банку с духовитым месивом из каши, супа, кусочков черствого хлеба, мясных косточек и рыбьих остатков. Взрослые собачки, бывало, только облизывались в сторонке, когда она кормила щенят, и, поскуливая, выпрашивали что-нибудь и себе. Но у щенков не отнимали, доедая лишь то, что оставалось, и вылизывая их мордочки, испачканные в каше.

Клеенышева, для которой эти кормления стали не только удовольствием, но и страстью, говорила им, как маленьким детям:

— А вы уже получали сегодня, хватит с вас. Не могу же я такую ораву прокормить одна. Как-нибудь обойдетесь. Сами, небось,

знаете, где тут столовая... Вот и сбегайте туда ночью, поройтесь в помойке и найдете себе. Нечего, нечего тут скулить! Наромили пятерых, а кто кормить будет? Я, что ли? Ишь вы какие!

Собачки слушали ее с кислыми, длинными улыбками и, словно бы лакая воздух, звучно и смущенно позевывали в нервном возбуждении.

Но как-то раз щенята, которые без зова стали выбегать к ней навстречу, не отозвались на ее посвистывание. Не пришли и собачки. Она излазала всю стройплощадку, клича их с банкой в руке, оцарапала до крови ногу, задев за торчавшую в траве проволоку, но было пусто вокруг.

Лишь серая ворона сидела на заборе, сердито покаркивая на нее, точно хотела что-то сказать.

Она спросила у нее:

— Куда собачки делись? Раскаркалась! Кар-р, кар-р...

Ворона переступила с одной доски забора на другую, постучала когтистой лапкой по черному клюву, словно прочищая глуховатое ухо, блеснула умным глазом и что-то хриловато проворчала в ответ, снабдив это ворчанье невороньим каким-то писком.

— Что ты сказала? Эй!— удивленно спросила она опять у вороны.

Но та взъерошила перья, встряхнулась, как курица, спрыгнула с забора и лениво полетела прочь, поднимаясь все выше и выше, пока не перемахнула через серую стену постройки.

И в этот момент со стороны улицы, из-за распахнутых ворот осторожно высунулась острая мордочка испуганной собаки.

— Иди, иди сюда, бедняжка! Кто ж тебя так напугал? А где же остальные? Что с тобой? Иди ко мне, я тебе вон сколько принесла,— говорила она, показывая ей стеклянную банку с желтой пшенной кашей.— Чего ж ты боишься? Иди!

Собачонка посунулась было к ней, поджав хвостик к животу, но, увидев, что кормилица тоже пошла навстречу, робко остановилась и тут же, как от бича, опрометью кинулась за ворота, на улицу.

Вот тогда-то она и поняла, что произошло здесь, пока ее не было. И как ни звала, как ни искала уцелевшую собачку, напуганную до смерти, та не вышла к ней.

На нее, державшую банку с кашей в руке, поглядывали люди, а она спрашивала у некоторых из них:

— Вы не видели тут собачку? Серенькую, маленькую такую, с желтыми пятнышками на бровях... Нет? Не видели?— и с задумчивой встревоженностью обращалась уже к себе самой:— Куда же она запропастилась?

Ей было так жалко собачек, которых она кормила, тусклых и угрюмо-веселых щенят, уже признавших ее и даже клянчивших добавки, когда съедали всю кашу или суп; такая тоска обложила ее сердце, что она пришла домой чуть ли не в слезах и, забыв про тяжелую банку, поставила ее на кухонный столик. И только стук банки напомнил ей про кашу, которую она зачем-то принесла обратно домой.

«Вот ведь рохля,— подумала она о себе.— Надо было кашу-то вывалить там... Ночью собака пришла бы и съела. Придется идти, ничего не поделаешь. Господи, ну кому они там мешали! Жили себе и жили, работали по-своему. Их же не кто-нибудь, а люди научили лаять по ночам, они не виноваты. За что же их так?»

И глубокий, спазматический вздох всколыхнул ее и сотряс, как взрыд горько обиженного ребенка, заплакавшего все слезы.

Ра Клеенышева очень изменилась за последнее время. В новой страсти она зашла так далеко, что стала даже из столовой, где обедала, уносить в бумажной салфетке то кусочек мягкой куриной кос-

точки, то голову жареной наваги, а то и просто какой-нибудь жирный хрящ, оставшийся от мяса. Она не стеснялась брать объедки из тарелок застольных соседей, приговаривая при этом извиняющимся и вежливым тоном:

— Это я для собачки. Меня собачка встречает около дома, брошенная, бездомная. И так привыкла! Даже знает, когда я прихожу с работы, и ждет меня. Конечно, помесь! И лайка и другие породы... Всего понемножку. Может быть, даже есть колли, потому что у нее вот тут, над глазами,— говорила она, показывая на свои круто изогнутые брови,— желтые пятнышки, как у колли. Но она маленькая.

И когда она так говорила, люди улыбались в ответ, и было видно, что им приятно слушать ее, приятно сознавать, что на свете есть добрые души, способные бескорыстно заботиться о каких-то брошенных собаках.

— А вы бы ее приютили, если так любите,— говорили иногда в таких случаях.

— Мне, к сожалению, нельзя. Мы с мамой живем в общей квартире, а соседи... Что вы! Они ни за что не согласятся. Я даже и не говорю им про это, чтобы не расстраиваться совсем.

Собачка, которую все-таки разыскала Ра Клеенышева, оправилась от испуга и снова признала в ней свою богиню; серые вороны, живущие на стройке, тоже стали смотреть на нее как на своего человека; молодые воробьи, стайками вылетающие из темно-зеленых ковриков просвирника, в стелющихся зарослях которого они клевали мучнистые лепешки созревающих семян, не очень-то замечали ее, пока было лето. Но когда сухой снег, загнанный морозным ветром в углы и щели, в ложбинки и впадинки, в бурый бурьян и в спутанные мертвые травы, отделил своей белизной леденеющее под серым небом безобразие огромной строительной площадки, воробьи тоже стали внимательно поглядывать на кормящую. Они, как очень заинтересованные наблюдатели, усаживались рядом на бетонных блоках металлической арматуры, на ржавых, спаявшихся трубах. Нельзя было не заметить смиренной терпеливости птичек, ошеломленных первым в их жизни морозом.

К зимним холодам и метелям у Клеенышевой образовалась большая семейка: воробьи и вороны, голуби и собаки, которых она стала кормить рано утром по пути на работу, захватывая с собой из дома в полиэтиленовом мешочке остатки пищи, не доеденной людьми. Она торопливо входила в ворота стройки, птицы поднимали гам, завидев ее: вороны бранили нахальных голубей и собаку, виляющую хвостом; собака улыбалась и смущенно зевала; голуби садились на руки, толпились под ногами; воробьи, не обращая внимания на ворон, голубей и собаку, суетились в шумливой озабоченности, пока кормящая рассыпала на снегу кусочки хлеба, комки слипшейся каши, макарон, вермишели, картошки, корочки сыра, косточки, хрящики и крошки, с которыми в два счета управлялось голодное общество, зимующее на строительном дворе.

Дело доходило до смешного: сослуживцы стали приносить «для собачины» всевозможную еду—котлеты и куски жареной рыбы, остатки яичницы, печенье, сахар и даже конфеты и пирожные. Каждый день после обеда еды скапливалось так много, что Ра Клеенышева стала выносить ее с работы в сумке, складывая туда же по пути и те продукты, которые покупала для себя. Каждый день теперь она шла с работы, как женщина, обремененная большой семьей. Разгружалась сначала на стройплощадке, подкармливала голодную и холодную собачку во тьме зимнего дня, когда птицы спали. Потом, уже дома, вынимала из нее то, что купила для себя, а утром опять шла с этой сумкой на стройку, чтобы выложить остальное на снег.

Заботы эти так закружили Ра Клеенышеву, что она уже стала подумывать, а не сказать ли, что собачка пропала, чтобы добрые лю-

ди перестали приносить объедки, в которых Ра утонула, не зная, во что складывать весь этот жареный, пареный, печеный духовитый товар.

Ра Клеенышева не любила холод, потому что у нее от холода краснел узенький нос с длинной и тонкой переносицей. Лицо бледнело, а нос становился красным, как если бы с него облезла кожа и он был едва затянут глянцевой пленочкой. Красавица, обладающая таким неверным носом, конечно, страдала ужасно. Зимой не помогали никакие припудривания, нос под пудрой светился матовым сиреневым цветом, а летом или зимой в теплых помещениях за едой супа, как она ни сморкалась, как ни вытирала его платочком, он все равно хлопал и скворчил.

Этой особенности своего носа она никогда раньше не замечала, считая, что все носы на свете краснеют на холоде. Лишь сравнительно недавно обнаружила она досадливое свойство собственного носа, формой и плавной протяженностью напоминающего иконописные носы богородиц. Открытие так поразило ее, что она стала каждый день внимательно разглядывать и ощупывать нос, отыскивая в нем какие-либо изъяны и чувствуя себя иной раз совсем как бы без носа, хорошо понимая в эти минуты литературного своего двойника.

— Суп? Нет, супа я не ем,— стала говорить она с некоторых пор.— Окрошку холодную или ботвинью, когда жарко, а суп— нет, я не ем никогда.— То же стала она говорить и про холодную погоду: — А чего хорошего в зиме? Терпеть не могу осень и зиму. Холодно, голо, тихо, как в погребке. Нет, я люблю весну и лето, когда солнышко светит и тепло. Вообще, я очень люблю весну и лето, очень люблю тепло! И это естественно, потому что человек от роду совсем не приспособлен к морозу. Если бы природа приспособила его к жизни в снегу, то он был бы волосатым, как медведь, например. Значит, нормальному человеку зима должна казаться ужасной. А вообще, тут что-то не так, что-то не до конца продумано. Он убивает животных, чтобы себя одеть в чужой мех. Надо же! Все животные волосатые с ног до ушей, а мы голенькие. Может быть, конечно, лет через... ну не знаю! через миллиард, например, лет люди бы тоже стали волосатыми, как и другие. Эволюция всякая, приспособление... Вот тогда бы я... А интересно, какая бы у нас была шкура? Например, я бы хотела, чтоб у меня была, как у... этого... даже не знаю у кого. Самый дорогой мех у кого? У соболя! Бегала бы по снегу, кувыркалась, спала бы на морозе. Хорошо! А такая, как я сейчас, я зиму терпеть не могу. Я, наверное, от какого-нибудь насекомого произошла. От самой красивой бабочки, красивее которой нет на свете! Я бы вообще переселилась на юг, если бы могла. В тепло.

В один из теплых летних дней, когда в подмосковных садах цвели кусты шиповника и роз, привлекая своим запахом насекомых, когда в московском переулке вблизи Садового кольца, где произошла необыкновенная встреча, газоны были паутинно-серыми от тополиного пуха,— в это жаркое время лета земляные муравьи рыли свои норки под толщей тротуара, находя в асфальте трещины, сквозь которые они выносили на поверхность крохотные песчинки, насыпая их золотистыми конусами, как это делают извергающиеся вулканы. Прохожих было мало в этот субботний жаркий день, а машины, изредка проносящиеся по переулку в вихре летающих пушинок, воздушными волнами не достигали закрайки газона, возле которого сидела на корточках Ра Клеенышева и, увлеченная до самозабвения, сыпала в муравьиные норки сахарный песок.

Возле нее лежала на тротуаре сумка, а в руке открытый пакет с сахаром, из которого и брала она белые песчинки, разглядывая вороненых гномиков, суеющихся возле кристаллов сахара, упавших с небес.

Она кормила и, как всегда в таких случаях, впадала в некое сомнамбулическое состояние, отключаясь от внешнего мира и живя только загадочным наслаждением, какое она всегда испытывала, если ей предоставлялась возможность кого-нибудь накормить.

За этим занятием ее и застал Федор Лунышин, случайно проходивший мимо и обративший внимание на эту странную женщину, которая, как он сразу догадался, кормила сахаром муравьев. Какая-то сила потянула его к ней, и он с удивительной раскованностью, на которую никогда не бывал способен раньше, подошел и тоже присел на корточки рядом с Ра Клеенышевой.

— Вы думаете, они едят сахар?— спросил он так, будто кормление муравьев сахаром было распространенной ошибкой многих горожан Москвы.

— Все насекомые любят сладкое,— удивленно ответила ему Ра и взглянула на него с нескрываемым любопытством.

Он увидел ее лицо и обомлел, потому что все лучшее, что когда-то замечал в бывшей своей жене, Марине, все то, что он только один, наверное, мог увидеть в ней,— все это с поразительной ясностью и очевидностью открылось вдруг перед ним в лице этой незнакомки, на правой руке у которой блеснуло полированным металлом кольцо.

«Вы замужем?!»— хотел уже воскликнуть он, но вместо этого с печалью и нежностью в голосе спросил:

— Неужели вы так сильно любите насекомых?

— Я их совсем не люблю,— ответила она тоже с нежностью.— Мне просто интересно кормить! Ну как я могу любить насекомых, если я их совсем не знаю и не понимаю? Станный вы человек...

Он на нее смотрел с восторгом очарованного мальчика, словно боялся спугнуть поразившее его видение. Все то лучшее, что лишь изредка проявлялось блистательной красотой в лице Марины, все это теперь он разглядывал в завершенном виде рядом с собой, не в силах поверить в такое совершенство, воплотившееся в реальность, о котором он давно уже не смел даже мечтать.

— Послушайте!— сказал он, когда она поднялась и взяла сумку в руку. Он все еще сидел на корточках и смотрел на нее снизу вверх.— А вам в какую сторону?

— Мне туда,— ответила Ра Клеенышева, разглядывая его сверху тоже с явным смущением и любопытством, словно бы ей вдруг захотелось накормить его, но она не знала чем.— Мне туда,— говорила она, как бы приглашая его к столу.

И он легко принял это приглашение, сказав с удивлением:

— Мне тоже туда!.. А вы знаете,— говорил он, идя с ней рядом,— насекомые бывают удивительно красивы, и чтобы их любить... Что ж... Красота понятна всем, и ее совсем не надо объяснять,— сказал он, скосив на нее глаза.— Если мне, например, кто-нибудь станет объяснять, почему красива бабочка махаон, то это вызовет во мне только улыбку. Да! Или, например, ночные бабочки... Их почему-то боятся многие женщины... Вы боитесь ночных бабочек?

Она с непроходящим удивлением посмотрела на него, подняв брови, и низким голосом, прорвавшимся вдруг из глубины груди, сказала, как глупенькому:

— Я вообще ничего не боюсь!

— Может быть, это и хорошо, но все-таки надо иногда... Человек должен иногда бояться. Иначе он погибнет,— возразил Федор Лунышин.— Смерти, например, надо бояться.

Она остановилась и с сочувственной улыбкой спросила:

— Вы разочаровались в жизни? Не надеетесь больше ни на что?

Этот неожиданный вопрос застал его врасплох. Никогда и никто не задавал ему подобных вопросов, и теперь он никак не мог вообразить себе, что именно эта женщина, которую он никогда раньше не видел, задала вдруг самый главный вопрос, на который ему надо было обязательно ответить.

«Как я раньше не понимал этого?! — подумал он в смятении. — Надо было давно уже задать себе этот вопрос и ответить: да или нет. Ответить, чтобы жить дальше».

— То есть как? — спросил он, пожимая плечами. — Это очень важный вопрос! Как это он пришел вам в голову? Я бы очень хотел ответить на него. Но все-таки — да или нет — слишком просто. Очарования, разочарования — всего хватало... А вообще-то, — сказал он, выходя из растерянности, — на вас глядячи, можно вполне разочароваться в жизни.

— Почему же это?

А он вместо ответа посмотрел на ее руку. «Правая? Да, правая... А где же?..» — посмотрел и не увидел кольца.

Взгляд этот заметила Ра и поджала пальцы, с одного из которых успела незаметно снять кольцо. Оно бесшумно скользнуло на дно сумки. След от него шелковистой ленточкой светлелся на коже, и она поняла, что ее попутчик уже видел кольцо, а теперь видит след от него.

Ничего не понимая, она и сама очень удивилась, зачем ей нужно было снимать кольцо. Она все время, пока он был рядом с ней, пока видела и слышала его, пребывала в этом радостном удивлении, чувствуя, как горит лицо, жаром своим обжигая глаза, которые беспрестанно разглядывали нечто небывалое и чудесное, к чему она как будто всю жизнь стремилась...

— Что такое случилось? — спросила она. — Почему вы так смотрите на меня?

— Вы потеряли кольцо, — испуганно сказал Луняшин. — Надо найти! Это плохая примета... Но вы не верьте! Так говорят, но не верьте этим сказкам! — поспешил он успокоить ее, дотрагиваясь до незнакомого плеча. — Надо пойти обратно и поискать... Это, наверное, там, где вы муравьев кормили!

Но она не изменилась в лице. В напряженном молчании протянула руку и тоже дотронулась пальцами до головы Луняшина, ошеломив его точно ударом электрического разряда, отчего вся его левая сторона черепа как будто онемела. Ощущение легкого прикосновения было так ярко и так неожиданно, что он взмолился в отчаянии:

— Я совсем один! Никогда ничего в жизни... Простите меня! Я несчастливый человек!

Услышав выпренность своих слов, он усмехнулся, расслабился, уронив голову на грудь. Но это он уже сделал в шутку, пытаясь снять серьезность, бессмысленность мольбы, которая вдруг вырвалась из него воплем застарелой боли.

— Потеряла и хорошо, — услышал он насмешливый голос. — А вы такой худющий, такой бледный... Пойдемте, я вас обедом накормлю.

И сказав это, она пошла, не сомневаясь, что он идет следом и будет вечно теперь с ней, потому что родственные их души откликнулись, окрылились и, как говорили древние мудрецы, возликовали в радостном полете.

Такое случается в жизни. Люди, вчера еще не знавшие друг друга, женятся и живут в супружестве долгие годы, не уставая рассказывать друзьям о своей головокружительной женитьбе.

Вечером Федор Луняшин, задыхаясь от возбуждения, говорил брату по телефону:

— Нет, Боря, все уже решено! Она — чудо! Я без нее не смогу жить. Ты ее увидишь, поговоришь, и ты меня поймешь. Она красавица! Лицо лилейное! Да! Лилейное... Нежное, как лилия, и столько же благородства. Удивительное чудо! И доброты необыкновенной! Я не знаю, но это рок, зов крови... Ну если хочешь, я сейчас же помчусь к ней, и мы приедем к тебе в гости. Хочешь? Хорошо! Только прошу тебя, будь с ней поласковой. Она существо нежнейшее и только в лучах солнца — понимаешь? — в теплых лучах солнца как лилия... Ты ее не оскорби подозрением! Прошу тебя! И поверь мне, я еще не встречал женщины доверчивее и обаятельнее, чем Рая. Ее зовут Рая. Да... Но она с улыбкой... Знаешь, какая у нее улыбка! Она с улыбкой сказала, чтобы я ее звал просто Ра! Бог солнца! Она и есть богиня. Ра! Понимаешь? Боренька! Я бегу к ней. У нее, к сожалению, нет телефона. Но мы обязательно... Постарайся, Боря! Мне без нее уже просто невозможно жить. Я это знаю. Я очень одинок, Борис! Больше не могу. И ты это должен понять. Что ты говоришь? Ах, брось, пожалуйста! Что значит не знаю! Я ее знаю давным-давно! Я приеду с ней, ты все увидишь и поймешь меня. Но пусть тебя не смущает, если она не справится с такой нагрузкой, не сумеет оборотить тебя манерами. Она очень естественная и всякие эти штучки-дрючки, ножи и вилки, салфетки и фарфоры кузнецовские — все это для нее не существует. И я счастлив! Она моя спасительница, Боря. И прошу тебя именно так и принимать ее как мою спасительницу. Все! Я бегу. Я постараюсь ее уговорить. Она, конечно, очень понравится Пуше. Целуй ее! Борька, я счастлив! У меня ни тени сомнения... Ты, конечно, ее полюбишь, а она полюбит тебя. Я это чувствую и знаю. Она дивная женщина! Женщина, девушка — какая разница! Меня это совершенно не волнует, мне нужна родная душа, я истосковался, не могу больше. Все, Боренька. Целую тебя. Прости, я схожу с ума, но это ради нашего с тобой счастья, ради всего святого. Я верю в это, как в провидение... Иначе я глупец и достоин презрения, насмешки, позора, чего хочешь! Но я и на это пойду, лишь бы она была моей. Я тебе потом расскажу, как мы с ней познакомились. Она кормила муравьев сахарным песком. Да, муравьев. Каких-каких! Обыкновенных муравьев! Потом все расскажу. Да, я чужак, конечно, я жуткий чужак и в этом качестве пребываю с наслаждением. Боренька, я бегу, а ты жди меня, я обязательно уговорю ее. Она уже знает о тебе и о Пуше, я ей все рассказал. Она в восторге, потому что, говорит, не слыхала о такой братской любви. Это так мне приятно было слышать, Боря! Это судьба! Я только боюсь за нее, лишь бы она не передумала... Вот что меня тревожит. Я помчался, Борис. Скоро буду. Увидимся. Целую тебя!

Он повесил трубку. Дрожь колотила его. Дыхание было прерывистым. Нетерпение мучило его, как острый приступ болезни. Он схватил из письменного стола все деньги, какие остались от зарплаты, сунул их в задний брючный карман и, хлопнув дверь, помчался вниз по лестнице, не в силах дожидаться лифта, а потом метался по улице, заступая дорогу каждому автомобилю, размахивал руками, смеялся, если его обругивали шоферы, просил подвезти, если кто-либо останавливался, и, наконец, уселся в тесной кабине белого «москвича», договорившись за пять рублей с молодым человеком, что тот дождет его, пока он сбегает за женой, как Лунышин назвал Раю Клееньшеву, и поехал по московским улицам, томясь под светофорами, чертыхаясь всякий раз, если перед самым носом у них загорался вдруг красный и «москвич», поскуливая тормозными колодками, останавливался на перекрестке.

Был в Москве тот светлый час, когда небо, погасив голубые тона, озарилось зеркальным блеском заходящего солнца, и город, погруженный в перламутровую дымку, казался шоколадным. Вознесенные в небо окна электрическими сквозными проемами горели в

прямоугольниках стен. Зеленые светофоры стали синими, а красные превратились в пронзительно-розовые.

Город, который еще днем раздражал Лунышина летящим пухом и жарой, преобразился, окрасившись в небывалые цвета.

Молодой парнишка, сгорбленно сидящий слева от него за рулем, был высокого роста, и Лунышин все время хотел сказать ему что-то очень приятное, спросить у него, не играет ли он в баскетбол, что-нибудь рассказать веселенькое, какой-нибудь анекдот. Но голова была переполнена ликующей радостью, и он забыл это сделать.

Он ждал в узкой прихожей, пока Рая переодевалась. На него исподтишка поглядывали соседи. Маленькая, толстая девочка лет шести подошла и спросила:

— Ты, что ль, ее ждешь? — и улыбнулась беззубым ртом.

Детсадовская смелость играла в ее осоловелых от природы, но бесовски хитрых, всепонимающих глазах; хрящевато-гибкое ее тельце гнулось в кокетливых движениях; липкие пальцы трогали смущенного Лунышина, мягкая рука ее ухватилась вдруг, присосалась своей липкостью к руке застенчивого гостя.

— А у меня вон чего есть, — сказала она, показывая зажим для волос в виде божьей коровки.

— Ах, какая красивая штучка, — похвалил Лунышин, смущаясь.

А девочка тем временем уже прижалась щекой к его руке, стиснув беззубые челюсти в страстной какой-то признательности.

— Не надо, — шепотом попросил ее Лунышин. — Нельзя личиком к руке прижиматься. У тебя чистенькое личико, а руки я не мыл...

— Ой! — воскликнула притворная девчонка и села на лакированный пол, изобразив на лице шутовской испуг. — Ой! — воскликнула она опять, повалившись на пол и задрыгав в воздухе ногами. Но поднялась, как резиновая, и села на шпагат, мяукающим голоском произнесла опять свое ойканье.

— Ты, наверное, любишь цирк, — сказал ей Лунышин, не зная, как себя вести.

— Нет! — тихо вскрикнула девочка, ощерив слюнявый ротик. — Нет! — она была уже на ногах и притерлась вдруг к Лунышину затылком, задрав при этом голову так, что смотрела на него снизу вверх, закатив под лоб глаза.

— У тебя разъедутся ноги... и ты упадешь, — сказал Лунышин.

— Ой! Разъедутся ноги! Куда они разъедутся? Они у меня ходят, а не ездют. Ездют автомобили! — сказала она с выражением обманутой и обиженной, хотя было видно, что она все поняла, и только природное кокетство заставляло ее поступать так, как она поступала.

«Во всяком случае, — подумал Лунышин, — женщине она наверняка не ответила бы так, потому что ей было бы неинтересно вести себя с женщиной подобным образом».

— Ты кривляка, да? — спросил он у нее.

— Я гимнастикой занимаюсь!

— Ах, вон оно в чем дело!

В квартире пахло жареными котлетами. Лунышин остро вдруг почувствовал голод, хотя его и накормила сегодня Ра, но ощущение голода было приятно ему: он уже видел стол, накрытый Пушей, видел замешательство на лице брата и Пуши, их улыбки, вежливые их приглашения, потчевания, уговоры... И так ему было приятно подумать об этом, что он потянулся, расправляя плечи, и глубокий, зябкий вздох вырвался из груди.

В этот момент открылась дверь комнаты, и на пороге ярко освещенного пространства появилась Ра. В темно-зеленом шелковом платье, в глубоком вырезе которого белела гладь открытой груди,

она с грацией сделала к нему шаг, спрашивая взглядом: нравлюсь ли, хороша ли я, одобрит ли брат твой выбор. На литых ее плечах, туго обтянутых зеленым шелком, полированным орехом светились, переливаясь блеском, крутые локоны. Ноги ее, обутые в черные лакированные туфли и перехлестнутые тоненькими ремешками, ступали с девичьей неуверенностью и робостью, будто она впервые вышла к людям на высоких каблуках и боялась оступиться. Длинные рукава платья были стянуты шнурками на запястьях, сборчатыми напусками оттеняя руки. Она тряхнула головой и сказала, овладевая собой:

— Я готова. Мы едем?

И она подошла так близко к Луняшину, что он ощутил лицом жар ее лица.

— Ой! — вскрикнула опять соседская девочка и села на пол. Возбуждение ее достигло предела, когда она увидела нарядную Раю. Она стала кататься по полу и бормотать что-то невразумительное, словно хотела рассмешить очень серьезно глядящих друг на друга молчаливых взрослых людей.— Ой, быры, быры, быры! Что это такое! Ой! — вскрикивала она, звонко шлепая липкими ладошками по паркету.

Но на нее не обращали внимания. Тогда она опять села, опершись ладошками в пол, и увидела, как Рая протянула этому дядьке ключ. «Я сумочку не беру,— сказала она,— возьми в карман». А дядька взял вместо ключа ее руку и прижался ртом, как будто хотел укусить.

Луняшин поцеловал перстенок с маленьким аметистом, надетый вместо кольца, историю которого Ра успела уже рассказать ему.

— Скоро ты наденешь мое,— тихо сказал он, не веря в собственную храбрость.

Она ответила:

— Хорошо.

Окна квартиры, где жили Борис и Пуша, выходили на запад, и когда в дверях раздался звонок, небо уже дымно розовело, был поздний час длинного июньского дня. Но стол под хрустальной люстрой жирно и ярко блестел закусками, фарфором, бутылочными этикетками, маслился розовыми лепестками семги, копченой колбасы, зеленел, краснел ранними овощами, серебрился дутыми ручками массивных ножей и вилок, звал, требовал к себе гостей, маня мягкими бархатными стульями с высокими спинками, сиял огромным цветным натюрмортом среди темно-малиновых стен, с которых на стол и на гостей смотрели фотографии Пуши, Бориса, детей, широкими зубастыми улыбками, смехом, хохотом приветствовавших гостей...

Борис и Пуша, словно бы озвучивая веселые фотографии, встретили смущенного Феденьку, который прятался за плечом своей красавицы, медленно проходившей в комнату, где был накрыт стол.

Она белозубо улыбалась, не слыша, не понимая, что ей говорят, о чем спрашивают, и в ответ только согласно кивала, чувствуя искреннюю радость хозяев, с которыми она то и дело встречалась взглядами и которые усаживали ее за стол на почетное место рядом с Федей.

Она так разволновалась, что не могла ничего сказать и только кивала, приговаривая всякий раз:

— Спасибо, не беспокойтесь... Спасибо,— чувствуя себя неуклюжей дурочкой, над которой впору было смеяться, и не предполагая, что все Луняшины, усевшиеся за привычный для них стол, любуются ею и стараются сами понравиться ей и быть приятными.

— Что вы будете пить? — спрашивал ее старший брат, предлагая бутылки, стоящие на столе, поворачивая этикеткой к ней.

— Коньяк, нет? Красное вино? Это «Кинзмараули», а это белое «Вазисубани», а может быть, рюмку водки?

— Я не пью,— отвечала она, но, боясь обидеть, сказала, вспыхнув под взглядом Бориса: — Вот вы сказали... Как? Красное это...

— «Кинзмараули».

— Это легкое, да? Мне совсем капельку... Нет, нет, не в эту рюмку, а в маленькую... Ну что ж, что водочная, а мне все равно, пожалуйста, в нее налейте... Ну почему же нельзя? Ну хорошо, тогда на доньшко... Хватит... Я ж не пью. Пропадет вино, и все!

— Не пропадет,— уверенно сказал Борис, наливая багрово-красную жидкость в рюмку.— У нас в доме не принято доливать, вот вам и хватит на весь вечер... Знаете, в Болгарии говорят: доливают только масло в лампы, а вином наполняют пустые, до дна выпитые рюмки. Вот когда в вашей рюмке покажется дно, тогда поговорим. Ну а мы с Феденькой водочки выпьем, пока не согрелась.

— Нет,— сказал тот, вызвав удивление на лице брата, который, подняв брови, поднес уже бутылку экспортной «Столичной» к его рюмке.— Нет, Боря, я тоже вина... пожалуй... А впрочем! Ха! Такая закуска, выпью-ка водки! — воскликнул он, засмеявшись и безумно оглядывая всех.

Брови на лице Бориса приняли обычное положение, и водка посеребрила хрустальную рюмочку, наполнив ее до краев. Борис поднял тост за знакомство, чокнулся с гостьей, склонив в знак почтения голову, и вылил серебро в разинутую пасть, явно довольный случаем вышить. Ра только пригубила рюмку, а Федя, все так же безумновато оглядывая сидящих за столом, держал поднятую рюмку, улыбался и, наконец поймав взгляд своей красавицы, которая на темно-малиновом фоне казалась ему небесным божеством, кивнул ей и, зажмурившись, маленькими глоточками выпил водку. Мысль его унеслась, он вспомнил толстую девочку, и ему самому захотелось плюхнуться на пол, дрыгать ногами, кататься и бормотать всякую глупость.

— Что ж мне делать?!— воскликнул он.— Ведь я сегодня напьюсь!

— Ну-ну-ну! Пьяница нашелся! — весело накинулась на него Пуша.— Закусывай, а не болтай языком. Я сейчас горячее принесу,— сказала она и поднялась.

— Я вам помогу,— сказала Ра, тоже поднимаясь.

И как ни уговаривала ее Пуша, она все-таки настояла на своем и ушла на кухню.

Братья остались вдвоем, и Федя вперился страдающе-радостным взглядом в Бориса.

— Ну? — спросил он.— Как тебе?

Борис, который на этот раз был без усов, поднял большой палец и показал его брату из-за краешка стола.

Федя не выдержал, и глаза его набухли слезами.

— Ой! — воскликнул он то ли на взрыде, то ли в нервическом смехе.— Спасибо тебе, Боренька! Я, наверно, сойду с ума. Ты видишь?! Видишь, как она с Пушей?! Пошла с ней вместе на кухню. Ой, господи! Прости, я совсем спятил... Слезы эти. Но ведь как здорово! А? Ты рад? — спрашивал он так, будто, приведя красавицу в дом к брату, не себе, а ему в первую очередь хотел доставить удовольствие.

И доставил, потому что и Борис тоже насупился, и у него тоже задрожала голая губа, и он тоже осевшим голосом сказал, кладя руку на плечо брата:

— Может быть, это твоя судьба. Не спугни. Боюсь тебя поздравлять... боюсь сглазить, но — постучим по дереву...

И оба они, задрвав скатерть, постучали по столешнице, а Борис, откинувшись, осклабился вдруг в улыбке, развел руками и воскликнул, увидя Ра в Пушином переднике:

— Это будет самое вкусное блюдо, какое когда-нибудь знал мой грешный язык!

Ра в счастливой улыбке несла на подносе жареную золотистую утку, обложенную картофелем, а следом за ней с большой вилкой и ножом шла Пуша, делая братьям чуть заметные знаки восхищения, точно хотела сказать и Борису и Феденьке: «Она из нашей породы... Чудо свершилось! Будьте внимательны и не спугните».

— Так, милая, осторожно,— сказала она вслух, освобождая на столе место.— Вот сюда пожалуйста... Хорошо! Ничего что поздно! Завтра воскресенье, а сегодня мы гуляем...

Сияющая Ра, оставшись в белом, расшитом переднике, села за стол, и Федя, не веря своим глазам, дотронулся до нее. Она обвела братьев взглядом и с придыханием в голосе сказала:

— Вы, наверное, голодные, а утка такая вкусная, так хорошо приготовлена, ароматная...

— Мы жутко голодные! — закричал Федя Луняшин.— Мы будем гулять, есть и пить. Ура! Завтра воскресенье. Завтра... Ура!

Он бурно махал руками и вдруг оцепеневал, превращаясь в тряпичную, замусоленную куклу, лицо его выражало безумный восторг, будто было нарисовано неумелой кистью. Борис, в отличие от брата, был сдержан, услужлив и ядовито насмешлив, как бывают насмешливы самоуверенные мужчины, безжалостно уничтожающие своих возможных соперников в борьбе за благосклонность женщины. Пуша поглядывала на него с усмешкой и старалась не замечать, обратив все свое внимание на Феденьку, который разваливался на глазах. Ра освоилась в новой для нее обстановке и, поняв главенство Бориса, всячески старалась понравиться ему, не забывая при этом Феденьку и Пушу, которым не уставала улыбаться, как бы прося прощения за ту зависимость, в какую она попала, став объектом внимания.

Застолье затянулось, и рассвет засинел, заголубел, засверкал в окнах соседних домов, проникнув в комнату к Луняшиным отраженным солнечным лучом, задрожав зеркальным зайчиком в стеклах серванта, в стеклянных золоченых и белых рамках, за которыми смеялись Пуша и Борис в купальных костюмах, бегущие из моря в пенных брызгах, блестящие, как обливные горшки.

И так случилось, что к рассвету уже ни Ра Клеенышева, ни Луяшины — никто не задумывался о будущем, не сомневался в нем, будто бы Ра всегда была женой Феденьки.

Младший Луняшин очень устал, с трудом перебарывал сон. На него заботливо и нежно смотрела Ра, готовая обнять, как ребенка, прижать к груди и убаюкать.

Прошло всего несколько часов, как они впервые встретились в жизни, но этого времени было им довольно, чтобы довериться друг другу и найти душевный покой, нужный для того, чтобы начать все заново, забыв о прошлом.

— Цель жизни,— говорил Федя, требуя к себе внимания,— цель жизни — жизнь. Я это теперь хорошо понял. Мне надоело! Не хочу слышать, что жизнь коротка, а земля — маленький шарик... Не хочу! Жизнь бесконечна, а земля огромна и непознаваема. Вот мой девиз отныне: «Цель жизни — жизнь, бесконечная жизнь на гигантской нашей земле». Другого не хочу слышать! Люди должны знать это. Кому нужно крохотное мгновение на крохотном шарике?! Кто хочет чувствовать себя поденкой?

— Отдохни, Феденька,— говорил ему Борис, снисходительно улыбаясь.

— Нет, Боря, ты не хочешь меня понять. Ты нарочно не хочешь, думаешь, что я пьян и болтаю чушь. Я не пьян. Но когда меня уверяют, что земля малюсенькая, а жизнь очень короткая, у меня опускаются руки. Зачем меня обманывать? Тут философия! Да! В древности земля была плоская и был таинственный край света, потом люди привыкли, что она круглая, теперь людей хотят приучить, что она очень маленькая... Не идем ли мы к мысли, что ее вообще не существует? Зачем и кому это нужно? Ну да, конечно, научный прогресс, относительность, вечность и миг, жизнь — вспышечка во тьме вечности... Так мало! Всего-то навсего вспышечка. И все?

— И все, Феденька, все, дорогой, — так же снисходительно отвечал старший Луняшин, распустив сытый живот. — Главное вспыхнуть и не оставить... дыма. Вопрос этот мы с тобой обязательно решим, но в свободное от работы время. Мне нравится жизнь, которая есть цель жизни. Живи! И оставь астрономам и физикам, кому там еще... Оставь все это людям, которые знают, что они вспыхивают на маленькой земле, а сам живи долго, и пусть для тебя... земля будет огромна. Вот за это я и хочу с тобой выпить.

— Но сами посудите! Как трудно дожидаться завтрашнего дня... Это так долго — дожить до завтра, — говорил Феденька, глядя на Ра. — Вы хотите жить на большой земле долго-долго?..

-- Да! — отвечала ему она с подыгрывающей радостью в голосе.

— Я буду молить предвечный разум, — очень серьезно ответил ей Феденька. — И это обязательно сбудется. Такие, как вы, должны жить долго и счастливо на огромной земле.

— А вы знаете, — сказала Ра, вся осветившись. — Ко мне однажды пришел очень странный человек, говорил про какую-то книгу, и вы знаете, он сказал — жить надо вот так: прижал ладонь ко лбу, а потом к груди... к сердцу. — Она показала на себе, как это сделал когда-то Боровков, и рассмеялась, приглашая посмеяться всех.

— Ум и сердце, — строго объяснил Феденька. — Разум и добро. Все правильно. Честь и совесть.

Смех замер, будто его грубо оборвали.

— А я думала, он сумасшедший, — призналась Ра и покраснела.

Старший Луняшин хрипло засмеялся.

— Конечно, сумасшедший. Вы не могли ошибиться, Раинька! Женщины в таких случаях не ошибаются. Это мы еще можем долго жить рядом с человеком и думать, что он нормальный, хотя и с закидонами, а на самом деле он, голубок, вполне сумасшедший. Как вы сказали? Жить надо так и так? По животику он не хлопал? Нет? Я даже могу описать его внешность. Типичный самозванец. Кого-кого, а самозванцев у нас всегда хватало. Кажется, еще Короленко об этом писал. Пророки... Глупые, в общем-то, люди. Баламуты.

— Нет, Боря, ты не совсем прав, — вяло и ласково возразил Федя Луняшин, настороженно слушавший хрипловатый голос брата. — Я не знаю, о ком речь... Но ведь они живут со своими этими идеями бескорыстно. Они, как правило, несчастны. Проходимец — нечто другое. Проходимцем можно назвать преуспевающего человека. Может быть, он и сумасшедший... этот, кто приходил. Но наверняка он думал о благе всех людей на земле. Я тоже их знаю. Им совершенно чужда идея — сам живи и дай жить другим. Они с ума-то сходят совсем по другой причине: сам хоть не живи, но другим дай жить... Конечно, они, как правило, невежественны, но мне их жаль. Я не могу злиться на них. Они безобидные чудаки, забывшие главный принцип: жизнь — цель жизни. Они же эту жизнь хотят обязательно объяснить и преподать урок человечеству. Это всегда вызывает во мне сочувствие... Но, кстати, все проповедники — деспоты.

Пуша вмешалась и с веселым наскоком сказала:

— Кончайте спор! Ну вас! Будем пить кофе.

— Я с вами,— сказала Ра и ушла на кухню.

Братья, впервые в жизни недовольные друг другом, сидели как будто бы в дреме.

Электрический свет уже рассеялся в небесном сиянии утра. Разоренный стол, издающий кислотатый запах недоеденной пищи, казался грудой помоечного мусора. Первая муха прилетела из открытого окна, по-хозяйски пробуя все, что лежало в тарелках. Отраженный свет солнца позолотил стену и ушел из комнаты, все в ней стало буднично-пасмурным и неинтересным, как это всегда бывает после долгого застолья, когда гости ждут лишь шести часов, чтобы уехать на метро домой и отоспаться, коротая время в полусонных и вялых разговорах, которые уже никого не веселят и не развлекают.

Сквозняк из кухни принес теплый кофейный аромат, ожививший братьев.

— Что мне делать? — шепотом спросил Феденька.— Посоветуй.

— В каком смысле?

— Как мне быть с ней? Что если я...

— Конечно,— согласился с ним Борис, поняв с полуслова брата, который, разумеется, спрашивал, не пригласить ли ему Раиньку к себе домой.

— Думаешь, удобно?

— Она созрела.

— Ну зачем ты так! — шепотом укорил младший Луняшин.

— Женщину надо брать, как власть, а потом уже издавать указы и писать конституцию. Твоя беда в том, что ты все это делаешь наоборот. Слушай меня и делай, как я тебе велю.

— Ты можешь говорить потише?

— Не могу. Я на тебя сердит.

— За что?

— За юродство. Она тебе со смехом о каком-то баламуте, а ты нажал на тормоз вместо того, чтобы поддать газку. Нельзя. «Ум и сердце! Разум и добро!» Что там у тебя еще? Зачем? Ах, какие мы умные! Да? Глупо, Феденька! Сам по телефону просил пощады. И сам же... Вот за это и рассердился. Проси прощения.

— Прости, Боренька. Но... мне тоже хотелось... Я не хотел.

— Хотел, не хотел... Ладно! Прощаю тебя. И делай все так, как я тебе велел. Она твоя. Я тебя поздравляю. И ни о чем никогда не расспрашивай ее, как она жила до тебя, что делала. Забудь!

— А почему?

— А потому, что я хочу видеть тебя счастливым. Про свою жизнь можешь ей рассказать все, а у нее ничего не спрашивай. Будь мужчиной. Ты понял меня? Веди ее по жизни как первую красавицу, которая только что вышла из пены морской... Ты уверен в себе? — спросил он, строго взглянув на брата.

— Не понял.

— Значит, уверен. Черт тебя знает! Может быть, так и надо.

Через месяц и восемь дней Ра Клеенышева стала женой Феденьки. А еще через некоторое время стала готовиться к материнству, ошеломив и обрадовав мужа, который успел, живя с ней, оплыть младенческим жирком, придававшим лицу его приятную гладкость. Исчезли сухие морщинки, какими порой подернута бывала кожа его лица в минуты нервного напряжения, точно Феденька стоял на промозглом ветру, щуря озябшие глаза, из которых вихрь выбивает слезы.

Ра оказалась непревзойденной мастерицей готовить всевозможные кушанья, и Феденька частенько заставлял ее листающей в задумчивости толстую поваренную книгу, над которой она проводила теперь все свободные минуты, изучая с истовостью верующего рецеп-

ты мясных, рыбных и прочих блюд. Мыслью своей она так глубоко уходила в тонкости кулинарного искусства, что иной раз затуманенный взор ее останавливался на одной точке, будто она задумывалась о смысле бытия, дыхание ее утишалось и почти совсем замирало, и лишь редкие шумные вздохи прерывали затаенность восторженно-умиротворенной ее души. Она даже вслух, как стихи, читала мужу некоторые описания кушаний, а когда в рецептах встречала названия некоторых пикантных продуктов, говорила с мечтательной улыбкой:

— Надо будет Борю попросить, может быть, он достанет.

Теперь самым любимым делом, занимавшим всю ее без остатка, стало домоводство и особенно главное ее владение — кухня. Все деньги, оставшиеся у них от зарплаты и всевозможных приработков, она тратила на кухню. Откуда только бралась у нее энергия, способность договариваться с рабочими, со всякими левыми мастерами, которые привозили, разгружали, лепили, красили, отделявали, переделывали ее кухню, превращая убогое некогда помещение в блистающий уголок квартиры.

Над новой газовой плитой, над белыми тумбами, составлявшими вместе с плитой монолитный блок для приготовления пищи, стена до бордюра была словно бы облита сверкающей, переливчатой глазурью табачного цвета. Тесак и разделочные ножи, молоток для отбивки мяса, шумовки, половники, ухватки для сковородок, дуршлаг — все это в строгом порядке красовалось над тумбами, поблескивая металлом и черной пластмассой. В стенных шкафчиках были собраны помимо кухонной посуды самые современные машинки, каждая из которых по-своему жужжала, трещала, гудела, перерабатывая продукты: резала тонкими лепестками сыр или колбасу, ветчину, а то и просто хлеб; выжимала морковный, апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный и прочие соки; с приятным подвыванием молока обжаренные кофейные зерна; готовила фарш; сбивала муссы, коктейли и кремы; с хриловатым воем электромоторчика обжаривала ломтики хлеба, выталкивая из огненно-розовой щели румяные горячие гренки, хрустящие на зубах.

Ра не знала усталости в своем рвении довести убранство кухни до совершенства! С помощью темных людишек она достала и привезла, установила вместо старой мойки новую, обширную, гускло отсвечивающую благородной серостью нержавеющей стали, которая тоже вписалась в монолит кухонного блока. Пол она тоже сменила, настелив вопреки всяческим правилам паркет и покрыв его прочным лаком. Стены, не отделанные плиткой, самым тщательным образом были выровнены, зашпаклеваны, углы выведены с поразительной точностью вертикалей, подготовленные плоскости стен дважды перекрашивались в поисках наилучшего цвета и теперь, пылая оранжевым заревом, не совсем еще устраивали Ра, которая думала опять о перекраске, считая, что травянисто-зеленый или болотный цвет будет более подходящ для глаз и для обстановки.

На стенах висели три натюрморга: две копии и один подлинник. Цветы, исполненные в свободной манере, так что понять, какие это цветы, было невозможно; разрезанный арбуз сочно алел, чернея зернами, на серебряном блюде; подлинник, подаренный Борисом в день свадьбы, был очень ярко написан маслом и напоминал бугристыми наслоениями макет какой-то географической местности, нечто красно-сине-зеленое, про что в свое время Борис сказал, будто бы это работа малоизвестного, но талантливого живописца.

К стене кухни был вплотную придвинут небольшой светлый стол, сделанный под деревенский, из толстых, хорошо подогнанных сосновых досок, пропитанных горячей олифой и кое-где обожженных. Под стол были задвинуты четыре таких же прочных светлых стула с высокими спинками. Набор этот стоил Луняшиным немалых денег, но зато был гордостью Ра, которая сама советовалась с мастерами, вы-

бирая форму спинок для стульев, договариваясь о сроках, о цене, о доставке, умея с завидной самоуверенностью и обаянием спорить, торговаться, просить и требовать, настаивая всегда на своем.

В конце концов кухня стала самым приятным уголком для отдыха, куда был перенесен и телевизор, которому тоже нашлось здесь свое место. На столе всегда стояла зеленая керамическая ваза с цветами и большая пепельница, холщовые салфетки серенькими квадратиками пластались против каждого стула, будто светлый и гладкий стол с древесным рисунком свежих досок ежеминутно готов был принять гостей в деревянные свои объятия.

Лунышины залезли в долги, благо было у кого занимать, потому что Борис никогда не отказывал, будто у него не иссякали деньги, но зато кухня теперь была оборудована так, как Ра до недавнего времени и мечтать не смела.

Однокомнатная их квартирка засияла. Кухня огласилась звуками телепередач, щелканьем пишущей машинки, звоном тарелок, плеском воды, шипением; бульканием жареной и вареной пищи, а Феденька Лунышин стал постепенно забывать ночи и вечера, запустение и недавние слезы, которые он лил когда-то в бессоннице, не в силах переносить тоскливое одиночество.

В ту далекую теперь пору будущее казалось мрачным и не сулящим ему ничего хорошего, страх и отчаяние вселялись в душу, и Феденька не сдерживался, плакал, обливаясь в буквальном смысле слезами, которые только и приносили облегчение.

Все это прошло бесследно, и случайные напоминания о Марине больше не смущали его. Ра же была настолько деликатна, что, обновляя квартиру, меняя занавески, скатерти, постельное белье и прочие мелочи, напоминавшие в той или иной степени о старом быте, она как бы освобождала и себя и мужа от прошлого, тратя на это много сил и денег!

Как будто можно было освободиться от прошлого таким простым и дорогостоящим способом!

Но как бы то ни было, теперь по пятницам, вечерами после работы, они в счастливом забвении, называя друг друга «зайчиками», не уставая целоваться при всяком удобном случае, ласкаясь и всячески выказывая внимание и любовь, садились за прочный, пахнущий деревом стол и ужинали.

С наслаждением следила Ра за тем выражением на лице мужа, какое появлялось, когда она угощала его за чаем новым тортом, который успевала испечь в духовке, чувствуя себя так, будто человечество в лице доброго Феденьки впервые в своей долгой истории вкушает чудо кулинарного искусства, пропитанное эликсиром жизни.

— Очень и очень,— говорил Феденька, шевеля губами, запорошенными сахарной пудрой.— И что особенно приятно, не переслащен.

— Правда? Я так рада... И главное, готовить его очень просто и быстро.

Когда Ра сидела на деревянном стуле, привалившись к высокой спинке, и смотрела включенный телевизор, она казалась очень большой и сильной. И, как это ни странно, Лунышину было спокойно с ней, то есть он с ней рядом словно бы обретал уверенность, какую, вероятно, чувствуют впечатлительные и пугливые люди, если под боком у них есть надежный человек, способный всегда защитить их от непредвиденной беды. Он хорошо знал силу мышц милой Ра, как он чаще всего называл жену,— силу, которая пришла к ней по наследству от сельских ее предков, от бабушек и прабабушек, управлявшихся с вилами и лопатами наравне с мужиками, таскавшими мешки муки и картошки на жилистых своих спинах. Здоровая эта сила, которой налита была красивая женщина, странным образом успокаивала его. Ему было хорошо с ней, как с большой, сильной и преданной собакой, готовой в клочья разорвать того, кто посмел бы тронуть его.

Хотя, конечно, он очень бы удивился и обиделся, если бы кто-нибудь примерно то же самое сказал ему, объясняя таким грубым образом его благостное спокойствие, наступившее в душе спустя два года после развода с первой женой. «Что за глупость вы тут мелете! — возмутился бы он.— Критики!» И был бы, конечно, прав, потому что такие интимные стороны отношений между современными мужчиной и женщиной лучше вообще не затрагивать, чтобы не разрушать остатки мужского самолюбия и непоруганной чести.

Но и то надо сказать, что после замужества Ра заметно приосанилась, окрепла, раздалась в теле, большие и красивые ее руки с еле приметными тенями ветвистых сосудов под золотисто-светлой кожей приобрели ту женственную мягкость и эластичность, какая всегда отличается руки женщины-труженицы от холеной хилости праздных рук, как отличается рабочий инструмент, поблескивающий теплым стертým металлом, от прессованной и безукоризненно чистой нетроутости завалывшегося без дела инструмента. А руки у нее были сильные, как у пианистки, работа в машинописном бюро требовала напряжения ничуть не меньшего, чем ежедневные упражнения за клавишами рояля.

Одежда будто бы лопалась на ней и, наверное, лопнула, если бы не сверхпрочная ткань, но сказать о Ра, что она излишне толста, никак нельзя было. Совсем недавно ее можно было бы сравнить с нераспустившимся бутонem невиданного цветка, который не сегодня—завтра должен распуститься. И он наконец распустился, высвободив лепестки, вчера еще расправившие тугую чашечку, обнимавшую нежнейшую и могучую красоту, которая с таинственной упругостью завершенных своих форм открылась во всей своей прелести под солнцем.

Предстоящие роды заставляли Ра тратить немало предварительных усилий на всевозможные исследования, которые смущали ее.

Преследуя благие цели, наука в лице врачей женской консультации установила слежку за новой своей жертвой, обязанной периодически отмечаться в консультации, ходить на осмотр, сдавать анализы, приносить справки врачей смежных специальностей и, в частности, стоматолога, от которого Рае Луняшиной предписывалось получить справку о благополучном состоянии зубов, чтобы в дальнейшем течении беременности, когда уже поздно будет заниматься зубами, не случилось каких-либо неприятностей. Бедные бабушки и прабабушки! Ничего-то они не знали и не ведали, рожая орущих крепышей, отпрыском которых была и Рая Луняшина.

...В зубном кабинете районной поликлиники четверо стоматологов, три женщины и мужчина, чинят зубы. В кресле у мужчины сидит, видимо, хороший его знакомый и, разинув пасть, набитую ватой, стонет. Жмурит глаза от страха, втянув голову в плечи, напряженный и потный. Врач, усталый и насмешливо-спокойный, по-дружески говорит ему, позвякивая инструментами, перезвонem которых наполнен большой кабинет:

— Ты так стонешь, будто тебе приятно... Помнишь, в молодости мы с тобой так же вот...— говорит он, цементируя канал зуба и сосредоточенно хмурясь,— бывало...

Стоматологи смеются, но тихо, чуть заметно. И вдруг одна говорит:

— А я слыхала, что если двойня родится, сразу дают двухкомнатную квартиру. Правда, что ль?

Тут уж все смеются открыто над ее способностью мыслить ассоциативно, над двухкомнатной квартирой для двойни, над непосредственностью...

Улыбается и Ра, скаля серебристо-белые зубы, которые со всех сторон рассматривает через зеркальце, постукивает, как фарфоровую посуду, врачаха, спросившая про двойню.

— С вами тут совсем,— говорит она, понимая свою промашку.— А вы что,— спрашивает она у пациентки,— ни разу не лечили зубы? Я не вижу ни одной пломбы. С такими зубами и тройню можно рожать.

4. Лунышины

Если бы ведала эта простодушная женщина, какие пророческие слова сказала она на этот раз! Какими бы глазами она смотрела на свою пациентку! На это сидящее перед ней чудо из чудес, о котором она только читала в газетах или слышала по радио и даже ни разу не видела по телевизору!

А Рая Лунышина, ничего еще не подозревая, пришла домой очень довольная, потому что она отпросилась с работы и у нее впереди был свободный день, а в холодильнике мерзли свежие карпы, а вечером к ним в гости обещали приехать Борис и Пуша, а у нее масса свободного времени, и она успеет теперь не спеша все приготовить и как следует угостить дорогих гостей, которых она так полюбила, что у Феденьки отнимался язык и спазм перехватывал горло, когда он замечал эту удивительную привязанность. У нее с Пушей всегда находилось столько тем для разговоров, советов и вопросов, что братья только смотрели друг на друга в умилении и младший, отличавшийся особой чувствительностью, как бы спрашивал старшего: «Ну что, Борис? Как тебе моя Раинька? По-моему чудо, а?! Она так любит тебя и Пушу! Ты доволен моим выбором?» А старший по-кошачьи щурился, кося глазами на женщин, и тоже вроде бы отвечал брату: «Ты, кажется, сам еще не понимаешь, какое сокровище приобрел! Что там твоя теория! Цель жизни — жизнь. Вот она. Без всяких теорий. Завидую тебе, братишка!»

Нина Николаевна Лунышина тоже души не чаяла в Раиньке, как будто в ней текла родственная кровь, тем более что невестка стала с первых же дней знакомства называть ее мамой. В свое время Феденьку сразил вопрос: «Вы совсем разочаровались в жизни? Или еще на что-то надеетесь?» Теперь и Нину Николаевну сразу же подкупила эта простая, ясная, дочерняя любовь девочки, как она называла Раю, и она сама стала любить ее тоже без всякого усилия со своей стороны. А это случается так редко со свекровьями, что даже трудно привести какой-либо положительный пример.

Гости сейчас, конечно, не редкость, но что-то не слышно в последнее время, чтобы часто встречались в гостях друг у друга родные, а лучше сказать родимые люди. Может быть, есть на то и объективные какие-нибудь причины? Может быть, телевизор тоже сыграл свою роль в этом вольном или невольном разъединении людей? Этот надежный аккумулятор одиночества в душе человека... Он очень удобен, когда с экрана с тобой разговаривает, к тебе обращается, приветствует тебя умный и талантливый человек, которого ты всегда можешь при желании как бы зачеркнуть, выключить. Но зато когда приходит живой человек, хозяин телевизора начинает порой страдать от неумения выключить его из своей комнаты: надо слушать, напрягаться, что-то отвечать, вспоминать, спрашивать... Он страдает от бессилия, старается из последних сил быть приятным и не выглядеть дикарем, проклинает несовершенство живого общения. И постепенно хозяин покорного ящика с регулировочными рукоятками начинает избегать встреч.

Поэтому особенно приятны теперь люди, умеющие сохранить з изначальной красоте родственные связи и скучающие друг без друга, умеющие при встрече слушать или рассказывать, то есть одаренные талантом без всякого труда быть живыми людьми, не выключая друг друга, а лишь радуясь встрече, застолию, веселью и любви, которая царит между ними. Ра пришлось ко двору, легко и просто вплелась в сложную ткань семейных отношений Лунышиных, признав за ними

право первенства и избрав себе место достойной приверженицы их традиций.

В этот день начался вдруг теплый дождь и только вечером кончился. Было сыро и парко, отовсюду капали чмокая капли, и казалось, что дождь еще продолжится. Прижатые к земле выхлопные газы, дым, мокрая пыль асфальта сочили во влажном воздухе привычное горожанину и даже приятное ему благовоние. Так бывает приятен запах стреляной гильзы после выстрела из ружья — вожденный аромат древней страсти, тревожный и возбуждающий.

Окна в квартире младших Лунышиных были открыты, но Борис, который был задумчив и молчалив, все равно выходил с сигаретой на лестничную площадку. Ра, хоть и бросила курить, узнав о беременности, нет-нет да и закуривала втихомолочку, втайне ото всех, стараясь лишь полоскать дымом рот и не затягиваться. Одну-две сигареты за неделю она выкуривала, не в силах до конца побороть в себе эту привычку.

И в этот вечер, когда Борис ушел на лестницу, она тоже вышла из комнаты и, не обратив на себя внимания ни мужа, ни свекрови, ни Пуши, которые были заняты разговором, выскользнула на площадку.

Борис в белой рубашке с расстегнутым воротом, под которым пестрела распушенная петля галстука, стоял возле окошка, и когда Ра шепнула ему из-за спины:

— Боря, тихо,— он вздрогнул от неожиданности.— Боренька, ты только не выдавай меня,— шептала она.— Дай одну сигаретку. И я тебя тоже не выдам. Дай, пожалуйста. Я только подымяю, а курить по-настоящему не буду. Я знаю, знаю... Все знаю! Но от одной сигареты, бог ты мой, ничего не будет.

— Мотри, деука! — с причмокиванием сказал ей Борис и протянул пачку «Кента», из которой Ра дрожащими пальцами вытащила белую сигарету с белым фильтром, пожамкала ее, прежде чем подожгла от газового огонька, протянутого Борисом.

— Я так рада, что вы пришли,— сказала она, пуская дым.— Ты не можешь себе представить, как я вас люблю! Я как будто родилась заново, как будто раньше вообще не знала людей. Но я знала, ты знаешь, я знала всегда... это смешно, конечно, но я всегда знала, что в жизни у меня будет что-то такое, чего ни у кого никогда не было, что я вообще особенная, необыкновенная... Я как будто только и жила для того, чтобы встретить всех вас... И такое, знаешь, чувство, будто я разыскивала своих... Знаешь, сейчас разыскивают брата или сестру, родителей или детей... По радио об этом передают, кто во время войны был маленьким и потерялся. Я вот тоже как будто потерялась, а вы меня нашли и узнали, а я вас всех тоже узнала. Так странно, знаешь! Все вы... такие... нашлись...

Теперь Борис стоял спиной к окну, а Ра, возбужденная удавшимся вечером, торопливо курила и так же торопливо говорила, мешая слова с дымом, стоя лицом к окну, и видела за грязными стеклами в размытых сумерках далекий светофор и огни автомобилей... Узкая и темная площадка внизу лестничного марша, крашенные перила, грязноватенькие стены бежевого цвета, железные прутья на оконной раме, предохранительная эта решетка на низеньком окне, об которую Борис раздавил окурочок, тусклый свет электрической лампочки над верхней площадкой, где были двери квартир, коричневый полумрак междумаршевого пятка — все это убожество скороспелого, но уже стареющего дома словно бы толкнуло в сердце, напоминая ей что-то давно уже известное, виденное как бы во сне, и она замолчала, с каким-то подмигивающим любопытством глядя на серый след окурка и на Бориса, который с печалью глядел на нее. Взгляды их встретились, и она и он одновременно вдруг поняли, что нравятся друг другу и что

родство, в каком они состояли теперь, вовсе не помеха для того, чтобы так нравиться, так всезнающе и глубоко смотреть друг в друга...

Борис по своей привычке не приходит в гости с пустыми руками остался верен себе и на этот раз: десяток вяленых вобл и полдюжины «Будвара» были тем маленьким сюрпризом, который он выложил на кухонный стол из объемистого своего портфеля. Ра, нарушая все запреты, ела икрающую воблу, выламывая сухие, карминно-красные дольки твердой икры, самые лакомые кусочки, и жадно запивала их острым пивом.

— Нет, я не могу! — говорила она. — Я не могу! Это что-то необыкновенное! Я так давно не ела настоящую воблу! И это пиво... Нет, я не могу!

Теперь губы ее пахли воблой и были солеными, она это хорошо знала и помнила об этом, когда Борис и она потянулись вдруг, приблизились и поцеловались в губы, сделав все это в напряженном молчании и с такой растворенностью друг в друге, что и тому и другому стало стыдно и страшно.

Рука Бориса была у нее на спине. Под лопатками? Грудь ее была на груди Бориса? Она смотрела на него изумленно и испуганно, раскрыв свои пропылившиеся страхом глаза, но отпрянула и сказала шепотом:

— Господи! Я ведь вся воблой пропахла. — Сказала так, будто это было самым главным, о чем сожалела.

Он поймал ее руку, которую она отдернула было, когда увидела, что он опять тянется к ней, и в мучительном обмирании услышала волнующиеся его пальцы у себя на запястье, их стремительно долгое и страстное пожатие...

— Вот, — сказал он, отпустив ее. — Как это все... хорошо. — А сам при этом глупо, растерянно улыбнулся, непривычно для нее и для себя высоко приподняв уголки растянувшихся в улыбке губ. — Лучше будет, Раинька, если ты не скажешь Феде... Хорошо, моя девочка?

Он мог бы об этом и не говорить. Она демонстративно вытерла губы, нахмурилась и, бросив истлевшую сигарету, быстро поднялась по ступеням, юркнув опять в приоткрытую, но не запертую дверь.

— ...раньше, например, говорили, — услышала она возбужденный голос Феденьки, — «велелепный пир»... Не великолепный, а велелепный, что, собственно, не одно и то же. Говорят же и теперь, например, велеречивый... Редко, но можно услышать.

Никто не обратил на нее внимания, когда она вошла и тоже как бы юркнула на свое место за столом, на диван рядом с мужем.

— А мне не нравится велелепный, — отвечала ему Пуша. — Правильно, что теперь так не говорят. — И в тоне ее голоса слышалась обида, словно бы Пушу ранили, подсунув ей устаревшую вещичку, которая ей совсем не нравилась. — И вообще я против всяких непонятных слов, всяких диалектов. У нас некоторые писатели умеют... так понапишут, что ничего не поймешь... Язык обрабатывать нужно, чтоб он простой был и доходчивый. А некоторые наоборот... надергают всяких слов, напихают их в свои романы — ни за что не догадаешься, что оно обозначает такое.

— Но ведь и в жизни ты тоже не все понимаешь! — горячился Феденька. — Какие-то загадки жизнь тебе ставит, а отгадок не дает. Ты же не ругаешь за это жизнь? Все мы чего-то немножко недопонимаем — я то, ты это, она другое. У каждого в жизни белые пятна. И это естественно! Я же не могу все знать и все понимать. Так и в романе... Я, например, тоже не понимаю иной раз какое-нибудь диалектальное слово, ну что ж! Зато я знаю, что автор это слово понимает и, видимо, не зря дал красочку... Он знает, а я нет. Мне это даже интересно. Он меня таким образом вроде бы как на место ставит, вроде бы говорит: ты не знаешь, а я знаю, и молчи, читай дальше. Это, конечно, когда писатель талантливый. Такой, например, ну я не знаю... Василий

Белов... например, Астафьев... Распутин... Ну кто там еще... Можжев... Очень сильный писатель. Острый. У них, пожалуйста, эти слова встречаются, а ведь в таланте им никак не откажешь...

— Ну не знаю, не знаю,— не соглашалась с ним Пуша.— Классиков читаешь, там ничего этого нет.

— Для нас нет! А для современников? Ты же время должна учитывать,— чуть ли не кричал Феденька, весело и отчаянно смеясь, как смеется уверенный в себе человек, когда его не понимают, но обязательно должны понять.

О чем загорелся спор, Ра так и не догадалась, но слушала, хотя и не вникала в мысли спорящих, занятая собою, внутренним своим миром, в тишину и покой которого ворвался лестничный этот кошмар, забытый ею и перечеркнутый в памяти. Она только теперь почувствовала себя обиженной или, точнее сказать, кипятила в себе обиду, не понимая, как это все у них с Борисом произошло на проклятой лестнице возле проклятого окна... «А что, собственно, произошло? — спрашивала она себя.— Я ему давно нравлюсь, я знаю. А я люблю их всех. Что же в этом плохого?» Но именно то, что неожиданный поцелуй, о котором ни она, ни он не догадывались до самого последнего момента, случился на лестнице, унижало ее. И поэтому она очень тревожилась, будто кто-то специально напомнил ей о давнишней печали, про которую она так счастливо забыла. «Не-ет, ну он хороший человек, он мне тоже нравится, как Феденькин брат... и любит нас... Какой уж тут грех! Подумаешь, поцеловались! Даже интересно. Но дело не в этом. Дело не в этом...— звучало в ней.— Дело не в этом».

Когда же в комнату вошел Борис и громко, еще с порога, сказал подчеркнуто бодро:

— Все спорите? О чем? — она за всех ответила, зазвенев смехом, взорвавшись им изнутри, взвизгнув от расслабляющего какого-то хохота:

— О чем, о чем! О словах, конечно! — И даже откинулась в изнеможении, с перехваченным дыханием, на спинку дивана.— Ой, господи! Велелепные мои! Что же вы ничего не едите? Я готовила, готовила... Мама, Федя, Пуша! А ты, Феденька, хоть бы угостил, по рюмочке еще бы выпили...

Ей к лицу было платье из розового жатого ситчика: вся ткань была в морщинках, и оттого лицо ее и шея, открытые ее руки выглядели особенно свежими и шелковисто-упругими.

Нина Николаевна, сидевшая в уголочке, около торшера, вся озаренная розовым туманом, улыбалась, любуясь Раинькой, ее непосредственной реакцией.

— А вот в старину говорили: первая на здоровье, вторая на веселье, а третья на вздор,— сказала она.— Хватит им, наверное...

— Нет,— возразил ей Борис.— Это неверно. Упущенную возможность трудно поймать за хвост. Так говорят теперь некоторые философы. Наливай-ка, Феденька, потому что что ж о них спорить, о словах этих...

Феденька легко отвлекся, хотя и успел еще сказать:

— Раньше, мама, в летописях писали: мимошедшее лето... А теперь все мимолетное. Сегодня только вторую. Третьей не будет,— приговаривал он, наливая в рюмки.— Или вот еще: застрелил... Странное слово. Стрела, лук, тетива — откуда... В наше время надо бы говорить — запулил! От пули!

Борис со зловещим каким-то весельем взглянул на брата и, ловя его взгляд, бросил ему как бы на ходу:

— Ах, философ! Чем это тебе современность насолила? Старину из сундуков вытаскиваешь. А насчет запулил — это ты запулил... Да... Выпулил...

Взгляд его был тяжел, и, видимо, трудно было Борису и говорить и смотреть в глаза брата. Это заметила Ра, и смех опять стал душить

ее, опять она зашлась в хохоте, как ребенок заходится в плаче, смущая Бориса, будто бы вот-вот могла она сквозь хохот сказать про поцелуй на лестнице, как это часто бывает со смешливыми людьми, которым все на свете трин-трава, лишь бы посмеяться. Страх был в его глазах, и говорил он не находчиво, как обычно, а тупо и словно со скрежетом.

— Давай-ка лучше,— продолжал Борис, косясь на хохочущую Ра,— выпьем за твою красавицу.

А ей смешно было вспомнить живот Бориса, мягкую его выпуклость, смешно и на себя взглянуть было со стороны, и она смеялась, спасаясь нервным весельем от всяких раздумий, зная, что она нравится Борису, что красива и что ей тоже нравятся Феденька и Борис, Пуша и Нина Николаевна, все они очень хорошие люди, в свою очередь которым нравится и она...

Феденька вдруг сказал ни с того ни с сего:

— Черт побери! Как иногда хочется иметь собственную лошадь, собственный дом и конюшенку, овсом кормить лошадь, баловать ее, чтоб она ходила за тобой, как знаменитый Карагез за Казбичем. Но ничего этого никогда не будет. Вот что обидно! Никогда не будет. Вот и тоска как будто беспричинная... А причина есть! Primum motor!

Он и всегда-то в отличие от старшего брата бывал непредсказуем, мог вдруг засмеяться, когда не смешно, сморозив какую-нибудь глупость с унылым видом. А в последнее время странности его поведения стали особенно заметны... Лошадь ему вдруг захотелось! Предлагают выпить за его жену-красавицу, а он про конюшню... Ах, Федя, Федя, подумал про него Борис, не знаешь ты своего счастья...

— Ты мне ответь на такой вопрос: ты хоть счастлив? — спрашивал его Борис.

— Я не женщина,— отвечал Феденька,— чтобы о счастье мечтать. Мужское дело готовить почву для счастья других, а в основном — женщин. Это они бывают счастливы или несчастливы.

— Как же ты это делаешь?

— Что?

— Почву как готовишь?

— А никак! Живу безвредно. Во всяком случае, стараюсь,— отвечал он, и взгляд его при этом бывал безумноватым, словно он резал правду-матку в глаза какому-нибудь высокому начальству, перебарывая в себе страх.— Ведь я как рассуждаю: мой глаза, уши, нос — все это моя пуповина, с ее помощью всасываю я в себя соки живой жизни. Все это та связующая меня с матерью-землей нить, которую если оборвать, то и жизнь оборвется. А мы, как бабочки, живем несколько жизней. Первая — это с пуповиной матери, а потом животом своим, а дальше, когда духовный опыт накоплен, другая пуповина, то есть третья жизнь привязывает тебя к земле,— она-то как раз и есть мои чувства, все то, что меня делает мною, а не кем-нибудь другим. Эта третья жизнь — жизнь чувства. Одна — утробная, другая — земная, а третья — духовная... Разве мало?! О каком еще счастье мечтать?!

— Дурь у тебя в голове, Феденька! Ты уж прости меня за откровенность.

— А мне нравится так вот жить, с дурью... Вот, например, узнал недавно, что раньше примета была: если лошади в дороге фыркают, значит, это к радостной встрече. Как хорошо-то, а! Слышно все и так приятно все это — фыркание радостное и радость от возможной встречи. Сейчас, например, кто тебе фыркнет? Вот и захотелось лошадь заиметь, чтоб фыркала почаще. А вообще-то я сам себе все время кого-то напоминаю, а вот понять кого, не могу. А насчет своей безвредности я рассуждаю просто. Видишь ли, я знаю людей, которые выбирают в жизни трудные дороги, трудные пути, хотя есть тут же рядом и легкие для достижения той или иной цели. Но люди эти считают, что трудные пути благороднее, и выбирают их, отказываясь от

легких. Ну и на здоровье! Живи как хочешь, если ты сам за себя живешь, за себя в ответе. А ведь такие люди и начальниками бывают, руководят другими людьми! Вот тогда беда, то есть тогда вред принесится не только себе, а и людям... В этом смысле я и хочу жить безвредно, потому что принадлежу к этим самым людям, которые отворачиваются от легкого пути... Куда-то лезу не туда... Кстати, есть хорошее чье-то изречение: там, где ты ничего не способен достичь, там нельзя ничего хотеть. А я хочу! Вот беда так беда! А ты спрашиваешь: счастлив ли я? Ты понимаешь, в чем тут дело? Вот представь себе, что у меня в кармане золотые, серебряные и медные монеты. А я медные выбрасываю, зачем они мне! Выброшу медяки и думаю, что я стал богаче. Глупо? Ты, конечно, умнее меня. Нет! В хорошем смысле! Без иронии, я серьезно. Меня так воспитали школа, книги, а главное — школа, у меня учительница, Валентина Петровна — ох, все-то ей казалось мешанством! Приучала нас избегать всякой выгоды в жизни. И вот теперь живет во мне это чувство невыгодности выгоды. Понимаешь? Вроде бы как в раю — все есть, а мне ничего не надо. А это, знаешь, то еще воспитание. Опять же хорошо, если человек только сам за себя отвечает и сам от своей выгоды бежит. А если он людьми руководит? Если начальник? Нет! Жить иначе надо, конечно. Я понимаю. Потребность чего-то рождает у человека энергию деятельности. Без этого нельзя. Потребность что-то иметь выгодна обществу, то есть выгода выгодна. А у меня получается, что выгода невыгодна. Такая вот галиматья в душе и в голове. Кто-то хорошо сказал: «Большие рыбы стремятся в большие моря, а крупные инфузории в большие стаканы». Вот ты, Борис, большая рыба, а я крупная инфузория. Благих намерений у меня хоть пруд пруди, а где, как их применить? Да и потом, чтобы они восторжествовали, эти мои намерения благие, надо сначала зло вырвать с корнем. А я не умею. Не могу в этом достичь ничего, поэтому и не хочу ничего. Потому-то и радуюсь жизни, у которой цель — просто жизнь! Инфузория! Но, правда, не хотел бы быть человеком, который, знаешь, действует только наперняка. Он и ударить может тоже только наперняка — в спину!

Борис Лунышин слушал всегда в таких случаях брата очень сосредоточенно, будто все время ждал выпада, выискивал в его речи слова, касающиеся лично его, Бориса. Смотрел на него пасмурным, набрякшим глазом, а когда тот кончал, откашливался и говорил:

— Заплутай ты Заплутаевич, вот ты кто! Чтобы об этом размышлять, нужно иметь строгое и очень серьезное образование. А то, что ты говоришь, вершки без корешков. Кто-то чего-то сказал, а ты что-то подумал. Необразованные мы с тобой, Феденька!

— Правильно, Боря! Я, например, с идеей Perpetuum Mobile совсем обалдел... Знаешь, что все время обдумываю? Вечный двигатель. Трачу себя не на то... Знаю, что мне это невыгодно, что я отвлекаюсь от главного чего-то, а от чего отвлекаюсь, тоже с трудом понимаю... Вернее, совсем не понимаю, от чего я отвлекаюсь и на что отвлекаю свое внимание, силу, фантазию, энергию души. Главной пружины нет в хребтовине. И, конечно, ты прав, — образования, которое стоило бы того, чтобы рвануться туда без оглядки и забыть все на свете ради чего-то великого! А вообще-то, слушай, интересная, по-моему, идея — машина питает сама себя энергией! Душа разволнуется, как представляю себе эту машину в движении... Ну не дурак? Скажи... У тебя бывает такое?

— Какое? — с насмешкой спрашивал Борис, но отвечал: — Я, Феденька, как ты знаешь, никогда не задумываюсь над тем, как крутится наша планета: быстро или медленно, потому что знаю — все относительно. А ты, по-моему, только этим и занят. Прости меня, глупо! По-моему, она крутится так, как надо, а тебе кажется, что она крутится слишком быстро, как будто раньше она крутилась медленнее. Ну о

каких ты благих намерениях говоришь? О каких? Для кого? Зачем? Порок отдельного человека есть акт независимости этого индивида, он с этим пороком чувствует себя личностью. А ты хочешь избавить его от этого! Младенец! Добродетели твои, допустим, что они и в самом деле добродетели, всегда тягостны для индивида, он ведь сопротивляться будет! Живи проще, Феденька, не мучай себя, грехи, радуйся, злись, но только не задумывайся, как ты это делаешь. Зачем тебе? Будь поэтом в душе. Поэт грешен — поэзия священна. Вот заповеди! Будь грешен, а жизнь как цель жизни всегда священна. Так ведь, Федя?

Феденька Луняшин, вороша волосы на голове, очастливленно смотрел на брата и восклицал с мольбой в голосе:

— Боренька! Ты хорошо размышляешь. Ты умница. Но если бы я мог так жить! Если бы у меня были силы сбросить всю эту муть, выкинуть из головы весь мусор! Как бы я был счастлив. Я ведь это для себя, чтобы легче было жить, придумал: жизнь — цель жизни... Я именно так и хочу жить. Именно так, как ты говоришь. По правилам честности...

— По правилам честности,— поправил его Борис,— которые у каждого свои. Потому что каждому социальному слою соответствует своя система добродетелей, а стало быть и правила честности, как ты это называешь.

— Ах, Боря, Боря!— стоном говорил младший Луняшин.— Как же я тебе завидую. Ты мой поработитель! Тиран, возразить которому не имею сил.

— Надо, братишка, жить так: если винт туго завинчен, его можно и надо отвинтить. А если слабо — довинтить. Винт, он для того и существует,— доверительно подводил итог спора Борис, довольный братом и собой, а сам поглядывал на Раиньку, которая опять увлеклась разговором с Пушей и с Ниной Николаевной, рассказывая им о какой-то старушке, которая в холодильник прятала крышки от эмалированных кастрюль, думая, что эмаль с ее крышек сбивают седи...

— А кроме крышек,— говорила Ра сочувственно,— у нее ничего не было в холодильнике. Она только и ела кашку какую-нибудь. Холодильник в своей комнате держала. Он трясся весь, когда отключался, грохотал, а старушка жила с ним и мучилась, наверное. Говорят, в старости человек становится мудрым... Какая уж тут мудрость! Вот чего я боюсь больше всего на свете, так это старости,— говорила она со вздохом, а сама ответливо смотрела на Бориса, раскрыв свои листьяподобные глаза, в которых бог знает какие глубины видел в эти мгновения зачарованный Борис, точно она говорила нечто одному ему предназначенное и он хорошо это чувствовал и все понимал.

В подобных случаях мужчины часто переоценивают свои возможности и, расшифровывая женский взгляд, сплошь и рядом желаемое принимают за действительное. Некоторые женские натуры с такой откровенной внимательностью и очарованностью рассматривают порой мужчин, что только у редкого стойка может не вскружиться голова при встрече с таинственным зовом невинного и ясного света, льющегося из глаз юной красавицы. А красавица тем временем вовсе и не думает завлекать или каким бы то ни было способом очаровывать мужчину, а лишь смотрит в него, как в зеркало, проверяя лишний раз свою силу, делая это машинально и по привычке, точно так же, как она смотрит в глаза своего собственного отражения, оставаясь наедине сама с собой. Спору нет, утерянная стыдливость, с какой проникают в душу упорные взгляды некоторых из них, может смутить и мужчину далеко не застенчивого в своих помыслах и прилежного семьянина, не помышляющего о любовных похождениях, одинаково приведя души их в трепетное движение. Чего вовсе нельзя сказать о мнимой бесстыднице, в головке которой нет и следа легкомыслия, как и вообще может не быть в этот момент какой-либо определенной

мысли о том человеке, в глаза которому она смотрится, а развращенный тип, лоящийся доверчивые взгляды, считает уже себя вправе составлять свое собственное мнение о всех женщинах как о легко доступных ему сексуальных особах, только и ждущих, чтобы их поманили пальцем. И мнение это он готов отстаивать, хотя в жизни довольствуется только совсем уж неразборчивыми красотками, стыдясь показываться с ними среди друзей.

Но как бы то ни было, старший Луняшин, после того как Пуша сказала со вздохом:

— Сколько ни говори, а назавтра все равно останется,— и поднялась, чтобы идти домой, старший Луняшин на прощанье с особенной нежностью прощупал, словно четки, пластичные пальцы Ра, перебрал их в своих и опять по-родственному приложился к ее щеке, почувствовав и на своей ответной поцелуй, мандариновую прохладу губ, пропахших воблой, эту вопиющую несовместимость ощущений и запахов, которая особенно будоражила его весь вечер и все время, пока они ехали с Пушей домой, и дома, когда он в предсонном воображении вспоминал таинственную прохладу ее сочных губ и резкий запах воблы, смачную соленость поцелуя, стараясь как-то оправдаться перед самим собой и притупить волнение, угнетавшее его, когда он вспоминал, что Раинька беременна.

Он с зевотой сказал Пуше:

— Вышел сегодня покурить, а Рая тут как тут... Все-таки никак не может бросить курить. Женщине вообще что-нибудь бросить — пить или курить — почти невозможно.

— И ты, конечно, угостил,— сказала Пуша.— Зря. Как раз на этой стадии — ни в коем случае.

— Если женщина просит, как это в песне... Если женщина просит,— шутливо нараспев отвечал он Пуше, а сам смотрел на нее и сравнивал, смотрел и думал: «Как же здорово она целуется, чертовка. Не с Федей же научилась! Нет, не с ним. До чего ж проникновенно!»— и думая так, облизывал потихонечку свои губы, помня истаивающее ощущение ее губ, сразу этого лихорадочного поцелуя...— Снегопад, снегопад, если женщина просит,— бормоточком напевал он.— Ничего страшного! Одна сигарета — что она может? Родит богатыря, у нее кровь сильная. И еще какого богатыря! Красавца! А может быть, и красавицу.

И не знал, думая о Ра, что она в это время мыла еще посуду и убирала в квартире, совсем не вспоминая о Борисе. Губы ее шевелились, она тихонько напевала невразумительное, что-то вроде страданий или частушек:

— Чай пила, конфеты ела и забыла, с кем сидела... Чай пила, конфеты... Феденька!— звала она мужа, который сонно откликнулся и с удивлением смотрел на жену.— Ты бы ложился спать. Что ты маешься? Все в порядке. Доехали, спят уж, небось, а ты все ждешь. Ой, чай пила,— задумчиво начинала она снова напевать,— конфеты ела,— звеня посудой в стальной мойке.— Феденька!

— Нет,— отвечал Феденька с глуповатой улыбкой.— Он должен позвонить обязательно. У нас такой порядок. Он обязательно позвонит.

Первые в жизни старший Луняшин, приехав из гостей домой, не позвонил младшему. Он поднял было трубку с аппарата, но передумал и положил обратно. Вдруг раздался резкий и требовательный в ночной тишине телефонный звонок.

— Боренька, милый, я тебя не разбудил?— раздался в трубке в шепоте телефонной тишины тоскующий голос младшего Луняшина.— Я очень волновался. Не позвонил. Почему? Хорошо добрались? А я тут беспокоился, я боюсь, Боря, что ты вдруг за что-нибудь обидишься на меня. Нет? Ну прости меня за это... Я ведь не переживу! Я все время чувствую себя человеком, который жил себе и жил, а потом

вдруг купил себе барометр и стал наблюдать. Во мне теперь этот барометр где-то в душе сидит. Смотрю на стрелку, давление падает, а мне страшно. Ничего не случилось, а во мне уже страх, что надо готовиться к худшему, раз оно падает. Смотрю со страхом, до какой отметки упадет... А вдруг до семисот пяти, вдруг ураган? Раньше бы жил и жил и ничего не знал про давление, а теперь вот зачем-то знаю и почему-то боюсь. Стрелка на семистах шестидесяти, все прекрасно, давление нормальное, а у меня опять сомнения — надолго ли. Вот такая жизнь у меня началась, и ты, Боренька, пожалуйста, не забывай меня и обязательно звони. Обязательно! Слышишь меня? Ну и хорошо. Спокойной ночи. И попроси у Пуши прощения, я, наверно, и ее разбудил. Прости. Да, вот еще что! Ра у меня тут спрашивает, не смог ли бы ты еще воблочку достать? А почему не по телефону? Что? Не понял... Ладно, я передам ей привет... Понятно, Боренька! Прости.

Борис доплелся до белой кровати с высокой резной спинкой, удобной и мягкой. Пуша, дремлющая на такой же, стоящей, как в спальне дорогого гостиничного номера, рядом и отделенная от Борисовой белой тумбой, на которой тлел оранжевый ночник, спросила сквозь дрему:

— Чего ему там?

— Воблы,— с дремотной сердитостью ответил Борис.— Просит по телефону, как будто я могу пойти, стать в очередь и купить ему воблы! Ох, Федя, Федя!

И он, укрывшись до подбородка белым пикейным одеялом, на которое был надет пододеяльник с голубыми горошинами, опять подумал о запахе воблы, о чувственности Раинькиных губ, воображая опять лестничную площадку и ее рядом с собой... Но воображение, обычно подвластное ему, на этот раз не слушалось, видение не приходило, действие не развивалось, как будто в зале, где он сидел, зажигали то и дело свет и экран белым прямоугольником возникал из темноты — пленка часто рвалась, зрители были недовольны, фильм был очень интересным, но почему-то ни одной сцены не мог вспомнить Борис, сидя в освещенном зале перед пустым экраном, на котором виднелся шов.

Через несколько дней он был ошеломлен поведением Пуши и не знал, что подумать, не знал, как вести себя, и долго не мог побороть смущения.

Вечером после работы в ожидании ужина он сидел перед телевизором и смотрел мультфильмы, до которых был большой охотник. Пуша была на кухне, дети на улице. Солнечные лучи уже лепили пятна на блистающем лаком песочно-желтом паркете, было очень светло в комнате, изображения на экране туманны, рисованный фильм простодушно глуп, и время текло бессмысленно.

Пуша позвала его, и он щелкнул клавишей выключателя телевизора.

То, что он увидел на кухне, где они всегда ужинали, когда были вдвоем, не считая детей, которых кормили отдельно, — тот натюрморт, что нахально разлегся на столе, поразил его воображение...

На серой оберточной бумаге, пропитанной жиром, лежали куски грубо нарезанной, неразделанной сельди с костями и бурой грязью внутренностей, на деревянной дощечке лежали толстые куски черного, очень мягкого хлеба, на клеенке валялся пучок зеленого лука в брызгах воды, в тонких стаканах серебрилась холодная водка, бутылка которой нагло глядела на Бориса дешевой этикеткой, косо наклеенной на голубоватое стекло.

— Давай-ка по стопарю,— сказала Пуша с азартной злостью пополам с весельем.— Хочется. черт побери! Хочу вот так...— Она выпила свою водку до дна, отерла губы, морщась схватила кусок хлеба, лук и жадно стала есть, со слезами разглядывая растерявшего-

ся мужа. Потом схватила руками кусок селедки, разодрала его, выдавила пальцами на бумагу внутренности и, блестя жирными губами, стала тоже жадно и быстро есть.

Борис смотрел на нее в полном недоумении и ничего не понимал. — Что с тобой?— спросил он.

— А так...

— Что так?! Как на вокзале...

— Хочется,— с вызовом бросила ему Пуша.— Надоело все. Захотелось,— отвечала она, блестя пунцовыми жирными губами и зло улыбаясь.— Давай, давай, садись...

Борис, чувствуя, что краснеет, попытался вспомнить, какой сегодня день и нет ли особенного какого-нибудь повода для такого странного выпивона, но ничего не вспомнил и, не узнавая Пушу, которая сразу опьянела и лицо которой пошло алыми пятнами, строго спросил:

— Что все это значит? Где дети?

— А черт их знает, где они,— отвечала жена и продолжала жадно поедать селедку, хлеб и зеленый лук.

Он с пугливой злостью смотрел на нее, не зная, что и подумать, взял свой стакан, но пить ему не хотелось, и он поставил его на стол. И в этот самый момент, когда стакан коснулся доньшком стола, Пуша швырнула на стол недоеденный кусок селедки и расплакалась.

У нее началась истерика. Она пискляво твердила ему сквозь слезы, что она старая, что ему пора завести себе молоденькую, что ей надоело быть домашней работницей, надоело сидеть дома и что он погубил ее жизнь, которая сулила ей так много радостей, такая интересная у нее была профессия, съеденная теперь детьми и домашним хозяйством, ненавистным ей бытом, бытом, бытом... Она все это твердила крикливым слабым голосочком. Круглое ее лицо было залито слезами, маленький ее носик стал как будто еще меньше, тоненькие губки дрожали, густые брови страдальчески вознеслись на крутой лоб, рыдания колыхали все ее тело. Она вспоминала студенческие годы, беспечную жизнь, вокзалы, поездки на практику...

— А ты... ты говоришь... как на вокзале! Да, как на вокзале. Захотелось! И не как на вокзале вовсе! Как в купе! Сколько радости было, господи! А теперь гоняюсь за пылинкой, стригу детям ногти и все! Ногти стригу детям и тебе... Вот и вся профессия!

Борис понял, что это бунт, что вечер безвозвратно пропал, и, не зная как подступить к бунтующей жене, бледный и злой, строго спрашивал то и дело:

— Что все это значит?! Ты можешь мне ответить, что все это значит? Ты хочешь, чтобы я с тобой напился? Я ничего не понимаю. Разве нельзя по-человечески?

— А я не по-человечески? Да? Не по-человечески... Я как раз по-человечески. Мне надоело все... господи! Не по-человечески... Да, конечно, я не человек... Где уж мне по-человечески...

Спорить или что-либо доказывать ей было бесполезно. Борис знал, что это скоро пройдет у нее, что однажды с ней уже было подобное, но тогда, в начале совместной их жизни, она бунтовала совсем по другому поводу — тогда она упрекала его, что у нее ничего нет, что все ее подруги одеваются как королевы, а она рядом с ними золушка, что он, взяв ее в жены, погубил в ней личность, превратив в домашнюю хозяйку, и, помнится, тогда она тоже что-то говорила о стрижке ногтей...

Он отказывался что-либо понимать в женской психологии, слушая теперь Пушу, безобразные ее упреки...

— Пу-уша!— воскликнула она всхлипывая.— Имя и то превратили в кличку. Было имя, была профессия, было будущее, а теперь нет ничего. Даже имени нет. Пуша! Я развожусь с тобой, и живи как хочешь. Я больше так не могу... Все твои штучки мне поперек горла...

Я не понимаю... Нет! Я все понимаю, все! Откуда у нас столько денег? Ты доиграешься! Твои дружки, которых ты поишь, кормишь... Я бы их всех, как белье грязное, скрутила бы и... я не знаю, что бы с ними сделала! Надоело все это, опротивело до тошноты.

На него смотрела женщина с губами милой белой кошечки, такими же тонкими и розовыми. Зла он не увидел в ее зареванных глазах, один лишь испуг.

— Кому красивенькую кошечку, беленькую, как невеста!— громко, голосом зазывалы воскликнул вдруг Борис, кривляясь перед женой, но, строго подняв голос, прикрикнул на нее: — Тебе кобель нужен да чтоб при этом не был сукиным сыном? Ишь ты какая хорошенькая! Тебе не угодишь... А друзей моих не тронь. Люди они разные! Ну и что? Все люди разные,— говорил он с заметной одышкой и очень зло.— Одни в навозе ищут жемчуг и находят, а другие в жемчуге, в куче жемчуга ищут навоз и, представь себе, тоже находят и даже получают удовольствие от того, что нашли. Искали и нашли. Навоз! Настоящий! А мне образование не позволяет искать навоз в куче жемчуга, вот так, дорогая. Не из тех я пятаков, которым навоз нужен. И ты не из тех! И врешь все, когда жалуешься, когда разводом грозишься. Врешь! Ах ты, дурочка! Что же ты делаешь-то? За что же ты так на меня? Не ты ли сама меня сделала таким?— говорил он, видя, что Пуша уже одумалась, как истеричка после пощечины, и смотрит на него с тайным испугом, не зная, как ей теперь жить дальше.

Борис насмешливо покачал головой и, махнув на Пушу, вышел из кухни.

А Пуше уже казалось, что Боря, увы, имеет право так себя вести с ней и что это право будто бы родилось вместе с ним, он не добывал его нравственным напряжением, не достигал наукой, не выпрашивал ни у кого, а просто имел, как имел голос, или зубы, или глаза. Себя же она и в самом деле понимала теперь наглой дурочкой, поднявшей руку на своего покровителя. Ей казалось, что Борис теперь никогда не простит ей злого выпада насчет денег и друзей, и чувствовала всю безнравственность своего поступка, ибо, как она думала, безнравственность ее в том и заключается, что ей не дано права быть судьей. Она не имела права, потому что не родилась с ним, а как бы выпросила, украдала, утащила у кого-то это право под залог на время. Время это теперь кончилось для Пуши, и она с тоской подумала, что не имела права так обижать мужа, который печется о ней, о детях, обо всей лунышинской родне, не жалея для этого ни себя, ни денег... Как это вдруг, думала она, сорвалось у нее с языка такое страшное обвинение! И она опять расплакалась, но теперь уже от страха за те неудобства жизни, какие она ни с того ни с сего накликала на себя и на своих детей, понимая, что она любит Бориса и готова впредь подчиняться ему, почитать его мудрым и радоваться его благосклонности, его улыбке и простому доброму слову...

Бунт ее иссяк, так и не успев начаться.

А Борис тем временем подумал с сожалением о случившемся, подумал с унынием и о себе. пожалев, что у него нет и никогда уже не будет простой, красивой и работающей жены, которая никогда бы не рассуждала, а просто любила, но сам он как бы любил ее и не любил одновременно и мог бы без всяких угрызений совести изменять ей, оставаться где-нибудь на ночевку, мог бы влюбиться на стороне, кем-то бредить по ночам и при этом быть любимым женою, которая все бы ему прощала, с восторгом, с обожанием встречая в своем доме его, снизошедшего до посещения смертной. Какая райская была бы жизнь! Но лунышинская порода сидела и в нем, и для него было важно соблюсти все правила своих отношений с женой и вообще в семье, без которой, увы, никогда бы не мог чувствовать себя счастливым. Он, как и брат его, жил совсем не так, как ему,

может быть, хотелось и как нравилось, но иначе он жить не умел, не мог, словно страдал каким-нибудь хроническим гастритом и должен был сидеть всю жизнь на диете, привыкнув в конце концов к однообразию жизни и не помышляя о чем-нибудь остром и копченном. Но, в отличие от брата, Борис обладал крепкой нервной системой, был уравновешенным и мог владеть собой в критические минуты жизни. Так и теперь он быстро сменил гнев на милость, зная, что Пуша просто устала и что бунт ее можно понять, тем более что и сам он не остался в долгу, наговорив ей грубостей, чего никогда в жизни не позволял в отношениях с ней, и тоже чувствовал себя виноватым. Порой ему чудилось, что он живет в каком-то сказочном царстве Морфея, где все ему дозволено, где сон становится явью, будто на многолюдной улице, которую он исходил вдоль и поперек, открывается вдруг ему одному таинственная дверь, ведущая в зеркальные залы, завешанные всевозможной пушниной, кожей, дублеными полушубками, шубами, лисьими, енотовыми, ондатровыми и прочими, прочими роскошными шапками... Он выбирает себе все, что ему нужно, ему вежливо предлагают посмотреть и то, и это, и еще что-нибудь, а он благодарит, как интеллигентный человек, раскланивается и уходит с покупками из этого благоустроенного зала, в зеркалах которого отражаются серебристые, рыжие, белые, дымчатые меха, и, затерявшись в толпе прохожих, опять становится нормальным человеком с нормальной покупкой, которую можно при желании тут же продать втридорога. Но проходит время, и он опять и опять идет по знакомой улице, оглядываясь по сторонам, и никак не может найти ту таинственную тусклую дверь в стене, в которую сам же входил недавно, точно дверь эту заштукатурили, сровняв с плоскостью стены, и покрасили... Хотя другая какая-нибудь дверь вдруг опять открывалась перед ним на другой какой-нибудь улице, ведущая в другие подвалы, залы, тесные или просторные, в которых всегда все рады появлению его, Бориса Лунышина, хотя ни он сам, ни они никогда раньше не встречались друг с другом, не зная даже имен или фамилий друг друга, но зато зная некую ускользающую из памяти парольную фамилию третьего человека, от имени которого совершаются чудеса, похожие на те, какие бывают иногда в приятных сновидениях.

Бред какой-то, а не жизнь! Но заманчиво... Кто это сказал, что наслаждение — грех? Ах, да — религия. Результат ее нравственных поисков. Ну да, конечно, нравственный максимализм, черт бы его побрал, когда не надо включаться в борьбу за выживаемость, а можно только словами баловаться... Быть, а не казаться. Ах-ах! А ведь еще и делом надо уметь заняться, и себя обслужить уметь, и умом доказать свою пользу... А то ведь говорить-то можно, как Феденька, а ведь живет бессознательно, будто по привычке делает что-то. Почему я их должен... любить... Феденька — другое! Федя умница... А те, что так живут и тоже требуют к себе любви... Что есть наука в отличие от религии? Это проверенные знания людей. Проверенные! Так и надо. А все остальное — медь звенящая и ничто больше. Да, конечно, думал он о Пуше, она со мной пойдет на Голгофу... «Я с тобой хоть на Голгофу!» Пойти-то она пойдет, но при этом будет ругаться, что я ее заставил идти на эту гору... Нет, Пушенька, меня нельзя дразнить! Я русский... Но думая так то с удивлением, то с улыбкой, а то и с раздражением, он понимал, что душа его тоже устала все время делать как бы поправку, превращая нетерпимые происшествия, которые с ним так часто случались в жизни, в терпимые. Душа должна была делать эту непосильную работу ради того, чтобы дух был здоровым или, во всяком случае, бодрым. Борис Лунышин хорошо понимал то внутреннее напряжение, какое приходилось испытывать ему, но утешал себя тем, что ему хватит ума и воли, чтобы не завалиться и не дать страстишкам пойти вразнос. Сто дураков или двес-

ти — это все равно один дурак. А пяток умных — это пятьсот умных. Старший Луняшин причислял себя к этой пятерке, преобразенной в пятьсот.

Он и не предполагал, потому что никогда не задумывался над этим вопросом, что кресло, какое занимал на службе, не требовало от него особых или даже просто хороших профессиональных знаний, ибо он занимал кресло начальника. Эта должность стала своего рода профессией.

Луняшин, конечно, не достиг на своем поприще больших успехов, но и жаловаться на судьбу тоже не смел, окруженный уважением друзей и любовью родственников. Он мог бы, наверное, позаботиться и о дачном участке, но не любил и не хотел жить за городом и уж тем более возиться в земле, заботиться о доме, о заборе и прочих мелочах дачного быта. Мог бы, конечно, купить себе и автомобиль, но был уверен, что никогда не научится водить машину, потому что он вообще никогда ничего не умел делать, и даже перегоревшую лампочку в люстре заменял Луняшиным приглашенный для этого электрик из жэка.

«Нет, Пушенька,— думал бедный Луняшин, уставившись в мутный от солнечного света цветной экран телевизора,— так у нас с тобой ничего не получится».

Ему было очень жалко себя, обиженного. Он вспоминал, сидя в солнечном луче, который ярко освещал комнату, себя совсем еще маленьким, когда рука его, та же самая рука, лежащая теперь на подлокотнике кресла, те же самые волосатые теперь пальцы светились когда-то туманно-розовым сердоликовым цветом, если через них проходил солнечный луч... Такие чувствительные были эти прозрачные пальцы! Пойманная муха или какая-нибудь букашка и та своими лапками щекотала ладошку, огрубевшую теперь так, что он и забыл, что такое щекотка. Он подумал об этом и грустно улыбнулся, отвлекаясь от своих невеселых рассуждений. Поглядел на ладонь и стал водить по ней кончиком указательного пальца...

За этим занятием его и застал звонок в дверь.

Пуша решила, что это пришли дети, но поняла ошибку, услышав радостные восклицания Бориса и чей-то мужской голос... Она быстро умылась в ванной, причесалась, припудрила лицо, отдушила рот дезодорантом.

— Пуша! — услышала она привычный, ласковый, обволакивающий голос Бориса. — Пуша! Где ты? У нас гости.

Когда она вышла, сияя приветливой улыбкой радушной хозяйки, она увидела в кресле незнакомого ей, переглядчивого, все время смущающегося в коротком смешочке, толстого человека и услышала конец его фразы:

— В Москве я знаю два салона, где на меня молятся... Простите! — воскликнул он с оглядкой на Бориса и поднялся навстречу, кратко хохотнув, знакомясь с Пушей, и очень любезно поцеловал ей руку.

— Очень приятно, очень приятно, — говорила Пуша, и ей в самом деле было приятно принимать сейчас незнакомого гостя, лицо которого блестело от беганья неустойчивых, слишком живых, ртутно поблескивающих глаз. — Очень приятно. Я сейчас...

Борис, стоя за спиной гостя, делал ей таинственные знаки, косясь на пустой стакан, но она, наученная опытом, знала, что ей делать.

Нежданнный гость был, видимо, очень нужен Борису, как, впрочем, и сам Борис тоже нужен тому, иначе зачем бы он приехал...

— Василий Евгеньевич, — уважительно говорил Борис, — вы не обращайтесь на нас внимания, почувствуйте себя как дома, постарайтесь запросто, без церемоний. Я вас прошу.

— Да, да,— соглашался гость.— У вас хорошая библиотека...

— Ну-ну-ну!

— Нет, нет, глаз у меня наметан, я вижу... Между прочим, да-вайте, да... без церемоний. В одном салоне, куда я вхож,— стал рассказывать гость, перебегая взглядом с Пуши на Бориса, которые стояли, слушая его с предварительными улыбками,— знакомый дипломат спросил у меня, какая разница между вежливостью и тактом. Я как сумел объяснил ему, он согласился, но при этом... вот что сказал: если вы входите в ванную комнату и видите под душем женщину, вы должны сказать «пардон, сэр» и затворить дверь.— Стали смеяться, хотя Пуша совсем не понимала, почему ей надо смеяться. а гость продолжил, бегая блестящими глазами:— Пардон — это вежливость, а сэр — конечно, такт. Мне понравилось! Но где она, ванная комната? А?— спросил он, ощупав Пушу неуловимо быстрым взглядом.

Тут уж все засмеялись, Борис повел гостя в ванную, а Пуша поспешила на кухню, подумав на ходу, что у этого Василия Евгеньевича голос такой же толстый, как и сам он.

Но мысль о том, что неожиданный гость станет для нее и для Бориса тем невольным примирителем, с помощью которого в доме наладятся опять добрые отношения, радовала ее. Она суетилась. Не сразу могла понять, с чего начинать, какую закуску приготовить, чем угостить, и долго простояла перед открытым холодильником, сжав пальцами виски и как бы стараясь понять, зачем она прибежала на кухню и почему так волнуется. Золотисто-белый холод исходил из туго набитого сияющего нутра «ЗИЛа»... «Крышки эмалированных кастрюль...— вертелось у нее в голове — Крышки... да... Ну хорошо». Ей хотелось отличиться и накрыть стол так, чтобы Борису было приятно. Она многое умела делать, но лучше всего у нее получались экспромты, когда ей предоставлялась возможность блеснуть тем изобилием, какое всегда у них в доме...

«Эмалированные... Почему эмалированные? У нас есть маринованные огурчики,— начинала мыслить Пуша.— Есть помидоры и маслины... Все это на керамическое блюдо, так... Три цвета — достаточно. Можно оттенить белыми зубчиками чеснока. Хорошо, теперь пошли дальше... Рыба!»

И она своим мысленным взором уже видела стол, сочно и жирно цветущий разнообразными яствами, чувствуя себя чуть ли не художницей, творящей натюрморт, способный не только обласкать взор, но и насытить желудки, принеся таким образом двойное удовольствие Борису и этому толстому Василию Евгеньевичу, который так кстати нагрянул к ним в гости.

5. Антон, Арсений и Алиса...

Первые песенки кузнечиков — часы торопливого лета. Именно песенки, потому что к этому времени умолкают лесные и луговые птицы и наступает настороженная тишина, нарушаемая только ветром и дождем. Лист еще не вянет, но уже уплотнил потемневшую свою поверхность. Трава в лугах набрала семена, а в местах покосов млеет под солнцем, источая печальные ароматы донника, напоминающие о скорой уже осени

Наступает мгновение мертвой точки, лето достигает своей высоты и, как подброшенный вверх камень, замирает, потеряв сообщенную ему энергию.

И вдруг в очарованной этой тишине, влетаясь в однозвучный струнный звон спелых, жарких трав, начинают жить едва заметные для слуха, робкие еще, с тихим шелестом посвистывания, звучащие на разные тона, раздающиеся то здесь, то там, краткие еще песенки

кузнечиков. Вчера еще не было слышно их, а сегодня луга и лесные опушки уже озвучились ими, занялись шелестящим пламенем уходящего лета, наполнили воздух таинственным стрекотом, который то тут, где-то рядом, в зарослях ромашек, склонивших потяжелевшие цветы, то словно бы где-то очень далеко неуловимо вспыхивает и просачивается в знойную тишину солнечного дня. И чудится тогда, будто сам воздух начинает звучать, будто какие-то прозрачные, хрупкие шестеренки загадочного механизма летних часов приходят в движение и, минуя тихую паузу, сменяют весеннее разноголосье птиц задумчиво струящимся, летучим, как дым, переливистым звоном кузнечиков, похожим на звон в ушах.

Прошло не так уж много времени, а Ра Луняшина заметно отяжелела, и ей пришлось шить просторное платье. Она жила все так же беззаботно, не уставая хлопотать на кухне, чем была очень похожа на Пушу, умиляя раздобрившего мужа, который теперь садился за стол с вожделенным стоном страстного обжоры, жадно озирающего тесные ряды голубцов из молодой капусты, испаряющихся пьянящим ароматом жизни, ибо этот аромат был совсем не из зеленых листьев капусты и повернутого мяса с луком, а как бы из самого дыхания любимой женщины, заботившейся о нем с самоотверженностью сестры милосердия.

Естественная полнота и грузность тела не испортили, а только украсили Раиньку, у которой теперь в минуты задумчивости нижняя губа стала еще более оттопыриваться, блестя полированным порфиром на бледном лице, будто бы живая ноша своей тяжестью напрягала мышцы лица.

Она всегда, как истинная женщина, следила за тем, чтобы ее одежда не была похожа на одежду других женщин, и очень расстраивалась, когда видела на ком-либо одинаковое пальто или платье, не учитывая при этом, что своим образом мыслей и чувств становилась похожей на других женщин, ибо другие истинные женщины тоже всегда огорчались, видя на ком-либо свое пальто или платье, то есть они тоже не хотели быть внешне похожими на кого бы то ни было, забывая о поразительном внутреннем сходстве.

Но теперь она могла быть совершенно спокойной, потому что похожих на нее становилось все меньше и меньше, и, наконец, она стала единственной и неподражаемой, отобрав у других женщин всякую возможность сравняться с собой.

На очередном приеме в консультации врач, прослушивая ее, озаченно улыбнулась и сказала, что есть подозрение на двойню. Ра торопливо возразила, сказав, что в ее родне никогда ни у кого не было двойни и что она не помнит никаких близнецов и даже каких-либо упоминаний о них. На вытянутом и осунувшемся ее лице, кожа которого кое-где покрылась бледно-желтыми пятнышками, в ее желтых глазах изобразилось возмущение.

— Нет,— сказала она,— я не пойду ни в какой институт. Что за глупость! Я вовсе не хочу иметь двойню! Мне и одного вполне достаточно, потому что можно сказать, у меня и так муж — ребенок. Зачем мне еще двойня нужна? Вы, наверное, ошибаетесь все-таки.

Она с надеждой смотрела на молодую женщину, врача-консультанта, и ждала, что та перестанет что-то писать в карте, улыбнется и скажет: «Да, возможно, я и ошиблась».

Но та была неумолима и выписала направление в знаменитый институт. Ра возмущилась и не хотела брать бумажку.

— Нет, нет, я не пойду!— говорила она возбужденно.— Что мне там делать?! Я и так уже... это... А потом — ну и что? Схожу.. А дальше-то что? Нет уж, пусть будет как будет. Я совершенно уверена, что никакой двойни у меня нет...

Врач успокоила ее, сказав, что возможна и ошибка, но, дескать, провериться все-таки надо, потому что это очень хороший институт.

там опытные специалисты и современная аппаратура.. и что манкировать своим здоровьем нельзя ни в коем случае, а надо прояснить картину и спокойно жить дальше.

На семейном совете, в котором участвовали все Лунышины, было решено съездить в институт, то есть в крупнейшее во всей стране научно-исследовательское учреждение, где велась, разумеется, не только научная работа, но и рождались дети.

Федя поехал вместе с ней, и когда они подходили к вестибюлю огромного здания, навстречу им выбежала, толкнув Лунышина, простоволосая молодая женщина в больничном халате и, теряя на бегу тапки, босая побежала к такси, на котором подкатили Лунышины, махая шоферу и крича ему что-то. Села в машину, резко захлопнула за собой дверцу... В это время вслед за ней выбежали две женщины в белых халатах, но машина уже отъехала, а вскоре и скрылась из виду.

— Что это случилось?— испуганно спросила Ра.

— О господи,— со вздохом ответила пожилая медсестра.— Ничего не случилось. Сбежала от ребенка.

— Почему?

Молодая окинула Рау взглядом и назидательно ответила тоненьким голосочком блеющего ягненка:

— Потому что не хотела быть матерью. Не знает, от кого родила.

— Как это?!— воскликнула Ра на басовой струне, которая всегда начинала звучать в ней в минуты крайнего удивления.

— А вы что, с луны свалились, что ли?— проблеяла девочка-ягненок, с кротким недружелюбием опять окинув взглядом Рау, и засеменила ножками к двери громадного родильного комбината.

— Нет, Феденька, я не пойду!— решительно сказала Ра.

— Действительно,— отозвался Феденька.— Какие-то ненормальные.

И они повернули назад, беспечные и счастливые, радуясь свободе, которая ждала их впереди, как если бы их избавили от очень тяжелого наказания.

Но свобода эта продолжалась недолго, и со второго захода, после тщательных и кропотливых исследований, младшему Лунышину, который опять сопровождал пугливую жену, сказали доверительно, не желая волновать будущую роженицу, что в чреве матери прослушивается по крайней мере два сердца...

Феденьке на мгновение стало нехорошо, он почувствовал слабость и головокружение, но, ворочая пересохшим языком, спросил:

— Что значит «по крайней мере»? Я не понимаю... Что вы хотите сказать?

Молодой мужчина в голубовато-белом, накрахмаленном тонком халате ответил с доброй улыбкой:

— Я боюсь заранее вас поздравлять, но возможна и тройня.

Лунышин не выдержал этого и свалился в обморок, не заметив того перехода, когда что-то отключилось в нем и он потерял себя в пространстве и времени.

Но это свое состояние он вспомнил потом, когда в кругу семьи рассказывал со смехом о позорном падении на каменный пол, твердая поверхность которого, конечно, ударила его, хотя на теле не осталось и следа боли или ушиба, будто он упал в мягкий и пушистый снег. И это обстоятельство больше всего занимало его, точно он открыл в себе особенные свойства.

— Ну хоть бы коленка болела! Или локоть. А то ведь ничего нигде,— с глуповатым видом говорил он, оглядывая Пушу и Бориса. Нину Николаевну и слезливо смеющуюся Раиньку, которая знала пока только про двойню.

— Нет, это вообще ужасно! Двойняшки,— брезгливо говорила она.— Одинаковые совсем. Знала бы, ни за что не оставила.

Нина Николаевна успокаивала ее, пушисто улыбаясь и обласкивая взглядом:

— Нельзя, девочка моя, так говорить. Это радость! Два мальчика или две девочки. Государство даст вам квартиру, позаботится...

— Ох-хо-хо-хо!— вздыхала Ра и улыбалась сквозь слезы, вспоминая стоматологический кабинет.

— Все-таки наше тело обладает удивительным свойством!— не уставал рассказывать о своем падении Феденька.— Если бы я упал на каменный пол, я бы обязательно расшибся, синяков бы наставил и шишек, а тут как будто ватный. Если взять, например, йога...

— Ну не расшибся и ладно,— прервал его Борис с добродушной усмешкой.— Я, например, думаю, что ты все-таки малость ушибся. Ты уже четвертый раз рассказываешь, как обнимался с каменным полом.

Всем почему-то было смешно в этот день, и все смеялись по любому поводу, и даже Ра все время смеялась, хотя и сквозь слезы.

Но зимой, в морозный февральский день, когда из всех ртов людей, идущих по соленым слякотным тротуарам, вырывался пар, возникая вдруг серебряными трубами и исчезая, чтобы снова возникнуть туманным призраком звонкоголосых труб, в этот не по-февральскому тихий день Рая Лунышина, неповторимая и единственная Ра в муках и страданиях родила на свет трех маленьких, будто обожженных морозом, тихо повизгивающих в плаче младенцев: мальчиков и девочку, о которых тут же стало известно всем, кто лежал или ходил в этом огромном родильном доме, на всех его этажах, во всех отделениях и службах. И слово «тройня» не сходило с уст счастливых и радостно встревоженных людей. Живы? Живы. Все? Все...

А Ра распластанно лежала в светлой палате, куда ее отвезли после родов, и, закрыв глаза, слушала себя, опустошенную и непонятную самой себе, смутно сознавая, что громадная часть ее, если не вся она, находится теперь не здесь, где она лежала без движения, а где-то там, за белыми стенами, в неизвестном ей помещении, словно она находилась в состоянии физического разъятия на части, которые теперь никогда и никому не удастся соединить воедино. И ей было приятно сознавать это.

Потом рухнули на нее поздравления и подарки от друзей и родственников. Не остались, конечно, в долгу и сослуживцы Феде Лунышина, который работал к тому времени в институте преподавателем английского языка, подрабатывая репетиторством, рекламируя на досках объявлений свое уникальное умение за короткий срок обучить языку и подготовить к поступлению в любой вуз. Заниматься с учениками приходилось на кухне, потому что квартиру хоть и обещали, но пока что дали только патронажную сестру, которая приходила ухаживать за малышами, ворвавшимися в жизнь под именами, начинавшимися на первую букву алфавита: Антон, Арсений и Алиса.

Стала приходиться в гости и Раина мать, чувствуя себя скованно, как будто ее пускали в дом только из жалости, не разрешая приблизиться к младенцам, предупреждая, что она может явиться носительницей какой-нибудь заразы...

— Ну да, ну да,— соглашалась она и уходила на кухню, не совсем понимая, о какой заразе ее предупреждали. И лишь то обстоятельство, что дочь родила тройню, принуждало ее мириться и терпеть эту неволю.

Когда речь при ней заходила о жизни и о делах человеческих, она, словно не слушая никого, вставляла и свое суждение.

— Не стали бы водку пить,— говорила она с неожиданным азартом,— все бы пьяницы воскресли, стали бы толковыми человеками...— И умолкала, поджав губы.

Лишь одна Нина Николаевна, в алюминиево-светлом взоре которой всегда теплилась мудрая и несказанно нежная доброта, поддерживала ее, говоря тоже нечто неожиданное и не относящееся ни к чему:

— Я помню, картина была в старом учебнике истории, портрет— энергичное лицо Кромвеля, которое мне почему-то страшно нравилось. Я влюблена была в Кромвеля. Даже подруге своей призналась, а она вытаращила глазенки: ой, говорит, Ниночка, какая ты высокая натура! Так и сказала: «высокая натура»... Сейчас смешно вспоминать, а ведь действительно— были какие-то очень высокие идеалы... Я с вами совершенно согласна.

— Ну да,— говорила Раина мать.— Сейчас ведь мужчины как больные кошки, так бы и пристукнула! То из дома просится, мяучит, то обратно в дом пусти его, а то опять на улицу... Не знаешь, что и делать, как быть. До войны люди лучше были.

— Вы не огорчайтесь,— успокаивала ее Нина Николаевна, с участием разглядывая ее.— Вы всегда должны помнить, что затруднение— первая стадия чуда.

Она говорила это с такой доверительностью в голосе, что Раина мать, ничего не понимая, соглашалась с ней поневоле:

— Ну да, ну да... Это конечно. Я вот как поем, так почему-то икаю, как маленькая, а ему это не нравится...

С тех пор как Ра ушла из дома, мать приютила у себя мужчину, который казался полупьяным, даже если и не выпивал. Она жила с ним, но всем, кому не лень было слушать, жаловалась на него. Если же она начинала его самого ругать, он вставал перед ней и, вытянув руки по швам, пучился пьяными глазами, согласно кивая и повторяя всегда одно и то же: «Вот именно... Чего ты сказала? А-а... Вот именно». Кивал он так сильно и усердно, что голова его всякий раз доставала подбородком до груди, а глаза, казалось, теряли всякое отражение, блестя кукольно-стеклянными голубыми белками. Когда брань подходила к концу, он хлопал себя по заду рукой и, пытаясь развеселить свою хозяйку, выкрикивал, понукая себя: «Но, пошла, ейшти ее, каналья!» И становился похож на большую козу, даже цокающий по полу шаг у него был такой же коротенький, как у худой, жилистой козы. Руки у него были толстопалые, багрово-бурые, деревянные и очень темные, как после хорошей работы— но это были руки привычного пьяницы.

— Ты, мам, не вздумай привести своего... этого...— говорила ей Ра, узнав о перемене в жизни матери.

— Ну да... Ну да,— отвечала та.— Позориться-то!

Дочь и не догадывалась, как неприятно было слышать это матери, которая в своем постояльце что-то такое заметила, что заставляло терпеть его рядом с собой и заботиться о нем, как о доброй скотинке. «Чем он хуже других?— думала она о нем с состраданием.— Сейчас все, которые чего-то умели, все пьют, потому что не ценят мастеров, платят не больше, чем бездельнику какому-нибудь. Всяк своей славой живет, а ему обидно».

Однажды, когда Ра с Феденькой пришли навестить мать, они увидели этого мужчину. Он стал молча подмигивать то ей, то Феде, как будто у него был тик. Матери не было дома, а он казался, как всегда, вполпьяна. Достал откуда-то из-под кровати, на которой сидел, самодельную стамеску, насаженную на рукоятку из желтой меди, расплюсченную с тыла, и, щелкнув ногтем по стальному лезвию, с трудом сказал Феденьке:

— Два кола,— повеяв рукой, словно отменяя что-то от себя.

Феденька смущенно переспросил:

- Два кола? Что это значит?
- Полтора.
- Ничего не понимаю.
- Полтора рубля... Рубль с полтиной.
- Вы мне хотите продать?

— Вот именно,— ответил мастер, в знак согласия сильно махнув головой, точно кто-то дал ему подзатыльник.

Феденька переглянулся с хмурой женой, лицо ее выражало доселе неизвестную ему злобу, готовую вот-вот прорваться, и спросил у мастера:

- Это ваш инструмент? Вы им работаете?
- Вот именно... Сталь... такой нигде... Для себя делал.
- Разве можно продавать свой инструмент? Это последнее дело! — сказал Феденька, хмурясь, как и жена его.— Это преступление. Нельзя! Спрячьте сейчас же и никогда не делайте этого...

Тот послушно бросил стамеску, и она покатила с грохотом по полу под кровать.

С тех пор Ра не навещала мать и с трудом терпела ее, если та приходила к ней, отсидевшись на кухне истуканом. На лице ее играла робкая заносчивость обиженного противника, попавшего в неволю.

Но все это было потом, когда и Ра и Феденьке можно было отойти от детей, оставив их на попечение Пуши и Нины Николаевны. А в первые дни и недели, когда в доме трудно было сделать шаг, чтобы не наткнуться на что-то, не задеть головой сохнувшие пеленки, когда ночи напролет приходилось поочередно дежурить над кроваткой, в которой лежали эти странные люди, начинавшие свою жизнь и принимавшиеся плакать именно тогда, когда бороться со сном не было никакой возможности,— в первые эти дни отчаяние охватывало молодых родителей и хорошее настроение долго еще не приходило к ним, бродившим по жизни, как во сне.

Феденька грустно шутил, приходя домой из института:

— Меня уносят домой на руках, как победителя,— имея в виду своих студенток, которые стали смотреть на своего любимого преподавателя как на чудо природы, словно у него была отличная ото всех других мужчин снасть и сноровка...

«А как же ваша жена кормит их? — спрашивала какая-нибудь милая насмешница, провожая его, полусонного, до метро.— Их же трое? По очереди, наверно?» Он смущался и отвечал, что кормит их не только жена, но и он сам тоже. «И вы их кормите?» — изумлялась добродушная остроумица. «Да,— отвечал он,— я тоже, из пузырьчика», — не в силах как-нибудь отшутиться, поглядывая на нее с напускной укоризной.

Две или три студентки чуть ли не каждый день провожали его домой, держа под руки. Со стороны он бывал похож на подгулявшего сластолюбца, окруженного поклонницами его талантов.

«Федор Васильевич, а вы любите ландыши? — неожиданно спрашивала тоже какая-нибудь кокетствующая провожатая. Он, как сквозь сон, слышал это и отвечал согласно.— А я нет. Они пахнут баннным мылом». «Ну что это вы такое говорите несуразное? Каким мылом?.. Ландыши?» — «Да, именно ландыши. Вы принюхайтесь, нюхайте долго-долго... и поймете тогда». «Хорошо». — соглашался он, не в силах от усталости спорить с ней. «А вам не нужно в самбери?» — спрашивали у него с подчеркнутой любезностью. «Это что такое?» — «Как что, Федор Васильевич! Вы что же, не покупаете своим детям молока? Универсам так теперь зовут! Неужели не слышали?»

Он улыбался и пожимал плечами, а какая-нибудь юная бестия под общий хохоток подружек вдруг говорила ему с сочувствием: «Вам сейчас, Федор Васильевич, под крылышко к другой женщине на недельку, взять вина и неделю куда-то не выходить, пожить с другой женщи-

ной... Вашу усталость как рукой снимет. Да, Федор Васильевич», — говорила с хитрым каким-то блеском в глазах игривая студентка. «Вот я забыл вашу фамилию, — отвечал обескураженный Феденька. — Вот придет время, мы с вами на эту тему поговорим на экзаменах». Но были, конечно, и серьезные девушки, искренне заботившиеся о своем любимом учителе. «Как я вас понимаю, Федор Васильевич! — говорили эти, поддерживая его на скользком льду тротуара, как старичка. — Вам бы сейчас выспаться как следует. А все-таки, Федор Васильевич, а что такое сон? По-моему, сон — это анти то, что было в жизни. Правильно? А я смотрю на эти анти, на зеркальное отражение того, что было в жизни, и вместо «было» вижу: «не было», а сама нахожусь не в стороне от этого «не было», а как бы внутри... Понимаете? В самом этом «не было». Поэтому все так странно во сне, правда? Как и я сама, спящая, то есть тоже находящаяся в зеркальном отражении к деятельной жизни, нахожусь в состоянии «не было», потому что я, спящая, не существую, а только кажусь себе существующей, пребывающей, так сказать, в состоянии «было — не было»... Вы согласны со мной, Федор Васильевич?» У него начинало рябить в глазах от таких откровений, и он чувствовал себя чуть ли не в этом самом состоянии «было — не было», о котором ему поведала очень умная студентка, фамилии которой он не помнил. Он соглашался с ней, ничего не понимая из того, что она говорила, не имея вообще никакой возможности рассуждать о сне. А та продолжала: «Вам бы сейчас куда-нибудь в горы. Когда спускаешься с гор на лыжах, то надо делать все вопреки инстинкту. Во-первых, летишь на лыжах вниз и тело инстинктивно хочет откинуться назад, а ты его гнешь вперед. Да? Это понятно? Верно? Ну вот... А во-вторых, во-вторых, это очень укрепляет: страшно и радостно! Вот бы очки хорошие, и лыжи, и крепления. Вы никогда не занимались горными лыжами?» «Нет, не занимался, мне было это... самое... конечно, — отвечал Луняшин, мучительно соображая, что бы ей ответить, — мне бы раньше надо, а теперь что ж!» «Да, — подхватывала другая провожатая. — Теперь у вас столько забот! Я считаю вообще, что в таких особых случаях, когда сразу трое нарождаются, отцам тоже надо давать отпуск». Феденька с благодарностью смотрел на эту умницу и, вздыхая, говорил с расстановкой: «Ха-ха-ха».

Его любили студентки особенной какой-то любовью, считая его чуть ли не сверстником, как это часто бывает и бывало раньше со школьными учителями черчения и рисования, людьми добрыми и, как правило, слабовольными, которые почему-то запоминаются потом на всю жизнь...

Луняшин пришел в этот институт, попав как будто в женский монастырь, где собрались веселые и симпатичные греховодницы, изучающие зачем-то филологию. Он заменил женщину-преподавателя, которая стала с некоторых пор задумываться и в задумчивости мычать коровой. Выяснилось потом, что она в детстве дразнила коров и так привыкла к этому странному занятию, что оно вдруг проявилось и дало о себе знать уже в зрелом возрасте.

Встретили его рукоплесканием, когда он впервые вошел в аудиторию, в которой стоя приветствовали его десятка полтора девушек и всего двое юношей в очках. «Ура! — воскликнула одна из студенток. — Наконец-то мужчина!» «Что это вас так радует? — строго спросил Федор Васильевич Луняшин. — Вы что, мужчин, что ль, не видели?» Студенты грохнули в смехе, и одна какая-то каналья выкрикнула в изумлении: «Вы и в самом деле мужчина? Девочки! Он мужчина!» И рукоплескания перешли в овацию, приведя Феденьку в страшное смущение и растерянность. Он никак не ожидал такой встречи и уж совсем не думал, что над ним в первый же день будут так откровенно смеяться. Когда наконец студентки третьего курса успокоились, одна из них, в желтой кофте, поднялась и сказала: «Федор Васильевич, я ста-

роста группы, а вы, пожалуйста, не обижайтесь на нас, мы просто очень рады, что вы не корова». Это было слишком. Федор Васильевич поднялся, хлопнул по столу ладонью и строго сказал прерывистым голосом: «Я пришел сюда преподавать не зоологию! А свои выходки — оставьте! Все шуточки, все безобразия можете приберечь до перемены. Там хоть собаками лайте, а на лекциях прошу сидеть и слушать».

Кто-то из девушек спросил: «Значит, нам можно лаять?» «Можно», — ответил Луняшин, усаживаясь за стол и хмуря брови. «Что ж, мы собаки, что ли?» Все опять засмеялись, а Феденька смотрел, смотрел на них и тоже вдруг засмеялся, что и спасло его от дальнейшего издевательства. С тех пор у него со студентками наладились отношения довольно странные, как будто он и не преподавателем был, не лингвистом, а эдаким развеселым конференсье, выходившим на сцену, чтобы веселить и радовать скороспелых этих девиц, приводя двух юношей тем самым в хмурое неудовольствие. Но другого пути у него уже не было. Он был похож на трамвай, который раз и навсегда стал колесами на рельсы и не мог никуда свернуть с этих рельсов, проложенных другими людьми. Он даже успокоился через некоторое время, решил для себя, что если кому-нибудь нужны его знания, тот возьмет, а уж если не нужны, то с этим ничего не поделаешь, будь ты хоть семи пядей во лбу. Ему даже стало нравиться такое положение дел, он не уставал, давая себе передышки во время лекций на всевозможные шуточные отвлечения, не старался особенно готовиться к лекциям, любясь лицами своих студенток, как будто он приходил на вернисаж какого-то художника, и был доволен жизнью.

Выращивать детей — это все равно что собирать лесную землянику: сначала со всех сторон слетаются бдительные сторожа лесных богатств — комары, кусают руки, а липкая паутина обматывает потное лицо, щекочет, застит глаза. И лишь потом, когда доньшко покрывается спелыми ягодами, когда, брошенные в нутро трехлитрового бидона, они уже перестают издавать гулкий стук, а мягко ложатся на слой собранной земляники, источающей загадочно-древний густой запах, воскрешающий в тебе чувства древнего лесного существа, только тогда комары словно бы улетают восвояси, пружинистая, тугая паутина не лежит на лице, азарт берет свое, побеждая все преграды, а светлые березняки, затянутые понизу земляничным листом, шелестят на прохладном ветерке, приглашая в свои чертоги. Глаза любят россыпь ягод, алеющих в яркой зелени травы, пальцы становятся розовыми, пропитавшись соком, и от бесконечных приседаний и поклонов начинает болеть поясница. Ягод становится все больше и больше, и если после полудня соберется в бидоне стаканов пятнадцать и беловато-красная масса поднимется до самых краев, то работу эту можно вполне сравнить, наверное, с прополкой сахарной свеклы или какой-нибудь другой сельскохозяйственной культуры. Так наклоняешься зеленой земле, манящей душистыми ягодами, которые висят, согнув стебельки долу, румяно-красные, усеянные золотистыми зернами, шелковисто поблескивающие в лесной осочке, — так наклоняешься за день, что еле доберешься до дому, утешаясь тяжестью бидона в руке. В стакане приблизительно четыреста пятьдесят ягод. Если учесть, что под ногами их много и каждый наклон к ним позволяет сразу собрать не меньше десятка, и то уж получается чуть ли не тысяча земных поклонов, которые без тренировки покажутся такими мучительными к концу дня, что каждая ложечка земляничного варенья будет тебе дорогим воспоминанием в будущие зимние вечера, когда вспомнятся вдруг березовые рожи, комары, паутина, а душа заноет в нетерпеливом ожидании лета.

Пришло время и для Раи Луняшиной разогнуть спину. Она словно бы впервые с глубоким вздохом взглянула на белый свет выцветшими листьями своих больших на побледневшем лице глубоких глаз матери, созданных как будто из света и небесной влаги, — глянула, как

прародительница жизни на Земле, и улыбнулась запекшимися губами, с удивлением осматривая новую свою квартиру, состоящую из двух комнат и сверкающей кафелем кухни.

— Боже мой! — воскликнула она. — Где же брать столько денег?! Разве это обои? А ванная? Все надо менять. Кухня! Нет, здесь все надо менять.

— Может быть, подождем? — сказал Феденька с надеждой. — По моему, все хорошо, светло... Видишь, это окно на восток, это на запад, как у Бориса... Солнышко к вечеру... Красота!

— Нет, Феденька, как же ты так говоришь! У нас ведь дети! Представляешь, сколько шуму, стуку всякого, когда будем все это менять... А пыли! Нет, дети могут напугаться... Что ты! Надо сначала все отде- лать на свой вкус, а потом уж въезжать. Придется опять у Бориса просить. А потом все-таки и мне повысили и ты тоже подрабатыва- ешь. Как-нибудь отдадим, в долгу не останемся... Самые главные дела надо делать вопреки логике... Кто сказал? Вот тебе, пожалуйста, поле деятельности...

Она поцеловала его, и он согласился с ней, пребывая все еще в состоянии ненасытившегося, тупоголового, не способного на какие-ли- бо серьезные дела или возражения человека, слушающего возбужден- ную и деятельную свою жену.

— Тут у нас будет детская, окном на восток... Ой! Я тут у Бори видела! Помнишь, этот журнал? Детская комната. Блеск!

— Ага, — соглашался с ней Феденька, улыбаясь розовыми гла- зами.

— А там, на запад...

— Раньше говорили: вечерние страны, — сказал Феденька.

— Что? Какие страны?

— Так говорили... Страны, лежащие к западу, — вечерние...

— Да... Ну хорошо. Ну, да-да-да, понятно... Там у нас будет... Ой! Сколько же нужно денег! На дачу переезжать... Просто разорваться! Феденька, думай! Надо что-то делать...

Был майский вечер. Они ждали Бориса с Пушей, которые наконец приехали, оглядели пустую квартиру, пахнущую обоями, клеем и по- белкой, и когда Феденька, поймав требовательный взгляд Ра, спросил у брата, может ли он одолжить еще тысячу рублей, тот не моргнув ответил:

— Считаю, что они у тебя в кармане.

У Феденьки навернулись слезы, он обнял брата, уткнулся лицом в его шею и как будто уснул, обмякнув на нем. Когда он, хлюпя но- сом, пошел умываться в новую ванную, Ра тоже поцеловала Бориса в щеку, почувствовав губами слезы своего мужа.

— Благодетель наш, — сказала она, сияя, как ребенок спросонья. — Ты бы хоть Феденьку научил... Пуша меня понимает, — добавила она, взглядывая на Пушу, которая, казалось, была неожиданно ошастливлен- на тем, что Борис широким жестом умилил брата до слез, хотя и зна- ла, что Феденьке придется опять плакать.

...Взглянула на Пушу, уйдя от взгляда Бориса, увидев вдруг такую тяжелую тоску в его глазах, будто Борис терпел боль, скрывая ее из последних сил.

А Феденька с мокрым лицом, которое он вытирал носовым плат- ком, вышел из ванной и, хлюпя, улыбаясь, сказал обессиленным го- лосом:

— Нет, все-таки если бы я верил, я верил бы в праздного бога. Гениальный бог! Создал небо и землю, а людям сказал: живите как хотите — и с тех пор не вмешивается.

Никто не понял его. Но засмеялись, будто он неудачно сострил. Борис сказал, нарушая неловкую паузу:

— Как это говорится?.. Пошли в магазин, а потом в кино? Или: как будем жить-то? Праздно?

Эта блажь началась у Феденьки летом в жаркий июльский день, когда он был в отпуске и жил на даче, которую они сняли в тридцати километрах от Москвы. Он хорошо отоспался здесь и через неделю почувствовал тягу к изучению окрестностей. Вышел однажды в жаркий день из садика, в котором стоял маленький летний дом, и пошел по асфальтированной дороге в ту сторону, где он еще ни разу не бывал, — в сторону шоссе.

Тут в округе все было исхожено, все перелески, все поляны и лужайки светлели тропинками, исполосованными прозрачными тенями берез. Отовсюду доносились шумы автомобилей или рев взлетающих, рвущих небо самолетов, к которым Луняшин быстро привык и перестал их замечать. Если, например, они прогуливались по лесу, а Ра что-нибудь рассказывала мужу, наступали вдруг моменты, когда Феденька переставал слышать ее слова, как будто радиоволна уносила их в эфирные шумы, — это значило, что в аэропорту стартовал самолет или над головами у них пролетали, выпустив шасси, очередной «ТУ» или «ИЛ», рева которых они не слышали, любясь стремительным и словно бы бесшумным гигантом, проваливающимся за бугор, где и был аэропорт.

И вообще здесь Феденьке очень нравилось. Лощина, где протекал небольшой ручей, пестрела цветами; над лощиной темнела кирпичная церковь, равняясь куполами с облачно-далекими, синеватыми силуэтами деревьев; мачты высоковольтных проводов несли над лощиной поблескивающие, провисшие от жары провода; шоссе, уходящее под уклон, резиново-клейко пело автомобильными шинами; дубы и березы мощно высились над этой лощиной, кончаясь на опушке леса. И над всем раздольем в реве и грохоте двигателей затемняли то и дело небо взлетающие и садящиеся самолеты. Особенно хорошо тут бывало в сумерках, когда над лощиной розовел туман, вобравший в себя цвет заката; когда за туманом мутно светились фары проносящихся по шоссе автомашин, а над туманом серыми призраками, как вечерние облака, кучились древоподобные купола среди куполообразных деревьев; когда самолеты казались синими и бесшумными, очень большими летающими сооружениями иных миров, а мачты с проводами — небесно высокими, ажурными башнями; когда в тумане на сырых берегах невидимого ручья трещал одинокий коростель, а над лесом бледно светился газовым огнем голубоватый месяц.

Это смешение патриархальной тишины с индустриальным шумом особенно волновало Луняшиных, которые могли выходить в этот час к лощине и любоваться всем, что они могли видеть и слышать.

Если ветер дул со стороны аэропорта, в свежем воздухе пахло коммунальной кухней далеких времен, когда Луняшиных не было на свете, а в Москве еще не было газа и люди готовили на примусах и керосинках. Но они быстро привыкли к этому запаху, тем более что в запущенном садике, где стоял под дубом бревенчатый их дом, арендуемый на лето, цвели белые флоксы, жасмин и множество всевозможных трав, которые все вместе заглушали любую постороннюю вонь, наполняя комнаты ароматом прохладной росы, жемчужными шариками поблескивающей на лепестках и листьях.

В этот день Луняшин ушел так далеко, что и не представлял уже, где находится. Старый лес был тих и мрачен. Вечные тени на дне зеленого ущелья, где Луняшин остановился в раздумье, рассекались тут и там дымчатыми лучами солнца, похожими на лучи прожекторов, в которых искрились летающие всюду комары и мухи. Нежный папоротник или заросли малины, выхваченные лучами из полумрака, пронзительно светились, как сгустки солнечной энергии. Пахло расплавленной еловой смолой, и было душно. Попискивание маленьких синичек раздавалось во тьме колючих ветвей. Некоторые из них с пугливым любопытством разглядывали Луняшина, прячась, как в расщелинах, в тяжелых лапах ветвей.

Феденька не тревожился: здесь легко было ориентироваться по шуму аэропорта или шоссе. Он выбрал направление на ближайший от него шум, рассчитывая выйти на дорогу, но ошибся и вышел на другое шоссе, к тому его месту, где строилась эстакада через железную дорогу, и бесчисленные машины делали объезд по железобетонному настилу, грохоча отработанными газами, трясясь и раскачиваясь на неровностях серых плит, в пыли, жаре и шуме затора. Колеса грузовиков, змеино струясь протекторами, высились рядом с легкими «Жигулями», медленно едущими навстречу, машины злобно шипели пневматическими тормозами, бряцали трясущимся железом, газовали в нетерпеливом стремлении вырваться на просторную ленту шоссе, сигналили, рычали, повизгивали тормозными колодками...

Бетонные стены какого-то завода подпирали путь объезда: железная дорога была местного значения, рельсы ее выходили из-под ворот завода, зеленея пыльной травой. Все вокруг — все домики, постройки, заборы — все это как будто выгорело, выцвело, покрылось серым пеплом. Все люди как будто исчезли куда-то, и одна лишь техника властвовала над миром, с грохотом, воем и скрежетом покоряя его, распластанного под колесами, под железом, под асфальтом и бетоном...

И вдруг Феденька услышал в этом безжизненном торжестве металла живой голос, молящий о пощаде, — то был жалобный лай собачки. Бельенкая с рыжими пятнами и пушистыми ушами, она неловко сидела посреди перегруженного пути объезда, подвернув зад и распластав на бетоне задние ноги, вытянулась вся, опершись на передние лапы, и, неподвижная, лаяла на машины, которые то скрывали ее от Лунышина, то вновь открывали... Он увидел ее черные глаза, блестящие предсмертной мукой и страхом, розовую ленточку языка, и ему показалось, что собака именно его просит о помощи, о сострадании. Не помня себя, он кинулся к ней, размахивая руками и крича на людей, сидевших за рулем, уперся в горячий радиатор тормозящей перед ним машины, услышал ругань шофера, нагнулся к собачке, подхватил ее на руки, почувствовав острую боль неожиданного укуса, увидел под ногами серебрищийся диск какого-то раздавленного железа, схватил и его и, не обращая уже внимания на брань, крики, сигналы оставленных им машин — этих современных, оживших, материализованных кентавров, с колотящимся сердцем вышел из ада.

Ему потом и самому не верилось и делалось страшно, когда он вспоминал о своем рывке в это металлическое пекло, откуда он вытащил укусившую его собачонку, которую они с доброй Ра назвали Мухой.

Металлический диск, машинально поднятый Лунышиным с дороги, имел удивительные формы: натертые до жаркого блеска выпуклости его, по которым проехала не одна сотня тяжелых машин, напоминали то ли щеки, то ли уши какого-то живого существа; грязные поднутрения, прихотливо изгибающиеся по всей плоскости круга, сглаженные трещины, странная игра всех этих случайных линий — все это вместе рисовало трудно понимаемое, но загадочное изображение чего-то такого, что можно было принять с помощью воображения и за стилизованный портрет и за диковинный плод чьей-то фантазии. Во всяком случае, это нечто приковывало к себе внимание и заставляло задуматься о чем-то туманно-неясном, найти в этом круге такую линию или выпуклость, которые вдруг могли что-то сказать своим изгибом или застывшим движением, что-то разбудить в душе и напустить на нее романтический дымок. А поблескивающая металлическая дужка, за которую Федя Лунышин подвесил на стену этот диск, была тоже похожа на некую отнюдь не случайную деталь художественного воображения, напоминающая иной раз ореол, сияющий металлом над искусно отчеканенным бредом фантазера.

Но это было всего лишь навсего раздавленное, расплющенное

жестяное ведро, которое, видимо, болталось под кузовом проезжавшей автомашины и упало на колдобине.

Сбитая автомобилем собака с парализованными ногами и расплющенное ведро странным образом повлияли на Феденьку, и он с той поры глубоко задумался, заложив на бледном своем лбу вертикальную морщинку, которая раньше или совсем была незаметна или появлялась лишь в минуты умственного и душевного напряжения, как это случается даже у детей.

— Бр-р-ред,— говорил он иной раз, пребывая в этой задумчивости.— Бр-ред!

— Что? — спрашивала Ра, отвлекаясь от кормления.

А он на нее смотрел с хмуроватой, кривой улыбочкой, морща бледный лоб, и ничего не отвечал.

Жилось им легко в это лето на даче, потому что Нина Николаевна согласилась приехать к ним и тоже была, кажется, довольна жизнью среди цветов. Всех устраивало, конечно, то, что хозяева дачи, сдав ее на все лето, так и не появлялись на участке, как будто наняли себе сторожей и тоже были довольны этим.

Антон, Арсений и Алиса, накусанные комарами и измазанные «изумрудной зеленью», дрыгали ножками и ручками, тарасились мутными еще глазками в голубое небо, и розовые их лица были похожи на лица каких-то азартных бегунов, которые даже во сне видели бег, бег, бег к грядущей победе, к той ленточке, ощутить которую распираемой воздухом грудью и есть истинное счастье.

Муха, попавшая под машину, страдала, конечно, ужасно! Стонала по ночам на террасе, скулила и, наверное, плакала по-своему. Все ее жалели и, как могли, лечили. Ветеринар махнул на нее рукой, сказав, что поврежден позвоночник и лечение бесполезно. Но что только не творит любовь! Прошла всего неделя, и он был заочно посрамлен. Муха поднялась и, качаясь, стала передвигаться, подволакивая ноги. «Муха пошла! Муха пошла! — только и слышалось в этот день в семействе Луняшиных.— Ах ты Мушка наша, ах ты молодец!» Каких только лакомств не совали ей в рот, чем только не баловали симпатичную эту собаку с лисьей мордочкой и пушистыми, как у белки, рыжими ушами с розовыми раковинами, чистенькую и очень ласковую, шелковистая шерстка которой лоснилась бело-рыжими локонами. О несчастном хозяине или хозяйке Луняшины не хотели даже вспоминать, побаиваясь мысли о том, что кто-то вдруг может объявиться и забрать у них Муху.

Антон, Арсений и Алиса с одинаковым изумлением на лице, с одинаковыми звуками, которые они издавали на испуганном вздохе, тянули к ней ручки, а Ра говорила в приятном расположении души:

— Это собачка, это Муха. Хорошая наша Муха...

А Муха, хоть не могла еще вилять оцепеневшим хвостиком, всем своим видом показывала, что ей тоже очень приятно и что жизнь ее, спасенная отважным Человеком, теперь безраздельно принадлежит ему и его хорошим, душистым детям. «Я ваша,— как бы отвечала она преданным взглядом.— Вы никогда не увидите моих зубов, обнаженных в злобе. У меня не было сил убежать от железных чудовищ, которых я никогда не боялась, но теперь я знаю жестокое их коварство, знаю черные их, вонючие пасти, из которых выхватил меня мой добрый хозяин. Ты не сердись на меня,— говорила она, глядя на Феденьку,— я укусила тебя от страха, я не знала, что ты мой спаситель».

Феденька именно так понимал напряженный и пристальный ее взгляд, когда она, высунув язычок, смотрела на него с разинутой пастью, в которой белели в улыбке ряды острых молодых зубов.

Ра после родов расплнела, бедра ее раздались вширь, и она стала казаться теперь крупнее и больше своего мужа. Сидя на стуле в саду, спокойно могла, расставив босые ноги в траве, держать на растянувшемся сарафане троих своих детей, которых она подгрребала

руками к животу, расправляясь с ними так, будто только и занималась в жизни тем, что выращивала младенцев. Молока у нее хоть и не хватало на всех, но было так много, что искусственное питание служило лишь подспорьем.

Борис, побывавший с Пушей в гостях у брата, назвал домик с детьми и собакой живым уголком, щелкнул ногтем по расплюсченному ведру, увидев сразу, что это именно ведро и ничто иное, прихлопнул комара на лбу...

— Наш уголок нам никогда не тесен,— отвечал Феденька словами старого романа.— Когда ты в нем,— обращался он к брату,— то в нем цветет весна...

Молчаливая и улыбчивая Нина Николаевна вдруг тоже подхватила и речитативом продолжила:

— Не уходи, еще не спето столько песен...

В этот вечер долго не смолкали голоса и смех на террасе бревенчатого домика, влаивала Муха, плакали дети, ярко светились огни, освещая желтым светом белые флоксы, которые казались бронзовыми во тьме. И всяк, кто проходил в эти часы мимо дачного участка, думал, что в доме под темным дубом живут, конечно, самые счастливые и беспечные люди на свете.

— Вот посмотрите,— громко говорил Феденька,— как наша мама ест... Она каждый кусочек смакует. А смотрите, с какой приятной жадностью глотает. Вкусно ей! Потому что знает, что такое голодуха, что значит кусок хлеба черного... Картошка какая-нибудь... Вот, мамочка, как я люблю людей, которые знают вкус еды — любой! Ценят ее, эту еду, не бросают. А у нас пресыгившиеся рты! Я даже не помню, не изведал по-настоящему, что значит быть голодным. Теперь от обжорства люди спасаются голодом. Мама! А вот если бы тебе тогда сказали, что придет время и люди по прихоти своей будут устраивать всякие голодные, разгрузочные дни, всякие монодни, ты бы поверила?

— Ну что ты, Феденька! — отвечала Нина Николаевна, смущенная излишней наблюдательностью и откровенностью сына.— Никто бы в это не поверил.

— Ах, мама! Как я тебя понимаю! — восклицал Феденька чуть ли не со слезами на глазах и, стискивая зубы, с ненавистью смотрел в пространство, словно бросая вызов всем обжорам.

Ра глядела на мужа вытянутым лицом, которое после родов словно бы переместило центр своей привлекательности, сконцентрировав его в едином чувствилище, каковым теперь стали ее влажные, крупные губы. Движение бровей и глаз, пластика низко опущенных скул, линия узкого и нервного носа, овал мягкого подбородка, упругая крутизна шеи — все это общим потоком стремилось теперь к розовой влаге, являясь в своей совокупности как бы преддверием истинного предназначения этого лица, которое мельчайшей складочкой, цветом, выпуклостью и движением, всей своей красотой стремилось лишь подчеркнуть, выявить удивительную и непревзойденную красоту сиренево-розовых губ, пребывающих в постоянном волнении. Казалось, что изменился даже ее профиль, удлинились все формы лица, далеко выпятив розовый цветок, который распустился наконец во всей своей красе и целесообразности, маня к себе взглядом, как манит настоящий цветок летающих насекомых. Порой даже чудилось, что и сама Ра как бы сознавала, что создана лишь для того, чтобы нести эту сиреневую розовость, на которую и она тоже заглядывалась внутренним своим взором, зачарованная небывалым созданием природы.

Каждый, кто теперь смотрел на нее, невольно думал о поцелуе, точно перед ним являлось существо, созданное для умопомрачительных ласк, существо, легко превзошедшее все, к чему в муках и страданиях стремилось тысячелетиями человечество, сочиняя теории,

придумывая учения, зовущие к совершенству,— все это она как бы сразу накопила в себе, познала, прочувствовала и принесла изумленному человечеству в форме упруго раскрывавшихся лепестков розового цвета, утвердив истину в образе как единственную ценность, которую не способны поколебать никакие теории, религии и науки.

Ра смотрела на мужа с удивленным напряжением во взгляде, словно хотела наконец-то понять его и объяснить себе, постигнув тайну его неожиданных поступков.

— Феденька, а Феденька,— говорила она ему так, как если бы не могла никак достучаться,— чтой-то я тебе хотела сказать. Ты зачем все это говоришь? Про кого?

А он с тем же напряженным удивлением разглядывал ее и, выходя из своего далека, отвечал еще более непонятно и загадочно:

— Вот мы все спорим, спорим, а верблюд, которого мы ищем, ушел сразу на север и на юг...— Говорил он так, будто отвечал на какие-то ему одному известные догадки, не слушая и не пытаясь понимать окружающих.

— Какой верблюд?

— Двугорбый,— отвечал он с нежной улыбкой на бескровном лице.— Которого мы ищем.

И слезы прятались у него в глазах, смущая Ра и всех, кто был в эти минуты рядом с ним. Всем почему-то казалось, что Феденька непрестанно думает над чем-то очень и очень важным, чего не дано было знать никому...

— Не напрягайся,— говорил старший Луняшин, стараясь обратить все в шутку.— Двугорбый верблюд, если пораскинуть мозгами, далеко не уйдет, а здоровье унести может.

— При чем тут! — восклицал Феденька.— Я ведь про это вот колесо, про ведро... Разве ты не видишь морду верблюда? — говорил он, кивая на расплющенный диск, висящий на бревенчатой стене.— Это же гениальное произведение, когда-либо появлявшееся на свет, а художник — жизнь. Нет! Если задуматься, если, как ты говоришь, пораскинуть мозгами, то более яркой и глубокой вещи я не встречал... Где тут искусство, а где сама жизнь? Ведро? Кто-то его сделал из оцинкованной жести... Оно блестело голубым огнем, пустое и круглое, звонкое, как барабан. А потом в него налили воду из колодца, и оно стало тяжелым и сытым,— голос его побасовел:— ударишь по стенке, а ведро с водой в ответ кратко пробасит сквозь сон, и все... Это и была его жизнь — стоять с водой в сенях, лететь по воздуху на колодец, стонать от плещущей в него ледяной воды, стынуть в сне... Вернее, так бы оно хотело жить, наверное. А люди стали его возить с собой на грязном грузовике, черпать им воду из ручьев или луж, чтобы охладить радиатор. За всю свою жизнь ни разу не бывало оно до краев наполнено чистой водой. Болталось под кузовом, брэнча в дороге, с помятыми боками, пустое и грязное. И вот упало под колеса... Все! Может быть, оно собаку бросилось спасать? — спрашивал он, обводя всех безумноватыми глазами фантазера.— Или собака бросилась спасать его? Странная какая-то связь между ними существует, конечно. Видите, как оно теперь улыбается верблюжьей мордой? А собака ведь сидела почти на ведре, когда я ее подхватил... Оно мне вдруг блеснуло в глаза, и я сам не пойму, почему успел схватить его. Я ведь не знал, что это ведро! Оно посмотрело на меня — я теперь знаю чем — верблюдом... Видите, какой у него гордый и самодовольный вид? Впрочем, там много всяких изображений: это я сейчас вижу только верблюда, а потом увижу еще кого-нибудь. Оно многолико, как наш век. Там все! Колодец, хрустальная вода, дороги, ручьи и мосты через речки, рыбы... Я уже видел недавно добродушную морду карпа. А теперь ищу и никак не могу найти. Теперь верблюд. И никак не могу избавиться от него — смотрит на меня, и все тут. А карп вильнул хвостом и пропал. Это очень интересно! — говорил Федень-

ка, приглашая всех увидеть верблюжью морду, увлеченно показывая рукой смутные ее очертания.— А вот и обезьянка! — вдруг воскликнул он пораженный.— Или точнее что-то подобное, видите, вот здесь, вот эту челюсть, а это скошенный лоб, а это глаза... Ну как же так, не видите?! Напрягите воображение! Ха! Верблюд и в самом деле ушел, а обезьяна появилась. Видите эту губу? Нет, это не обезьяна! Это недостающее звено... Между прочим, все они — рыбы и звери — очень добродушные... Эта морда тоже добродушна... Такое впечатление, что все они лакомятся чем-то очень вкусным, что-то держат под губой, то ли зерна, то ли травинки какие-то... Неужели не видите? Ну, значит, во мне пропадает художник.

Чем дальше он жил на даче, наслаждаясь летними днями, солнцем, дождем и ветром, созерцая своих детей, которых он никак не мог воспринять как нечто реальное, будто и они тоже своими мордочками смотрели на него из железного небытия,— чем больше он проводил времени в бессмысленном течении жизни, которому с удовольствием отдался, тем отчетливее становились раздумья его о быстротечности летнего отпуска, о случайном своем жилище, которое ему скоро придется покинуть. Он стал задумываться о той несправедливости, какая вечно преследовала его и будет преследовать на протяжении всей жизни... Он с удивлением смотрел на хозяев дачи, когда они приехали к себе на участок, чтобы собрать малину и крыжовник с кустов, и не мог понять, почему эти люди, которым судьба подарила возможность жить в райском уголке, не живут здесь, а он, который так бы хотел жить здесь вечно, будет вынужден, собрав вещички, вернуться в город? Им не нужно, а у них есть. Ему нужно, а у него нет и никогда не будет.

Это открытие его поразило однажды, как поражает ребенка впервые пришедшая мысль о неизбежности смерти матери и отца, и он затосковал, страдая оттого, что никакого положительного ответа на эти вопросы придумать невозможно...

Он ходил по дачному поселку и мысленно отмечал пустующие дома, утопающие в зелени, среди которой белели рамы и наличники окон, и выбирал себе один из этих домов, поселяясь душою в тихие комнаты, залитые светом или затененные ветвями дерева. Бессмысленное это занятие утомляло его, он раздраженный возвращался домой и, как всякий русский, знающий о необходимости покинуть дом, в котором живет, готов был, не дожидаясь срока, бросить все и уехать, чтобы уже никогда не думать и не вспоминать о прежней жизни, будь она неладна.

Кандидатская диссертация, которую он начал когда-то, была заброшена окончательно. Он настроился на другую жизнь и не хотел, не мог, не умел вернуться к прежнему душевному напряжению.

Формула, которую он приспособил для себя, была теперь для Феденьки спасением, жизнь теперь и в самом деле стала для него целью, и если бы он не задумывался над этим, а просто-напросто жил, то все было бы хорошо. Но он задумывался и как бы все время уговаривал себя подчиниться этой формуле.

И поэтому жизни не было. Было лишь постоянное приспособление к новым ее условиям, к ее простым требованиям, по поводу которых ему почему-то нужно было сложно и мудро задуматься и постараться убедить себя, что именно так и только так нужно жить, чтобы чувствовать себя человеком.

Если он теперь любовался своей Ра, ему и в голову не приходило, что ей можно было бы, как когда-то Марине, прочитать что-нибудь из своей прежней работы. Это все кануло в прошлое, и он был искренне рад такому обороту дела.

Казалось, что раньше он жил излишне напряженной жизнью, взяв на себя роль, которая вовсе не предназначалась ему, а теперь одумался и понял свою ошибку. Пришла наконец пора успокоиться

ему, отцу Антона, Арсения и Алисы, которых надо было кормить. А покой не приходил, хотя он как будто бы все подготовил для того, чтобы жить нормально, как жили все люди.

Теперешняя его жизнь была наполнена сплошным недоумением, как если бы он все время занимался совсем не тем, чем ему предназначено было заниматься, то есть его волновало совсем не то, чем он был занят и за что ему платили деньги, а его очень волновало то, до чего ему, казалось бы, не было никакого дела.

Так, например, солнечным утром, когда в лесу с ветвей рушились тяжелые капли вчерашнего, а точнее сказать, недельного дождя, когда солнце слепило, сверкая в мокрой, тихой листве, на широком поле, к которому вышел Феденька Луняшин, косили перезревшую траву. В воздухе пахло зеленой кровью травы, измельченной механизмами на силос, и выхлопными газами голубых самосвалов с высокими деревянными бортами, на которых вывозили травяную массу с поля. Запахи эти, мешаясь в чистом воздухе, будоражили чувства своей странной совместимостью, как будто сожженная кровь земли была сродни зеленой крови ромашек, козлородника, клевера, щавеля и великого множества других растений, отдающих энергетический сок для скота, чтобы у людей на столе дымилось мясо.

Вся эта сложная цепочка взаимных связей тут же пришла в голову Феденьки, когда он увидел картину современного покоса, не оставлявшего душе ничего, кроме мысли о том, что это нужно. Это нужно было и ему, и Борису, и будущим едокам мяса: Антону, Арсению и Алисе... Автомобиль, который выбрался с поля на гиблую глинистую дорогу, превращенную дождем в ухабистую скользкую горку кофейного цвета, остановился, увязнув колесами в жиже... К нему, разрывая тишину грохотом, подполз задом гусеничный трактор, шофер и тракторист, заляпанные жидкой глиной, с трудом закрепили толстый трос, связав им трактор и машину, и, усевшись по своим кабинам, медленно поехали... Машину бросало из стороны в сторону, кренило то вправо, то влево, травяная масса сыпалась через задний борт, темно зеленея на кофейно-молочной поверхности косой дороги, ведущей к шоссе через редкий березнячок. Трескучий грохот тракторного мотора роплем уносился в небо, будто под голубым его пологом в зеленой благодати стонал и плакал навзрыд грозный зверь, поверженный всеильными людьми. Дорога, которая и без того была непроезжая, после тракторных гусениц превращалась в глиноточащую рану, в рыжий, мокрый шрам, в истинное проклятие, как будто не сено вывозили с поля, а тащили пушки на шоссе, спеша ценою жизни остановить прорыв вражеских танков.

У Феденьки сердце зашло в расслабленном стуке, когда он увидел всю эту картину, к которой, по всей вероятности, привыкли здесь, перестав замечать как нечто обычное и не требующее какого-либо вмешательства.

Все, наверное, понимали, что экономически не выгодно из года в год таким чудовищным способом вывозить сено с поля, уродуя красивый косогор, то есть была, вероятно, экономическая потребность в подготовке хорошего подъездного пути к полю. Наверху никто из тех, от кого непосредственно зависела возможность исправления положения дел, не отрицал, понимая всю абсурдность допотопного волока в тридцати километрах от столицы, необходимости срочного вмешательства.

Наверняка издавались какие-то приказы, требующие улучшить дело, выделялись даже средства на ремонт дороги... Но все приказы и средства тонули в бюрократической рутине, которая была страшнее и губительнее изуродованной дороги, засасывающей даже гусеничный трактор, вопящий и воняющий дымом между серебристых стволов ободранных берез.

«Да что же это такое?! — чуть ли не криком спрашивал обомлевший Феденька. — Техника! Доверь в злые руки и дурные головы... Как же так?»

Тракторист, которому он кричал в негодовании, ничего не слышал за грохотом мотора, шофер, которому Луняшин мешал следить за дорогой, мрачно ругался в ответ, болтаясь в кабине.

Маленький рядом с грохочущими и воняющими механизмами, один из которых помогал другому выбраться с гиблой дороги на сухое шоссе; кричащий, но никем не понятый, бессловесный в громе погруженных моторов и лязганье траков, — Луняшин размахивал руками, проклинал, грозился, пробираясь по осклизлой обочине дороги.

Но никому даже в голову не могло прийти, что этот истошно кричащий человек ругается лишь потому, что они делают что-то не так.

Силы покинули Феденьку, он шатаясь отошел от машин и, махнув рукой, побрел домой, вытирая расслабляющий пот со лба... Он думал, что нужно собраться с мыслями и написать обо всем увиденном в газету, но знал, что никогда не сядет за стол и ничего никуда не напишет, потому что понимал, что слово его не изменит положения дел, наступит следующее лето, созреет трава в поле, и, если пройдут дожди, как в это лето, опять мощный трактор будет дежурить на обочине поля, вытаскивая беспомощные машины к шоссе, корежа и машины и дорогу.

«Что же это такое?! — думал он в отчаянии. — Неужели люди разучились понимать простые истины?»

И на память ему приходила бывшая пойма на слиянии двух рек, превращенная в поле, купоросно голубеющее до горизонта сочной и тяжелой капустой. Шла уборка, кочны капусты, погруженные в самосвалы, падали под колеса, и вся дорога с поля была бледно-зеленой, сахарно-белой от раздавленной капусты, которую потом шинковали и квасили в плохо промытых вонючих бочках, отчего она становилась несъедобной. Когда-то эта пойма давала столько кормов для скотины, такие пастбища раскидывались в междуречье, что пригнанные с юга гурты истощенной в пути скотины за неделю откармливались до необходимой упитанности, какая требовалась на московской бойне. Вместо пастбища — капуста, которая, конечно, тоже нужна людям, но которую с каким-то уму непостижимым старанием превращают в помой.

— Что за чертовщина! — восклицал он в другой раз и в другой обстановке, вклиниваясь в спор о детях. — Наши дети знают, что их все должны любить. Это очень плохо. Они не стараются заслужить любовь, а просто знают, что взрослые люди обязаны любить детей. А за что я должен? Глупость какая-то! Это непременно скажется потом и ударит нас по старым нашим шеям. А будет поздно. Тут недавно ко мне подходит соседский мальчишка и говорит: «Дяденька, если бы вы любили детей, вы бы их катали на машине?» Я обалдел. Не зная совершенно меня, он уже утверждал, что я не люблю детей, а стало быть я нехороший дяденька, он был уверен, что у меня должна быть автомашинка, на которой я почему-то не катаю... То есть понятно почему: я ведь не люблю детей. Каков, а? Он удивился, что у меня нет машины, и, конечно, махнул на меня рукой как на человека, который детей не любит. Вот они — ягодки нашего воспитания! Есть книги педагогических советов, книги по воспитанию и прочее и прочее. Их, как правило, читают специалисты и используют из них то, что им годится для практики. А по телевидению во всю ивановскую трубят о любви к детям, раскрывают всевозможные педагогические тайны, секреты, как будто раскрывают перед вами кулинарную книгу с рецептами. Если бы я был маленький и слушал эти передачи, я бы обязательно делал все не так, как нужно, потому что я бы знал, что меня, ко-

того и так должны любить, хотя и воспитывать. Я бы ни за что на свете не подчинился! Педагогика — это наука, окутанная тайной. А как же иначе? Я не должен знать, что мне прививают хорошие качества, а тем более знать, как это делается.

Все эти вклинивания в постороннюю жизнь, которая, казалось бы, не должна была так сильно волновать Феденьку Лунышина, стали такими болезненными для него, что он впадал в хандру и замыкался в себе.

— Нет, — говорил он со вздохом, — цель жизни все-таки жизнь. И да здравствует утраченный эгоизм. Мне некуда бежать от него.

Но проходило время, и его опять что-то раздражало, он опять волновался, замечая безобразия в той жизни, которая и в самом деле стала теперь целью и его личной жизни. Он с тоскою понимал в минуты этой раздражительности всю беспочвенность мнимой формулы, приспособленной для себя, в которой он хотел спрятаться, как в скорлупе, и которая опять и опять приводила его к истинной цели — к жизни всего общества со всеми ее взлетами и падениями.

«Зачем мне это нужно? — спрашивал он сам себя в недоумении. — Почему именно меня так волнует выступление какого-то железнодорожника по телевидению, который сказал, что они работают творчески и даже к инструкциям подходят тоже творчески; или выступление железнодорожницы, занятой на диспетчерской службе, и нелепый вопрос корреспондента, спросившего: «Вы так хорошо освоились со своей профессией, что, наверное, можете работать вслепую?» «Да, конечно, мы и работаем вслепую!» Почему мои нервы не выдержали, и вместо того, чтобы просто посмеяться, я закричал на экранное изображение: «Не надо! Вот уж чего не надо, так не надо! Не работайте вслепую, и не надо никакого творческого отношения к инструкциям! Это опасно на железной дороге!» Закричал, будто находился на собрании железнодорожников. Что же со мной происходит? Почему я стал такой раздражительный? Я ведь не успел устать до такой степени, что уж не справляюсь с собой. Нет! Тут что-то другое... И не я один. Раздражение охватило многих. Нехороший симптом! С ним надо бороться сообща. Я один никак не справлюсь. Поэтому, может быть, и веду себя точно какой-нибудь хлюпик. И никто меня не хочет понимать. Да, я, конечно, мужчина. Да, разумеется, я могу сдерживать свои эмоции, но... Я сдержу, он сдержит, они сдержат... Что значит мужчина в наш век? Вот в чем вопрос. Равнодушие и цинизм? Эти качества, что ли, воспитывать в себе? Нет уж, увольте. Но как же тяжело жить в этом беспокойстве! За что же мне такая награда? Что я могу?»

И перед глазами Феденьки возникал образ огромного, вселенского равнодушия в виде зимней вороны, пролетавшей однажды поперек телевизионного экрана, когда он смотрел трансляцию с аэродрома торжественной встречи какого-то заграничного гостя.

Он любил смотреть эти ритуальные встречи, любясь начальником почетного караула, застывшего по стойке смирно, который шашкой наголо салютовал гостю, отдавая рапорт, любил разглядывать лица окаменевших солдат, ведущих взгляды свои за проходившим мимо строя гостем, а потом любил смотреть на четкий шаг молодых ребят, специально обученных чеканному маршу.

Зимним, пасмурным днем, когда белый снег земли был светлее набрякшего мрака неба, в сером экранном небе над торжественным церемониалом, над самолетом с горячими еще двигателями, над ковровой дорожкой, над микрофонами, лениво махая крыльями, вдруг пролетела серая ворона, которой не было никакого дела до всей этой праздничной торжественности. В тесной рамочке телевизионного экрана, где ворона явилась во всем своем взъерошенном великолепии, это показалось кощунственным пренебрежением к человеческим пере-

живаниям, и с тех пор концентрированная телекартинка стала для Феденьки Лунышина олицетворением глухого и преступного равнодушия, которое только можно себе представить. А потому никому и непонятно было, если он вдруг ни с того, ни с сего называл человека зимней вороной, вкладывая в свое определение всю накопившуюся желчь и раздражение.

— У меня сразу созрел вопрос,— говорил Феденька, пародируя кого-то,— почему иные люди служебное свое рвение, все свои карьеристские устремления оправдывают особенностью темперамента? «Я не могу без города и без постоянного участия в общем деле». А не кроется ли за этим: я не могу без удобства и комфорта, без закулисных страстишек, без сотрясения воздуха, о котором Ленин еще говорил: «Ну, пошел доказывать, что лошади едят овес»,— без заботы о своем месте в бюрократическом потоке...

Он говорил это же в другом месте и в другой раз, никак не соотнося свои неожиданные размышления с зимней вороной и не предполагая, что Борис Лунышин, слушая его, невольно принимал все на свой горб, багровея в кабаньем каком-то оцепенении, когда казалось, что вместо усов у него из-под губы вырастали костяные ножи вепря.

Феденька и представить себе не мог, что Борис мучительно вспоминает, в какой неурочный час умел младший брат проникнуть в тайное тайн его жизненных устоев, как ему удалось подслушать движение его крови, в которой жили эти никогда не произносимые вслух слова.

Да, он любил город, любил его в любое время года, ему нравилась жизнь, наполненная борьбой, и он всегда стремился к командным высотам, но отнюдь не потому, что нравилось подчинять людей своей воле, нет,— ему нужна была лишь та степень независимости, которая позволяла жить с сознанием, что ему удалось чего-то достигнуть, кого-то обойти, словно жизнь для него игра, а он в ней — удачливый игрок, смеющийся в глаза проигравшему. Старая, как мир, идея преследовала его. Но ему казалось порой, что, достигнув чего-то в жизни, он как бы впрыгнул в последний вагон уходящего поезда, уцепился за поручень, зная, что в кармане у него билет и что где-то там, в передних вагонах, есть и его вагон и его место, до которого ему надо теперь идти и идти... Ему даже во сне снился уходящий поезд, и он просыпался в холодном поту от страха, что опоздает.

«Я ничего не понимаю,— начинал он всякое свое выступление на любом собрании. — Я не понимаю, о чем мы спорим». Это привычное для него «я не понимаю» было очень удобно, потому что позволяло, оставаясь при своем мнении, никого не задеть, не обидеть при этом, ибо если человек не понимает, он не может сказать что-нибудь серьезное.

— Что? — спрашивала иногда Ра, откликаясь на слово эмансипация. — Равенство?! Фи! Только превосходство.

И это нравилось Борису, который принялся аплодировать, когда услышал это впервые из уст игривой красавицы. Сам же он, думая о себе, не уставал повторять услышанное где-то:

— Выдающиеся спортсмены существуют только для того, чтобы невыдающиеся делали им приставку «экс», только для этого.

Из этих и подобных анекдотических фраз он, как из тумана, выходил на светлый бугор, с которого мог оглядеться. Нужно было подумать о своем назначении в жизни, о чем он никогда всерьез не задумывался, пребывая как бы на подножке последнего вагона идущего поезда, когда думать некогда, а надо только действовать.

И он действовал. То есть делал то, что, как ему казалось, ставило его в уровень с веком, заставляя быть в том потоке, в котором он несся неудержимо и весело, подбадриваемый всеми, кто окружал его и кому он помогал в той или иной степени, считая это своим долгом. Пиратским флагом реяло в его сознании обманчиво справедли-

вое требование: сам живи и дай жить другим... И никто не в силах был убедить Бориса Лунышина в том, что формула эта полна противоречий и способна быть лишь оправданием круговой поруки.

Рынок в жизни старшего Лунышина занимал большое место. Пушу хорошо знали в мясных и молочных рядах Центрального рынка, где она всегда покупала парную телятину, домашний творог и сметану. Любил ходить на рынок и сам Борис, получая удовольствие от одного лишь сознания, что он может, если захочет, купить драгоценные зимние помидоры, светящиеся туманной розовостью, или пупырчатые огурцы с засохшими лепестками цветов на светло-зеленых полосатых кончиках; может, если захочет, пошутить с продавцом и увидеть в ответ понимающую улыбку, а то и встречную шутку уверенного в себе человека. Рыночные цены не смущали его, а рост их даже приятно волновал.

В такие минуты Борису казалось, что тело его теряло привычную тяжесть, азарт тревожил душу, походка его делалась упругой, движения медлительно-напряженными, уверенными, на лице начинала играть улыбка, точно он приходил в гости к друзьям, узнавая в каждом торговце свои прежние радости, которые он оставил когда-то ради другого дела.

— Ах, капуста! — восклицал он, пробуя длинные струнки сочной капусты с красными прожилками шинкованной моркови. — У-у! Нет, это настоящее чудо! — покоряя словами и всем своим видом краснощекую торговку.

И покупал, покупал, покупал. Маринованный чеснок и горохово-зеленые стебли черемши, капусту шинкованную и кочанную, проквашившуюся до стеариновой полупрозрачности, огурцы соленые и свежие, все сорта и виды травы, зеленую и черную редьку, красные помидоры, розово-белые пальцы длинной редиски, грецкие орехи, яблоки, груши, хурму и вяленые абрикосы... Покупал не торгуясь, с залихватским видом человека, дорвавшегося до любимого дела.

Едва хватало сумок для всех его покупок! Пуша не любила ходить с ним на рынок, хотя никогда не перечила мужу, зная, что это как ничто другое может обидеть его, словно Борис превращался в ребенка, попавшего в «Детский мир», заваленный игрушками.

Большой, деньгастый, азартный, он нравился и торговцам, которые, впрочем, были так далеки от его восторгов и искреннего восхищения, что обязательно подсовывали какое-нибудь червивое яблоко или мятую грушу в первосортный товар, приводя в отчаяние Пушу, а самого Бориса, обманутого в лучших чувствах, в уныние перхитренного глупца. Покупатель он был плохой, и все, что он выбирал на прилавке, оказывалось не таким уж хорошим товаром, чтобы платить за него дорогую цену.

Как-то раз благообразный старик, худощавое лицо которого тонуло в табачно-серой бороде, машинально взяв, перед тем как взвешивать соленые корнишоны, четыре рубля с Бориса Лунышина, строго потребовал денег, когда Борис собрался идти дальше.

— Я же вам отдал,— сказал Борис, оскорбленный тоном и строгостью старика.

— Нет,— ответил тот и, достав из кармана мокрую пачечку денег, показал Борису красную десятку, лежавшую сверху.— Десять рублей я получил от той женщины и дал ей сдачу, а ваших четырех рублей у меня нет,— сказал старик, с тихим бешенством впиваясь взглядом в растерявшегося Лунышина.

Борису не жалко было денег, но обида взбесила его, и он, задыхаясь и еле сдерживаясь, сказал скучным голосом:

— Вы за кого меня принимаете? Я вам что! Если вы растяпа и не знаете, куда сунули деньги, сидели бы дома, а не на рынке... Правильно, вы взяли у женщины десятку, а я тут же дал вам четыре рубля — трешку и рубль. Вы их взяли. Если бы вы меня знали, язык

бы не повернулся у вас сказать такое! Старый человек, а совести так и не нашлось... Небось, не только борода седая, а... Черт побери! Натяните вам,— говорил он, доставая из бумажника пятерку и бросая ее розовеющему старику, который, открыв беззубый рот, черную дырку, обросшую волосами, не знал уж, что и сказать, переворачивая мокрую пачку денег, с другой стороны которой зеленела трешка.— Сдачи рубль! — строго и презрительно сказал взбешенный Луняшин, у которого впервые в жизни было испорчено на рынке настроение.

— Нет, сынок, подожди,— сказал оторопевший старик.— Подожди. Я человек верующий. Мне твоих денег даром не надо. А грех на душу брать не хочу. Может, я и ошибся... Давай, сынок, так сделаем... Ты пять рублей своих возьми обратно, а раз ты говоришь, что четыре рубля... Может быть... Я не помню, как на духу... То вот тебе мои два... Давай уж так! Грех пополам. Два мне, два тебе... Грех пополам.

Он подался к Борису и, навалившись на прилавок, протягивал хрустящую пятерку: черный его рот, иссеченный сверху вниз седыми волосами, кривился в мучительной гримасе, в глазах, распахнутых до какой-то наивной голубизны, теплилась улыбка виноватого человека, истово кающегося в невольном грехе, как если бы Борис Луняшин предстал перед ним иконой...

— Возьми, сынок,— молил он, смущаясь.— Не хочу я даровых денег... Не могу принять. А уж если ошибся, того не ведаю, ей-богу! Может, и взял деньги... Прости. А может, и не брал, может, сам ты ошибся... Бывает и такое. На рынке сначала товар получи, а потом деньги отдай, а ты, сынок, зачем поторопился? Ты уж прости старого, не помню, видит бог, не помню. Вот и надо нам грех-то пополам. Как тут иначе разойдешься?! А, сынок, возьми-ка ты свои деньги, а я тебе еще два рубля отдам. Не могу я по-другому.

Борис Луняшин, слушая старика, почувствовал, что и сам краснеет от стыда и неловкости положения.

— Вы меня тоже извините,— сказал он,— но давайте уж тогда так... Вы мне с этой пятерки дайте три рубля сдачи, и мы с вами в расчете. Если уж грех пополам, то надо эту пятерку разделить... Зачем же мне-то ваши деньги?

На них смотрели люди и улыбались насмешливо. Старик не знал, что делать. Пятерка в его руке дрожала... Мозг его отключился, отказав в работе от чрезмерного волнения.

— Ну правильно,— говорил он с одышкой.— Ну правильно. Я тебе дам сдачи три, а себе возьму два... Вот и дело... Ну правильно.

Он с трудом отщипнул трехрублевую бумажку от пачки денег и трясущейся рукой подал ее Борису.

— Так, что ль? — спросил он.— А то я что-то совсем как мучной... Говори, так, что ли, я делаю, сынок?

— Так, отец, так,— ответил Борис, зная, что дает старику, который неожиданно смутил его, лишние два рубля.— Пополам так пополам. Грех пополам. Вот и полегчало на душе.

Старик смотрел на Бориса белесой своей голубизной, чернея мохнатой дыркой, из которой вылетали шамкающие звуки посмеивания.

— Ну правильно, правильно, сынок,— сказал он и, держа в руке пятерку, махнул ею в воздухе, крестя Бориса и не сводя с него виноватых глаз, забыв о своих корншопах и огурцах, утопающих в ароматном болотно-зеленом рассоле в белом эмалированном ведре.

Ушел Борис от этого старика в расстроенных чувствах, будто тот все еще сомневался насчет денег: не передал ли покупателю, не ошибся ли. Затылок долго еще чувствовал недоуменный взгляд правдолюбца.

Но «грех пополам» — неожиданное это понятие, показавшееся Борису библейским, потекло по жилам, как эликсир, обновляющий и

молодящий кровь. И когда он рассказал об этом брату, рассчитывая растрогать Феденьку и умилить его истовым стариком, тот вместо умиленности уставился на Бориса задумчивым взглядом и спросил глухо, словно сквозь дрему:

— Грех пополам — это значит и преступление пополам? Дружина временщиков, — продолжал он, пробираясь взглядом в душу брата, — опричина именно на этом и держалась... Да и мало ли примеров? Весь преступный мир делит грех между собой... Не только пополам, но и на доброе множество... Это когда считается за долг заступиться друг за друга, если неправда стала объединяющим мотивом. Бывает и так. Когда надо поддержать вражду, чтобы объединиться и оправдать свое положение, тогда это годится — грех пополам. Принцип круговой поруки... Какая уж тут библейская истина! Нет, Боря, грех — единица неделимая. У каждого он свой, и другому его не передашь, как смерть.

Старший Луняшин крикнул раздосадованно:

— Ты как себя чувствуешь? Не в духе сегодня? Эти твои штучки, глубокомыслие это — зачем? Для меня?

К тому времени в жизни Бориса приключилась одна история, о которой он хотел бы забыть, но не мог, ибо все напоминало ему о той неловкой минуте, когда он нарушил заповедь своих отношений с братом.

В тот день ничего не предвещало никаких неприятностей. Позволила на работу Ра, приехавшая на денек с дачи, передала привет от Феди и матери, которые остались с детьми, он у нее спросил, не хочет ли она посмотреть любопытный фильм, и, получив согласие, заказал ей пропуск, велел захватить с собой паспорт, и обещал встретить ее у проходной.

День был ненастный. Мокрые стены домов, черные ветви мокрых деревьев, зонтики и блеск асфальта, холодный ветер — все это настраивало на особый лад: хотелось иной жизни, чего-то искусственно приятного, какой-то продуманной и хорошо приспособленной к обитанию, теплой и уютной среды, пронизанной золотистым светом и музыкой. Поэтому и кинофильм, обещавший радостные минуты, казался ему тем таинственным миром, той счастливой солнечной поляной, на которую он выйдет скоро из хмурой реальности и забудется вместе с красивой женщиной.

Он встретил ее под треск дождевых капель, бьющих в черный зонт. Она была в мокром дождевике изумрудного цвета, румяная от ветра, холодная и вся как будто пропитанная дождевой свежестью. Скользко-шелестящая ткань и запыхавшийся голос, радостная улыбка и торопливый шаг вскружили Борису голову, он почувствовал себя любовником. Проходная со строгим вахтером показалась ему незримой границей, отделявшей его от внешнего мира и перекрывшей все пути назад, словно он остался с любимой женщиной на безлюдном острове, словно бы все его прежние связи ничего уже не значили, ни к чему не обязывали, как если бы он перенесся на сто лет вперед в волшебном потоке времени, забыв о прошлой жизни.

Он видел, как приятно было Ра идти по территории известной на весь мир студии, он видел изумление в ее глазах, когда она полупешотом сказала, что встретилась в проходной с известным киноактером, с которым невольно поздоровалась, будто встретила старого знакомого.

— Так неудобно получилось! — говорила она, шелестя плащом рядом с Борисом, идя под его зонтиком. — Он в ответ кивнул мне, а сам, наверно, подумал: кто это здороваешься?.. Такое выражение у него было, будто он не узнал меня. Понимаешь? Я ему здравствуй, а он смутился и даже нахмурился. Ой, как неудобно получилось!

Борис склонился на нее:

— Не обращай внимания... Тут их... На всех не наздравствуешься... Глуповатые! Живут не своей жизнью. Мы видим героев на сцене, а герой — невидимка. Те, которые делают их героями, — невидимки. Цари и боги! А на сцене кто? Актеры. Я еще не встречал ни одного умного актера. Их надо заставлять думать, думать... Они и думают то за одного, то за другого, то за третьего. А сами не могут. Разучились. У них такая профессия — думать и говорить от имени других. Они только кажутся умными. Вот уж что они умеют, так это — казаться. Кажутся тем, кажутся другим, третьим, четвертым...

Борис говорил это с подчеркнутой ворчливой неприязнью, будто смертельно устал думать об актерах, говорить о них, обращать на них какое-либо внимание, и, говоря так, сам с удивлением слушал себя, понимая со стыдом, что старается для Ра, которая, как он понимал, не разделяла его рассуждений.

— Нет, все-таки неудобно получилось, — говорила она, в радостном возбуждении разглядывая старинную карету с кожаным верхом и с фонарями, которая стояла под навесом. — Ты, конечно, привык, я понимаю. А что Пуша? — спросила вдруг она. — Придет или нет?

— А ты бы хотела? — спросил Борис, пораженный своей пошлой смелостью.

— Мне все равно, я просто поинтересовалась.

— Не придет, — ответил Борис. — Ты еще не изменяла Феде?

Ра взглянула на него так, словно споткнулась и, падая, хотела сохранить на лице приятную для всех улыбку, чтобы не показаться испуганной дурочкой, растянувшейся на земле. Она поймала взгляд Бориса и, принимая его игру, засмеялась, говоря в возбуждении:

— А чтой-то я! Я вообще не понимаю, что значит: не изменять мужу. Я не понимаю женщин, которые говорят: ох, я не изменяю мужу. Ах, я такая чистая! Мне так тяжело жить, но я не изменяю мужу... Как это так? Что значит: не изменяю? Или изменяю? Не понимаю... Ничего не понимаю и не хочу...

После просмотра было уже поздно, и то, что увидели Борис и Ра за окном кабинета, в который они вернулись за ее дождевиком и зонтами, окуталось уже сизыми сумерками пасмурного дня, поглотившими цвет зелени, размазав по мокрому стеклу взъерошенные верхушки тополей. После яркого и очень громкого фильма, красивых лиц, нездешней откровенности чувств и поступков, приводивших Ра в стыдливый трепет, когда ей казалось, что все сидящие в маленьком зале смотрели не на экран, а на нее, прячущуюся в потемках и боящуюся света, — после той жизни, которая цветным призраком промелькнула на экране, и ее и Бориса пригласил в гости некрасивый мужчина с нахальной бородкой и припухшими глазами. Борис назвал его Саней. Над бородкой у Сани ярко краснели губы, будто он был в гриме, играя развратного типа, который только и интересен был своим нахальством и откровенной развратностью. Саня услужливо разглядывал Ра, боясь пропустить малейшее ее желание или даже намека на какое-либо желание, исполнить которое было бы радостью для него.

— Нет, — сказала Ра. — Я не могу. Уже поздно.

— Ты как договорилась? Вернешься сегодня или нет?

— Я сказала... Мы договорились... Нет, я уже опоздала. Они не ждут меня. Мы договорились, что если я...

— Понятно, — прервал ее Борис и тихо, чтобы не слышал Саня, спросил у нее шепотом. — Ты помнишь, как мы с тобой поцеловались на лестнице?

— Какая память! Боже мой, какая память! — с жаром воскликнула она и всплеснула руками.

Ей очень хотелось поехать к одутловатому Сане, хотелось нравиться, быть на людях, красоваться, отражаясь во взглядах одуревших от страсти мужчин. Она соскучилась на даче по этой жизни,

и ей хотелось теперь сидеть в глубоком кресле, стоявшем в кабинете Бориса, и, заложив нога на ногу, смотреть на пигмеев — мужчин, вожаденные взгляды которых она понимала в эти минуты лучше, чем могли предположить и Борис и Саня, уговаривающие ее провести вечер за бутылкой вина. Видимо, им тоже, как и ей, хотелось продолжить фильм, точно цветные тени волшебного луча, обманувшие их чувства, засветились в сознании таинственным миражем, к которому они устремились в безумстве погибающих от жажды путников.

— У него гитара,— говорил Борис.— Ты еще не слышала, как он играет на гитаре. Можно сказать, ты вообще не слышала гитары.

— У меня гитара,— подтверждал Саня, не сводя глаз с красавицы.

— Я обещаю, что никто не будет знать о нашем походе. Мне просто хочется сделать для тебя приятное. У Сани за проходной машина.

— У меня машина,— вторил Саня, блестя губами.— За проходной. Рядом, можно сказать.

— Он одинок и живет, как крез,— говорил Борис, начиная улыбаться.

— Как кто?

— Как король,— объяснил Саня с печалью в голосе.

Он жил в районе станции метро «Сокол» в сумерках боковой какой-то улочки, похожей на улицу дачного поселка. Окна деревянного дома, тяжело вросшего неохватными бревнами в землю, поблескивали холодными каплями. По стеклам хлестали ветви кустов. Под ногами, возле ступенек крыльца, лежала на асфальтированной тропке, светлея обломом, большая ветвь тополя. Ветер к вечеру усилился, на скате железной крыши пестрели листья, прилипшие к мокрой поверхности, лежали они и на земле.

Саня, включив фары автомашины, открыл ворота, осветив за ними гараж, торопливо въехал во двор и тут же, прогромыхав воротами, вернулся, прыгая через лужу, к крыльцу, отпер дверь, над которой зажег желтую лампочку, и пригласил гостей в деревянный дом, в тесный коридор... Звеня тяжелой связкой ключей, нашел еще один ключ, отпер еще одну дверь, опять зажег свет, озарив золотистым огнем прихожую с деревянной вешалкой, на рожке которой одиноко висела старая серая кепка.

— Так,— сказал он, оглядывая помещение глазами постороннего человека,— это, кажется, то самое. Теперь мы спасены. Налево кухня, прямо гостиная, направо кабинет и спальня: две смежные и одна изолированная, все удобства и телефон.

Было странно видеть растерянность на его нахальном, подчеркнуто развратном лице. Он говорил приблизительно так же, как говорил Борис Луняшин, с такой же примерно издевочкой в голосе, будто стиль этот был самым удобным для легкомысленного общения.

Ра внимательно прислушивалась, приглядывалась к суетливому Сане и к Борису, не совсем понимая роли, какую играл во всем этом деле близкий ее родственник, который по-хозяйски заглянул в холодильник, а потом и в настенный барчик, вытащив из глубин его початую бутылку молдавского коньяка.

Червивые маленькие яблочки лежали на столе, зеленая в холодном свете люстры, старые стулья тесно обступили круглый деревянный стол с облупившейся фанеровкой; кольца отпечатавшихся следов бутылок и чашек темнели на шероховатой его поверхности, давно уже не знавшей скатерти. Покосившийся старинный буфет, почерневший от времени, казался обуглившимся и еле держался на перегнивших ножках, приваленный к потрескавшейся стене. На жел-

том лакированном письменном столе навалом лежали книги, журналы, какие-то печатные тексты, фотографии мужчин и женщин, и среди этого пропылившегося хаоса сверкал хромированными микрофонами и клавишами, дышал зелеными строчками индикаторов включенный Саней стереофонический магнитофон, струясь бархатистой музыкой; стояла прислоненная к стене шестиструнная гитара; поблескивал чернотой и хромом еще один маленький магнитофончик, похожий на пишущую машинку. Все эти вещи, ослепляя совершенством форм и технических характеристик, с равнодушием роботов взирали выпуклыми сетчатыми глазами или черной пустотой на неряшливых и чем-то очень озабоченных людей, как бы существуя независимо от них и даже вопреки им, с презрением подчиняясь только лишь ради того, чтобы еще раз подчеркнуть свое несомненное превосходство над слепой их волей и детским капризом.

Саня что-то мыл на кухне под струей воды. Стекланные стопки, не вытертые полотенцем, мутно и мокро блеснули в его руках и, описав дуги в воздухе, сиротливо разбежались в разные концы стола.

Все это было бы очень интересно, если бы Ра знала, зачем она сюда пришла. Ей неприятно было сознавать, что Борису нравится тут, что он уже не впервые здесь, ее неприятно задела его слова, сказанные с видом человека, умеющего хорошо и красиво пожить:

— Мы большие, большие цари, а Саня наш маленький, маленький бог, творящий реальность.

Сказав это, он стал разливать по стопкам коньяк, блаженно улыбаясь, как если бы наконец-то почувствовал освобождение души.

— Интересно,— сказала Ра, сидя на стуле в позе царицы на троне.— Очень интересно,— повторила она, с испуганной какой-то улыбкой косясь на дрожащий в стопке коньяк, будто ей стало страшно за себя.— Что-то я не слышу гитары...

— Санечка! Что-то мы не слышим гитары,— сказал Борис.

Саня едва прикоснулся к клавише магнитофона, и звук умолк. Тут же прогудела гитара, стукнувшись об угол стола, Саня присел на низенький матрас на деревянных ножках, прикрытый грязной тряпкой, тронул струны, крутя их.

— Ну хорошо,— сказал он и начал играть.

И заплелись вдруг в тишине убогого жилища такие кружева звуков, такие тонкие и красивые в своей неожиданной последовательности, что Ра тут же захотелось заплакать, словно это было что-то последнее в ее жизни, что-то необъяснимо простое и в то же время как будто бы что-то главное, против чего все остальное — мелочь, дешевка, глупость. А оно, это главное, вдруг пришло и зазвучало в душе. Плакать хотелось оттого, что она уже не ожидала этого, а оно пришло неведомо откуда, пролилось в самое сердце, что-то тронуло там и растопило. поколебало покой.

Борис, точно услышав ее чувства, которыми она была переполнена, громко сказал, хлопнув ладонью по своей толстой ляжке:

— Как это там поется, черт побери! «Пена кружев и горностаев снега...» А? Все в душу мою. Вот это милость, Санечка! Это — благодать. И ведь кто? Плюгавый, паршивый мужичонка! Носик клювиком, глаза круглые... И горбатый к тому же! Ах, чертяга, что делает! Как это ты можешь такое вытворять, Саня, милый мой? Почему не я? Ведь это до слез обидно! Ей-богу, до слез!

И он взглянул на Ра покрасневшими глазами, испугав ее своей проникновенностью и дьявольской страстью, о которой она и не подозревала раньше и которая вместе со звуками колеблемых струн проникла в нее, образовав напряженно-гудящую дугу, соединившую ее с Борисом в восторге слушания.

— Нет, Саня! Ты не на гитаре играешь! Это что-то другое. Баскетбол! Это как на тренировке, черт побери, мастеров спорта. Много

мячей, а гиганты кладут их в корзину... Мячи, как дрессированные звери, послушно сыплются в корзину, проскакивая туда, проталкивают друг дружку в сетку, подпрыгивают на ободу, но тоже проваливаются... Это ты не на гитаре играешь, ты гигант. Живешь тут, как Квазимодо Собора Парижской богородицы, черт побери, в темноте живешь, а, как летучая мышь, кожей чувствуешь, где какая струна или клавиша... Ах, Саня, Саня! Не знаешь ты себе цены!

— Да, я играю чудовищно красиво,— откликнулся Саня, сверкнув хорошей улыбкой.

Борис, хоть и продолжал восторгаться игрой, но не слушал игры, потому что все время говорил, мешая Сане и Ра.

— Ты, Раинька, не смотри, что у него тут хламу всякого полно,— говорил он в слезливой развязности.— Он живет, как этот самый... как джигит, у которого конь — ветер, сабля в серебре, а сам в лохмотьях... Это стиль... Ты думаешь, он не смог бы все это отделать под орех?

— Я ничего не думаю...

— Сейчас ведь как... сейчас есть бригады: художники, архитекторы, мастера... Специалисты высшей квалификации. Их позови и скажи: мне нужна спальня из карельской березы в стиле... Людовика времен упадка, гостиная в стиле средневековья, а кухня в стиле американского штата, например, Калифорнии или какого-нибудь Огайо восемьдесят второго года, они тебе скажут: пожалуйста. Все упирается в сбережения. Это тебе не какой-нибудь дядя Вася с перцовкой в кармане. Они тебе смету принесут, все учтут и все отметят. Любой материал — пожалуйста. Все зависит от твоих сбережений... Саня мог бы, конечно, но не хочет.

— Это за пределами нашей власти,— отозвался Саня и отложил гитару на просиженный матрац, служивший диваном.— С ними не скаркаешься... Дорого!

— Неправильно говоришь! Не дорого! А много денег стоит. Надо говорить: много денег стоит или мало денег стоит. Выброси к чертям собачьим эти «дорого», «дешево»! Дорого — значит не для тебя, а дешево — значит плохо. Надо покупать только отличные вещи. Иногда они стоят много денег, а иногда мало. Понял разницу?

Борис говорил это с нарочитой назидательностью, явно адресуя свои наставления не Сане, который с усмешкой смотрел на него, а Ра, сидевшей за облупившимся столом все в той же царственной позе, держа спину прямо, а голову высоко.

Она не узнавала Бориса, но, уверенная в себе, с любопытством ждала, что будет дальше, поглядывая на пигмеев с высоты своего превосходства. Она и на себя тоже смотрела, но смотрела как бы глазами этих двух мужчин и хорошо понимала, что нравится им.

— Как ты сказал? — воскликнул вдруг Борис с той луняшинской непоследовательностью, какая была свойственна обоим братьям.

— Я молчу,— ответил Саня, поглаживая бородку.

— Нет, ты только что сказал, когда об этих мастерах, ты сказал, что с ними что?

Ра засмеялась, увидев напряженный взгляд Бориса, и сказала:

— С ними не скаркаешься.

— Молодец! Это хорошо сказано. Не скаркаешься. Черт побери, жалко, на улице дождик. У Сани — сад, две яблони. Предлагал меняться — не хочет. А впрочем, я тоже не хочу. Снесут рано или поздно и выселят на глину. На террасе устраивал бы чаепитие... А у тебя даже самовара нет! Не скаркаешься,— повторил Борис, уходя взглядом в потемки своей постоянной какой-то думы, которая не отпускала его в этот дождливый вечер.— Ты нас отвезешь? Или заказать такси? Говори честно.

— Лучше такси.

— Закажешь?

Когда Саня ушел, Борис обмяк и с мычанием, с невразумительным бормотанием потянулся к Рае... Лицо его покраснело и опухло, руки, которыми он взял ее руки, были горячие и слабые, на лице, увязнув в опухлости щек и глаз, мялась какая-то натуженная ухмылка.

— Раинька,— бредово говорил он, громыхая по полу стулом и пододвигаясь к ней.— Раинька, не сердись... Я знаю, все знаю... Я подлец. Но не сердись. Я когда увидел тебя, я понял, что пришел конец... Я совсем с ума сошел! Я дотрагиваюсь до тебя и... не знаю... меня бьет озноб... Скажи, что делать? Если ты сейчас не поцелуешь меня... Нет! Не то! Ты мне оставь надежду... Скажи. Можно тебя поцеловать? Тот поцелуй... тот, на лестнице... я смакую, как сон, помню каждой клеточкой...

Ра, отпрянув, смотрела на Бориса, кося глазом, как смотрят на пчелу, вьющуюся около лица: испуг перемешался с агрессией во взгляде, но любопытство смягчало эти чувства, отразившиеся на ее лице. Она ничего не могла поделать с собой, точно видела перед собой голодного человека, которого надо было обязательно накормить.

— Ну что ты,— шепотом сказала она, торопливо коснувшись ладонью его щеки,— что ты... Успокойся.

— Не могу, Раинька! — взмолился Борис, понимая, что бессилён остановиться, но бессилён и предпринять что-то решительное.— Я падаю. Это один диспетчер из аэропорта рассказывал... В эфире услышал на дежурстве... Неизвестный летчик спокойным голосом... Ах, Раинька! В эфире голос: «Борт такой-то, падаю. Борт такой-то, падаю... Падаю». И все. Вот и я сейчас тот летчик, а ты диспетчер. Ты ничем не можешь мне помочь, а я посылаю в эфир это печальное слово: падаю. И все! Ты услышала, а я упал. Ты не можешь меня спасти. Даже если всю себя по капельке отдашь мне, все равно это будет мое падение. Прости.

Он, поднявшись над ней, хотел обнять ее, но лишь неуклюже зацепился руками за плечи, потянулся, ища ее губы, но она резко отвернулась, ойкнув ему в ухо, и тоже поднялась...

— Хватит,— сказала она строго и вдруг засмеялась, испугавшись своей строгости и той силы, какую ощутила в себе.— Хватит, Боренька... Хорошенького понемножку.

Он осклабился в улыбке, подбирая под ремень выпроставшуюся из-под брюк рубашку, и сказал с глупейшим выражением на лице:

— Поговорка такая: брюхо не лукошко, под лавку не сунешь. Очень точно.

— Вот именно,— опять строго сказала Ра.

Борис чувствовал себя так, как если бы протянул руку для пожатия, здороваясь с человеком, но тот руки не подал. Протянутая рука повисла в воздухе, и Борис не знал теперь, что с ней делать, с этой поторопившейся, проклятой ласковой рукой, как теперь ее убрать, как вернуть на место, будто она стала чужой и не слушалась его.

В этот вечер Ра взяла такси, не дожидаясь заказного, и, истратив семь рублей, вернулась на дачу. Было поздно, когда машина въехала на лесной проселок. Шел дождь, врезаясь светящимися иглами в туманные лучи фар. Шофер был молодой и рассказывал в дороге анекдоты.

Машина остановилась в темноте улицы, и стало слышно торопливое потрескивание капель по кузову. Над капотом горячего двигателя вяло поднимался пар. Шофер смотрел на пассажирку, и видно было, что ему не хотелось расставаться с ней: он любил возить красивых одиноких женщин и всегда охотно останавливался, если замечал взмах женской руки, а на мужчин обращал мало внимания, сажая их только ради плана. «Культурка — дело выгодное,— призна-

вался он Ра в дороге, исповедуясь ей.— За культуру платят. Я, например, на работу иду, я и рубля не беру из дома. На обед всегда зарабатываю. Домой несущу, а из дома нет»,— говорил он, зная, чем покорить современную женщину.

И у Ра возникло было желание пригласить его на чашку чая, но здравый смысл победил, и она пошла домой одна, а шофер повел свою машину в аэропорт: рейс этот был выгоден ему.

Через неделю неожиданно приехала с утренним поездом Пуша, одетая в трехцветное, как французский флаг, шелковое платье с диагональным расположением широких полос. Она была хорошо причесана, волосы ее блестели, переливаясь в солнечных лучах свежего утра. Винтовое движение вокруг полнеющего тела синих, красных и белых полос как бы взвизгивало и возбуждало Пушу, на лице которой то и дело тоже взвизгивались, взвевались и гасли улыбки. Глаза ее на солнце светлели, как у кошки, то загорались бодрым злым огнем, то темнели в ласковом прищуре. Над верхней губой и над бровями в мельчайших, невидимых волосиках накапливались, как блестящие слюды в разломе камня, бисеринки пота, от нее пахло мочалкой и стойкими французскими духами, которыми она заглашала все запахи солнечного утра, явившегося после дождливых дней в блеске прозрачных луж и сияющей зелени.

С ней приехал младший сын, толстый мальчик в коротких штанишках. Он внимательно и заискивающе смотрел на взрослых, на бабушку, на Раю, на Феденьку, дожидаясь с нетерпением той минуты, когда можно будет все рассказать о себе. Нетерпение было так заметно, что Пуша гнала его от себя, но он не уходил, ворочая голубыми белками глаз, извиваясь толстым, гибким телом, закручивая ногу за ногу, запрокидывая голову и явно выказывая свое упрямое желание остаться со взрослыми. Глаза его блестели любопытством и смущением, толстые ноги в бурых корочках ссадин косолапо топтались, руки тянулись к материнской руке, коротко стриженная голова тыкалась в Пушин живот,— справиться с ним было невозможно.

И когда Феденька спросил его, чтобы как-то развлечь племянника:

— Ну что, Борис Борисович, в школу-то хочется? — тот ответил:

— Нет.

— Почему же так определенно?

— А потому что мне только шесть лет...

— Очень странно! Всем мальчикам в этом возрасте — шесть лет! — очень хочется в школу... А тебе вдруг не хочется.

— А мне мальчиком не хочется быть,— с азартным вызовом выговорил маленький Боря и изогнулся перед дядькой вопросительным знаком, тараща белки глаз.— Мальчиком быть плохо...

— Это почему же?

— А потому! Потому что девочек все любят, а мальчиков нет. Потому что,— говорил он, вытянув шею и вперившись в дядьку,— девочкам не надо зарабатывать деньги, а мальчикам надо.

— Что ж, ты, значит, работать не хочешь?

— Почему? Я хочу... я буду шофером на такси работать,— спокойно, как о решенном деле, сказал малыш.

Розовая Пуша всплеснула руками:

— Новенькое дельце! Мальчиком он не хочет быть!

— Да! — сказал сын с мстительным оскалом крупных зубов.

— Он у нас разочаровался,— со смехом добавила Пуша.— Ему изменила девочка. Тоже мне, Ромео!

— Да! — опять воскликнул маленький Боря.— А у меня теперь три девочки сразу. Если одна изменит, останется две. А если две изменят, то все равно одна останется...

— Вот-вот, одно только на уме,— разглядывая сына как недо-разумение, как нечто очень родное, но неприятное, словно прыщ у себя на носу, сказала Пуша и подтолкнула его к двери терраски.— Иди гуляй, надоед ты мне со своими девчонками. И это в шесть-то лет? Что же с ним дальше будет?

Боря ушел, освободившись от мучительных раздумий, и долго стоял на тропинке около лужи, не зная, что ему делать и чем себя занять. Муха, виляя хвостиком, мела им землю, но играть с мальчиком не хотела.

Ра, зардевшись, пошла кормить плачущих детей, а потом весь день ждала от Пуши вопросов, предполагая, что та знает о вечеринке у Сани, что ей обо всем рассказал Борис, и вела себя осторожно, потчуга гостью дачной овсянкой, молочной лапшой, угощая белым хлебом местной выпечки, который был еще теплый, когда Феденька принес его из магазина,— ноздреватый кирпич с румяной, как у белого гриба, вздувшейся коркой. Пуша мазала на большой ломоть масло и ела, смакуя, как лакомство.

Ра ждала, когда Пуша соберется домой, но на улице смерклось, а потом и потемнело, они вдоволь нагулялись, напились вечернего чаю, и только тогда Пуша сказала, что она останется ночевать. Это было еще одной неожиданностью: Ра поймала взгляд мужа, тот все понял и радостно, как только мог, сказал:

— Ну и прекрасно! Завтра пойдем с утра за грибами. Чернушки пошли.

Поздно вечером, когда дети уснули, когда кое-как соорудили на полу спальное место для Пуши, наотрез отказавшейся спать на кровати, которую ей предлагали Ра с Феденькой, все, кроме Нины Николаевны, пошли гулять перед сном.

— Феденька,— сказала вдруг Пуша.— Посиди-ка ты лучше дома. Мы одни погуляем. Не бойся, не украдут.

Земля зашаталась у Ра под ногами, когда она услышала это, а муж ее, ничего не подзревая, пожал плечами и вернулся домой, вызвав в ней злость, словно он предал ее в тяжелую минуту.

— Что-нибудь случилось? — ласково спросила она у Пуши, когда они остались вдвоем.

Но Пуша не ответила на это и сказала:

— Ты не знаешь Бориса. Поплакаться захотелось, а кому плачешься, кроме тебя? Феденьке? Он его пристяжная. Вот говорят, что если женщине нужна подруга, значит, в семье трещина. Ты заметила, у меня нет подруг? Есть Борькины друзья, знакомые, а больше никого нет... Вчера поругались, я и приехала.

Ра с облегчением вздохнула и с очень искренней благодарностью сказала:

— Спасибо, я бы очень хотела тебе помочь, но что я могу? Ты говори мне... Я буду слушать, а тебе будет легче на душе. Может, и я тебе что-нибудь расскажу. Я еще девчонкой была, ко мне приходили мои подружки и рассказывали о себе. Я, как приемник, настраиваюсь на волну, и людям почему-то становится легче... Ты мне можешь все рассказывать, не бойся... я никому не скажу. Если бы ты меня хорошенько знала, ты бы мне обязательно поверила.

— Я и так верю. Ты действительно приемник, наверное. Я потому и приехала. Но вся беда в том, что ты все знаешь и мне нечего рассказывать.

Ра опять насторожилась и испуганно спросила:

— А что я знаю?

Но и на этот раз тревога была напрасной.

— Нашу жизнь. У нас другой нет. Он шутит и острит, только когда у нас гости. И молчит, когда никого нет. Вот и вся наша жизнь. Ра, милая! Было бы что рассказать! В том-то и беда, что нечего. Иногда мне кажется, что во мне живут собаки. Много разных со-

бак! Одной хочется кусаться, а другой вилять хвостом, третьей выть от тоски, а четвертой хочется, чтоб ее почесали за ухом... Вот и поживи с этой сворой! Измучилась с ними, а прогнать не могу — привыкла. Смешно сказать, но мне иногда хочется влезть в свои старые джинсы, которые я носила, когда мне было лет двадцать, и вот, думаю, тогда все изменится. Однажды сильно болела, похудела килограммов на шесть, а когда выздоровела, мечтала — вот вернусь домой и влезу в джинсы. И такая радость на душе! Я вообще люблю выздоравливать. Я уж если болею, то болею по-настоящему. И так это радостно, будто жизнь начинается заново, когда дело на поправку идет. А в тот раз очень сильно болела, у меня было страшное воспаление легких, я лежала в больнице и прощалась с жизнью. Это вообще тоже приятное занятие. А когда стала поправляться, стала ходить — такая худющая... Посмотришь на себя в зеркало — фанера! Все меня жалеют, а я радуюсь — думаю: теперь джинсы будут в самый раз. Глупо, конечно, но такая радость детская! Непередаваемая радость! А домой пришла, достала джинсы — малы... Влезла, конечно, но ни застегнуться, ни сесть, ни вздохнуть. А так хотелось! Мне и сейчас иногда кажется, что я смогу когда-нибудь опять носить свои джинсы. Берегу их, как мечту... Я об этом никому еще не говорила, а тебе почему-то сказала. Ты только не вздумай смеяться, а то я обижусь.

— Что ты, Пуша! Я тебя очень хорошо понимаю! — воскликнула Ра сдавленным голосом, слушая и не слушая ее, будто сидела на берегу речки и смотрела на ее течение, на движение проворной воды, шевелящей водоросли...

Они медленно шли по темной дороге поселка, обходя черную гладь продолговатых луж. На них азартно лаяли собаки из-за штакетника дачных оград. Ра иногда окликала некоторых, называя их по имени, и те сразу же умолкали. Она улыбалась во тьме, как и Пуша, улыбку которой она не видела, но хорошо чувствовала.

— Мы с Борисом только и говорим о деньгах, — сказала Пуша с удивлением, точно сделала вдруг открытие. — А у меня такое чувство, что наши деньги... Как бы тебе это сказать? Сто рублей, например, а на эти сто рублей ничего уже нельзя купить. Понимаешь? Ничего! Как будто давно уже выпущены новые купюры, а мы все еще надеемся на старые... Это бабушка моя! — сказала она с неожиданным смехом. — Я ее очень любила! Она у меня уралочка, с уральским говорком была, заботливая, ласковая, тепленькая вся, как воск... Такой и осталась в памяти. У нее, я помню, была шкатулка в виде кованого сундучка, очень красивая вещица, вся отделанная золотистой жемчужкой. Я даже не знаю, как это называется... Видимо, это искусство старинных уральских мастеров — золотой цвет побежалости... Как будто морозом нарисованы всякие листья и цветы, ветви... Этот сундучок был окован еще полосками железа, которое не ржавело никогда, но было темным... Чудо сундучок! Сверху гнутая ручка из толстой проволоки, а сбоку — маленький ключик в замке... У бабушки там монеты царские лежали. А я любила играть с этим сундучком. Бабушка говорила: «Лика чё, лика чё», это значит: «Гляди-ка чего, гляди-ка чего». Это когда я капризничала, она мне сундучок вынимала и гремела монетками, как погремушкой. Во, говорит, какой саквояжик... Она его саквояжиком называла! Раньше, говорит, барыня в одну руку саквояжик с денежками, вот так, а в другую зонтик — и в Америку... Почему в Америку? — воскликнула Пуша, захлебываясь тихим, радостным смехом. — До сих пор не знаю. — Но опомнившись, вдруг сказала: — К чему я все это? Да, Раинька! Вот такие дела. Плохие у меня дела, если я в воспоминания ударились, — проговорила она в задумчивой сосредоточенности и долго молчала. — Пошли обратно, что-то я озябла. Как видишь, рассказывать не о чем. Хотелось поплакаться тебе, а наговорила вся-

кой ерунды. Я так привыкла ко всему, такая стала безвольная, что даже не пугаюсь, когда думаю... Знаешь, о чем я иногда думаю? Страшно сказать! Я иногда думаю, что я должна обеспечить сексуальную жизнь мужу, что я должна к этому относиться спокойно, словно все это... ну я даже не знаю что... ну, например... Нет! Даже и примера не могу привести. Что так должно быть! Как будто он такой огромный, а я такая маленькая, что я должна делиться этим огромным мужчиной с другими женщинами, точно не имею права одна распоряжаться им... И что самое страшное, я уже приучила себя к мысли, что так и должно быть. Я знаю одну его женщину — развратную дуру. Даже не развратную, нет! Она сама не понимает, как живет и что делает, и, наверно, меня считает дурой, а себя современной умницей. Наверное, так. Я ей однажды устроила скандал, и ты знаешь, что она мне ответила? А, что вы, говорит, так беспокоитесь? Не бойтесь, я не заразная! Можешь себе представить? Но самое-то страшное, Раинька, самое страшное, что я теперь... Господи! Зачем я тебе все это рассказываю?

— Ты, наверно, преувеличиваешь,— сказала Ра, с брезгливым состраданием взглянув на нее как на паршивую больную кошку, которая просит накормить ее.

— Нет! Я не преувеличиваю. Нет! — капризно возразила Пуша, требуя к себе внимания.— Я знаю, что говорю. Он подчинил меня, как колдун. Я боюсь его. И ничего не могу с собой поделать. Мне иногда кажется, что я схожу с ума, как будто я разваливаюсь и одна моя половина сходит с ума, а другая грустно улыбается и говорит: ничего, переживешь, ничего с тобой не случится. Кричать хочется, а я не могу. Потому что у меня не осталось никакой воли сопротивляться или как-нибудь действовать... Мне Феденьку жалко!

— Почему!

— Потому что он брата боготворит, а совсем не знает его и даже не хочет знать. Мы с ним похожи. Ты, Раинька, тоже будь осторожной... Я знаю, он тебя на просмотры всякие приглашает. Он окрутит так, что и не поймешь, как другой станешь...

Этого Ра никак уже не ожидала услышать. Удар был неожиданный, и она не могла оправиться от него, пряча в темноте похожее на обморок смущение, когда голова наполнилась какой-то жидкой кашей, от которой горячо было глазам, от которой пересохло во рту и зашумело в ушах... Ее спасла темнота. Ей хотелось, чтобы над головой прошел на форсаже взлетающий и ревуший самолет, озаряющий ночь всполохами аэронавигационных огней, но, к несчастью, самолеты не летали в этот вечер. Она бы под этот грохот, сотрясающий все вокруг, что-нибудь выкрикнула бы, как-нибудь засмеялась бы, перевела в шутку Пушины подозрения.

— А что? — спросила она так, будто ей было трудно говорить и она через силу выдавила из себя эту жидкую кашу, не понимая сама, что значит ее вопрос.

Она даже усомнилась, произнесла ли она вслух это тихое и робкое: «А что?» — потому что Пуша ничего не ответила и продолжала как ни в чем не бывало:

— Мне иногда знаешь что хочется? Мне хочется нанять в прислугу какую-нибудь развратную дрянь, которая бы воровала у нас, пила бы, и чтобы она совратила Бориса и забеременела от него. Нет, я серьезно! Я бы поздравила их и уговорила бы эту девку женить его на себе. Честное слово! Чтобы потом он каялся всю жизнь. Такую бы найти, чтобы потом ему рога ставила, чтобы командовала им, как хотела, топтала бы его. Такую бы отыскать, о которых говорят: только потолок не толок.

Пуша, убыстряя шаги и торопясь высказать свою мстительную мечту, вдруг остановилась, схватилась руками за лицо, затряслась

в скорбных рыданиях, согнулась и, принятая в объятия, горячо стала просить прощения у Ра тоненьким, несчастным голоском:

— Прости меня, прости... Я не знаю что говорю! Прости...

Утром она уехала с опухшими глазами, стараясь радостно улыбаться и приговаривая:

— Ах, как хорошо у вас тут! Как хорошо...

На прощанье расцеловала всех, пряча глаза под мучными червячками набухших век, отчего улыбки ее казались пронзительно жалостливыми и скорбными, будто она прощалась навсегда.

6. Перстень шахини

В воскресное утро сентября, когда в пустынной синеве неба светились желтеющие березы, когда дубы и ели, отторгнутые прозрачной невесомостью листы, надвинулись на лиловые поляны, темнея тут и там в осенней отчужденности, Феденька и Ра проснулись раньше обычного и стали собирать вещи.

«Сейчас в Подмосковье тихое утро. Кое-где наблюдаются туманы. Давление семьсот пятьдесят шесть миллиметров, влажность девяносто процентов. В течение дня давление существенно меняться не будет, влажность уменьшится».

— Ты слышала?! — вскричал Феденька Лунышин, показывая пальцем на радиоприемник. — Слышала?

— Что такое?! — вскрикнула Ра, отпустив от испуга концы протыни, в которую заворачивала мягкие вещи. — Что?

— В Подмосковье тихое утро, — ответил Феденька, в счастливом изумлении глядя на жену. — Кое-где наблюдаются туманы... Как хорошо! Если бы каждое утро такое...

— Ну разве так можно, Федя! У меня поджилки затряслись.

— Но ведь тихое утро, Райнка! А мы уезжаем. И все здесь будет без нас, как будто нас и не было тут никогда.

Рано утром он прошелся по лесу, срезал ореховую палку, нашел под листьями белый гриб, очень обрадовался и долго нюхал его. А когда вышел к поселку и увидел крыши, окропленные желтыми листьями, опять подумал о том, что все эти дома под деревьями, дряхлеющие в запустении, будут пустовать теперь до следующего лета, никому не нужные и грустные в своей заброшенности. А ему, как бы он ни хотел здесь остаться, придется сегодня уезжать в Москву. Опять раздумья о странных людях, которым судьбою подарена возможность жить в Подмосковье, но которые словно бы не понимают своего счастья и не живут в домах, доставшихся им по наследству, — опять эти думы о неестественных, непонятных ему людях, находящихся для себя уважительные причины, чтобы не жить на даче, привели его в состояние тихого помешательства. Он опять разглядывал дома за оградами и думал о каждом из них как хозяин, примеряясь к ним и выстраивая идиллическую картинку зимнего солнечного дня с голубым снегом на ветвях голых деревьев, слышал лай веселой Мухи, голоса своих детей, укутанных до глаз теплыми шарфами, и видел себя в валенках, которых у него никогда не было.

Вечером он усталый, с букетом роз и с индийским ожерельем из душистого сандалового дерева пришел к Борису, опоздав на семейное торжество по случаю дня рождения Нины Николаевны. Ей исполнилось в этот день шестьдесят.

Все знали, что он придет один, оставили для него место и прибор, он расцеловал мать, чувствуя губами родимую дряблость теплой ее щеки, надел на нее ожерелье, заставив понюхать деревянные цветы, из которых оно состояло.

— Да, это навсегда,— сказала Нина Николаевна, принюхиваясь к елейно-тихому аромату ожерелья, и погладила Феденьку по голове, пряча слезы в живых розах, которые были, как все розы на свете, неподражаемо красивы и нежны.— Это навсегда,— повторила она, отдавая букет Пуше, чтобы та поставила в вазу.

Розы уронили на белую скатерть прозрачные тени, Феденька принялся за закуску, разглядывая своих тетушек и дядей, которых так редко приходилось видеть в жизни, что с трудом теперь узнавал, кто из них кто.

По старой традиции дни рождения матери праздновались в доме Бориса, все знали об этом, и никому не надо было это объяснять. Гости жалели, что не пришла жена Феденьки с детьми, которых не все еще видели, с аппетитом попивали и закусывали: веселье за столом раскручивалось шумной каруселью.

Нина Николаевна вытерла салфеткой губы, подняла рюмку и, когда все притихли, сказала дрогнувшим голосом:

— Я хочу, чтобы вы все вспомнили Александра... Я тут с маленьким Борей вспоминала о нем, он меня спрашивал, какой у него был дедушка, я ему рассказывала, а сама вдруг подумала: какой же он, дедушка? Внуки говорят: дедушка, а я его помню совсем молодым, и он никак не стареет в моей памяти. Хочу представить себе, каким бы он был дедушкой, и не могу. Вот за него,— проговорила она чуть слышно.— За самого молодого дедушку... Пусть память о нем будет вечной.

Феденька не помнил отца, который умер от тяжелого ранения в голову, прожив после войны три года, и поэтому он не испытал острого чувства утраты.

— Кто из пекла вышел, столько нервов, здоровья положил, тут даже если и не ранен, то и то печать на душе,— громко сказал он, когда молча помянули отца.

Пуша вдруг с неожиданной веселой злостью сказала ему:

— Все-то ты, Феденька, знаешь, во всем-то ты разбираешься... Психолог наш великий! Ешь-ка ты лучше, я для тебя твоих любимых пирожков с капустой напекла, а ты и не попробовал...

Пирожки Пуша пекла отменные! Они у нее получались коричневые, как спелые груши, продолговатые и граненые, с тонким слоем печеного теста и рассыпчатой начинкой. Груда их поджаристо маслялась на плоском керамическом блюде, облитом темно-зеленой эмалью, и Феденька, конечно, не отказался, надкусив один, и застонал от удовольствия, убажывая Пушу, в голосе которой услышал плохо скрываемое раздражение.

В эту минуту в дверях раздался звонок, Пуша побежала открывать, и в комнату вдруг, опередив Пушу, ворвалась прохладным ветром бледная женщина в расстегнутом кремовом плаще с букетом алых и белых гвоздик...

Она широким шагом подошла к Нине Николаевне, которая всем корпусом повернулась к ней, пытаясь подняться со стула навстречу.

— Сидите, сидите, Нина Николаевна, я на секунду. Поздравляю! — сказала женщина и впинула ей в руки распавшиеся цветы.— Можно тебя? — бросила она, взглянув на Феденьку, который медленно прожевывал пирожок, заглядывая его, и так же медленно стал отодвигать стул и подниматься, понимая с ужасом, что это пришла Марина.

Она мельком окинула стол, кивнула небрежно, будто бы только что увидела людей. Торопливой поглядкой ощупала каждого и, заметив, что Федя поднялся, опять кивнула оторопевшим хозяевам и гостям, тронула рукой плечо Нины Николаевны, как бы успокаивая ее, и пошла прочь из комнаты, зная, что Феденька идет следом.

В прихожей, обитой с недавних пор коричневым кожзамени-телем, отделанным металлическими, крест-накрест положенными

хромированными рейками, она исподлобья взглянула на Феденьку и строго сказала:

— Умирает мама. Просила, я поэтому и пришла. Она хотела что-то сказать, не знаю... Я исполняю просьбу... Зайди к ней.

— Где? — спросил Феденька, не глядя на Марину. — Она... Мама. — Дома... Ее выписали...

Он хотя и не смотрел на нее, но хорошо успел разглядеть, с трудом узнавая в ней прежнюю Марину. Она похудела, скулы пожелтели и выперли, провалив глаза, в которых появилось нечто древнее; веками молчавший ум ее предков залег тоской в водянистом холоде глаз, требуя правды от того, на кого был обращен взгляд. Ничего кроме правды и простоты! Эту древность взгляда остро чувствовал Феденька Луняшин, стыдясь своей нерешительности и растерянности.

— Что? — спросила Марина. — Что ей сказать? Да! Я тебя тоже, конечно, поздравляю... Где же твои дети?

— Я зайду... — ответил Луняшин. — Они дома.

— Зайдешь. Спасибо. Заходят на огонек... Ну ладно, — сказала она с охающим вздохом. — А я смотрю, у вас ничего не изменилось, все по-старому, никто не поумнел. Поздравляю.

Она приоткрыла дверь, помня систему замков, и угловато протиснулась, исчезнув в узкой щели.

Он вернулся в комнату, и Борис, оценочно зорко взглянув на него, хриплым баритоном бодро воскликнул:

— «Пролетая над территорией вашей страны»...

— Кончай, Боря, — прервал его Феденька, усаживаясь на место. — Не твое дело.

Именно в этот день Луняшин-старший и рассказал брату про старика и про грех пополам, когда Феденька в хмурой задумчивости спросил: «Грех пополам — это значит и преступление пополам?» — разозлив сдержанного и всегда спокойного Бориса.

Были они в это время одни, уйдя от гостей в кабинет Бориса, и никто не узнал о случайной размолвке братьев.

— Ладно, прости, погорячился, — сказал старший. — Тебе сейчас не до шуток, понимаю. Чего она приходила?

— Умирает мать, — ответил Феденька. — Это для Марины конец. Для нее высшее — мать. Для нее вообще высшее там, где можно пострадать. Мне не хочется, но придется. У нее никого нет. Ты заметил, как она похудела?

— Да, и постарела.

— Нет, я бы не сказал: подревнела. В глазах древность... Всех можно обмануть: старика, старуху, а древность — нет, как самого себя, если помнишь предков. Если забыл — себя тоже можно хоть сто раз обмануть, а вот эту самую древность... Не-ет! Раньше про таких говорили — мертвый крест носит, нательный, снятый с покойника, считалось, что от него худеют... Страшно! Я о ней... я думаю! Совсем ее забыл, а сегодня увидел и как будто ни на секунду не забывал, как будто в другом измерении. Мне это совсем ни к чему. Слушай, — сказал он, нахмуриваясь в веселье, — а куда пропала чечевица? Захотелось чечевичной похлебки! Вкусная штука, серо-зеленая, мутная. Помнишь? А вообще-то вешний снег, бывает, тает от ветра, а не от солнца. А я все эти годы под солнцем, и почти ничего во мне не растаяло. Человек только духом может возродиться, а во мне этот весенний снег — мой дух. Холодно, слякотно...

Борис, слушая брата, смотрел на него с ненавидящим состраданием и сказал басовитым хрипом:

— Бред собачий.

Когда они вышли к гостям, Нина Николаевна оживленно и громко говорила:

— Вот что обидно — век мой проходит, а у вечности годков не убыло вместе с моими. Вроде бы я и не жила совсем. Где это вы пропадаете? — обратилась она к сыновьям. — Я забыла вам рассказать. Тут я с маленьким Боренькой ходила гулять в Кремль, а он и говорит: «В Кремле, бабушка, есть своя прелесть — красный кирпич». Смотрите, какой наблюдательный! Ведь и правда, в Москве почти не осталось зданий из красного кирпича. «Есть своя прелесть!» Ишь ты! Это я однажды в Крыму отдыхала, а по пляжу идет молодой бородатый папа и ведет за руку сына. «Папа,— говорит мальчик,— я обратил внимание, что на пляже много императоров». «В каком смысле? — спросил папа.— Бородатые?» «Не только,— ответил сын.— Похожих статью и выправкой...» Лет, наверное, шесть мальчику, как и Бореньке,— удивленно говорила Нина Николаевна, с удовольствием слыша смех гостей.

Маринину мать похоронили по первому снегу, опустив гроб в промерзшую землю. Марина не плакала. Гладкие ее волосы упали крылом на лоб и закрыли глаз. Она смотрела одним на темнеющие среди снега комья мерзлой земли, которую торопливо кидали в яму спорые рабочие, воткнув потом в желтый холмик железную, окрашенную суриком табличку, на которой белым было написано: «Князева В. Н.» — и стоял четырехзначный номер.

Федя Лунышин поддерживал Марину под локоть. Он чувствовал ее зябкую дрожь и очень жалел, плача вместе с нею.

Просьба покойной была проста и естественна, как правда. Она знала, что скоро умрет, очень страдала за дочь и просила Федю, чтобы он помог ей похоронить ее. И ничего больше.

Теперь, вспоминая об этом, Феденька плакал, не зная, что же ему делать, когда он уже исполнил просьбу умершей, хлопоча о гробе и о могиле на кладбище, договариваясь в морге Медицинского института на Пироговке. Его поразили худые ноги мертвой женщины в простых чулках... «Вот вам, пожалуйста,— говорил он молодому мужчине в белом халате, который должен был уложить Веру Никитичну в гроб, протягивая ему двадцать пять рублей.— Пожалуйста...» «Нет, я заранее денег не беру,— отвечал тот, отстраняя их ладонью.— Кончу работу, а потом уж как пожелаете». Он заказывал автобус, просил соседку Марины взять деньги, чтобы она их истратила на поминки... И при всем этом успевал быть рядом с Мариной, поглощенный ее горем, не зная, как себя вести, стараясь не преступить той грани, которая легла с некоторых пор между ними, и чувствовал себя скорее отцом, бросившим дочь, чем бывшим мужем этой продрогшей худенькой женщины.

Но все теперь было кончено. Две старушки в черных кружевных шальях взяли Марину под руки, он пошел за ними, опять не зная, идти ли ему на поминки или ехать домой. Было очень холодно. Старушки с Мариной пришли на трамвайную остановку, он замешкался в нерешительности, но Марина оглянулась, дыхла пепельным паром, в котором повисли тоже пепельные как будто слова:

— Не надо. Спасибо тебе за все. Прости. Но я больше не могу. Иди.

Он заплакал, торопливо пошел через рельсы, услышав рядом пронзительный звон встречного трамвая, наезжавшего на него красной стеной, но успел выскочить на безопасную обочину рельсов. Трамвай закрыл от него кладбищенские ворота, Марину со старушками, и он словно бы очутился вдруг по другую сторону горя, почувствовав освобождение, увидев впереди себя простор длинной улицы, по которой быстро пошел, успокаиваясь с каждым шагом и не оглядываясь, как если бы еще раз, теперь уж навсегда, убежал от Марины... Он так и не спросил ее, как она будет жить дальше. Они и слова не сказали друг другу. Но теперь это тоже успокаивало его: он чув-

ствовал себя человеком, исполнившим долг перед Верой Никитичной. Он все сделал, что было в его силах, и слезы его были искренними, он жалел Марину, оставшуюся одну, и готов был и дальше помогать ей. Но знал, что она отвергнет любую его помощь, и это тоже успокаивало его, потому что иначе жить ему было бы невозможно, если бы пришлось встречаться с Мариной.

«Ненависть так же трудно заглушить, как и любовь», — думал он, оправдывая себя. Он остановился возле табачного киоска, попросил пачку «Столичных», седая женщина подала ему, но тут он увидел югославские сигареты и попросил заменить. Розоволицая женщина с белыми волосами, казавшимися голубыми, загадочно улыбнулась и сказала с кокетливым жеманством:

— Уже и передумали. Ох, уж эти мужчины.

Усталость валила его с ног, он с трудом добрался до дома, отряхнул с пальто опилки, оставшиеся от гроба, вымылся под горячим душем и лег, провалившись в сон, словно в обмороке.

Есть одно известное высказывание, далекое, на первый взгляд, от конкретных размышлений о жизни людей друг с другом, ибо речь в нем идет о философском взгляде на сочинения ученых, которые, по мысли автора, должны заботиться не о том, чтобы заполнить читателя, связав его мысль авторитетом, чувством, воображением, а о том, чтобы освободить его ум, возбудить в нем самостоятельную деятельность. То есть автор этого высказывания призывает читателя искать истину не в плену чужих идей, а освобождаясь от них, давать себе волю, отталкиваясь от чьих-либо умозаключений, пускаясь в стихийный поиск и, основываясь на фактах реальной действительности, делать свои выводы, или, короче говоря, думать самостоятельно. В этом, вероятнее всего, заключается задача каждого автора, взявшегося за перо и осмелившегося предложить свое сочинение людям, будь то сочинение научного ряда или какого-либо другого, в котором в силу своих творческих возможностей автор старается освободить ум читателя от пут привычных взглядов на жизнь и подвинуть его на творчество.

Высказывание это, сделанное в прошлом веке, в не меньшей степени годится, наверное, и для характеристики чисто литературных работ, а особенно современных наших авторов, которые порой чуть ли не во главу угла ставят задачу взять в эмоциональный плен читателей, покорить волю и рассудок обилием метафор, игрой изощренного воображения, нарочитой непохожестью, какая простительна только женщинам и уж никак не мужчинам, взявшимся укреплять свой авторитет с помощью подвластного им слова, которое они тоже подчинили себе, полонив его ради достижения честолюбивых планов, дабы связать умы покоренных и удержаться как можно дольше в роли оригинальных авторов, пленяя неокрепшие души доверчивых читателей.

Мысль, заключенная в одной строке, написанной целым веком назад, освободив наш ум от авторитетов и шор, увела, быть может, слишком далеко от затянувшегося рассказа о братьях Лунышиных. Но если следовать логике ее развития, то можно было бы с помощью тех возможностей, какие она, эта мысль, содержит в себе, посмотреть и на Лунышиных несколько иначе, чем мы делали до сих пор, и, отступая на некоторое расстояние от них, попробовать взглянуть на семейные их отношения с чисто критической точки зрения в надежде, что этот взгляд поможет лучше понять интересующих нас людей, умы и сердца которых тоже подчинены авторитетам, взявшим на себя роль искусных вожатаев. Но авторитетов этих такое великое множество и так они тщательно скрываются, прячутся от людей, о которых затеяли этот рассказ, что найти их и обозначить основные их особенности никак невозможно в простом критическом анализе. Что и за-

ставляет автора прибегать к изображениям поступков, картин жизни этих людей, чтобы самому разобраться в силе и слабости идолов, которым служат Лунышины. И может быть, самому первому разочароваться в конце концов, поняв тщетность благого намерения, а закончив рассказ, опять задуматься о нелепых силах и злонамеренных авторитетах, расправиться с которыми никак не удастся с помощью слова. Сколько на нашей памяти было смелых попыток разделаться со злом, какие мощные умы, мудрые головы брались за это святое дело, чтобы расчистить путь людям для гармонической жизни, во славу которой можно было бы слагать торжественные оды! Велики ли достижения? И не являются ли картины жизни, во множестве собранные в сокровищницах мира, лишь тем камертоном, который помогает человечеству, хранящему свои идеалы, настраиваться на борьбу со злом или на сочувствие и соучастие в добром деле? Но кто знает, может быть, нет у человека более высокой цели в жизни, чем бросить всего лишь веточку в костер благих страстей, разожженный великими мира сего, чтобы веточка эта, охваченная пламенем, безвестно сгорела, полыхнув парчовым пеплом в огне. И можно ли, воспитавшись в народе, который дал тебе право бросить веточку в священный костер, требовать от него признания и славы, добиваться, выторговывать ее своим словом, забыв об идеалах народа, доверившего тебе это самое слово, которым ты плохо распорядился?

Так лучше уж я попытаюсь закончить свой рассказ о Лунышинных, не прибегая к прямой критике, а продолжу рисование тех ускользающих черточек характеров изображаемых людей, которые дадут мне, как я надеюсь, возможность хотя бы нащупать некоторые хорошие и плохие стороны их образа жизни.

Как вы успели, вероятно, заметить, я все время рассказываю именно об образе жизни, а не о делах людей, считая, что судить о людях можно по их образу мышления и по жизни, какую они ведут, а вовсе не по делам, потому что и порядочный специалист может быть человеком непорядочным. Было бы слишком большой самонадеянностью с моей стороны хвалить человека только за хорошо отточенный или отлаженный инструмент, будь то карандаш или токарный станок, если с помощью инструмента, то есть своей специальности, человек хорошо исполняет доступную ему работу, получая за это деньги. Говоря отвлеченно, наш мозг — инструмент, способный изощренными способами приобретать те или иные материальные ценности, облегчая тем самым жизнь. Но если мозг приобретает, то, рассуждая опять-таки отвлеченно, душа наша ничего не приобретает, а лишь отдает. Ею никак нельзя пользоваться наподобие какого-нибудь инструмента. Она в своей сущности парадоксальна, потому что щедро отдает людям то, что мы приобретаем с помощью мозга. Но парадокс не только в этом. Чем больше мы отдаем, тем больше приобретаем. Живя богаче с помощью хорошо налаженного инструмента — мозга, мы не можем сказать о себе, что живем лучше, если ничего не отдаем людям, не тратим своих душевных сил. Жить богаче еще не значит жить лучше. Приобретения — будни человека, отдача — праздники.

Именно в этом смысле я и рассматриваю людей праздных, захватывая их врасплох в те минуты жизни, когда они способны что-либо отдать или не отдать, наблюдая за ними в те периоды времени, когда душам их предоставлено обширное поле деятельности. Только тогда и можно судить о них и говорить всерьез об их образе жизни. Не за дело судить! За дело свое они отвечают перед мастером, стоящим над ними. А судить за тот загубленный праздник, который предоставлен каждому из нас, но о котором многие забывают.

Первые заморозки удерживались прочно. Снег падал с настойчивой, зимней методичностью. Два-три градуса ниже нуля и солнце, которое порой освещало пустынные окраины Москвы, где Лунышины

младшие получили новую квартиру, долгожданное это постоянство погоды, поблескивающая лыжня, проложенная от дома в недалекий лесок, запах снега, врывавшийся в комнаты вместе с прохладой,— все это настраивало на мечтательный лад, обнадеживало, что пришла настоящая зима со снегом и морозами. Зимнее небо на закате светилось облаками, похожими на взрывы. Из-за сизых их глыб виднелись оловянно-ясные с синим отливом груды других, взвихренных ввысь облаков, за которыми сияло холодное, невидимое солнце. Лес под этими облаками, каждая ветвь которого несла на себе снег, казался тусклым серым кружевом, истлевшим от старости, а снег в сумерках был ярко-лиловым.

Однажды Феденька, проснувшись и засмотревшись на жену, уставшую от детей, в задумчивости подумал, что жизнь, протянувшаяся в бесконечность, будет долго еще такой же однообразной и невеселой, какой она была теперь, и ему стало страшно, точно он совершил непоправимую ошибку. Муха просилась гулять, жена, уложив детей, просила его встать с постели. Байковый ее халат тускло-грязного цвета, расстегнутый на голой груди, показался ему рубищем; пеленки, висевшие на балконе,— белыми флагами капитуляции; дети, спящие в позах сытых львят,— маленькими мучителями. Лицо жены с высоко вздернутой губой, узким длинным носом и ничего как будто не видящими глазами показалось ему средоточием огромного какого-то чувствилища, взгляд, дыхание и слух которого были чутко настроены на связь с этими спящими щекастыми детьми, выражая настороженную и радостную подчиненность им. Это воплощение слуха, зрения и дыхания существовало теперь как бы только для того, чтобы слышать, видеть и вдыхать запахи спящих детей,— чужое и отдалившееся от него, Федора Лунышина, лицо женщины, которая была ему женой.

«Жизнь — цель жизни»,— подумал он, встречаясь взглядом с ней и остро чувствуя ее отдаленность.

— Ты со мной согласна? — спросил он так, будто произнес вслух это свое «жизнь — цель жизни».

— Согласна.

— С чем ты согласна?

— Со всем. Алиса оцарапала себе щечку, а я боюсь стричь ей ногти. Боюсь, что порежу пальчики. Я тогда с ума сойду.

— Прекрасно! — сказал он, потягиваясь. — Скорей бы понедельник. Я слышал, между прочим, или читал где-то... Ландау сказал, что физики сейчас понимают такое, что невозможно себе вообразить, то есть то, что они понимают, уже нельзя представить себе в образе. Ты знаешь, кто такой Ландау?

— Конечно, знаю.

— Отлично! Я тоже сейчас нахожусь в таком состоянии, когда знаю что-то такое, чего никак не могу вообразить себе. Ну никак не могу, хоть убей! Наполеон был маленького роста, я тоже маленького роста, значит, я Наполеон.

— Ты маленького роста?

— Это силлогизм. Знаешь, что такое силлогизм?

— Знаю.

— Отлично. А между прочим, ты можешь мне назвать хоть одного мужчину, который бы не любил, когда его хвалят и называют гением? Раинька! Хочешь, я тебя похвалю? Вот мы, мужчины, становимся иногда героями, совершаем подвиги, если, например, отказывает техника, если кто-то ошибся, а ты своей жизнью должен исправить эту ошибку. Я уж не говорю о войне. Мы любим праздники. А для тебя как будто праздники в жизни — излишества... Я правильно понимаю? Для тебя праздник — смотреть на Алису, исцарапанную щеку, на Антона, съевшего каши больше, чем Арсений, который похож на девочку, а не на мальчика... Ты героиня будней! Излишества в архитектуре — это же праздники камня... А ты говоришь, ничего этого не

надо, мне надо постричь Алисе ногти, но я боюсь... Это твой праздник?

— Я ничего не понимаю.

— Вот я и говорю: я тот физик, который понимает такое, чего не может вообразить. Понимаю, а что — не знаю! Я хочу быть похожим на тебя, а ведь ты меня разлюбишь. Женщины часто добиваются этого, а потом мужчины, которые становятся похожими на них, не устраивают их.

— Я устала, Федя.

— Простёнка, правдёнка. Кто сказал? Я здоров, отдохнул, выспался! Вся моя болтовня — гимнастика. Неужели до сих пор не поняла? Как-то по радио хвалили какую-то пьесу, говорили: «Пьеса поднимает острые социальные, экономические проблемы села». Вот так. Ты бы пошла посмотреть? А ты заметила, у нас в подъезде в лифте кто-то мелом все стены исписал: «Наташка дура», «Колька дурак», «Аня дура»? Я тут увидел кто — противная девчонка. Из второго класса, глазки глупые, ходит и всюду пишет: «Федька дурак». Одна ты у меня умница. Я тебе, честное слово, завидую. Ты все время с утренней душой, для тебя всегда начало дня, а я с утра уже с вечерним настроением... Почему это так? Почему ты никогда не обругаешь меня? Не повысишь голоса?

— Ты чересчур много думаешь, — с усталой улыбкой ответила Ра, снимая с плеч халат с тем естественным бесстыдством, какое наступает у людей, до конца доверившихся друг другу и переставших замечать свою наготу. — Ты думай о себе как о самом счастливом человеке на свете. Ты счастливый. Я чувствую это сердцем... Я бы не смогла тебя любить несчастливого.

— Я?! Счастливый? — воскликнул Феденька, опуская на пол худые, желтые от загара ноги. — Раинька! Скажи мне еще! Я хочу быть слабым счастливым человеком, я рожден для этого, а все время думаю, что я сильный и не имею права на счастье. Вот в чем ужас! А я счастливый!

— Счастливый, — повторила Ра сквозь зубастую, огромную в своей откровенности зевоту. — Я спать хочу, Федя.

Пока дети и жена спали, давно уже превратив новую московскую квартиру в запашистую, наполненную испарениями берлогу, в которой всегда что-то сушилось, что-то отмокало в ванной, что-то готовилось к стирке и в которой все они, и родители и дети, тоже превратились как бы в естественных, забывших о признаках пола и об одеждах, растущих и выращивающих, кормящих и выкармливаемых, обыкновенных живых людей, валяющихся с ног от усталости и просыпающихся с веселыми, нежными улыбками, вполношенных кормильцев, разбуженных плачем и писком проголодавшихся детей, — пока дети и жена мирно посапывали, разбросавшись в своих белых постелях, Феденька Луняшин, выстирав пеленки и ползунки, принес с балкона расплющенное ведро, на которое с задумчивым черным блеском глаз посмотрела Муха, свернувшаяся на коврик в прихожей, и стал еще раз обмывать струей горячей воды и стиральным порошком, очищая грязь из глубоких поднутрений.

В ванной запахло теплой соляжкой. Сплюснутый круг заблестел. Отдраенный и оттертый от рыжих крапинок ржавчины, тяжелый и загадочно многообразный, он, как детский калейдоскоп, образующий всевозможные комбинации орнаментов, возбуждал воображение и тревожил.

Феденьке показалось вдруг, что если его повесить на стену возле стола и назвать автопортретом, то умный человек, приглядевшийся к вмятинам и извилинам, к выпуклостям и яйцеподобному овалу, сумеет найти родственные черты в этой смятой колесами жести.

Хотя он и знал, что умный человек не скоро еще появится в душ-

новатой берложке, в дитятнике, как назвал теперь их жилье насмешливый Борис.

После похорон он никак не мог избавиться от поганого чувства, что та жизнь, в которую прогнала его с трамвайной остановки Марина, совсем необязательна для него и что раньше он был для чего-то нужен, была у него какая-то цель, а теперь трагическая необязательность именно этой жизни, какой он жил, смущала его и заставляла искать нечто высшее в самом себе, чтобы прийти в состояние естественной гармонии. Но это высшее теперь было как бы вне его, было не там, где существовал он сам. Вся его жизнь словно бы подчинилась раз и навсегда задаче выращивания детей, и как он ни старался представить себе перемены, какие могли бы произойти с ним в будущем, ничего хорошего для себя он не видел в обозримых временных просторах: жена, дети, заботы, страдания, неизбежные болезни детей и радость освобождения от этих страданий. Все это нескончаемой чередой тянулось по белому полотнищу жизни, как следы по снегу, приводя его в уныние и растерянность. А тут еще зачем-то взяли собаку, которая тоже требовала внимания, ласки и заботы.

Когда в его жизни наступала полоса отчаяния, он становился болтливым и нервно-веселым. На ум ему приходили обрывочные мысли, трансформируясь в сознании и становясь как будто бы собственными мыслями, а та приятная и необязательная жизнь, в центре которой он теперь находился, кипела в нем газированным каким-то напитком, туманящим мозг и позволяющим ему высказываться с непосредственностью разыгравшего ребенка.

Он забывал о непрочности своих знаний, о недоученности и, вкочлачивая в свою голову мысль о том, что жизнь цель жизни, страдал душою от непоследовательности и скоропалительности суждений, искал поддержки у домашних, увлекался, выуживая из своей памяти все те знания, какие успел для чего-то накопить, и вытряхивал их, как хлам, веселясь в этом самоочищении и пребывая в состоянии беспокойства, словно готовился к новой жизни, о которой он мечтал.

Жить на свете с утренней душою, чтобы простое дело — отмытый ли круг сплющенного ведра, выстиранные ползунки или добрый взгляд собаки, зовущей на прогулку, — все эти добрые дела стали бы для него большими и важными.

В этот день его умилил вопрос Ра, которая проснулась в десятом часу вечера вместе с детьми, когда он смотрел по телевидению программу «Время».

— Ну что там в мире? — спросила она, кормя детей. — Опасно? Напряженно?

Он почувствовал мурашки в позвоночнике, взгляделся в нее — не шутит ли она — и ответил дрожащим голосом:

— Очень опасно. Но ты ничего не бойся. — И повторил с нежностью: — Ничего не бойся!

— А что происходит-то? Я совсем ничего не читаю, не интересуюсь.

— Что и всегда. Всегда хотели, чтобы мы жили на задворках Европы, а мы всегда жили по-своему, как самим хотелось. Когда Россия еще только вышла на международную арену, то есть на европейское, так сказать, поле деятельности, они уже и тогда писали, что надо подавить в России дух самобытности, считали это главной опасностью для Европы. Так они думали тогда, так думают и до сих пор. А мы живем по-своему, — объяснял он ей, как объясняют сложные вопросы ребенку, — и не хотим жить, как они нам советуют. Не советуют, нет! Они хотели бы подавить все наши мечты. Всегда хотели и теперь хотят. Но они ничего с нами не могут поделать и бесятся от этого. А еще бесятся оттого, что стали бояться нас. Опасность в том и состоит, что они могут от страха укусить. А мы говорим: не бойтесь, мы вас бить не будем, давайте торговать. В общем — так... Понятно?

— Ну а чего же они?

— Кто?

— Ну эти...

— Не верят. Говорят, что мы хотим обмануть их и завоевать Европу.

— Надо же! — сказала Ра, впихивая ложечку с манной кашей в измазанный ротик Алисы, которая не хотела есть. Слышно было, как серебряная ложечка стучала по маленьким зубам девочки, только-только прорезавшимся в верхней десне и беспокоящим Алису. — А вон дядя, — говорила Ра, кивая на телеэкран. — Вон дядя! Что это он там говорит? Я за себя не боюсь, — сказала она, отвлекаясь от дочери. — Я за них...

А Феденька показал ей голубую отметинку на пальце и спросил.

— Помнишь? Это меня Муха укусила. От страха. Я ее спасал, а она от страха тяпнула. Самое опасное сейчас — страх. Самое опасное. Поэтому я и говорю — нельзя бояться... Если все люди будут бояться конца света, тогда считай, что смерть уже поселилась на планете, как у себя дома, навсегда. И ничто тогда не поможет. Психология камикадзе... Я умираю, а поэтому делаю все, что хочу. Именно это состояние человечества... Слушай-ка, Ра, я давно у тебя хочу спросить, но никак... У тебя есть в жизни любимое дело? — спросил он с неожиданным недоумением и восторгом в голосе. — Самое любимое!

— Есть, конечно, — ответила она не задумываясь.

— И что же это такое?

— Как что?! Все.

Феденька опять с холодным от восторга позвоночником побледнел и сказал:

— Я так и знал, что ты это скажешь. А у меня нет. Ты, дети, вон и собака тоже, а дела любимого нет. Разве может быть любимым делом обучение иностранному языку? Смешно!

— А жизнь-то? — с удивлением спросила Ра, посмотрев на него так, будто подсказывала ученику правильный и очень простой ответ, который тот никак не мог найти.

— Разве это дело? Жизнь. Это скорей подарок... дар! Как же так — дело?

— А что же еще? Конечно, дело. Разве в жизни не ошибаются, как в любимом деле?

— Ошибаются, — ответил Феденька, прислушиваясь к самому себе. И даже голову склонил набок.

— Ну, а чего же ты тогда говоришь?

— А в каком смысле ошибаются?

— В каком хочешь! Всегда ошибаются, потому что это не подарок, который все равно приятно получить, какой бы он ни был. А вообще-то перестань, Федя! Опять ты за свое. Я просыпаюсь утром и уже знаю, что мне надо делать... И живу. Мало что тебе работа не нравится! Работать все равно надо, потому что нужны деньги, а деньги нужны для жизни, для любимого этого дела... Чего тут думать! Не понимаю. Вот я, например... Я сама буду ходить в лохмотьях, буду голодать, если ты меня бросишь, но мальчики мои и девочка будут счастливы. Я не дам им погибнуть! Выращу — обязательно! — говорила она, словно в лицо ей вдруг подуло холодным ветром беды.

— Почему же голодать? — спрашивал ее Феденька. — Что это ты такое говоришь? Почему у тебя брошу? Это уж бред какой-то! Только что дело говорила, а теперь чушь. Хотя, конечно, трудно вырастить и хорошо воспитать детей. Сейчас вообще главная задача сохранить человека как вид... Сохранить на планете жизнь. Жизнь приятная штука, особенно если о ней не задумываться. Молодость и есть то время, когда не думаешь о жизни, а просто живешь. Если же задумался, пиши пропало. Сам черный будешь от дум. Это тут недавно слышал... про красители что-то: «У нас красители очень сильные! Под

дождь попадешь — весь черный... Телогрейку выдали черную, и сам черный ходил. Ни одно мыло не брало». Так и жизнь, если о ней думать, если ее примерять на себя и ходить под дождем дурацких рассуждений — весь черный будешь, не отмоешься. Сие смрадно пахнет, как говорили в старину.

— Да, Феденька, да,— сказала Ра, управившись с детьми и моя посуду на кухню, куда они перешли.— Все мы немножко птицы, каждому хочется полетать, ты все летаешь, как во сне, в своих рассуждениях. Ну и летай, пожалуйста, но ты все равно радуйся хотя бы потому, что родился нормальным, здоровым человеком,— говорила она, постучав костяшками пальцев по деревянному столу.— А я, например, знаю одного человека, который вставал утром, умывался, делал перевязку горла, потому что у него была вырезана гортань, а потом уже ехал на работу. Он даже если рассказывал о себе, говорил: встал, помылся, перевязался и пошел... Вот уж кому есть о чем задуматься... А ведь посмотришь на него и не скажешь, что несчастный. Это потому так получается, что жизнь загубить не просто.

— Ну и прекрасно! — перебивал он ее в нетерпении.— На этом и кончим. Спасибо! Освободила ты меня от сомнений. Ты чудо! У меня какой-то пробел в уме, я не знаю чего-то важного в жизни. Но мне вполне достаточно твоей убежденности. Я тебе верю, и все. У меня этот пробел в уме, наверное, для всяких фантазий, для легкомыслия. Жизнь, конечно, дело, но без фантазии разве можно? Люди все разные, есть незаметные, а есть такие, которые всем известны — как канарейки. Посмотрит человек и сразу скажет: канарейка. А какой-нибудь щегол заливается в лесу: что это за птица такая поет? Никто не знает. Покажи людям соловья, пожмут плечами, скажут: воробей, наверное. Даже по песне не все узнают. А канарейка известна. Так и люди: есть канарейка, а есть соловьи или какие-нибудь славки-черноголовки: поют лучше, а их не знают. Я это к тому говорю, что сам, например, канарейку знаю, а в других птицах путаюсь, как большинство людей... Фантазия моя от невежества, а не от большого ума! Как тот детский писатель, который медведя-шатуна объяснял, помнишь? По радио передача для детей была. Медведь весной проснется, голодный, слабый, идет и шатается, потому, мол, и называется шатуном. Я бы таких писателей штрафовал за брак. Я в своих фантазиях на этого писателя похож, потому что знаний не хватает, системы. Я у тебя дурак. А вот уж когда по-настоящему дурью мучаюсь, это когда меня за умного принимают.

Ра слушала и не слушала мужа, занимаясь домашними делами, которым он не мешал своими разговорами. Ей и в голову не приходила мысль о том, что все признания мужа были тяжелым для него делом, еще одной попыткой очиститься от сомнений, утвердиться в собственном принципе, который манил его своей простотой и ясностью.

Сомнения эти в самом деле доводили его порой до абсурда.

Как-то вечером, возвращаясь из института, он вышел из метро, чтобы сесть на автобус. Было холодно, под ногами чавкала холодная соленая снежная каша, и возле окошечка автобусной станции чернела очередь. Воздух, как будто бы пропитанный солью, пронизывал сырым морозцем. Озноб торопил Лунышина домой. Он поднял низенький воротник жесткого пальто и, миновав клубы пара, вырвавшийся из дверей станции, направился к очереди, сладостно думая о свободном местечке в экспрессе, что было вполне возможно, если он через некоторое время останется одним из первых в очереди и пустой автобус, сделав круг, раскроет перед ним скрипучие свои дверцы.

В этом болезненном состоянии он машинально взглянул на пластмассовый застекленный киоск, в котором продавались билеты «Спортлото», увидел людей возле светящегося окошечка и понял, что там идет продажа лотерей «Спринт». Вспомнил, что у него в кармане единственный рубль, и, зная, что сейчас проиграт его, подошел к

киоску, насмешливо улынулся и купил билет. Тут, возле окошечка, толпились, как всегда, не только игроки, но и болельщики. Один из них, пожилой мужчина с озявшим лицом, придвинулся к нему и, заглядывая через плечо, смотрел, как Лунышин обрывал краешек запечатанного билета, разворачивая зеленую госзнаковскую бумажку.

— Ого! — воскликнул он в шутовом изумлении. — Автомашина! На билете было четко написано: «Без выигрыша».

Феденька усмехнулся и выбросил билет в коробку из-под сигарет, стоявшую на тротуаре, в которой пушистился легкий ворох проигранных рваных билетов.

— Ого! — воскликнул опять шутник. — Автомашину «Волга» выбросил!

— Да, — сказал Феденька, мгновенно подумав при этом, что на билете было напечатано «Без выигрыша» и что он хорошо это разглядел. — На кой черт она нужна? Я уж лучше на автобусе, без забот...

И пошел к автобусной станции, слыша в ушах это удивленное «Ого!», и вспомнил о брошенной бумажке. «Ничего себе шуточки», — подумал он, оглядываясь, но не увидел шутника, и в груди его опять прозвучало эхом дьявольское «Ого!», от которого он невольно остановился, напрягая зрительную память и проявляя в сознании печатные строки: «Без выигрыша», заплывавшие перед глазами призрачной водянистостью шрифта. Что за наваждение, черт побери!

Он улыбнулся, предвеля насмешку шутника, который был же, конечно, где-то поблизости и, может быть, наблюдал за ним. Вяло огляделся, ища его среди толпившихся на станции людей, а потом и среди тех, что, сутулясь, играли в «Спринт» возле киоска, и постарался воскресить в памяти невнятное лицо этого искуителя. Но его нигде не было.

Феденька, посмеявшись над собой, вернулся к киоску, увидел женщину, получающую в окошечке пять рублей; она мяла зубами жвачку и брала рубли так, будто получала зарплату — ни азарта, ни радости, ничего не выражало ее нахмуренное лицо. Получила и пошла прочь.

А он, зная, что у него больше нет денег, сделал вид, будто ищет по карманам завалившийся рубль, поглядывая на бумажный ворох в картонке, куда он только что выбросил рваный билет, и чувствовал смуту в душе, как если бы и в самом деле выбросил автомашину «Волга». Больше всего его смущала пропажа шутника, который, как ему уже чудилось, быстро схватил брошенный билет и скрылся в метро.

«Не может этого быть, — уговаривал он себя. — Там было четко сказано: «Без выигрыша». Я же видел. Я не мог ошибиться». «А почему не мог? — слышал он насмешливый голос. — Ого! Еще как мог! Устал, задумался, привык проигрывать, прочел, что опять проиграл, но прочел у себя в душе, а не на билете. Разве так не могло случиться?» «Нет! Это невозможно. Я не торопился и не мог ошибиться».

Он с трудом уговорил себя отойти от киоска и стать в очередь на автобус. Но пока двигалась очередь, набиваясь в забрызганные грязью горячие автобусы, он искал глазами небритое лицо и слюдянистый блеск голубеньких глаз черного дьявола, смутившего его.

Голубенькие глазки, выгоревшие, как цветы вероники... А многие ли обращали внимание в летний полдень на крошечные эти цветы, прогуливаясь по тропке над тихим ручьем? Нет, конечно. Очень немногие знают этот нежный, бледно-синий цветочек, растущий по берегам речек. Если взглянуть в него, то можно увидеть четыре маленьких лепестка, один из которых синим язычком висит над чепчиком из трех головных лепестков, призывно голубеющих под июньским солнцем. Его бы и не заметить среди высокой травы, — так он мал и невзрачен рядом с июньским разноцветьем! И только множественность их, образуя лазурное облачко среди желтых лютиков, обращает на себя вни-

мание, будто земля голубым оком взирает на тебя, напоминая о родстве всего сущего на ней. В этом многочисленном скопище цветочков есть и синие, только что распустившиеся, и поблекшие, и совсем бледные, испытые до дна солнечным светом.

«Ого!» — слышал Феденька, садясь в длинный автобус и видя испитой взгляд насмешливого шутника, умчавшегося с брошенным билетом, на котором... «А как это бывает? — думал Феденька Луняшин, стараясь представить себе надпись выигравшего билета. — Что там написано? «ГАЗ-24»? Или как-нибудь иначе?»

И, думая об этом, хотел и пытался отвлечь себя голубым облачком цветущей вероники, видел внутренним взором проклятый свой билет, на котором красовалась сумасшедшая надпись «ГАЗ-24»...

Видение это было так явственно, что ему стало тошно.

«Идиот! — думал он сам о себе. — Никакой машины не было! Все это бред. Хорошее слово: бр-р-ред. Бр-ред...»

«Ого! Автомашину выбросил!» — слышал он с непроходящей тоской и видел туманное облачко отцветающей вероники, заглядывающее через плечо в развернутый зеленый билетик. И знал, что теперь это видение отложится в сознании на очень долгое время, что он долго еще будет смеяться над собой, рассказывая знакомым о случившемся с ним казусе.

«Ну как живете, Федор Александрович?» — «Хорошо! Вы знаете, я принадлежу к тем людям, которые на вопрос «как живете» отвечают: «Хорошо». А есть такие, которые обычно ноют, жалуются: все у них плохо, все не так, все паршиво. Нет! Я этого терпеть не могу. Живу хорошо, потому что понимаю жизнь не как усладительную прогулку по земле, а со всеми ее болями, долготерпением, надеждами и ошибками, как всякое настоящее дело. Да! Жизнь это дело. А любое дело надо исполнять хорошо. Иначе не стоит браться и тратить время. А как же иначе? Я хорошо живу».

Так он проигрывал теперь в уме вопросы и ответы, занимаясь аутотренингом, хотя в жизни что-то давно уже никто не спрашивал его, как он живет. И даже Борис, с которым они продолжали по-прежнему встречаться или перезваниваться по телефону, велел ему рассказывать только о новостях и делился своими, не вдаваясь в подробности.

— Да что вы, что вы! — говорил в смущении Федор Луняшин. — Я даже в армии не служил. Какой же я военный? Это надо военных поздравлять.

Двадцать третьего февраля студентки и преподавательницы института поздравляли его с днем Советской Армии и подарили на память приятную безделушку и цветы.

С некоторых пор этот праздник стали отмечать в стране как праздник мужчин, достигших призывного возраста, отдавая должное их потенциальной способности стать под знамена в случае боевой тревоги. День Советской Армии стал днем мужества и отваги. Женщины награждали мужчин этими качествами с такой самоотверженной щедростью, что казалось, будто они в этот день хотели лишний раз напомнить всем без исключения мужчинам о рыцарских их достоинствах, об их силе и несомненном превосходстве, приглашая их задуматься о своей роли в жизни общества и никогда не забывать, что на них на всех держится мир и благополучие, что именно им, а не кому-нибудь еще, будет дано оружие в случае опасности и этим оружием они должны будут, согласно статье Конституции, с честью воспользоваться, защищая женщин, детей и стариков, и, может быть, погибнуть за святое дело...

Границы праздника раздвинулись стихийно, и теперь уж трудно себе представить женский коллектив, в котором не наблюдалось бы хлопот накануне двадцать третьего февраля, когда собираются деньги

на подарки, когда кого-то снаряжают на рынок за драгоценными цветами, кого-то в сувенирные отделы универмагов, когда готовятся маленькие банкеты в честь мужчин, священным долгом которых, как всем хорошо известно, является защита отечества.

Женские сердца изобретательнее мужских! Чего только не выдумают хлопотливые женщины, чтобы порадовать в этот день своих защитников! Каких только слов не наговорят и не напишут, прославляя доблести сынов отечества, особенно если этих сынов в рабочем коллективе меньше, чем дочерей.

Одним словом, границы праздника раздвинули и украсили женщины, и он стал истинно народным, восходя от праздника нашей армии как армии народной до праздника мужества и стойкости всего народа, хорошо знакомого, кого ему любить и кого ненавидеть, несущего в огромной своей душе идеалы добра и справедливости, защищать которые в случае опасности придется всем без исключения — мужчинам, женщинам, детям и старикам.

Такие праздники не запланируешь и не отнимешь, они возникают сами и живут в веках...

Обо всем этом думал Феденька Луняшин, разглядывая душистые, пахнущие прохладной влагой, серебристо-желтые нарциссы и серебряный зажим для галстука — подарок женщин, поздравивших его с днем Советской Армии, к которой он не имел прямого отношения. Он был смущен, но душа его ликовала, как если бы ему присвоили звание героя, и он готов был хоть сейчас идти в смертный бой за милых женщин, почтивших его вниманием и сердечным доверием.

Никому из этих милых женщин неведомы были те глубокие страсти, какие испытывал растроганный аника-воин, прячущий лицо в букете нарциссов, ни одна из них не догадывалась, какое смущение испытывал он, не служивший под армейскими знаменами, сугубо штатский человек, закомплексованный мучительными раздумьями о своем месте в жизни. Но все зато видели, как побледнел Феденька Луняшин, став похожим цветом лица на парниковый нарцисс, и всем было приятно это заметить, все были тоже смущены, а некоторые чуть ли не плакали, радуясь за своего плодовитого «англичанина», который, конечно же, не даст их в обиду и, если понадобится, смертью своей защитит от беды.

День этот начался для всех торжественно, и, хотя за окнами было пасмурно и сыро, в аудиториях и в учебной части светило солнце, будто большая улыбка гулко перекатывалась в здании института, будто какое-то очень хорошее дело свершилось в этот день в среде людей, которые знали о свершившемся, но смущенно помалкивали, дожидаясь вечера.

И вечер пришел.

Ох уж эти пироги, пирожные, торты! Заварной домашний крем, пампушечки и хворост в сахарной пудре, варенье из клубники с собственного садового участка. Все это серебрилось, блестело, хрустело, благоуханно струилось, разложенное в чистойшей невинности на деловых столах учебной части, сдвинутых в один большой торжественно-именинный стол, который янтарно светился коньяком в прозрачном стекле и темнел среброголовыми зелеными бутылками с шампанским. О, плоды несравненных женских рук, плоды игривой прихоти непревзойденного ума! Какое искусство сверкает в радостном натюрморте, украсившем общественный стол, накрытый бумажными скатертями. Какая кисть художника дерзнет запечатлеть цветную гамму поджаристых корочек и жирного крема, сухого хвороста и сдобных пампушек, чтобы прославить руку не родившегося еще гения!

Кайтесь в грехах, заблудшие дети, бреющие по утрам свои упрямые подбородки плавающими ножами электрических бритв, сотворенных вашими интеллектами! Вам нужно заново родиться и прожить немало лет, чтобы огрубевшие ваши руки и нетерпеливый мозг смог-

ли бы с той же порхающей легкостью сотворить это чудо, эту россыпь драгоценных изделий из теста, сахара, ванили и крема. Нет, несчастные безумцы! Ничто уже не в силах вернуть вас на путь блаженства, ибо невозможно постичь тайну высокого этого искусства не будучи женщиной!

Опыленные сахарной пудрой губы, глаза, блистающие влагой шипучего вина, здравицы в честь прекрасных витязей, скромно принимающих поздравления, приятный шум голосов и стук наполненных стаканов — мимолетное это застолье, рассчитанное на часок-другой, затянулось, и Луняшин покинул друзей, отпросившись у них, никак не желавших входить в положение многодетного отца, когда было уже одиннадцать часов.

Он обнимал рукой бумажный куль, наполненный пирожными, пампушками и хворостом, в другой же нес букет нарциссов, не решившись по примеру коллег вернуть его женщинам.

— Что вы, что вы! — говорил он, отказываясь от сладостей. — Какие дети! Что вы... Они же маленькие... Им нельзя. Ни в коем случае. Нет. Это, пожалуйста, не надо! Спасибо.

Но его все-таки заставили взять белый куль, свернутый из бумажной тисненой скатерти.

Смеющиеся губки в сахарной пудре, глаза, блистающие шипучим вином... Феденька с блаженной улыбкой на лице шел в расстегнутом пальто по мокрому тротуару под влажными снежинками, торопливо падающими в черную мокрядь и гаснущими там, а в голове его эхом шумели голоса, а в глазах хороводили губки женщин, солнечно светилось шампанское в дешевых стаканах с белой каемочкой.

«Нет, что и говорить, иногда это полезно. Что и говорить! — думал он, отыскивая в сумеречных потемках улицы, в белой пелене падающего снега зеленый глазок такси. — Шампанское! Вино любви. Снимает излишнее напряжение, как добрая собака. Что и говорить! Шампанское...»

Он взмахивал нарциссами проезжающим мимо черным «Волгам», частным «Жигулям», но никто не хотел останавливаться.

— А черт с вами, — говорил он вслед. — Я, может быть, сам, вот этими руками, выбросил «Волгу» в картонку... Да! И черт с ней.

Ему было очень хорошо. Он знал, что в этот день никто не вправе упрекнуть его в легкомыслии, и ему даже казалось, что все люди, идущие навстречу или обгоняющие его, тоже чуточку навеселе.

Садовое кольцо, на внутренний край которого вышел Феденька, показалось ему таким широким в синих сумерках ночи, что он остановился перед ним, будто перед гигантской выпуклостью заасфальтированной планеты, и, с трудом удерживая размокший куль, стал дожидаться такси.

Поблизости была стоянка. Под фонарем люди ждали машин, помахивая руками проезжающим мимо. Шапки их побелели от снега, плечи тоже были белыми. Ждали они давно.

Но Феденьке повезло. Из пространства асфальтированной плоскости, из снежной мути к стоянке круто свернула автомашина с зеленым кошачьим глазом. Шофер крикнул, что он в парк и может взять попутчика. Попутчиком оказался именно он.

— С праздником вас, — говорил Луняшин, усаживаясь на переднем сиденье и захлопывая тугую дверцу, которая не хотела запереться.

В это время снаружи дверцу кто-то так сильно дернул, что Феденька чуть не вывалился из машины. Женщина в большой пушистой шапке, намокшей от снега, втиснулась в салон, навалившись на Луняшина, и непослушным голосом попросила шофера взять ее.

Надушенные ее пальцы цветущей ветвью бело-розово мелькнули у Феденьки Луняшина перед глазами, блеснув толстым обручальным кольцом.

— В парк я еду!— крикнул озлобленный шофер.— Не могу. Закрой дверь!

— Миленький! Тут недалеко — совсем тут рядом. Пожалуйста, миленький.

— Закрой дверь!— кричал на нее шофер, толкая в плечо.

Луняшин оторопело глядел то на шофера, то на пушистую мокрую шапку, ворс которой мазал лицо водой. Под шапкой ярко темнели глаза и губы молоденькой женщины.

— Пожалуйста, миленький,— умоляла она так, будто дело касалось жизни или смерти.

Но шофер, налегая корпусом на Луняшина, дотянулся до правой дверцы и, выпихивая женщину из машины, захлопнул злобно стукнувшую замком дверцу. Женщина едва успела отдернуть руку и отпрыгнуть. Шофер в панической торопливости рванул свою старушку с места и понесся прочь от тротуара, вливаясь в ряды грязных, заляпанных снежным месивом автомашин.

Феденька, сжавшись, молча смотрел на плывущие в грязи красные габаритные огни, чувствуя себя виноватым перед душистой женщиной, которую безжалостно выпихнул из машины шофер, и думал о себе плохо. Хотя и понимал, что не мог ничего сделать для нее. Он не видел лица шофера, зная, что лицо его в эти минуты выражает одну лишь злобу, но когда осмелился скосить на него глаза, увидел добродушный профиль усталого человека, напряженно смотрящего вперед. Жирноватые щеки, пухлые губы, толстые ноздри короткого носа.

— Бедняжка,— сказал Феденька, опять видя перед собой падающий снег, грязь и тонущие в этой грязи мутные огни впереди идущих машин. Перед глазами мелькали две резиновые щетки, расчищавшие в серой плесени стекла прозрачные полукружия. В короткие промежутки мокрый снег успевал забрызгать белыми пятнами эти прозрачные отверстия в стеклах. Вести машину было очень тяжело: он хорошо понимал шофера, торопящегося на пересменку в парк.

— Я вас не осуждаю, конечно,— продолжал Феденька, поддерживая разговор.— Но как-то неловко получилось. Шампанское, наверное, виновато... Шампанское! Не рассчитала сил, а теперь домой, домой! Я тоже сегодня не успел оглянуться, а уже одиннадцать. Небось сейчас трясется от страха. Дома грозный муж, а она одна, полупьяная... Знаете, как бывает!

— Какой муж?— насмешливо спросил шофер, тормозя перед светофором.— Просто пьяная девица. Я таких терпеть не могу.

— Ничего не понимаю,— весело сказал Феденька Луняшин.— У нее обручальное кольцо на руке... Сегодня же праздник... Вот и припозднилась.

— Не-ет,— сказал шофер с доброй улыбкой на стареющем лице.— Это не обручальное... Нас, ямщиков, не проведешь. Это называется — перстень шахини, а не обручальное кольцо. Я вот сразу вижу, кто ко мне в машину садится.

Зеленый свет отвлек его, он торопливо выжал сцепление, скрежетнул шестеренкой первой передачи, включил тут же вторую, разогнался, вырываясь вперед, врубил третью, а потом и четвертую. Машина хоть и старая, но мотор тянул хорошо.

— У меня случай был,— стал рассказывать «ямщик», но Луняшин как будто отключился.

А когда сошел возле серой в ночи, однообразной стены своего дома, он не помнил ничего, кроме мелькающих щеток и снежного потопа, который превратил все улицы в проселочные, черные, обрамленные по обочинам белым разъезженные дороги.

Толстый дьявол, называвший себя «ямщиком», отшиб ему память и втиснул в душу сомнения, страшный этот яд, который и без того замучил Феденьку.

«За что же он так... Ведь не знает!— думал он, мокрый от растаявшего снега и очень усталый.— Чутье! Дьявол ноздрястый! У тебя чутье на слабого, которого пихнуть можно, а перед сильным и сам лапками вверх, как собака... Именно как собака! Сам я тоже, конечно, хорош. Хорош! Лишь бы доехать, лишь бы в свою берлогу, в теплый дитятник... К шахине под бочок».

И первое, что он сказал, войдя в дом и остановившись у раскрытых дверей своей квартиры, в золотистом свете которой увидел удивленное лицо Ра,— первое, что он сказал, протягивая ей нарциссы и мокрый, рваный куль с пирожными, было слово «шахиня».

— Шахиня! Тебе цветы и сладости... А всю горечь жизни я выпью до дна сам... Пусть будут у тебя только цветы и сладости! Милая шахиня! Владычица моя, дай-ка мне твою руку... Ах, как прелестна она! И сила и нежность— все воплотилось в ней. А это что?— спросил он, ухватившись пальцами за обручальное кольцо и глядя в глаза жене.— Это перстень шахини? Знак невинности и чистоты?

Ра глядела на мужа с искренним изумлением и печалью, опять не понимая его и не улавливая связи в словах.

— Снимай-ка все!— сказала она.— Ты мокрый, как ребенок. Господи! А шапка-то! Не шапка, а какая-то мокрая черная курица.

Но ему казалось, что не так-то просто провести его, и он, не отпуская руки, стараясь изобразить пронзительность во взгляде, повторял свой вопрос с иезуитской, как ему хотелось, ухмылкой:

— Ну так что же это такое? Знак невинности и чистоты?— замечая, и этого ему тоже хотелось, смущение в глазах жены и испуг.— Иначе говоря: перстень шахини? Я все знаю.

— Ты, Феденька, сегодня наконец-то... — сказала Ра и засмеялась.

— Что наконец-то? Договаривай,— не сводя с нее глаз, грозно проговорил Феденька.

— Похож на свое ведро... Такой же измятый. Как ведро. Про какую шахиню ты говоришь? Цветы от шахини? Или от тебя?

— Значит, ты знаешь, что такое шахиня? — закричал Феденька, стаскивая с себя пальто.— Я, конечно же, я ведро! Глупое ведро, упавшее на дорогу... Все расплескал, всю свою родниковую воду... Да! Я похож сегодня на ведро.

Он долго еще в этот вечер ворчал, сидя на кухне в одних трусах, и плакался, жалея себя, пытался уличить жену во лжи и страдал уже не оттого, что обличения его были напрасны, а оттого, что думал, будто бы жена так хитра и коварна, что и на этот раз тоже обманывает его, а он ей верит. Верит! Как это обидно было ему— верить жене вопреки всем подозрениям, какие вдруг зародились в его душе!

С ним такого никогда не бывало раньше. Он смотрел на жену, видел ее посторонним каким-то глазом, и ему было страшно представить себе, что кто-то другой может покуситься на эту доступную всем и такую беззащитную, как ему казалось, не подвластную самой себе всеобщую красоту, принадлежащую ничего как будто не понимающей женщине и очень глупой. Ему казалось в мучительных этих раздумьях, что только он один может объяснить Раиньке весь ужас ее положения, ее незащищенность от внешнего мира. И бесился, слыша смех счастливой этой женщины, будто все, что он старался внушить ей, было ложностью.

— Красоту защищать надо! От грязных рук!— говорил он, впряжась взглядом в хохочущую женщину.— Ты ничего не понимаешь и не хочешь даже прислушаться ко мне. Она тебе дана да-

ром... Это так. Но что значит даром? Если бы ты была одна на свете... Нет, не то... Если бы рядом с тобой не было меня, кто бы тебе сказал, что ты красива? Другой? Может быть. Но у другого могли оказаться грязные руки... Тогда что? Он бы заляпал твою душу и смутил бы тебя. Я один могу. Один! Положи мне руку на лоб. Пожалуйста. Я сегодня что-то недоволен собой. Очень! Понимаешь? Со мною что-то нехорошее происходит. Я вдруг испугался. Боюсь, ты не понимаешь. А? Я верно говорю? Не понимаешь? Это ужасно! Жила без меня, а я тоже... Это очень страшно.

Ему хотелось плакать, он вспоминал старинные легенды о древних князьях, храбрых воинах, которые не стыдились плакать над телами погибших на поле брани. Ругал ни с того, ни с сего мультфильмы, где зайцам, белочкам и всяким поросятам выдавались права героев, а хищным птицам и зверью, бесстрашным орлам и тиграм отводилась роль кровожадных злодеев...

— Нет,— говорил он чуть ли не со слезами.— Это невозможно! Всегда в старых сказках сокол был героем, а даже лебеди — жертвами... Огромные глупые лебеди, на которых нападает отважный сокол. Вот картина жизни истинная! А что могут зайчики и белочки? Что-то грызть? Что-то подтачивать? Ха! Герои! Почему детей растят слюнтяями? Нет! Я своих мальчиков выращу настоящими мужчинами. А Алиса будет вдохновительницей их подвигов. Только так! Пусть зайчиков выращивают другие... Хватит с нас и одного зайчика... Господи! За что же из меня сделали слюнтяя? Кто? Мама? Я не знаю... Кто? Вот вопрос!

И Феденька Лунышин заплакал.

Жена успокаивала его, ревущего, залитого слезами, а он не старался унять слезы: ему было приятно плакать.

— Все обман,— говорил он рыдая.— Всюду он! Перстень шахини... Ничего вечного. Вот в чем ужас! Все вокруг сплошной обман. И во мне! Вот тут! В груди тоже один обман. За что же мне такая жизнь?!

Лишь в третьем часу ночи, наплакавшись всласть, Феденька уснул.

Потом он с тоской говорил Ра, которая соглашалась с ним, что на него, видимо, влияют какие-то таинственные волны чужого магнетизма, магнитного поля, что он способен неосознанно улавливать чужую беду и заражаться вселенской скорбью.

Он тайком вспоминал Марину, зная, что она была бы встревожена этой его способностью сильнее, чем реалистичная Ра, соглашавшаяся с ним с чисто женским оптимизмом, граничившим с равнодушием, ибо согласие несет в себе иногда обыкновенное нежелание вдаваться в суть и подробности, и очень часто человек, слышащий добряком, на самом деле просто-напросто безразличный улыба, сладкий, как манная каша, и не более того.

Но слезы свои Феденька вспоминал по прошествии многих дней, связав их невольно с теми событиями, какие ошеломили семью Лунышиных и разрушили мирок привычной жизни, когда ничего не осталось от прочного дома, словно к нему подползли рычащие бульдозеры, взрели своими моторами и навалились разъяренными слонами на хижину, разнесли и растоптали ее, сровняв с землей.

Это случилось и стало явью много дней спустя после ночного плача, но именно тогда, в тот приятный для Феденьки день, началось это катастрофическое разрушение, или карамболяж, как с горьковатой усмешкой назвал свое падение обессиленный Борис.

Старший Лунышин поглядел за окно, а потом взглянул на часы: было ровно три часа дня. За окном шел зимний дождь. Синоптики обещали плюсовую температуру, низкое атмосферное давление и

мокрый снег. Они ошиблись в одном — вместо мокрого снега капал обыкновенный дождь. Дали были затянуты мутным серым туманом.

В эти затуманенные дали ему надо было выехать через полчаса.

Утром ему позвонил Василий Евгеньевич, с которым они договорились встретиться сегодня вечером в доме Лунышиных, и, составившись на непредвиденные обстоятельства, попросил изменить час встречи, сказав, что было бы неплохо встретиться где-нибудь «на перекладных»...

— Где же?— спросил Борис Лунышин, которому показалась странной эта спешка.

— А почему бы нам не встретиться,— начал Василий Евгеньевич,— почему бы мне не подождать вас в подземном переходе на Калининском проспекте? Может, вам это неудобно?

Борис подумал, что встреча на «перекладных» будет, пожалуй, самой удобной для него, потому что ждать Василия Евгеньевича дома, развлекать и угощать его сегодня ему не хотелось, он плохо знал этого человека, и ему было бы трудно с ним и скучно, как бывает скучно с женщиной, которая не нравится, но которой сам ты очень почему-то дорог.

— Да,— сказал он.— Это подходит. Вы имеете в виду Новый Арбат? Но там не один переход.

— Вы знаете, почему именно подземный?

— Догадываюсь. Дождь.

— Так точно. Давайте в том переходе, который ближе всех к Садовому кольцу. С одной стороны он выходит к ресторану «Арбат».

— Да,— согласился с ним Борис.

— А с другой к киоску, который стоит на самом уголке Садового кольца и Калининского проспекта. Там, внизу... Кстати! Там два выхода... или входа... Все равно. Между этими выходами-входами я вас буду ждать. Вы меня поняли, Борис Александрович?

— Да.

— Вас это не очень затруднит?

— Совсем нет.

— А что вы скажете, если я назначу свидание в шестнадцать часов?

— Хорошо.

— Плюс-минус десять минут?

— Конечно,— хриловато согласился Борис Лунышин, теребя в пальцах скрепку для бумаг.

— Договорились... Я вас жду в шестнадцать ноль-ноль.

Эта встреча была важной для Бориса Лунышина, и он не хотел опаздывать. Он позвонил начальству, сказав, что отлучится, и, когда снова взглянул на стрелки, было уже три часа десять минут. Через двадцать минут ему нужно было выходить. Он рассчитывал сразу же взять такси, но, взглянув в окно, вспомнил про дождь и заторопился: в такую погоду такси взять труднее — это он знал по опыту. А в троллейбусе теснота и духотища, пропахшая мокрым драпом и искусственным мехом.

В сознании мелькнуло «так точно» Василия Евгеньевича и «шестнадцать ноль-ноль» — эта въевшаяся привычка бывших военных. Булавочка царапнула по сердцу, но он не придал значения такому пустяку и лишь потом раскаивался.

«В шестнадцать ноль-ноль, так точно», — эхом пронеслось у него в ушах, когда хлопнула за ним пружинная дверь проходной и он словно бы попал на шипящую сковородку, утонув в мокром шуме машин, несущихся в грязных брызгах по улице.

На шоколадных ветвях подстриженных лип висели молочно-мутные капли. Снег, выпавший ночью, был продырявлен этим каплющим молоком.

Такие же липы чернели и на Калининском проспекте, так же белея молочными каплями, уцепившимися за зимние почки, за изгибы и извилины веточек. Но снег под липами уже растаял.

Борис приехал слишком рано. В запасе было одиннадцать минут. Он не любил это число. «Барабанные палочки» бесследно исчезнувшего лото, которое провалилось как будто сквозь пол. Не топили же печи кубышечками с цифрами! Куда все пропало? Хоть бы одна кубышечка осталась. А то ведь нет! И никто не выбрасывал. Был — нет. Мистика.

Борис Луняшин подъехал на такси и вышел на той стороне проспекта, где громадился стеклянный суперресторан и где едва заметно вращался в вышине огромный глобус, рекламируя Аэрофлот. Спустился вниз по лестнице и медленно пошел к месту встречи, надеясь, что Василий Евгеньевич мелькнет вдруг среди людей, улыбнется переглядчиво и таинственно. Но тот еще не пришел. Борис поднялся и купил в киоске почтовые конверты и целый блок красивых больших марок с изображением знаменитой картины, висевшей в Третьяковской галерее, название которой он не мог вспомнить, как не мог припомнить и автора.

Письма писать ему давно не приходилось, кроме деловых, и он очень удивился, что купил ни с того ни с сего пачку конвертов с пустым местом для марки. Ему вдруг захотелось лизнуть языком клей душистой марки, ощутить кончиком языка его полузабытый вкус. «А куда подевались наши марки?— с удивлением подумал он, вспомнив детское свое увлечение, перешедшее потом к младшему брату.— Четыре толстых альбома с марками! Тувинские треугольники! Один, помнится, очень нравился. Всадник с арканом в руках на скачущем коне... Кажется, так. Куда же они пропали? Надо спросить у Феи. Но, кажется, у него их давно уже нет. Странно! Марки детства исчезают, как дым, уходят вместе с годами. Есть, наверное, какая-то тайна в этом. И не отыщешь теперь. Не вспомнишь».

До встречи или, точнее сказать, до шестнадцати часов, оставалось семь минут.

Борис подумал, что надо было предупредить на работе, что сегодня он уже не вернется... Ему захотелось домой. Сию же минуту страстно захотелось домой, будто он не был дома уже несколько лет. Хотелось снять с себя влажную одежду, сварить кофе, откупорить коньяк и выпить с горячим, крепким, душистым кофе. Развалиться в кресле и просто сказать: «О-о-о!»— выразив тем самым свое удовольствие. И пусть по стеклам и подоконникам шлепает зимний дождь, до которого ему не будет тогда никакого дела... И пропади он пропадом — этот мантый толстяк...

«Уж очень неприятно держится,— подумал Борис, вспоминая его.— Кособоится, будто одно плечо выше другого, голова набочок, на жирную шею... И руки как холодные пончики в масле. Скорей бы приходил, черт его побери».

Он в раздумье стал на углу широких магистралей, дожидаясь, когда стрелки покажут шестнадцать, и было тошно ему думать о себе в минуты перед неизбежной встречей.

Если бы у старшего Луняшина был развит звериный инстинкт, он скорее всего насторожился бы и вопреки всякой логике не стал дожидаться Василия Евгеньевича, подчинившись острому желанию быть сейчас дома и только дома.

Но инстинкт этот давно уже отмер в душе Бориса, был подавлен и убит разумом делового человека, изощренным мозгом, которому беспрекословно верил, собирая с его помощью всевозможную ин-

формацию о делах, о людях и о своих возможностях в той или иной ситуации.

На этот раз ему и в голову не пришла мысль о какой-либо опасности, грозившей ему. Он думал о чем угодно, но только не об этом. Думал о пониженном атмосферном давлении, которое угнетало его, о дожде, наводящем скуку и уныние, о чашечке кофе с коньяком... А случайные мысли о пропавшем лото, об исчезнувших марках выветрились из сознания, как сон, как нечто таинственное, о чем нет смысла всерьез задумываться или как-то иначе реагировать.

Ровно в шестнадцать он торопливо спустился вниз по мокрым, слякотным ступеням в светлое подземелье, идя следом за двумя смеющимися девочками, одна из которых вдруг остановилась на ступеньке и воскликнула:

— Ой, Люська! Ты что, чернила жрала?

— Почему?

— У тебя все губы синие...

Они опять засмеялись и пошли дальше, голубовато-синие, холодные, как тени будущего. А Борис Луняшин с усмешкой огляделся, замедлил шаг, увидел двух пижонов в джинсах, которые стояли возле стенки, тоже с усмешкой поглядывая вслед смеющимся девочкам, прервав из-за них свой какой-то разговор.

«Черт возьми! — подумал Борис с досадой. — Эта манная каша может вывести из терпения».

Было уже шестнадцать часов две минуты или, как подумал о времени Борис, две минуты пятого. Он прошелся взад-вперед, заложив руки за спину, поглядывая на прохожих и на тех двоих, что стояли у стенки и о чем-то спорили, что-то доказывая друг другу. Он был зол на себя за то, что согласился с Василием Евгеньевичем и должен по его милости зябнуть тут, как влюбленный на свидании... Он боялся встретить знакомых среди спешащих людей... «Ах Боря, Боря, старый ты хрыч, — подумали бы они с тайной ехидцей, — где же ты назначаешь свидание... Неужели так допекло?»

И он заранее хмурился, отвечая этим возможным знакомым: «Деловое. Сугубо деловое», — сделав бы так, чтоб эти случайные знакомые тоже дождались Василия Евгеньевича и убедились, что ждет он не женщину...

«Однако этот прохвост ведет себя как женщина, метель ему в мерзлую рожу!»

Губы его были плотно сжаты, ступал он чеканно-прочно, давя в себе злость и раздражение, сцепленные руки держал за спиной, замыкая нервное напряжение, нараставшее в нем с каждой минутой.

И когда его кто-то тронул за локоть, вкрадчивым голосом назвав по имени-отчеству, он вздрогнул и, расслабляясь, хриловато протянул освобожденно:

— А-а-а... — подумав про себя, что так вздрагивают только от неожиданного укуса.

Розовое лицо Василия Евгеньевича лоснилось испариной, мокрая шапка съехала по маслу жирного лба. Он ее поправил, как очки, оголив розовый лоб с размазанным по коже потом.

— Долго пришлось? — спросил манный, расстегивая дубленый душный полушубок, отбрасывая теплый шарф, который мешал ему добраться до внутреннего кармана.

— Пустяки, — ответил Борис Луняшин. — Что вы так торопитесь?

— Как же, как же, — скороговоркой откликнулся тот, залезая в свой карман как в чужой и доставая оттуда конверт авиапочты с косым синим ярлычком по краям.

Борис заметил, что конверт был заклеен, брусчато выпирая углами запечатанных в нем кушур.

«Дурак,— с раскатистым рычанием подумал он, чувствуя, как лицо его набухает злобой.— Дурак... В рожу твою метель».

Люди, лица, улыбки, внимательные и равнодушные взгляды... Мимо; мимо...

Борис Луняшин окостеневшей рукой взял этот тяжелый конверт и, как сумел, небрежно сунул его в карман пальто.

— Как договорились, Борис Александрович,— услышал он стиснутый голосок манного.— Можете не сомневаться.

Борис стоял перед ним, сунув руки в карманы пальто, и вопреки воле процедил с кабаньей ухмылкой:

— Сомневаются только женщины. Вы довольны?

Но манный словно бы вдруг исчез, как если бы его и не было вовсе. Луняшин остро почувствовал внимательный и очень нахальный взгляд, на острие которого была страшная опасность. Опасность приближалась к нему со спины. Он не успел понять, куда подевался манный, как кто-то цепко и очень прочно ухватил его за руку, сжимавшую конверт в кармане...

— Василий Евгеньевич! — громко и даже весело позвал Луняшин, не глядя на того, кто держал его руку, и улыбнулся с женским легкомыслием и кокетством.

— Все в порядке,— услышал он тоже улыбающийся, приятный голос, который уже где-то слышал, узнавая вдруг, что это голос одного из тех, что стояли возле стенки,— молодого парня в куртке из искусственного меха.

К лицу Бориса вознеслось удостоверение с фотографией напрядженного, с вытянутой шеей, чисто подстриженного мальчика. Лиловая жирная печать. Ползающие муравьи черненьких букв, разобравшись в которых он даже и не пытался, онемев и как будто ослепнув от неожиданности.

Он давно уж знал! Он знал сто лет назад, когда почувствовал взгляд приближающейся сзади опасности, он уже знал, что это не дешевые грабители, которые были бы так желанны и приятны ему теперь, а профессиональные сотрудники милиции, которым совсем не нужны деньги, а нужен он сам. Боря Луняшин, добрый, ласковый и заботливый человек старавшийся не для себя, нет, а для Фененьки, для его семьи, для мамы, для всех, кого он любил...

Пыльный ком этих судорожных мыслей взвихрился в голове, она разбухла от напряжения, загудела, готовая лопнуть, и он с удивлением услышал свой хриплый голос:

— Что, ребята? Плохи мои дела?

И ответ тоже удивил его, отвечали не ему, Борису Луняшину, уважаемому и всеми любимому человеку:

— Мы вам не ребята.

А тот Луняшин, который с головокружительной быстротой отдалялся, прыгая через минуты, часы, дни, месяцы, годы, десятилетия,— тот Луняшин был уже где-то за чертой времени, с грустной улыбкой покачивая головой, и, уменьшаясь как в экранном, стремительном фокусе, отодвинулся уже лет на сто назад, оставив на память самоуверенную усмешку и кучу неосуществившихся желаний — простых, как мычание и вовсе не выходящих за рамки мечтаний обычных людей. Тех людей, которые торопливо шли теперь навстречу, мельком поглядывая на гроицу тоже торопящихся мужчин, идущих словно бы взявшись за руки.

За углом, на Садовом, прикорнул возле металлической ограды тротуара синий «Жигуленок» с темно-красной полосой по борту, встретив их жужжанием стартера.

— Господи! — стоном воскликнул Борис, неуклюже перелезая через крашеную тумбу, чувствуя ватную слабость в теле, в ногах и руках. «Теперь никто,— думал он.— Я пропал, как деревянная

кубышка, как марка. Был и нет. Как же так? Федя, Пуша... Господи, все! Все будут жалеть меня. Мама бедняжка! Что же мне делать?»

— Провокация,— сказал он, очутившись в машине, в тесном мирке продавленных сидений, мутных стекол, чужих людей.

Он произнес это так тихо, что молодой человек в меховой куртке, сидевший рядом с ним, не расслышал.

— Что?— спросил он, хмуря жиденькие брови.

— Провокация. Да, этот человек,— сказал Борис, с трудом ворочая языком.— Этот, с позволения сказать... Я от него получил... Вы, наверное, думаете — взятка. Нет!

— У нас другая задача,— перебил его сосед.— А про это вы будете говорить в другом месте. Помолчите.

— Почему вы так со мной разговариваете?

— Я с вами никак не разговариваю,— спокойно возразил ему тот, сильные руки которого запомнил Луняшин, хотя эти руки на вид казались обыкновенными и даже как будто бы немощными. Рукава меховой куртки высоко поддержнулись, оголив запястья голубовато-бледных рук.

Молодой человек, сидевший рядом с Луняшиным, утонул в воротнике коричневой под цигейку куртки, надвинув на брови белую с двумя черными пятнами шапку. Видимо, кролик был горностаевой окраски. Теперь эта шкурка была нахлобучена на коротко стриженную голову, на глаза, в которых серые полыньи зрачков были словно бы затянуты холодным ледочком... Руки он положил на колени, потирая большим пальцем правой руки наколку на левой, обратив этим движением невольное внимание опустошенного и размягшего Бориса. «SOS»— прочитал он мутную наколку, которая, видимо, очень смущала молоденького милиционера: он машинально старался как бы стереть ее или хотя бы прикрыть пальцем.

Луняшин испуганно охнул, как от крика, от этой тоскливой наколки, тело его напряглось, и он уперся головой в обивку потолка, почувствовав мягкую ее пружинистость.

С охающим вздохом он вдруг понял весь ужас своего положения, понял, что эти хорошие, наверное, ребята просто выехали на задание, взяли с поличным преступника, везут его в милицию, сдадут его там кому надо, и сегодняшняя их работа на этом закончится. Они и теперь уже не думали о Борисе Луняшине, а только везли его туда, куда им приказано было привезти его. И понимая все это, он в страшном изнеможении, в приступе тошнотворного страха очень вежливо, виноватым голосом произнес покаянно:

— Отпустите меня, пожалуйста, я вас очень прошу... С меня...

Но в этот момент, нарушая правила движения, машина круто рванулась, переехав сплошную разграничительную линию. Соседа в куртке потянуло по инерции вправо. Борис увидел милицейские автомашины, стоявшие у подъезда старинного особняка, и понял, что это конец.

— Мы не отпускаем,— вежливо ответил молодой человек.— Отпускают другие, а мы задерживаем.

Полыньи его выпуклых глаз потемнели, будто в них отразились тучи дождливого неба. Капитан, выходящий из подъезда, безразлично глянул на Луняшина, кивнув приветливо тем, которые привезли Бориса сюда...

В сумеречном состоянии духа, в изнуряющем страхе и отчаянии, воняя потом, Луняшин проплыл не чуя ног, не помня себя, в черноту раскрывшейся двери и мысленно распрощался с прошлой жизнью.

Операция по задержанию Луняшина была проведена хрестоматийно просто. У сотрудников милиции имелся список серий и но-

меров купюр, которые получил преступник, Луняшин был прижат, как говорится, к стенке, и те жалкие попытки его свести это дело к провокации, подстроенной врагами, все эти уловки вызвали только скучную паузу в писании протокола. Благодушно терпеливый взгляд майора, который повел следствие, его нависающая в бездействии над бумагой авторучка, его согласные, но в то же время как бы и укоризненные кивки — все это обезоруживало и без того уж голенького, слабого, вспотевшего от страха, путающегося Луняшина, глотающего липкую слюну и беспрестанно курящего.

Он очень часто, так часто, что майор даже улыбнулся, повторял бессмысленно-вопросительное:

— Понимаете?— сам ничего уже не понимая в том, что говорил.— Понимаете?— И даже без всякой надежды на понимание со стороны майора спрашивал опять и опять:— Понимаете?

— Я все понимаю,— сказал майор и устало прикрыл глаза, надавив на веки пальцами.

И эта усталость на лице человека, от которого теперь зависело будущее Бориса Луняшина, вконец убила в нем последнюю надежду.

— Вы меня отпустите домой?— спросил Луняшин дрогнувшим голосом. И подбородок у него дернулся.

Майор открыл глаза, поморщился, сказал, как доброму приятелю:

— Когда же зима наступит? Слабость такая.. Домой-то?— спросил он с радушием хлебосольного хозяина.— Домой, конечно, хочется, я вас понимаю. Мне тоже хочется домой. А что же вы мне тут свою автобиографию рассказываете? Кто ж кого задерживает: я вас или вы меня? Я ведь вас не в зятя беру. Давайте-ка по существу. У меня вон даже перышко пересохло. Привык самопиской... Шариком не люблю.

И он нацелился острым кончиком пера на недописанную строчку, поводил перышком по бумаге, оживляя пересохшее перо, снял пальцами с него какую-то ворсинку, окрасив кожу чернилами. Спросил:

— Ну что же вы молчите? Я жду.

— А что говорить?— спросил Луняшин, которому нестерпимо хотелось домой и который в бессилии сидел на стуле в сумрачной комнате, мечтая как о чем-то несбыточном о доме. Душа его исходила в скулящем, тоскливом вое по утерянному дому. Ему даже казалось что если он хотя один денек, одну лишь ночь проведет у себя дома, к нему вернуться силы. он спокойно простится со всеми и, может быть, сумеет усмехнуться уходя. Эта сладостная мечта о доме мешала ему думать и что-то говорить.— Извините, пожалуйста,— сказал он.— Я вас не понял. Или, может быть, я ослышался. Вы отпустите меня сегодня домой?

— Ну что вы, честное слово! Вы же взрослый мужчина. Дело о взятке! Какой нам смысл держать вас под стражей? Подумайте сами. Мы же не арестовали вас.

— Значит, все-таки о взятке? Это ужасно!

— Вам видней. И не будем торговаться.

— Но что же мне вам говорить? О чем?— спросил Луняшин, для которого главным теперь стало го обстоятельство, что его сегодня отпустят домой, что он сегодня увидит Пушу и детей, забудется во сне, отоспится, наберется сил и обязательно сегодня же сварит крепкий кофе и выпьет его с коньяком.

Возбуждение было так велико, что майор и тот заметил, как оживился он и воспрянул духом, стоило лишь сказать, что он не арестован.

Луняшин загорелся надеждой вернуться хоть ненадолго домой, ему и майора вдруг захотелось пригласить к себе в дом, поговорить с ним, пожаловаться на жизнь, затянувшую его, и не оправдываться, нет, а покаяться, выплакаться хорошему человеку, который, конечно же, не виноват, что какой-то там Луняшин был задержан сотрудниками милиции с поличным. Он одного лишь теперь боялся — правильно ли он понял доброго этого майора, не уловка ли это с его стороны, не хитрость ли какая-нибудь. Само преступление казалось теперь давно уже минувшим, а суд далеким и ничтожным по сравнению с той возможностью, которая открылась вдруг перед ним.

Луняшин опять робел от страха, но теперь уже от страха, что его не отпустят, — пообещали, а сами возьмут и не отпустят, — спросил с жалкой усмешкой, похожей на взрыд:

— Я вам очень верю. Но вы меня не обманываете? Отпустите? Это обязательно будет или нет? Скажите!

— Своеобразный вы человек! — воскликнул майор, опять поднимая над бумагой свою самописку. — Что же у вас за дом такой? Домой да домой. Удивительно просто!

А Луняшин, улыбаясь и всхлипывая, еле сдерживаясь, сказал в слезливой судороге:

— У нас очень... У нас дом... Очень хороший. Был. Дом был, а теперь вот... Очень хороший был... Еще раз... Одним бы глазком.

— Успокойтесь... У нас у всех, знаете, что-то было, что-то будет. Воды, что ли?.. Ох уж эти мне! Один из дома, другой в дом. И все задами, все задами, нет чтобы по улице ходить, как люди. Возьмите-ка себя в руки. Так мы с вами никогда не закончим.

— Да-да-да, — лихорадочно заговорил Луняшин, откашливаясь, вытираясь платком и хмурясь. — Это больное место. Вы правы. Большие рыбы... Как это говорится? Большие рыбы — большие моря, инфузории — в стаканы... Все правильно. Ах ты господи, боже мой! Какая глупая жизнь получилась.

Он глубоко вздохнул и выпрямился перед майором, голова которого была освещена лампой. Лысая, с гладкими черепными крыльшками волос над ушами, голова эта предстала перед Луняшиным не внешней своей формой или цветом, а как бы засветилась вдруг под твердой костяной крышкой, застонала жалостью и состраданием всепонимающего человека, вынужденного калечить жизнь другим людям, к которым он сам не питал какой-либо неприязни или вражды. Во всяком случае, так показалось вдруг Борису Луняшину, и он с облегчением доверился мерцающему свету высокой этой доброты.

Младший Луняшин плакал не в ночь, когда вернулся Борис, а в предыдущую, когда с Борисом ничего еще не случилось. В ту же ночь, когда Борис вернулся, напугав Пушу своим видом и отмахиваясь от ее вопросов: «Потом. Потом...» — в ту ночь Феденька спокойно спал.

Хотя, конечно, вполне могло быть, что предчувствие беды каким-то странным образом и повлияло на состояние его духа, что, впрочем, можно предположить только с необходимыми оговорками, потому что в этом наверняка сыграло решающую роль игристое вино... «Шампанское! Шампанское!» И, конечно же, случай с шофером такси и с той женщиной, которую он вытолкнул на глазах у Феденьки, назвав шахиней.

Как бы то ни было, но Феденька Луняшин впоследствии не сомневался, что именно предчувствие беды самым прямым путем повлияло на его настроение в ту ночь на двадцать четвертое февраля, когда как раз и случилась с Борисом беда.

— Мозг — загадка, — говорил Феденька, с грустью глядя на людей, словно бы жалуясь им и ища сострадания. — Это удивительное

существо; мне иногда кажется, что он похож на дымчатого котенка. Сон — вполглаза, энергии — на триста лет. Между прочим, триста лет не фантазия. Само вещество мозга рассчитано на очень долгую жизнь, может быть, лет на тысячу, если, конечно, его не поразит болезнь. А всякие там склерозы и прочее — это ведь не мозг, а сосуды... Они у нас слабенькие по сравнению с мозгом. А мозг — бессмертен. Да! И когда человек, даже очень старый, умирает, мозг умирает совсем юным. Только-только начинает жить!

Так он говорил, когда брата уже не было в Москве, и разрушенный его дом, то есть та самая квартира, в которой собирались Лунышины, являла собой жалкий вид: казалось, будто даже обои в комнатах поблекли, как если бы их обрызгали ядовитым средством против насекомых. Пахло затхлым сигаретным дымом, пеплом и окурками, которые забывала выбрасывать из пепельниц Пуша, прикуривавшая сигарету от сигареты. Она научилась курить с катастрофической быстротой, привыкнув к этому, как только женщины умеют привыкать, — с неистовостью и рвением забывшего о себе человека, поверившего в целебные силы дурманного дыма.

— Мозг иногда выкидывает такие штучки, что диву даешься! Я иногда даже думаю, что если бы, например, человек прожил свою жизнь и совершил в этой жизни много непростительных ошибок, в которых раскаялся, а ему бы даровали вторую жизнь, то он и тогда бы, в новой своей жизни, помня про старые ошибки, все равно совершал бы такие же. От них не уйти, как ни старайся. Мозг что-нибудь такое придумает, что человек расслабит волю и подчинится обстоятельствам. Вот говорят: мне бы вторую жизнь, я бы ее прожил совсем иначе... Я бы тогда знал, как жить. Нет! Я совершенно уверен: дай человеку хоть десять жизней, он их все проживет, как одну. Вариантов не будет.

С Феденькой, конечно, не соглашались, но он задумчиво улыбался, глядя на Ра, Нину Николаевну, Пушу, которым он это говорил, оставшись единственным мужчиной в лунышинском роду, и было видно, что он не просто уверен в своих рассуждениях, а как бы на опыте уже познал загадочную суть жизни.

— Можете мне не верить, конечно, но я-то знаю, — говорил он и, чувствуя холодок пронзительных мурашек в спине, обводил всех своих домочадцев стекленеющим взглядом. — Вы думаете, что такое сон? Это игра освобожденного котенка. Днем он старается всю, успевает миллионы дел совершить за день... Каждое движение пальца — это ведь работа мозга, он всем этим управляет... Я даже иногда думаю, что человек — это ходячий мозг, который приспособил для себя руки, ноги, глаза, уши — все! Буквально все, что мы имеем. А сам спрятался в бронированную коробочку и стал передвигаться, стал толкать человека на всякие поступки, то есть, если так рассуждать, то не человека даже толкать, а все то, чем он окружил себя для своих же собственных удобств. А во сне мозг отдыхает от движения. Следит только за тем, чтобы работали какие-то там наши внутренние органы, чтобы кровь двигалась, пища переваривалась... А сам жмурится, улыбается зеленым глазом, потягивается, мурлыкает от удовольствия. И пугает иногда нашу волю или, если хотите, душу. Нагонит такого страха, что иной раз душа в пятки. Это если он недоволен чем-нибудь, работой какого-нибудь органа или сам собой недоволен... Мало ли! Заставил что-нибудь сделать не то, а потом недоволен...

Феденька оглядывал улыбающихся женщин, и улыбка тоже начинала проступать на испуганном его, словно бы с холода отпотевающим лице.

— А что же он раньше делал? — спрашивала Ра насмешливо.

— Кто?

— Котенок пушистый. Который коробочку себе сделал...

— А-а-а... Раньше он был океаном... Раньше сама планета мыслила...

Нина Николаевна, похожая на белого детеныша нерпы, посевшая и сторбившаяся, болезненно усмехалась и говорила со вздохом:

— Ах дети, дети! Как-то там Боренька...

И все задумывались. Пуша чиркала спичкой, затягивалась дымом и, запрокинув голову, вытягивала губы трубочкой, выдыхая невидимый дым, стремительно улетающий вверх.

Но все это было потом, когда Борис уже отбывал наказание, оставив горевать в Москве больных душою и точно параличом разбитых родственников...

А в те февральские дни, когда его отпустили, начав против него уголовное дело, Борис Луняшин был необыкновенно возбужден и слезлив. Свободная жизнь, которую как бы подарили ему, хоть и должна была скоро оборваться, казалась бесконечно огромной и полной чудес.

Никто еще ничего не знал о случившемся.

Когда он нежданно-негаданно, один, без Пуши, нагрнулся к брату и обнял его, похлопывая по спине, и не отпускал из своих объятий, уткнувшись носом в шею Феденьки, чуть выше тугой его ключицы, младший Луняшин, не ожидая такой встречи, растерялся и, почувствовав слезы брата, стал его целовать в висок...

— Боря, что? Боренька, я чувствую, что-то у тебя! Постой, постой... Что случилось?

— Ничего,— ответил Борис, выворачиваясь из рук брата.— Обыкновенный карамболяж... Это когда автомобили на шоссе сталкиваются, две, три, четыре машины, в ФРГ называют карамболяжем. В человеческой жизни тоже бывает так: один виноват, а страдают сразу несколько. Тоже карамболяж. Что ты на меня смотришь? Думаешь, я живу без нервной системы? Пока ты, Феденька, жив и здоров, я еще... Нет! Ничего. Ничего, братишка, ничего... Давай уговоримся: ты ни о чем меня сегодня не спрашивай. Это не так уж, по-моему, трудно... Пожалуйста. Я пришел посмотреть на племянников и племянницу, на Раиньку...

Он долго мыл лицо в ванной, фыркая и сморкаясь... Вышел с красной кожей, натертой полотенцем, и в забрызганной рубашке.

— Нервы, Феденька!— воскликнул он, разводя руками.— Хватают из-за угла, эти нервы! Пришел, увидел и не победил. Из-за угла ножом в спину, по-подлому.

— Запомни, Федя!— воскликнул он с необычной для него визгливой вибрацией в голосе.— Все эти штучки— треск барабанных палочек. Живи просто. Радуйся, что небо над головой, земля под ногами, дороги, города... Никаких претензий к жизни. Все это треск... трескотня... Фу ты черт! Цель жизни— жизнь. Ни больше, ни меньше. Ты, Феденька, сам знаешь, как жить.

Они сидели с ним в комнате, которая была спальней и гостиной одновременно. Большая, чуть ли не квадратная софа стояла в углу, накрытая бордовым полотнищем. Только орнамент шелковисто отсвечивал под розовым торшером. Пол в комнате был застлан травянистым зеленым паласом, посреди которого стоял продолговатый журнальный столик и три низеньких кресла.

В зелено-розовом воздухе комнаты запахло кофе, когда Ра в тугих синих джинсах и в бордовом батнике внесла джезве с поджаристой пенкой, перехлестнувшей через край. На столе печенье в плетеной корзинке, тяжелые фаянсовые, облитые алой эмалью чашки с массивными ручками.

Ра опустилась на колени и, большая, пышущая здоровьем и ласково внимательная, стала разливать братьям кофе, делая это с кошачьим изяществом, как будто ползание на коленях было привычным для нее занятием, не требующим никаких усилий.

Борис не утерпел и погладил ее по голове, когда она оказалась рядом с ним и ниже его.

Феденька виновато сказал:

— Кроме кофе и вот... печенья... нечем тебя угостить. Не ждали. Борис отмахнулся рукой...

В комнате возле окна, придвинутый вплотную к паутинно-белому тюлю, блестел темный стол, а в углу, на стене, светилось неопределенными формами серебристо-металлическое, похожее на глубокую чеканку нечто, во что внимательно вглядывался исподлобья Борис, отпивая кофе маленькими глотками. Узнал раздавленное ведро, взглянул на брата, опять на ведро, висевшее в красном углу комнаты. Феденька сказал:

— Это называется — автопортрет. Вернее, раньше так называлось. А теперь перстень шахини!

Борис ссутулился, побагровел лицом и опять с визгливой вибрацией в голосе крикливо сказал:

— Выкинь к чертовой матери! Зачем? Выкинь!

Никто не ожидал от него такой реакции. Феденька смутился, Ра, сидевшая в кресле, круто повернулась, словно речь шла о чем-то ей неизвестном и ужасном. Лицо ее исказилось малиновым испугом, кофе выплеснулся из чашки на тугую ткань, обтягивающую колено.

Младший Луняшин, перебарывая смущение, ответил, разглядывая нерукотворную жестяную смятку, загадочную случайность ее форм:

— Пусть висит. Она кое-что иногда подсказывает...

Борис, толкнув стол, поднялся, точно ему стало плохо.

— Выкинь! — сказал он хрипло. — Зачем ты ее притащил в Москву? Глупо. И что значит перстень шахини? Глупость! Выкинь.

— Время, Боря. Время. Пространство и время. Мне нравится. Расплющенное временем пространство. Неужели не видишь? Символ. Мне нравится, — упрямо повторил Феденька.

Борис оделся, как ни уговаривали его расстроенные Луняшины остаться, и, поцеловав обоих, заглянул на цыпочках в приоткрытую дверь комнаты, где спали малыши — мальчики в голубых ползунках, а Алиса в розовых, — попросил прощения и ушел.

Что он увидел в расплющенном ведре и почему так резко изменился, когда услышал название этого круга, ни Федя, ни пламенеющая нервным румянцем Ра так и не смогли понять в тот предпоследний вечер февраля, в канун первого весеннего месяца, начало которого ждут с надеждой на скорое обновление природы, на солнечную капель и первые проталины, в темноте которых заблестят черным пером желтоклювые грачи, а потом загорится ярко-желтым огоньком и первый цветок мать-и-мачехи.

Они еще ничего не знали о беде, какая приключилась с Борисом. Не могли понять и почувствовать его постоянной тоски, его страха, который гнал теперь его из дома.

Он ворвался однажды днем к Нине Николаевне, испуганно спросившей его, как и брат:

— Что с тобой, Боренька? Ты здоров? Что случилось?

— Ничего, — отвечал он, поглаживая ее волосы, похожие цветом на волосы симпатичного зверька, разглядывая ее потемневшее лицо, обрамленное сединой, черные ее глаза и черные щелки ноздрей. — Мама, ну что же это такое? Тебе нравится быть беленькой? Ты очень красивая, конечно. И ты совсем не хочешь покрасить их? Ты станешь опять совсем молоденькой. У тебя почти нет морщинок.

— Старость не перекрасишь,— отвечала она, кладя руку на лоб сыну.— Ты очень возбужден, Боря. Ты весь горячий, у тебя, наверное, температура.

— Ерунда! Это пройдет. Нервы, нервы, мама, нервы! Ах, если бы ты знала!

— Что, Боренька?

— Ничего, ничего. Как ты себя чувствуешь? Тебе не бывает страшно одной, ночью?

— Почему ты это спрашиваешь?

— А что это у тебя такое на столе? Ах, это, наверное, чайница, да?

Он схватил фарфоровую кобальтовую чайницу, дрожащими пальцами снял крышечку и стал нюхать чай, в растерянности глядя на Нину Николаевну, которая с мягкой и плавной какой-то нежностью взяла у него из рук эту чайницу и поставила на стол.

— Что, Боря? Что-нибудь на работе?

— Почему? Нет... Нет, мама, нет. Не надо меня ни о чем спрашивать и не надо плакать! Я больше всего на свете,— вдруг воскликнул он визгливым голосом,— больше всего на свете боюсь, когда меня жалеют. Я у тебя спросил, а ты не ответила. Ты одна. Тебе по ночам как?

— А чего же мне бояться, Боренька?— вопросом на вопрос тихо и робко ответила Нина Николаевна, звякнув крышечкой чайницы, которую она тоже с дрожью в пальцах положила на гемное отверстие.— Нет, мне не страшно. Я свою жизнь прожила. Чего же мне бояться? С жизнью я уже простилась. Я не очень верю людям, которые говорят, что старость — это тоже хорошо. Не знаю. Еще одна хворь, еще одна боль... Кому это нужно? Нет. Боренька, я не боюсь, милый. С жизнью я простилась, а уж со старостью как-нибудь расстанусь... без слез. А ты помнишь? Нет, ты, наверное, не помнишь... Ты был маленький...И вдруг заплакал поздно вечером. Ты уже обычно спал в это время и вдруг заплакал. Да так горько! Что такое? Оказывается, ты впервые тогда узнал, уж не знаю от кого, что мамы умирают. Это было так трогательно! Но я бы сказала, и не очень-то приятно,— говорила Нина Николаевна, укоризненно выпятив губки.— Ты меня тогда очень напугал... Тогда мне было страшно! Еще бы! Я тогда была млада, и жизнь только-только начиналась...

Борис нетерпеливо слушал мать, и, когда она рассказала о давней той слезе, он не удержался и кашлянул, как будто вскрикнул от боли.

— Нет, мама! Некогда!— вскричал он, хлюпая носом.— Я на минутку. Просто так.

На лице у Нины Николаевны зажегся испуг, вспыхнув каким-то белым огнем. Она не останавливала Бориса, ей стало страшно, когда он вскрикнул, будто она его не отпускала от себя.

— Боря! Тебе надо отдохнуть,— тоже криком, капризным и испуганным, сказала она, хватая его за руку.— Куда ты торопишься?

— Мне, мама, некогда. Прости меня,— очень спокойно сказал Борис и поцеловал ее в теплое темечко.

Нетерпение губило его. Он не мог долго оставаться с людьми, дотеле такими приятными и желанными. Теперь они словно бы истязали его своей любовью, вниманием, жалостью, которая уже зрела в них, но о которой сами они еще не подозревали.

Но он-то знал, что жалость уже пустила корни в их души, и скоро, очень скоро, она будет мучить их, ни в чем не виноватых и чистых.

Одна лишь вина была у этих дорогих ему людей — они любили его. И скоро им придется платить за эту безоглядную, счастливую любовь тоской и слезами.

Отрезочек жизни, казавшийся ему, отпущенному домой, бесконечно долгим и полным чудес, превратился для него в страдание, потог-

му что он уже не мог, не имел права жить среди людей, которые любили его. И он бежал от них...

Ждал с ними встречи, обнимал, ласкался, но неподвластная ему сила взрывала его, он в смятении вскакивал и убегал, чтобы снова и снова мечтать о встрече...

Странное и тревожное чувство испытываю я, закончив свое повествование. Сбылось ли то, о чем я думал, начиная рассказ, или только бледная тень замысла легла на светлый лист бумаги? Но уже не песенкой овсяночного напева звучит в моей душе рассказанная история, а будто бы снится мне сон, что я сижу за штурвалом огромного лайнера и вижу внизу красный глаз маяка, вижу строгую геометрию аэродромных огней, толкаю от себя послушный штурвал, как мальчик, играющий в летчика, но машина, разогнанная реактивной силой, не подчиняется мне, моторы ее ревут, и скорость не гаснет...

«В Подмоскowie тихое солнечное утро... Кое-где наблюдаются туманы...»

Туда, в эту утреннюю тишину, на берег реки, чтобы хрустел под ногами рассыпчатый песок, чтобы слышны были всплески рыб в прозрачном тумане и круги, расходящиеся по воде, плавно скользили вниз по течению. Шумный всплеск в широком круге, проплывающий мимо меня... свист крыльев кряковых уток...

Но ревут моторы, и нет былых моих сил и умения погасить их пламя, хотя и закончен полет... Усталый мой мозг никак не может расстаться с той жизнью, какую я так долго старался изобразить на бумаге с помощью тонкой чернильной линии, рисующей из букв слова, слова, слова...



* * *

Померкло блюдечко во мгле,
 все воском налитое...
 Свеча, растаяв на столе,
 не восстанавливается.

Рубанком ловких технарей
 стих закудрявляется,
 а прелесть пушкинских кудрей
 не восстанавливается.

От стольких губ, как горький
след,
 лишь вкус отравленности,
 а вкус арбузов детских лет
 не восстанавливается.

Тот, кто разбил семью, к другой
 не приноравливается,
 и дружба, хрястнув под ногой,
 не восстанавливается.

На поводках в чужих руках
 народы стравливаются,
 а люди — даже в облаках
 не восстанавливаются.

На мордах с медом на устах
 след окровавленности.
 Лицо, однажды мордой став,
 не восстанавливается.

Лишь при восстании стыда
 против бесстыдности
 избежем страшного суда —
 сплошной пустынности.

Лишь при восстании лица
 против безликости
 жизнь восстанавливается
 в своей великости.

Детей бесстыдство может
съесть —
 не остановится.
 А стыд не страшен. Стыд —
не смерть.
 Все восстановится.

НИКОЛАЙ НОВИКОВ

Городок

I

Вот городок с неприметным названием,
 С универмагом — стекло и бетон,
 Некогда самым внушительным зданием,
 Пооблупившимся малость потом.

Сад городской с неокрепшими липками
 Над золотистой ряской прудов,
 И неизменная улица Либкнехта
 С кинотеатром тридцатых годов.
 Где еще летом встречаются валенки
 Да на проспекте?! Ан дед семенит...
 Маленький город — большая завалинка,
 Издавна цоканьем он знаменит.
 Речи неспешные, темы извечные
 Годы сплетают в один разговор...
 Но за сараями — дали заречные.
 Вот уж простор — вам скажу —
 Так простор!
 Экономической неперспективности
 Явно не замечая следы,
 Вот уж покой — я скажу по наивности,—
 Вот витамины душе от беды!
 Зря, что ль, насижено место веками тут:
 Летопись древнюю стоит прочесть...
 Сланцев, солей марганцовых и калийных
 Нету.
 Но что-то здесь все-таки есть!

II

Малый городок Великий Устюг
 В теплой шапке девственных снегов
 Зимней ночью преисполнен грусти,
 Зябких звезд и редких огоньков.
 Старина уперлась ввысь дымами,
 А внутри — сухой печной уют.
 Бабки ходят в гости вечерами,
 Песни позабытые поют.
 К нам они — от прялок и от кросен —
 Донесли старинный облик свой.
 Будем слушать — ничего не спросим,
 Пусть текут водою ключевой
 От поры, когда, набрав товаров,
 В путь ушли от этих берегов
 Устюжанин Ерофей Хабаров,
 Устюжанин же — Семен Дежнев.
 Славу тебе, Устюг, приносили.
 Добывали — клали на порог...
 Ты средь прочих городов России
 Малый,
 но великий городок!

Улугбек

Когда таинственные силы
 В степях рождали ураган,
 И двигал полчища Атилла,
 И двигал орды Чингиз-хан,
 Песчинкою в стихии хмурой
 Тогда казался человек.
 Но внуком черного Тимура
 Не зря был светлый Улугбек.
 И наблюдая звезд свеченье,

Он видел среди кромешной
 тьмы,
 Что есть иное назначенье
 У страшной власти над людьми,
 И знал, что жизнь его продлится
 Не в былях или небылицах
 О покореньи чуждых стран
 И о повергнутых столицах —
 В астрономических таблицах.
 И — строил каменный секстан!

* * *

Лавочка у сада «Эрмитаж»
 И скамейка на Тверском бульваре...
 Где с тобой мы только не бывали,
 Оживляя городской пейзаж!
 Кроны нам обозначали кров,
 Нам улыбки возвращали стекла.
 Под охраной памяти их столько,
 Достопримечательных дворов...
 Мне по ним бродить — и не избыть
 Памяти печальной и счастливой.
 Помнишь ли песочницу под липой?
 Верить ли: и ей нас не забыть...
 Помнят скверы, станции метро
 «Водный стадион» и «Парк
 культуры».
 Словно на деталь архитектуры,
 Ливень проливал на нас ведро.
 Эти поцелуи в снегопад
 И слова на улице остылой...
 О наивность! Словно это было
 В молодости — двадцать лет назад.



ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО

★

РЕКА МОЕГО ДЕТСТВА

Рассказ

Время предобеденное, поезд только что отошел от вокзала. «Через полчаса выберемся из Москвы и можно идти в ресторан», — подумал Григорий Иванович Скурлатов и, присев на диван, стал смотреть в окно.

В купе чисто, прохладно, пахнет влажным бельем. На белой салфетке, углом свисающей со столика, вазочка с двумя зелеными веточками туи. Покойно, мерный стук колес, вагон лениво покачивается. Когда людям плохо, они должны садиться в поезда. Именно в поезда, а не в самолеты. У поезда есть дорога, она успокаивает... К тому же он едет в родные Перелазы...

Григорию Ивановичу Скурлатову действительно было плохо. Вчера в доме разразился скандал, какого он не помнит за все двадцать с лишним лет семейной жизни. Даже не скандал, хуже: на него сыпались обвинения, ему вынесли приговор... Жена с остекленевшими глазами кричала в лицо:

— Я всю жизнь мучаюсь с тобой! Осмотрись и не обманывай себя и других... Ты просто неудачник. Все тебя обошли. Все как люди, а ты со своими дурацкими принципами и фанаберией. Да, да, фанаберией, только мешаешь всем жить...

Боже, что она говорила? Ее слова настигали и жалили, когда он уходил из спальни. Скурлатов не хотел слышать, а истерический крик пробивался через стены...

Конечно, понять Нину можно. Замаялась она. Но, видно, что-то переломилось в их жизни, раз она сказала такое. Он и сейчас словно бы слышал ее злые, язвящие слова и не мог не понимать, что они не были случайными. Нина свою обвинительную речь подготовила давно.

«Ну и что? — сдерживал он себя. — Чего не бывает в семейной жизни? Надо терпеть, уступать друг другу. Не всякое лыко в строку». Скурлатов был сильным человеком. И ему удалось сдержать себя. Начал рассуждать спокойнее. Если честно признаться, то обидные слова жены, что его жизнь — и особенно в последние годы — шла через пень колоду, не были для него громом с ясного неба. Он и сам признавался в этом жене. Будто просил у нее прощения за неурядицы на службе. И она понимала его, торопливо обрывала: «Ну, Григорий! Стыдись. Если бы ты смолчал перед этим подонком Сиваковым, я бы перестала тебя уважать».

И сразу Скурлатову становилось легко и свободно.

Вот такой безоглядно смелой и бесшабашной больше всего и любил ее Григорий, и его невзгоды и неудачи казались ему действительно чем-то мелким и пустым по сравнению с тем, что он уже имеет. А имел он тогда немало: жену-друга, дочь, любимую работу и всего тридцать лет за плечами.

Когда были молодыми, все его конфликты на работе они называли «авариями». Самой большой «аварией» Нина шутливо называла их внезапный и для всех непонятный отъезд из Москвы на Урал.

Отец Нины, узнав о решении дочери перевестись из Москвы в районную больницу, да еще к черту на кулички, сказал им на прощание:

— Григория я понимаю. Он из зачуханных Перелаз. Его, как волка, сколько ни корми, а он в лес смотрит. Но ты коренная москвичка. Ты-то зачем в Сибирь?

— Не в Сибирь, а на Урал! — поправила его дочь.

— А, все равно ты не Волконская, — отмахнулся отец. — Через полгода бросишь все и прибежишь в Москву...

Но отец Нины ошибся. Они прожили на Урале восемь лет, и это были их самые счастливые годы. Жили скудно, перед зарплатой трешки занимали, дом без удобств, старый, Оля простужалась, а все-таки жизнь шла не мимо них, а сквозь них: интересная работа, Нина занялась диссертацией, увлекла и его, учили вместе английский, истмат и диамат, сдали кандидатский минимум, защитились. Сначала она, а через год и он...

Диссертации были скорее данью моде, чем их внутренней потребностью, и они оба понимали это. В ту пору жена еще не утратила спасительного чувства юмора, и когда он говорил ей: «Какая, к черту, здесь может быть наука? Глупостями занялись. Лучше рожай второго ребенка!» — она весело отвечала: «Ученым можешь ты не быть, а кандидатом быть обязан».

И все шло своим чередом: у них была цель. Перед супругами, как свиток, развертывалась дорога их жизни. Скурлатов стал заведующим отделением, потом главврачом. Через три года его перевели в областную больницу, где он принял новый хирургический корпус на шестьсот коек...

А еще через четыре года вернулись в Москву — как говорила жена — «на белом коне». Григория Ивановича взяли в Министерство здравоохранения. Чего же больше? Служить бы ему там, карьеру делать, да не приноровился он к кабинетной размерности, хотя и тут у него дела шли неплохо. Работать он умеет. Если берется за дело, то кровь из носа, а доведет его до конца. Начальство ценит таких, и за четыре года Григорий Иванович выбился в группу ведущих специалистов.

Нина стала приглашать в дом на праздники и дни рождения «нужных людей».

— У тебя, Григорий, все идет хорошо, — шептала она мужу, когда расходились гости. — Петр Семенович хвалит тебя: способный, обязательный... Но не будь же ты такой буквой! Не демонстрируй свою независимость.

— Это Петр Семенович советовал?

— Нет! — резко отвечала жена. — Это говорю тебе я. Если не можешь по-другому, держи свою гордость при себе. Ведь ты же не мальчик и должен наконец понять: без протекции не проживешь. — И, сменив гнев на милость, уже примиряюще добавляла: — Перед кем-то обязательно надо склонить голову, Григорий. Посмотри, сколько людей над тобою. Ну разве в одиночку можно пробиться?

Нина говорила спокойно, рассудительно, словно уговаривала сама себя, а в Григории Ивановиче все переворачивалось, и он кричал:

— Служат не личностям, а делу! И запомни, я уже давно сделал выбор...

— Конечно, конечно, — спешила успокоить его жена. — Конечно, делу. — И она интонацией подчеркивала любимое Григорием слово. — За это тебя и ценят. Но не отсохнет у тебя язык, если ты скажешь Петру Семеновичу доброе слово. С его умом, опытом, связями...

— А мне противно...

— Ну и дурак...

Так или приблизительно так кончались его летучие стычки с женой.

Но не только эти разговоры выбивали его из привычной колеи. За годы работы в министерстве ему все очевиднее становилась истина: чем дальше человек от живого и конкретного дела, тем больше он тратит сил и духовной энергии на дипломатию в общении с людьми в коллективе. А по этой части у Григория Ивановича Скурлатова не было и проблеска способностей. Он считал, что за человека говорит его дело и то, как он его, это дело, делает.

Однако живое дело далеко от него, а дипломатия рядом... Нет, не для него все это. Он хирург и ему тридцать шесть. Надо определиться. И он вновь повернул свою жизнь — круто, как и тогда, перед поездкой на Урал, — вернулся к живому делу, повел хирургию в одной из московских больниц. И вновь никто не понял его, а жена, не удержав мужа от этого «безрассудства», махнула рукою.

— Поступай, как хочешь, только не ной, когда скатишься еще ниже...

— Куда и почему ниже? — возразил он. — Я вернулся к своему делу, и что может быть выше этого?

— Блаженный! — кричала Нина. — У тебя же семья!

И опять вспыхивала ссора, и были в ее словах и досада и злость, и она говорила, что он заживо хоронит себя, а при его уме и таланте нормальные люди...

Он отшучивался.

— Тебя обошли твои же друзья, — пыталась побольнее задеть Скурлатова жена. — Обошли даже те, о ком в институте и слышно не было. Что же ты с нуля начинаешь?

А Григорию Ивановичу было просто интересно работать, он будто помолодел, к нему словно вернулись те двадцать пять лет, с которыми когда-то уезжал на Урал. Однако при нем теперь было то, чего он не имел тогда: профессиональный опыт и знание жизни, которые оченьгодились ему на новом месте. Хирургическое отделение оказалось слабеньким — ни кадров приличных, ни оборудования. Главный врач клиницист, у него свои заботы, и пришлось Григорию Ивановичу самому засучить рукава.

Уже через полгода он восстановил утраченную за время сидения в Минздраве «спорттивную» форму и делал сложнейшие операции. Его приглашали на консилиумы и операции в другие города. Набрал молодых ребят. С ними хоть и хлопотно, но видишь, как дело движется и ты в центре его, а не на обочине. И даже Нина, кажется, успокоилась. «Раз нравится тянуть лямку — тяни!»

Дочка кончала девятый класс, впереди десятый — и, конечно, в медицинский институт, по стопам родителей. Сомнений нет: репетиторы по химии, физике... Девочка способная, в маму, но...

И вдруг этот срыв. Не так обошелся с высокопоставленным больным, подселил к нему в отдельную палату двух тяжелых, после операции... Скандал.

Спасать положение кинулись друзья, однокашники по институту. Они уже оттуда, с высоты своего служебного положения, протягивали Скурлатову руку. Конечно, все организовала Нина — забила тревогу, собрала друзей... Решено было вывести «талантливую Скурлатова» (так звали его в институте) из-под удара, удалив его на почтительное расстояние от разгневанного начальства. Таким безопасным местом единодушно сочли небольшой подмосковный санаторий, где проходят реабилитацию послеоперационные больные одной ведомственной больницы. Санаторий на сотню коек, разместившийся в бывшей барской усадьбе, порядком обветшавшей и запущенной, хотя и охраняемой как памятник архитектуры.

Григорий Иванович оставил за собою один операционный день в неделю в той московской больнице, где он проработал три года, и принял «памятник архитектуры».

Переходя на новую работу, Скурлатов не без удивления заметил, что его служба проходит странными скачущими циклами. После окончания института он проработал в клинике родного Первого медицинского три года и уехал на Урал. В районной больнице на Урале тоже три года, и оказался в Свердловске. Там уже работал четыре. В Минздраве тоже четыре. В хирургии московской больницы три года... И вот теперь в санатории Скурлатов дорабатывает четвертый год... Неужели это последний? Думал, что уже проскочил роковой рубеж, да и нет никакой закономерности, но именно к концу четвертого года начались неприятности... Почему по прошествии именно такого срока он попадает в полосу «аварий»?

А ведь он многое здесь сделал. Выбил деньги на реставрацию здания и почти закончил ремонт главного корпуса. Восстановил парк, провел дорогу к санаторию, усилил медперсонал. Нет, эти четыре года не зря пролетели в жизни единым духом, и он не жалеет, что ушел тогда в это тихое место. Да и никакое оно не тихое. Только успевай поворачивайся. И главное, видно, что дело делается.

Ладно, приедет домой, к матери, в родные Перелазы, во всем разберется... Как она там? Небось ночь не будет спать. Настраивает всякой вкуснятины. Наверняка будут его любимые хрусты в масле...

Наверное, зря он так тяжело переживает семейный разлад. Конечно же, у Нины просто сдали нервы — замаялась она с внучкой. Первый месяц живет на свете человек. Колдуют они с дочерью над крохотулей, думают, двое из одного получится. «Нет, из одного ребенка так один и будет...» Это сказала мама Григория Ивановича — Мария Яковлевна, когда они втроем (он, жена и их четырехлетняя дочь Оля) приехали впервые всей семьей к ней в гости. Тогда же мама, глядя на их капризную и болезненную дочь, добавила осуждающе: «Не дело это, Гриша, один ребенок. Ох, заводите второго». Но второго не было. И осталась в центре их семьи Ольга, капризная, взбалмошная, постоянно испытывающая перегрузки родительского внимания.

Дочка ладно, его вина... Но жена? Откуда ее вселенская злость и презрение? Смотрела на него как на последнее ничтожество...

«Не заводись, Григорий Иванович,— остановил себя Скурлатов.— Пора идти обедать».

Вагон, в котором ехал Скурлатов, находился у самого электроваза, и ему пришлось идти почти через весь состав. Он открыл и закрыл, наверное, целую сотню дверей, пока добрался до ресторана, и во время этой бесконечной дороги ему пришла забавная мысль: он шел назад, а поезд, громыхая колесами, летел вперед, и все это путешествие было похоже на его думы о детстве — он бежал назад в свое прошлое, а время безжалостно уносило его от станции детства и той реки, какая была и потаенной его гордостью и непроходящей болью, от которых он хотел и никак не мог уйти.

«Река моего детства», — выплыло в памяти, и в нем опять все сжалось от обиды. Как она могла, как посмела издеваться над тем, что дорого? Эти слова он сказал в тот первый приезд его семьи в родную деревню, когда они с женой стояли на берегу Серебрянки. Он произнес их так, будто признался в любви. Скурлатов ничего не забыл и именно так ощущал тогдашнее свое состояние. Он дарил жене речку, на которой вырос, как самое дорогое, что у него было. Тогда Скурлатов отчаянно радовался встрече с родиной, и ему становилось не по себе оттого, что Серебрянка совсем не та, про которую он рассказывал жене и маленькой дочери. И берега не те, и речка не та, усохла, заросла тальником, забилась коряжником, сквозь которые еле-еле сочится мутная, бурая вода.

— Река моего детства...— восторженно-грустно выдохнул Скурлатов и растерянно добавил: — Только она была другой...

И жена поняла, отчего он вдруг умолк и долго не мог говорить, и сочувственно молчала сама, а потом мечтательно повторила:

— «Она была другой...» Как ты красиво и верно сказал, Гриша. В детстве все было не таким: и реки широкими, и деревья большими.

А потом они тихо брели вдоль изрытого, захламленного берега, и Нина уговаривала его не отчаиваться, и они понимали друг друга... Как же она забыла эти минуты?..

Уже за вагон до ресторана резко запахло борщом и еще чем-то горячим и сытным, и Скурлатов с облегчением понял, что, кажется, дошел... Ну и поезда нынче составляют: хвост в Москве, а голова в Вологде!

В ресторане к его счастью оказалось несколько свободных столиков, и он сел к окну. Две женщины средних лет ставили на столы победно-красные борщи «по-московски» и уныло серые шницели с макаронами. Скурлатов оглядел витрину буфета, но водки не увидел. А ему сейчас хотелось выпить именно водки, а потом уж приниматься за пылающий борщ.

— Есть коньяк,— подсказала официантка и, нетерпеливо посмотрев на Скурлатова, спросила: — Сколько?

— Двести,— поспешно отозвался Григорий Иванович и добавил: — И обед...

Официантка, держа перед собою блокнот, ушла к другому столу. Скурлатов поморщился: «Будет теперь принимать заказ у всего вагона»,— и стал глядеть в окно. «А впрочем, спешить некуда. Раньше поезда все равно не приедешь...»

Всего три года Григорий Иванович не был в Перелазях у матери, а казалось, что вечность. Скурлатова самого удивляла странная его привязанность к родным местам. Где бы он ни жил и куда бы ни приезжал, сколько бы ни глядел на опушенные лесом и снегом горы или безбрежную лазурь морей, чужих и наших, Григорий Иванович всегда вспоминал перелазовские леса, перелески и облитый изумрудной зеленью луг за рекой Серебрянкой. И виделось ему: там, за деревней, где река делает крутой изгиб, он, в крупных бусинках воды, лежит с мальчишками на светло-сером песке, и высокое жаркое солнце колко сушит тело. Песок, как и капли на спинах мальчишек, искрится на солнце, а река, ударяясь в крутой правый берег, поворачивает свой поток к светлой косе и моет, моет мелкую гальку и песок...

Это было, наверное, тридцать, а может и больше лет назад. Давно распахан изумрудный луг на правом берегу Серебрянки. Нет и того песка, а есть темная илистая заводь, забитая сухим коряжником и мусором. Серебрянка, сторонясь этой гнилой заводи, съежилась, прижалась к правому берегу и почти остановила свой бег.

Скурлатов учился в институте, работал, каждый год летом приезжал в родное село и не замечал разительных перемен, какие происходили с рекою. Он радовался новым жилым домам в Перелазях, асфальтовой дороге, дошедшей почти до села, клубу и магазинам. А Серебрянка, казалось, была все такой же, звенела чистой водой на перекатах да перемывала песок и гальку у косы, где он купался мальчишкой.

И вдруг Скурлатова как громом поразила перемена, которая произошла с рекой. Два года подряд он не появлялся в родной деревне, и вот, когда уже работал в министерстве, приехал и неожиданно увидел совсем другую реку. Так бывало и с его пациентами... Наблюдаешь годами и почти не замечаешь перемен, а выпадет человек на год-два из твоего внимания, забудешь про него, и когда он нечаянно явится — видишь перед собою живого мертвеца.

Скурлатов не узнал Серебрянку.

За распаханым лугом поднимались корпуса межрайонного животноводческого комплекса-гиганта, оттуда стекала темно-коричневая жижа, перекрасившая в бурый цвет когда-то чистые воды. Скурлатов тогда впервые воспользовался своим служебным положением. Как работник Минздрава он добился решения облсанэпидстанции, запрещающего животноводческому комплексу сбрасывать отходы в реку (в районе вынуждены были срочно снять две бригады строителей с жилья и бросить на сооружение отстойников). Убил пол-отпуска на поездки в район и в область, на звонки сослуживцам в министерство, но своего достиг. Тогда же начались его неприятности и в родном селе Перелазы...

Наконец на столе перед Скурлатовым появились графинчик с коньяком, похожий на аптекарскую склянку, бутылка лимонада, закованые в нержавеющей стали борщ и шницель. Все это опустилось перед ним одновременно и так неожиданно, что, занятый своими мыслями, Скурлатов испуганно вздрогнул и тут же, словно заглаживая нечаянную вину, улыбнулся строгой официантке.

Когда она отошла, Григорий Иванович, не скрывая удовольствия, выпил пол аптекарской склянки коньяка и принял хлебать борщ.

Ему стало тепло и уютно, мысли потекли размеренно и спокойно. «Как-то чудно выходит,— думал он,— уехал из села в самом начале сознательной жизни, а все равно считаю Перелазы своим домом. Ведь вдвое больше прожил в других местах. Сейчас москвич, и им уже останусь до конца жизни, а поди же ты... Еду домой... Считаю домом, потому что там живет мать. А не станет ее, и все обрушится, не к кому будет приезжать, некого проводить...»

Есть у Скурлатова младший брат, Василий. Он на три года моложе его и живет с женою тут же, в районном центре, а мать не едет к нему, как не едет она и к Григорию в Москву. «Пока есть силы, не брошу дом. Здесь я хозяйка... Все меня знают, и я всех знаю...»

И тут же Скурлатова больно стегнули другие слова матери: «Ты лучше, Гриша, на весь отпуск не приезжай... Я и сама обойдусь». Мама хитрила, а он знал: от его приездов и у нее неприятности. Совхозное начальство косо смотрит: «Слишком у тебя сын, Яковлевна, въедливый». Да и соседи посмеиваются: «Замаялся человек в городе без работы, вот и чертомелит на речке. Лучше б совхозу в поле подсобил».

Все это Скурлатов слышал еще в прошлые свои приезды в Перелазы, да не обращал внимания. То есть обращал, но не придавал значения, потому что чувствовал свою правоту.

Они сидели с братом Василием у матери за праздничным столом в тот его приез, и Григорий, распалившись, кричал, что гибнет Серебрянка, а все вокруг как слепые.

— Нет, не слепые, а нарочно завязали глаза! Так удобнее... Что же ты-то, житель местный? Что? — наседали на брата.

Его тревога и боль передались Василию. Да и мать тогда поддержала Григория. «Удобрения сыпят куда попало, а они с дождем и снегом в речку... А Серебрянка бессловесная. Речка она речка и есть».

На другой день в Перелазях только и разговоров было что о братьях Скурлатовых, которые «подрядились» чистить реку. Самые любопытные спешили за деревню, где Серебрянка делает крутой поворот, посмотреть на то, как в болотине «пластаются два здоровенных мужика, которым некуда дурную силу давать».

В тот же день, а было это воскресенье, к братьям дружно присоединились деревенские мальчишки, а к вечеру и несколько подвыпивших мужиков, сверстников Скурлатовых, и они все вместе рубили кустарник, таскали с заболоченной косы сушняк и все, что река за многие годы набила в эту заводь. На берегу пылал огромный костер. Люди хлюпали по колену в грязи, ворочали тяжелые коряги,

выволакивали их на берег, кидали в огонь мусор. Все это мало походило на работу, скорее на баловство.

В серьезность затеи никто, кроме Григория Ивановича, не верил, и на следующий день помощники уже не появились, хотя вчера вечером, когда у пылающего костра обмывали почин «освобождения» Серебрянки, многие обещали ежедневно подсоблять после работы. В то воскресенье Скурлатов-младший принес две бутылки водки, хлеб, сало и малосольные огурцы, и мужики разговорились. Вспоминали, какая голосистая была Серебрянка, сколько в ней водилось рыбы и раков, а теперь вот...

Но разговоры так и остались разговорами. Братья три дня работали без подмоги, а на четвертый и Василий засобирался домой, в районный центр, и Григорий остался один...

Неделю он, как на службу, ежедневно ходил за село: рубил тальник, разбираал завалы мусора на перекатах. Чего здесь только не было: консервные банки и бутылки, старая обувь и одежда, кухонная утварь, доски, полиэтиленовые мешки, битое стекло, проволока, листы жести и шифера, плахи строевого леса...

За неделю Григорий Иванович натаскал из Серебрянки вороха этого добра. От его трудов была и личная выгода. К концу отпуска, проведенного в Перелазях, он привез во двор к матери целую машину дров, выловленных им из реки. Но странное дело, мать не особенно обрадовалась.

— Господи, и зачем ты, Гриша, убивался,— ходила она вокруг перепачканных в грязи бревен.— Да мне и уголь Василий привезет. И старых еще дров целая поленица. Силы свои надрывал только...

А сын, довольный собою, что тоже что-то для дома сделал, весело отвечал матери:

— Да я тут такого здоровья набрался, что мне теперь на год в Москве хватит.— И он хвастливо красовался своим загаром.— Я теперь горы своротить могу!

И это была правда. Во всем теле Скурлатов чувствовал такую силу и легкость, что ему и впрямь были нипочем горы. А вот на Серебрянке мало что изменилось.

Берега ее заросли камышом и кустарником, во многих местах русло распалось на мелкие озера и болотца. Это уже была не река. Серебрянка умирала. Как у обреченного больного, у нее, казалось, не было шансов выжить. Конец можно лишь отодвинуть, но не предотвратить.

Он узнал, что километрах в сорока выше по течению речку перегородили плотиной, и теперь вся Серебрянка на голодном водном пайке у водохранилища: захотят — казнят, захотят — помилуют. И вот тогда Скурлатов кинулся спасать реку, ездил в район и в область, звонил на службу в Москву... И как только он начал действовать, сразу пришла профессиональная уверенность. С болезнью надо бороться, даже безнадежно больных лечат.

Уезжал он из Перелаз с твердым намерением через год вновь приехать сюда и заняться тем же...

И были еще три отпуска, проведенных в родной деревне, и новые хлопоты в районных и областных инстанциях о прекращении вредных сбросов в Серебрянку. Нелегкими эти годы были для Скурлатова и в Москве: он перешел на новую работу, принял «архитектурный памятник», пришлось заново налаживать дело, и он его наладил, да вот приключилось то, что с ним случалось через каждые три-четыре года...

Сейчас он едет в Перелазы только на неделю, а остаток отпуска проведет в теплых краях, у моря.

Вспомнились слова жены, которые она сказала Скурлатову сегодня, перед отъездом.

— Мария Яковлевна просила, чтобы ты не связывался там со

своею рекою...— Нина еще что-то хотела сказать, но подбородок ее дрогнул и она замерла.

Скурлатова вновь обожгла обида, он хотел резко ответить, но этот дрогнувший подбородок остановил его, и он поспешил успокоить жену.

— Да что ты, Нина, конечно. У меня и времени не будет...

Постояли молча, говоря этим молчанием друг другу, что все будет хорошо, все обойдется. Так уже было не раз, и действительно все обходилось. Но теперь оба знали: нет, не обойдется, не обойдется, такого между ними еще не было...

Григорий Иванович допил коньяк, поднялся и, прихватив с собою бутылку лимонада, побрел через бесконечные вагоны в свой головной. Шел и думал про свою жизнь и Серебрянку. Вспоминал свои поездки к матери и не жалел ни об одном дне, проведенном на реке... И только странная просьба матери «не связываться больше с рекой» саднила в нем.

Все понимал и все мог объяснить Скурлатов: и насмешки сельчан, и раздражение совхозного и районного руководства, и даже крик потерявшей над собой контроль жены, но вот боязнь матери не укладывалась в голове Григория Ивановича. «Не распайся, не распадись»,— удержал себя Скурлатов и повернул свои мысли от дома, матери и всех перипетий с рекой к работе. Но и тут не было успокоения.

Теперь, когда он пытался спокойно и беспристрастно разобраться в причинах, видел: все началось раньше. А эта вспышка — последняя капля, которая переполнила чашу. Он просто не замечал (а может, не хотел?) тех порядков, какие кем-то были заведены в санатории. Слишком увлекся большими делами: налаживал медицинский режим, реставрировал, перестраивал,— и руки не доходили до низовых служб. А когда дошли — ужаснулся. Его хозяйственники всю свою работу строят по принципу «ты мне, я тебе». Все, что положено получать санаторию по уже выделенным фондам и нарядам, выбивается по этому подлему правилу.

— Да что же может дать санаторий? — изумился Скурлатов.

Оказывается, может. И дает... Начальник АХО не едет без бутылки спирта на склад получать товары и оборудование. На сторону сбываются дефицитные лекарства, списываются как пришедшие в негодность новый инвентарь и постельное белье...

Как-то Григорий Иванович Скурлатов случайно оказался у машины, с которой сгружали фрукты для санатория, в том числе и виноград, который на одну треть был гнилым, и Скурлатов распорядился не принимать его. Прибежала перепуганная сестра-хозяйка и стала упрашивать:

— Что вы, Григорий Иванович, мы тогда вообще останемся без фруктов. Меня просили из пищеторга принять этот виноград, а они нам потом компенсируют...

— Чем и как? — взъярился Скурлатов.

— Ну потом... хорошими продуктами,— не смущаясь, ответила сестра-хозяйка, и по ее лицу было видно, что это обычное дело и не надо поднимать шума.

Скурлатов тут же отправил машину с фруктами обратно.

— Значит, будем без овощей и фруктов,— бессильно развела руками сестра-хозяйка.

И оказалась права. Начались перебои в снабжении...

Скурлатов запретил медперсоналу списывать спирт и медикаменты, стал сам проверять акты, и сразу нарушились многолетние связи со снабжающими санаторий организациями.

К нему пришел начальник АХО и сказал:

— Можно откровенно?

— Можно.

— А не обидитесь?

— Если откровенно, нет.

— Только не обижайтесь, ладно? Григорий Иванович, не вмешайтесь в наши дела. Вы в них ничего не смыслите. Занимайтесь лучше своей медициной. Мы работали до вас и при вас, и все шло нормально... Поверьте, все так делают. Обычный шахер-махер.

— Нет, это не нормально,— прервал начальника АХО Скурлатов. — Давайте работать без вашего шахера-махера, или у нас с вами ничего не получится.

А потом был постыдный скандал с женою. Скурлатов рассказал ей об этой «аварии», надеясь на ее понимание, а она словно с цепи сорвалась...

Добравшись до своего купе, Скурлатов устроился на полке и стал смотреть в окно на бегущие мимо перелески и поля. Замелькали первые желтые листья на деревьях, ударила в глаза серая стерня скошенных хлебов и прозрачная синь неба. Все кричит: лето прошло! Прошло, прошло, прошло — стучат на стыках рельсов колеса. Поезд мчит Скурлатова из лета в осень. Там, на родной Вологодчине, уже переступили черту, разделяющую лето и осень...

Отчего ему всегда так грустно в эту пору? Душа раскисает, и хочется выть волком: еще одно лето уходит, уже сорок третье, а ведь счет их для него не бесконечен... Увядает природа, и всякий раз вместе с нею что-то умирает в тебе... Нет, Григорий Иванович не боится смерти, то есть боится — как все, но не больше, да и рано ему о ней думать; он боится неверно прожить жизнь свою, единственную, неповторимую, которую никто и никогда ему не заменит. Это страшнее смерти. Смертей он видел много — бессмысленных, глупых, до слез несправедливых. И они еще будут. Смерть — неизбежность. Неправильная, пустая жизнь — преступление. А самообман хуже смерти...

Вот почему так больно царапнули его слова жены: «Ты просто неудачник, Гриша. И все этим сказано». Может быть, и так... Но что же тогда его жизнь? Еще никогда Скурлатов так трудно не задумывался. «Ценность жизни в самой жизни», — всегда считал он. А если она мешает другим, то тогда какая же в ней ценность? Зачем она тогда, его жизнь?

В соседнем купе крутили магнитофон. Задышающийся голос молил через перегородку:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Григорий Иванович отвернулся к стене и попробовал уснуть. Не получалось. Мешала песня, мешал выпитый коньяк... Из него не уходила обида, хотя он и понимал: обижаться на жизнь глупо, так же глупо, как требовать от жены и других близких ему людей понимания...

«Мужчин закаляет одиночество...» — явилась откуда-то фраза. Но и чужая мудрость не развеяла тяжелых мыслей Скурлатова.

В разных ситуациях уезжал Григорий Иванович в родные Перелазы. Было ему и потяжелее, чем сейчас, но всегда поездка домой вызывала в нем надежду и радость. А вот сейчас ни того, ни другого. Мать и брат будут расспрашивать про его жизнь, а что он скажет? Похвастает своим нечаянным открытием: заканчивается его четырехлетний период службы на новом месте и он опять у разбитого корыта? Раньше хоть в семье его понимали, а теперь и там разлад... Типичный неудачник...

Спазм сжал сердце. Сейчас пройдет, сейчас... Задержал дыхание, глубоко вдохнул. Еще вдох. Вроде отпустило...

«Черт! — выругался про себя Скурлатов и, свесив ноги, спустился с полки. — Так и богу душу отдашь. Рановато, Григорий Иванович, — упрекнул себя Скурлатов, — и по годам и по трудам. Хотя...»

За двадцать лет врачебной практики видел он всякое. И не такие дубы валялись. Как не хотелось им умирать...

Скурлатов уже стоял в коридоре вагона у окна и смотрел на неподвижный горизонт, залитый киноварью заката... Телеграфные столбы, провода, заросли кустарника, островки скошенных полей меж лесов проносились мимо, и Григорий Иванович почти физически ощущал, как трется эта лента с меняющимися на ней видами о его глаза, а над горизонтом недвижно замер и, казалось, навечно застыл упершийся в него гигантский диск раскаленного ярила. Это было не солнце, а именно то ярило, на которое смотрели наши предки язычники и те, кто жил до них...

Проходили тысячелетия, изменялись ландшафты, появлялись и исчезали моря и горы, сменялись поколения людей, а ярило смотрело на землю вот так же неизменно и вечно. И таким же тревожно-багряным был тогда закат и еще будет таким же для других на постоянно преобразуемой земле...

«Если нельзя обойтись без преобразования, то нужно следить, чтобы оно обязательно было разумным,— подумал Скурлатов.— И не откупаться благими пожеланиями, а каждый должен что-то делать. Каждый на своем месте! Может быть, в день совершеннолетия люди должны давать клятву верности земле. Не знаю, наверное, это глупость, но надо что-то делать, чтобы не гибли Серебрянки...»

Уходил, уходил от тяжелых мыслей Скурлатов и вышел опять прямо на них. Не складывается жизнь, хоть удавись, не складывается. И не закричишь ведь вслед за великими: «Черт меня дернул родиться не в тот век!» Родился вовремя... Время-то тоже наша родина, единственная и неповторимая. Все рождаются в свое время, да не всем дано найти свое место. Многих несет как перекасти-поле. Не могут ни за что зацепиться. Неужели и он такой?

«Такой, такой,— безжалостно били в стыки рельс колеса вагона.— Такой...»

Эти мысли всю ночь терзали Скурлатова, но, видно, перед самой станцией крепко уснул, и разбудил его проводник. Вскочил, в две минуты оделся, схватил портфель и плащ, выскочил в пустой коридор вагона с тревожным и радостным чувством: «К дому подъезжаю, к дому...» И хотя до Перелаз от станции было еще почти сорок километров, это уже дом. Отсюда Скурлатов первый раз уезжал надолго в большой мир, когда отправлялся «учиться на врача», и сюда же десятки раз возвращался.

Поезд, натужно вздыхая и скрипя вагонным железом, еще не остановился, а Григорий Иванович уже увидел Василия. Тот стоял посреди платформы и нетерпеливо вертел головою. Скурлатов на ходу соскочил с подножки и рванулся навстречу брату. Обнялись и не разнимая рук пошли к выходу с перрона, засыпая друг друга бестолковыми вопросами: «Как ехал? что мать? как семья?..»

За низким зданием вокзала, на пустыре, который громко назывался привокзальной площадью, сиротливо стояла забрызганная грязью «Нива». Василий, открывая дверцу ключом, гордо представил ее брату.

— Агрегат — зверь. Засекай, за полчаса до Перелаз домчу.

— Да, конь добрый! — подыграл брату Григорий.— Только за полчаса не надо. Я теперь дед, и меня следует беречь.

Всю дорогу братья подшучивали друг над другом, сбивчиво выкладывали новости. Потом заговорили о матери, и их веселое, подогреваемое радостью встречи настроение стало угасать и скоро совсем исчезло.

— Хворать стала часто,— будто жаловался на кого-то Василий.— И на зиму ее одну никак оставлять нельзя. Хоть и машина своя, а

не наездишься за полсотни верст... Работа ведь, да и домашние дела...

«Нива», отчаянно петляя между выбоинами, мчала по знакомой дороге, которая всегда, сколько помнит себя Григорий, называлась главным трактом. Скурлатов-старший слушал брата, и к нему возвращалось то дурное настроение, с которым он уезжал из Москвы.

«Вот еще одна неразрешимая проблема, которую нужно разрешать, — думал он. — Как вырвать отсюда мать? Скоро семьдесят лет на одном месте. «Родилась и умру здесь. У меня тут все»...» И верно, у матери в Перелазях все: и могилы ее родителей и дедов, и замужество, и рождение детей, и проводы отца на войну, которого не помнит ни Григорий, ни тем более Василий. Грише было четыре, а брату и года не исполнилось. Отец там и остался, на той далекой войне.

Недоедала, недосыпала двадцатипятилетняя вдова, растила детей. А те поднялись и выпорхнули один за другим из гнезда. Ей тогда только сорок было... «Бабий век свой прожила. Куда же теперь? Буду внуков ждать».

Но с внуками тоже не очень ладно вышло. Одна его Оля. А Василий все еще собирается заводить детей. Жен меняет, как цыган коней. Третья уже... Пора бы и остановиться...

— Ты что загрустил, Иваныч? — повернулся к брату Василий. — Не переживай, мать она мать и есть. С кем захочет, с тем жить будет. А одну ее оставлять нельзя. Это точно. — И вдруг, будто что-то вспомнив, радостно хлопнул по плечу Григория и добавил: — Сейчас я тебя развеселю. Ох развеселю! — И, крутнув руль, соскочил с тракта на проселок.

Через несколько минут Скурлатов-старший догадался, что они едут к Серебрянке. Он до конца утопил стекло в дверцу и, высунувшись из окна, подставил лицо ветру. По его запаху понял, что еще не высохла в лугах роса. Оттуда, куда они ехали, тянуло свежей сыростью реки и крепким настоем скошенных трав. И его уже обдувало не только этим тугим и пахучим ветром, а тем далеким и безвозвратно ушедшим временем, когда он с Василием, совсем карапузом, приходил в эти луга. Гриша усаживал брата у копны, а сам помогал матери сгребать сено. Когда это было? Вчера? В другой жизни? А потом много раз являлся сюда сам с отцовской косой, и она, не по росту большая, выворачивала ему руки, а он все же клал валок за валком и, гордо оглядываясь на дорожку стерни за собой, счастливо — взмах за взмахом — шел вперед... Чего он лишился и что приобрел в том суетном мире, в который уехал отсюда?

Волны воспоминаний накатывали одна за другой, и он видел себя то в деревне, то там, в городе... А может, бросить все к черту, всю городскую суету и вернуться домой, к матери? Наверное, он был бы неплохим сельским врачом. Ездил бы из села в село, как земский доктор... Чепуха, теперь никто никуда не ездит. Больные сами приезжают, или их привозят в больницу. Да и кто же из столицы едет в село?..

Он подумал о жене, о дочери Оле и крохотной внучке и сразу понял, что мечты о сельской практике — утопия.

«Нива» уже оставила проселок и теперь бесшумно мчала по зеленому ковру луга. Выскочив на взгорок, она вдруг замерла, а Василий, распахнув дверцу, выпрыгнул и побежал к берегу Серебрянки.

Вылез из машины и Григорий Иванович и неторопливо пошел за братом. Кажется, даже сквозь подошвы ботинок ощущалась прохладная нежность луга. Огляделся. Да, они подъехали к тому месту, где еще три года назад Скурлатов безуспешно пытался раскорчевать и расчистить болотину на месте песчаной косы...

Все здесь было таким же, как и тогда. На берегу лежали почерневшие и вросшие в землю кучи того хлама, который он натаскал

из болотины. Так же буйно рос тальник и камыш, а промеж них виднелись сухие коряги и другой мусор, который опять нанесла сюда река. Только воды в Серебрянке, кажется, немного прибавилось.

«Осень, дожди.— невесело подумал Григорий Иванович.— Вот и прибавилось...»

Вдоль берега суетливо метался Василий и, смешно приседая на корточки, смотрел в воду, будто выискивал в ней что-то. Вдруг он радостно закричал:

— Гриша! Сюда иди! Иди скорей сюда!

Скурлатов-старший уже сбежал с взгорка и шагал по берегу. Он еще с того места, где остановилась машина, заметил в реке светлое пятно, но подумал, что это разорванные полиэтиленовые мешки из-под удобрений.

Василий стоял у небольшой песчаной отмели, через которую неспешно текла Серебрянка, и ошалело кричал:

— Ты смотри — песок! Тот песок, какой мы здесь... Какой ты...—

Он задохнулся.— Смотри, видишь, он! — И Василий, не засучив рукав, окунул руку в воду и достал горсть песка.

На его ладони он не был таким светлым, каким казался сквозь воду, однако это действительно был тот самый песок с мелкими камешками гальки, который они, братья Скурлатовы, знали с детства, когда прибегали сюда с мальчишками.

— Тот самый,— сдерживая возбуждение, проговорил Василий,— но только грязнее и темнее...

— Тот,— согласился Григорий.

Он взял из ладони брата холодную и мокрую кашицу, растер ее пальцами и, присев у кромки вязкого берега, стал мыть руки. Пальцы ощущали маслянистый налет, он долго не смывался...

Пройдя несколько шагов вверх по течению, Григорий Иванович пораженно остановился. Прямо перед ним, метрах в трех от берега, вода чуть приметно бугрилась. Скурлатов-старший нагнулся и заметил в этой как бы закипающей воде мечущиеся светлые песчинки.

Подошел Василий.

— А я, когда вчера ехал к матери сказать, что тебя встречаю, вон с того берега увидел белое пятно. Солнце светило здорово, и его было видно с дороги...

— Смотри, ключи...— мягко прервал брата Григорий Иванович, указывая глазами на восходившие со дна Серебрянки токи воды.— Пробылись. Значит, река еще живая.

— Живая, живая! — обрадованно подхватил Василий.— Конечно, живая. Ей только подсобить маленько, и она сама выдюжит... Тебя все еще тут помнят. Одни добрым, другие худым словом поминают...— И глянув на Григория, весело подмигнул: — Я не говорю, что ты в министерстве больше не работаешь. Ты тоже не распространяйся...

— Надо будет ключи почистить,— сказал Григорий Иванович.

— Да знаешь...— как-то неопределенно отозвался Василий, и его возбуждение сразу иссякло, будто в нем повернули невидимый выключатель. «Опять ты за свое?» — чуть не сорвалось с его языка, но глянув на помрачневшее, жесткое лицо Григория и видя, что огорчил брата, согласился: — Конечно бы, надо... Только воду Илья-пророк уже остудил.

Неожиданная шутка Василия не погасила решимости Григория Ивановича. Однако слова брата вернули Скурлатова-старшего к реальности. Он увидел забитую коряжником и мусором болотину, от которой несло гнилой сыростью, грустно оглядел ссохшиеся кучи хлама на берегу, вытащенного им, и саму Серебрянку, распадающуюся, рвущуюся на озерца и заводи,— все было здесь таким же, как и три года назад. Однако Григорий Иванович верил, что с рекой его

детства все же произошли перемены. И не только потому, что появились это крохотное светлое пятно песка и эти восходящие родники, а и потому, что и опыт врача и все его сорок три года убедили Скурлатова в нехитрой житейской истине: только сеющий может ждать всходов.

Братья шли к машине. Василий, заступив вперед, старался развеселить Григория.

— Мать небось все глаза проглядела.— И он тронул брата за локоть, будто поторапливая его.— Я тебе не говорил новость? Сейчас поедем по новой дороге. Уже до Перелаз дотянули...

Григорий Иванович тяжело ступал в гору за братом, глядел на наконец-то пробившееся сквозь утреннее марево ярило и думал сразу и про Серебрянку и про свою жизнь.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВЛ. ЛИДИН



РАССКАЗЫ

Известный советский писатель, мастер рассказа Владимир Германович Лидин (1894—1979) начал сотрудничать в нашем журнале с момента его основания. В первом номере журнала «Новый мир» за 1925 год была напечатана его повесть «Рыбаки». Прошли годы, и имя В. Лидина появлялось не раз на страницах журнала. Предлагаем вниманию читателя подборку рассказов из книги, над которой писатель работал до последнего дня своей жизни.

Рассказы, объединенные заголовком «Осенний, мелкий дождичек», — раздумья писателя о природе творчества, материалы его поэтической мастерской.

Публикацию подготовила дочь писателя Е. В. Лидина.

РЕЙС

В Тулу Конаков не заехал, а лишь заправился на окраинной улице, постояв с полчаса у бензиновой колонки в понурой темноте дождливого вечера. Дождь начался еще с Орла, в Плавске, и теперь лил и лил, наверно, на целую октябрьскую неделю...

От Тулы пришлось ехать медленно, «дворники» почти не очищали стекла, только беспомощно мотались из стороны в сторону, дорога шла то на подъем, то на спуск, тогда приходилось и совсем ползти на первой скорости, а ветер размахивал дождем как полотнищем.

В Орле с погрузкой задержали, брезент, которым была накрыта машина, наверно, уже совсем отсырел, а фары не освещали почти маслянисто-черную от дождя дорогу.

Тульский вечер постепенно сменился серпуховским, за мостом через Оку начались прибрежные домики, и въехав в Серпухов, Конаков свернул в одну из боковых улиц, шедшую вдоль реки; за огородами по другую сторону домов начинались заливные луга, в половедей залитые, и теперь, пожалуй, если пойдет так с дождем, Ока переполнится.

Одно из окошек дома, возле которого он остановил машину, светилось, и Конаков, заглушив мотор, постучал в это освещенное окошко.

— Боже мой,— сказала старушка отступая,— неужели вы, Яков Матвеевич?

— Он самый,— ответил Конаков, и тепло комнаты, а следом и материнское тепло мягко опустилось на плечи.

Семь лет назад умерла жена Люба, ушло то, что связывало его с жизнью особенно тесно потому, что рос он, Яша Конаков, без матери, рос в сиротстве, и он с неутоленностью потянулся к первой женской руке, а рука Любы была первой женской рукой для него...

Горе зашло и сюда, в домик на серпуховской окраинной улице, где жила мать Любы, Пелагея Федоровна, когда-то ткачиха, жена тульского оружейника, ставшая и для него, Конакова, матерью по его сиротству. Вместе пережили они все тогда, и уже целых семь лет

осталось для него это освещенное, если был вечер, окошко и завешенное кружковой занавеской днем.

Мать в молодости была, наверно, такой же, как Люба: невысокая, с голубыми, мягкими глазами, иногда и совсем мягкими, когда плечо Любы было рядом с ее плечом, а иногда и твердыми, если что-либо касалось его, Конакова, ставшего единственным для нее...

— Вы что же так поздно подгадали, Яков Матвеевич? Да и погода какая, теперь, наверно, на целую неделю пойдет.

— На фабрике в Орле задержали... то кладовщик не на месте, то с накладными провозились, всегда что-нибудь не так.

А Пелагея Федоровна смотрела на него, уже немолодого, сорокапятилетнего, с сединой в игольчато-коротко остриженных волосах, и роднее этого человека никого и не осталось...

— Я сейчас, только чайник поставлю... вот уж не ждала вас в такую пору, Яков Матвеевич, не ждала этой радости. Потом постелю вам постель на диване, а утречком дальше поедете.

— Не получится — утречком... мне к утру в Москве нужно быть. Часок побуду, а в сумке все для вас только.

В хозяйственной сумке было все для нее, как обычно, когда случалось ему заехать во время рейса — то из Москвы, то в Москву, и только для него одного и светилось окошко по вечерам.

— Куда же вы в такую погоду поедете... я и не отпущу вас, Яков Матвеевич!

— Не могу... к восьми утра непременно нужно быть в Москве.

Он разделся, повесил брезентовый плащ и мокрую кепку на вешалку, долго мыл в сенях руки, пахнувшие после заправки бензином, сел к столу, а Пелагея Федоровна стала доставать из сумки привезенное им, качала головой, раскладывая на столе: яблоки, рамку с сотовым медом, коврижку, должно быть, орловскую, а в целлофановом мешочке была ошипанная курица с длинной пупырчатой шеей и с оставшимся пучком под клювом.

— Ну медок туда-сюда, а курица-то зачем, Яков Матвеевич,— сказала Пелагея Федоровна горестно.— У меня куры ведь есть, а вы тратитесь.

Но он не сказал ей: «Я в копилку прятать не привык», не сказал и другого: «На кого же мне тратиться?»

Это давно уже было сказано без всяких слов, и Пелагея Федоровна привыкла слышать это без всяких слов. Она накрыла на стол, принесла вскоре чайник, и вечер, а следом и ночь остались снаружи, в пустынной дали, поливаемой и поливаемой дождем. А здесь были теплые изразцы печи, полные мира изразцы и знакомый белый эмалированный чайник с черной ручкой, и вазочка с его любимым вишневым вареньем, и слабые, голубые глаза матери, похожие на глаза Любы...

Они пили чай, а дождь за окном, видимо, еще припустил, и на Оке, наверно, ходили волны.

— Как хорошо, что вы есть на свете, Яков Матвеевич... а без вас я и не знала бы, как жить. Но только думаю я все одну думку, все время думаю и не могу не думать.

— Это о чем же?— спросил Конаков.

— Яков Матвеевич, я по всей совести... все-таки старый я уже человек, должна думать об этом.

Он сделал вид, что не заметил, как по ее щеке скатилась слезинка, а потом и слеза.

— Нашей с вами Любы уже целых семь лет нет на свете,— сказала Пелагея Федоровна,— ну, я ладно, я— мать, матери положено все на свете испытать, а вам ведь сорок пять лет всего, Яков Матвеевич, дорогой мой человек, вы давно мне как сыном стали, как же я могу не думать о вас? Что же, все так и будете в мое окошко по дороге заглядывать, вам свое окошко иметь надо, и Люба вашему сча-

стью только порадовалась бы, а про меня и говорить нечего. Найдите себе кого-нибудь, Яков Матвеевич, я с радостью приму, если только найдете по сердцу себе. А ведь что же так-то, все будто в дороге да еще под дождем. Слышите, как припустило. А в Москве вас никто и не ждет, как же так, не могу я с этим примириться.

— Если бы никто не ждал, я и торопиться не стал бы,— сказал он.— У меня груз... я в Орел не гулять ездил.

— Я не о том,— сказала Пелагея Федоровна поспешно,— груз своим чередом, я про вас говорю. Мне что у вас в машине — ни к чему, а вы — к чему, да и сами понимаете это. И хоть страшно было бы отпустить вас на сторону, но я свое сердце возьму в руки, только чтобы у вас хорошо получилось!

— А с вами как тогда?— спросил он.— Вдруг попадется такая, потребует, чтобы я все корни обрубил, приревнует к тому, что было у меня, а я корней обрубать не могу. Люба не ребенка не оставила, а вас оставила, я за вас в ответе перед ней, а вы все не хотите понять этого, Пелагея Федоровна. Мне ваше окошко светится, а мой коняга всегда к вам завезет, мимо не проскочит, он у меня дрессированный.

Конаков говорил с усмешечкой, отстраняя все то, с чем не в первый раз приступала Пелагея Федоровна с материнским пристрастием, с болью за него приступала, и он понимал эту боль... но что же, Пелагея Федоровна, отказаться от всего, чем живешь, отказаться от вас, проехать мимо в Орел или мимо из Орла, не сворачивая в Серпухове, и чтобы не светило больше окошко для него, единственное на целом свете окошко, которое уже целых семь лет не миновал он никогда?

Но он не сказал ничего этого, сказал только:

— Не нужно такого разговора, Пелагея Федоровна, так хорошо идет все между нами, зачем нам с вами портить это? А что я без отца и матери рос, вы знаете, ни один детский дом матери не заменит, а сейчас кто же заменит мне мать?

Теперь уже не слезинки текли по щекам Пелагеи Федоровны, текли слезы, и она сама не знала — от горести или, может быть, от гордости, что достался дочери такой человек, никуда и после нее не ушел, сидит сейчас за накрытым столом, за которым когда-то вместе с Любой сидел, пьет чай, серьезный, уже с серебряными иголочками среди черных иголочек, а соты, которые привез, янтарно сочатся медом, и такая тишина и спокойствие в ее доме.

— Я до зимы, наверно, еще рейсом в Курске побываю,— сказал Конаков.— Нашему заводу там смежники, я тогда один предмет завезу... я это уже давно задумал.

— Что это за предмет?— спросила она.

— Поет, чтобы не скучали в одиночку... а этот ваш говоритель снимите, устарел по нашему времени. Особенно большой экран вам не нужен, а «Рекорд» хороший телевизор, и мне, когда случится поздно заехать, интересно будет вместе с вами программу «Время» послушать.

Пелагея Федоровна не сказала: «Не нужно, Яков Матвеевич, не тратьтесь, ради бога, денежки не сами бегут вам навстречу, а за ними поездить приходится, да еще в такую погоду». Она все же сказала это, но сказала для самой себя, как-то потерянно отломила кусочек от орловской коврижки с повидлом, смотрела в свою прожитую жизнь, да и в его, Конакова, жизнь, которая лишь поманила, но не досталась ему полностью.

— А как вы полагаете, Пелагея Федоровна, все равно мне, что ваше окошко для меня светится?

— Для вас одного и светится!— отозвалась она с порывом.— Родной вы мой человек, да разве я могу уйти от вас? И хоть постройте, может быть, по-новому свою жизнь, все равно никуда не уйду.

— И каждый раз у нас с вами этот разговор... и куда мне подаваться и зачем? А с яблоками в этом году урожай,— заключил он и, обтерев яблоко, большую спелую антоновку, которой славится Орловщина, принялся хрустеть. А Пелагея Федоровна покорно сидела по другую сторону стола, и молодые черты Любы проступали в ее старых чертах, проступало то, что было лучшего в его, Конакова, жизни, лучшего и неповторимого, и нельзя терять это, а тем более на что-нибудь менять...

— Ну вот так,— сказал он час спустя,— свиделись, попили чайку — и в дорогу.

— Яков Матвеевич, прошу вас, вернетесь в Москву — пошлите открыточку, что благополучно, а до этого я живая не буду.

— Пошлю,— пообещал он.— Завтра же пошлю, но денька два вы все-таки поживите, дождитесь открыточки.

И он только положил руку на ее плечо, поцеловать ни она его, ни он ее никогда не решались.

Дождь сразу кинулся в лицо, когда Конаков вышел на улицу, брезент в грузовике провис под тяжестью воды, походил на пруд. Конаков несколько раз встряхнул его с обеих сторон, сел в кабину, остывший мотор не сразу завелся, свет фар потонул в дожде, и минутой спустя уже осталась позади эта боковая улица, вдоль которой, скрытая в тумане заливного луга, шла Ока, наверно, почти по-морскому в волнах, и серпуховская, а затем и подольская ночь легла до Москвы.

— Так-то, Пелагея Федоровна,— сказал Конаков самому себе,— так-то. А что человеку нужно? Только чтобы хоть одно окошко светилось для него.

Он ехал в своих мыслях, одних и тех же путевых мыслях, какие приходят к водителю, когда перед ним на спидометре первая сотня, потом вторая, а следом и третья сотня километров, иногда в свежести раннего весеннего утра, иногда в тумане и дожде, а иногда в снегу и метели, как положено водителю на его пути...

А свет в окошке дома, где побывал он только что, уже потух, но и без света хоть в самую непроглядную ночь найдет он это принадлежащее ему окошко, и только для него одного и зажигается в нем свет.

ПОКОЙ

Василий Андреевич спустился в подъезд за газетами, вернувшись, стал просматривать их, вода тем временем по лицу жужжавшей электробритвой; жена — врач-гинеколог — уходила в свою консультацию раньше, чем он в свой институт, и привычная тишина окружала их в этот утренний час. У одного писателя он вычитал, что приходят годы, когда человеку больше всего нужен покой, уверил себя в правильности этой мысли, однако было не совсем так...

Три года назад, когда дочь Саша вышла замуж за однокурсника по педагогическому институту и само собой предполагалось, что молодые будут жить вместе с ними, Василий Андреевич сказал жене:

— Почему же непременно вместе с нами? У родителей Михаила, сколько я знаю, хорошая квартира в кооперативном доме, а нам придется тесниться.

И дочь переехала к родителям мужа, но что-то ушло вместе с этим. Ушло что-то и из его отношений с женой, хотевшей, чтобы дочь со своим мужем жила у них; Василий Андреевич больше всего страшился, что станет шумно, начнут ходить приятели, а ему необходимо сосредоточение.

Дочь, правда, часто приходила, они с матерью всегда уединялись, выжидательно умолкали, когда он заходил; и жена, вернувшись с работы, стала несколько сторониться его, и он ощущал это.

Но мало-помалу нарушилось и многое другое: в гости с женой он теперь редко ходил, и к себе в гости не звал, долго не было телефона, а когда поставили телефон, столь повыветрились старые дружба, что стало даже некому позвонить. Следовало признать, что повыветрились и общие интересы с женой. И он сказал как-то раз:

— Я замечая, тебя мало стала интересовать моя работа.

— Но ведь и тебя мало интересуется моя работа,— вполне разумно ответила жена.

И они, хотя и мирно, шли каждый своей дорогой. Но с замужеством дочери оказалось, что в некоторых случаях следует все же идти общей дорогой, и Василий Андреевич усомнился, так ли уж правильно заключил писатель о необходимой человеку тишине.

Он просмотрел газеты, провел тылом ладони по щекам, хорошо ли выбрился, в институт сегодня не идти, он радовался обычно таким широким дням, когда можно посидеть наедине с книгой или с диктованной им монографией о сейсмических методах разведки. Но за окном был солнечный день бабьего лета, и остаться на весь день одному показалось не под силу.

Он уже несколько лет собирался побывать у своей сестры Ксении, с которой в свое время был дружен; однако за последние годы они виделись редко, и как-то отошла в сторону и сестра. Ксения преподавала русский язык в средней школе, была старше его; он не признался себе, что предпочел бы все же повидать дочь, но с родителями ее мужа сложились хотя и вежливые, но холодные отношения. От своего сына они знали, конечно, что его не пожелали принять в семью жены, и поехать к дочери Василий Андреевич не решился.

Он нашел на Академической улице квартиру, в которой после переезда жила теперь сестра, она сама открыла ему дверь и сказала:

— Вася? — Однако не обрадованно, а удивленно.

— Глупо, что мы как-то отошли друг от друга,— сказал он позднее, когда узнал уже, что в прошлом году Ксения вышла на пенсию.— Но и переезд на новую квартиру, и устройство столько отняли времени и сил, да и тебе, наверно, пришлось с переездом помучиться,— сказал он и сам почувствовал, как неискренне прозвучало это.

— У меня хороший помощник,— сказала сестра, и Василий Андреевич с постыдным опозданием узнал, что сын сестры Всеволод весной закончил геологический институт, недавно женился на такой славной девушке, что на их счастье не нарадуешься, живут вместе одной семьей и невестка Леночка ей как дочь.

— Я и бабушкой, в случае чего, хорошей буду,— сказала она.

Ксения смотрела куда-то вдаль сквозь очки, а людей вокруг нее всегда было множество, бывшие ученики не забывали ее, и на стене висели портреты Пушкина и Толстого...

— А у тебя как, Вася?— спросила сестра.— Твоя дочь, пожалуй, уже институт кончает?

— В будущем году, а пока замуж вышла прежде времени.

— Почему же прежде времени? Я радуюсь, когда молодые находят друг друга, молодым только жить. С вами вместе живут? — спросила сестра.

— Нет, у родителей мужа... у них квартира попросторнее,— пояснил он.

— В тесноте, да не в обиде. Не скучаете?

Но он не смог признаться, что в последнее время начал скучать, а сестра больше ничего не спросила: может быть, что-то поняла чувством старой учительницы, подержавшей не одну молодую судьбу в своих руках.

— Конечно, у молодых своя жизнь,— сказала сестра,— но все-таки лучше вместе... не дай бог на старости лет остаться в одиночестве.

Сестра сказала о том, что и сам он, хотя и не признаваясь себе, стал все более ощущать.

— Я не знал, что ты вышла на пенсию,— сказал он только.

— Я со школой не порвала, помогаю кое-чем в общественном порядке. Заедешь еще как-нибудь, познакомлю тебя с моей невесткой, она понравится тебе, Леночка. Да и Всеволода ты, должно быть, лет пять не видел. Высокий стал, на голову выше меня.

— Заеду как-нибудь. Тебе телефон когда поставят?

— В будущем году обещают.

— Сообщи тогда номер.

Может быть, сестра подумала, что до будущего года далеко, мог бы еще и в этом году побывать, но ничего не сказала.

— Знаешь, кто в моем подъезде живет? Пушкарев. Ты ведь с ним дружил когда-то, с Костей. Теперь Константин Александрович, известный человеком стал, в прошлом году премию присудили.

— За что же?

И Василий Андреевич вспомнил своего бывшего одноклассника, общего их с сестрой приятеля Костю Пушкарева, шустрого и деятельного, еще в школе что-то изобретавшего, первого ученика по математике. Вот уж кто действительно ушел из памяти, и такие глыбы времени нагромодились с тех пор, что, может, и не сразу узнает его Костя Пушкарев.

— Не знаю точно... за какую-то муфельную печь.

— Что же, зайти к нему разве? Какой номер его квартиры?

— Триста двадцать первый, на третьем этаже. Мы с Константином Александровичем дружим. Не забывай нас все-таки, Вася,— сказала сестра, чтобы уж не совсем чужой получилась их встреча.— Может, останешься пообедать? Мои через часик вернуться должны.

— В другой раз, Ксения,— сказал он, представив себе, как испытующе посмотрела бы на него жена племянника, когда сестра скажет: «Познакомься с моим братом, Леночка». А разговор не будет клеиться, да и о чем говорить с человеком, который только сегодня узнал, что племянник уже год назад стал геологом,— где он пропадал, дядюшка, может быть, в Арктике, сказал Василий Андреевич язвительно самому себе.

Он спустился на третий этаж, позвонил в триста двадцать первую квартиру, дверь открыла высокая, красивая женщина, а рядом с ней стояла маленькая девочка.

— Константин Александрович на работе,— сказала женщина.

— А вы кто будете?

— Я его дочь.

— Сто лет назад мы с вашим отцом учились в одной школе, даже за одной партией сидели. А сегодня я побывал у своей сестры, живущей в вашем доме, и узнал от нее, что Константин Александрович живет в одном подъезде с ней. Передайте, заходил Василий Снесарев, если он только не забыл мое имя.

— Вы, может быть, позвоните ему на работу? Запишите его номер.

И Василий Андреевич записал номер телефона Константина Пушкарева, которого так давно потерял из виду, и вот у него не только взрослая дочь, но и внучка... А когда-то они с Костей пообещали друг другу дружить всю жизнь, если только не рассорятся, и хотя не рассорились, но и не дружили.

— Простите, ваше имя? — осведомился он.

— Евгения Константиновна.

Но он был совсем чужой, случайно зашедший к ним человек, и зачем Пушкареву вспоминать того, кто не очень-то стремился продолжать старые, обязывающие к взаимному гостеприимству знакомства.

Вот и заполнил он, Василий Андреевич, свободный день, пообщался с теми, кого давно растерял, и даже сестра с ее семейной жизнью отдалилась.

И вернувшись домой, он впервые за последние годы ощутил, что ждет возвращения с работы жены. Разогреть себе обед для одинокой трапезы, которую, в общем, любил, не стал; и жена, вернувшись в седьмом часу, сразу увидела нетронутый прибор на столе.

— Ты разве не обедал? — спросила она.

— Ждал тебя.

— Что такое?

— Надоело обедать одному... и вообще мне хочется поговорить с тобой кое о чем... переоденься, я пока обед разогрею.

Жена прошла в свою комнату, а он поставил на кухне кастрюли на плиту, и голубые язычки газа затрепетали под ними.

— Что такое все-таки? Почему ты не обедал? — спросила жена, когда сели за стол.

— Побывал сегодня у своей сестры Ксении. Мой племянник уже геолог, подумать только, недавно женился, сестра его жену хвалит.

— С чего это ты надумал поехать к сестре? И вообще, что случилось сегодня?

— Случилось, что слишком много расставаний получается... а живешь одну жизнь.

— С кем же ты расстался? — спросила жена.

— Со всеми понемногу, и с тобой что-то расклеилось.

Жена несколько с грустью посмотрела на него.

— Но ты ведь сам признавался когда-то, что лучше всего чувствуешь себя наедине... посторонние тебя только раздражают.

— С тех пор как переехали в этот район, мне все чаще кажется, что мы словно в другом городе, а друзья и знакомые остались где-то.

— Знакомые приходят, когда их приглашают... а с друзьями хуже — надломилось, потом не склеишь.— Жена говорила с горечью, но он и сам горько ощущал это.— А теперь что же... остались мы с тобой вдвоем. Думаешь, у Саши не отложилось на душе, что ты не пожелал их с мужем? Вот и получается, что возвращаюсь я поздно, по вечерам ты смотришь телевизор, я телевизора не люблю, ухажу к себе, и разве только скажем друг другу спокойной ночи. А теперь и твоя дочь отошла от тебя.

Жена не добавила, что ее общий мир с дочерью мог бы стать и его миром.

— Неужели только из-за того, что в их же интересах хотел больших удобств для них? Пожалуйста, пусть переезжают к нам хоть завтра, я потеснюсь со своими книгами.

— Зачем же им переезжать, родителей обидят только, а они хорошие люди.

— Что-то не успел их узнать.

— А я у них часто бываю.

— Вот как,— сказал он только.— Не знал.

— Чего же ты не знал... что я бываю у своей дочери?

— У дочери мог бы и я бывать.

Жена, однако, ничего не ответила, все осталось в пустоте, а сентябрьский день догорал за окном, теплый день бабьего лета.

Василий Андреевич прошел в свою рабочую комнату с книжными шкафами и дописываемой монографией на столе, впервые несколько странно для себя подумал о том, что можно написать о методах сейсмической разведки применительно и к жизни человека с ее сдвигами пород или даже попросту землетрясениями, однако сейсмологи уже научились предупреждать о них, и только человек со своей природой запоздал с этим.

ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ

Такое пасмурное немилосердие было за окном, такая глубокая осень, похожая на колодезный сруб с сырым холодом в глубине, что Луиза Морисовна зажгла настольную лампу, до времени впустила вечер, чтобы не совсем закоченеть в пасмури. На ее рабочем столе в привычном порядке лежали словари: французско-русский, синонимов, толстый том Ларуса, этимологический с параллельными текстами,— весь тот арсенал, который больше уже сорока лет служил ей, старой переводчице, знавшей тонкости провансальских или бретонских речений, да и вообще знавшей столькое. А полка с переведенными ею книгами все еще время от времени пополняется, и когда нужна не только точность, но и дух подлинника, издательства всегда вспоминают о ней.

Книг становилось больше, а дни убывали понемногу, оставили ее одну на берегу, уже зябнущую со своими годами, уже опасно поглядывающую на полку с переведенными ею книгами: не упустила ли она со своим рвением и неутомимостью самое главное в жизни? Но она тотчас же отвергала эту мысль, продолжала работать, и две пары очков, одни для работы, другие для дали, попеременно лежали на столе. В ее левой руке с обручальным кольцом, которое носила когда-то на правой, дымила сигарета, тюлевые занавески на окне она сдвинула, чтобы дневной свет не мешался с вечерним. Впрочем, можно ли было серый, сочащийся сумрак назвать дневным светом?

В двойной кожаной рамке на ее столе были фотографии Игоря Александровича; на одной он был снят в сером элегантном костюме — год, когда они впервые встретились, на другой — в форме военного инженера — год, когда сначала почти два месяца ничего от него не было, а потом все пришло сразу: и то, что инженер-майор Игорь Александрович Демидов убит, и то, что ей предстоит теперь жить, может быть, навсегда одной...

Именно в ту пору она переводила один французский роман, в котором описаны были переживания женщины, потерявшей мужа в первую мировую войну. Тогда была Марна, а Игорь Александрович погиб при наведении моста через Эльбу, почти в конце войны, а в своем последнем письме написал: «Теперь, наверное, уже скоро увидимся».

Но Луиза Морисовна, дымя сигаретой, привычно остановила эти воспоминания, как останавливают звонок будильника, нужно только нажать кнопку, и она нажала кнопку. Однако будильник звонил иногда и без завода. Все давно идет своим порядком в ее установившейся жизни, французский язык для нее наполовину родной, отец Морис Петрович Перье, инженер на золотых приисках, был французом, и хотя мать была русской, дочь назвали по имени матери отца...

Одна идиома не давалась, Луиза Морисовна, откинувшись в кресле, посидела с закрытыми глазами, выискивая соответствующие словосочетания, и день привычно вошел в свой коридор, уже не уводя в сторону от воспоминаний...

Она достала баночку быстрорастворимого кофе, принесла из кухни горячий чайник, принялась за работу, отпивая временами по глоточку, и день уже совсем правильно пошел по своему пути.

Приходит, однако, время, когда хотя и держишь воспоминания в тайнике, они все же прорываются, и Луиза Морисовна, стряхивая пепел с потухшей сигареты, вспомнила одно майское утро с его холодком, ландышами, похожими на маленькие телеграфные столбы с изоляторами. На дачу, где она жила с матерью, приехал Игорь, и в это утро они признались друг другу в том, что соединило их, а год спустя началась война...

День с его серой сыростью все же проник сквозь тюлевые занавески. И в стенном зеркале привычно отразилась ее склонившаяся

над рабочим столом фигура, с остриженными, молочно текущими волосами. Поглядев на себя однажды, она безжалостно сказала:

— На Листа становитесь похожи, Луиза Морисовна...

Действительно, сухим своим пасторским профилем стала она немного походить на Листа... Что ж, хороший композитор, а его «Венгерская рапсодия» и совсем хороша.

У входной двери вдруг робко дрогнул звонок, Луиза Морисовна скинула с зябнущих колен плед и пошла в прихожую.

— Кто? — спросила она.

— Верстка.

Луиза Морисовна впустила продрогшую девушку в беретике и пальтеце, сразу едва не спросила: «Что же вы так налегке?», но сдержалась, сказала лишь:

— Как быстро с версткой... я полагала, только к Новому году будет. Заходите.

Дом еще не отапливался, но от рефлектора шло розовое тепло, и девушка, пока Луиза Морисовна вскрывала принесенную пачку, погрела возле рефлектора покрасневшие руки.

— Вы давно работаете в издательстве? — спросила Луиза Морисовна, просматривая верстку.

— Третий месяц уже.

— Ваше имя?

— Наташа.

— Разденьтесь, Наташа, и выпейте чашечку кофе. Кофейник еще горячий.

Потом Луиза Морисовна узнала, что Наташа Мещерякова не набрала очков для поступления в педагогический институт, решила пока поработать курьером в издательстве, жить вдвоем на пенсию матери трудно, а у отца другая семья.

— С каким же предметом у вас неудача? — поинтересовалась Луиза Морисовна.

— С иностранным языком, — я французский выбрала, а немецкий и совсем боялась, с французским у меня все-таки лучше.

— Закоченели, наверно, в вашем, пальтеце, наденьте-ка пока мою кофточку. Мне она стала узка, я сама ее связала.

— Ну что вы... не стоит, — растерялась девушка.

— Почему же не стоит? В эту пору грипп гуляет. Вам сколько лет?

— Двадцать один год.

— Двадцать один год, боже мой! — вздохнула Луиза Морисовна. — Все у вас еще впереди. Только — воля, настойчивость, преодоление, а без неудач не проживешь. Вот, например, в переведенном мною романе рассказана судьба одной женщины, у которой убили мужа на войне... Однако она поборола свое горе, взяла на воспитание нескольких сирот и такую большую семью нашла для себя впоследствии. А очков вы еще наберете в вашей жизни!

Луиза Морисовна сказала это не только в утешение, она как бы и для себя набрала в это утро недостававшие ей очки. И вот сидит перед ней в ее голубой вязаной кофточке робкая, испуганная неудачами девушка, порозовевшая не только от тепла рефлектора. И так странно, что та, к которой пришла она с версткой, согрела не одной кофточкой или чашкой кофе, но как бы и своими руками с подагрическими пальцами.

— Вы на мою маму похожи, — сказала девушка только. — Очень, очень похожи!

— Ну и хорошо, если я похожа на вашу маму.

И в розовом свете рефлектора словно растаяло постепенное ее одиночество и уж совсем где-то далеко предзимний день с его пасмурным немилосердием...

— Вы не позволите мне еще зайти как-нибудь? — спросила девушка робко.

— Конечно, заходите. Поговорим, кстати, о французском языке, все-таки я в ладу с ним.

Было немного странно и ей, Луизе Морисовне, что как-то приблизилась вдруг эта незнакомая дотоле девушка, может быть, и не курьер издательства, а тот добрый вестник, которого ждешь всегда, хотя, кажется, неоткуда и не с чем появиться ему... Но он все же появляется, отстраняет одиночество, зажигает сначала слабый огонек; смотришь, начинает давать тепло понемногу, и вот ты уже не одинок на белом свете, а верстка не только перевод французского романа...

— Я пойду,— сказала девушка,— и так столько времени отняла у вас.

— Так приходите,— повторила Луиза Морисовна,— приходите в свой выходной день... Только лучше во второй половине, с утра я работаю.

— Непременно приду! — И казалось, девушка уверилась, что теперь-то наберет очков!

Луиза Морисовна накинула дверную цепочку и вернулась к своему столу.

— Так-то, Ференц Лист,— сказала она, поглядев в сторону зеркала.— Поддержали вы меня сегодня своей музыкой, утешили вашей «Венгерской рапсодией», даже мои ноги с отложениями солей и больными суставами шевелились!

И она без отложения солей и без боли в суставах понесла в кухню чашки из-под кофе, подмигнув по дороге композитору.

ОБЛЕДЕНЕЛАЯ ДОРОЖКА

Сын Петр вырос темный лицом, словно с детства невыспавшийся, широкий в плечах, с длинной верхней частью туловища, короткими ногами, и Трофим Гордеевич сказал ему раз:

— Хоть ты и мой сын, но только в какую погоду родился — то ли солнце забыло взойти в этот день, то ли взошло, но петухи не пели?

— Мои петухи пели,— сказал Петр.

— Интересно, какие же у тебя петухи?

Петр, однако, не объяснил, какие у него петухи, молчал, и совсем темным, чужим было его широкое лицо с низким лбом и курчавыми, светлыми волосами почти от самых бровей.

— И как ты можешь жить такой? — спросил Трофим Гордеевич еще.— К людям ты равнодушный, хоть и не было бы их вокруг.

— А на что мне люди? — сказал Петр.— Я сам по себе, а они сами по себе.

— Да ведь с людьми тебе жить.

— Я и живу с людьми.

И Трофим Гордеевич уже без всякого чувства посмотрел на него: Петр, густо посыпав солью, ел большой огурец, и огурец постепенно исчезал в его рту с короткими, широкими зубами.

— И жена твоя: другая взглянет, как рублем подарит, а твоя взглянет — рубль отнимет.

— Я своей женой доволен,— сказал Петр, и на этом все выяснения и кончились.

Трофим Гордеевич тридцать пять лет работал лекальщиком на большом механическом заводе, ушел на пенсию, когда его фотография еще висела на Доске почета, а домик в Бутове построил он в свое время вместе с братом Афанасием, тоже не плохого порядка слесарем. Жили сначала двумя семьями — Трофим Гордеевич с женой и сыном и брат с женой и двумя детьми, потом брат перекочевал на Урал, стал работать на большом трубопрокатном заводе, получил

квартиру, а оставшийся домик целиком передал Трофиму Гордеевичу, никаких расчетов не захотел, сказал тогда коротко:

— Владей, Троша, а если на побывку я или кто-нибудь из моей семьи захочет приехать, конечно, к тебе в первую очередь.

И правда, приезжали однажды дочь брата, Нюра с мужем, молодые супруги, пожилы немного, а Трофим Гордеевич за несколько лет до этого овдовел, и Нюра похозяйствовала в доме...

Сын Петр приезжал лишь изредка, хотя от Москвы до Бутова меньше часа езды, приезжал всегда сам по себе, говорил мало, ел, облизывая по временам короткие пальцы, и Трофим Гордеевич только косился на него, а бумажная салфеточка возле прибора всегда оставалась чистой. Как получилось, что вырос сын таким, упустили с женой что-то в его воспитании, да и внешностью не похож ни на него, отца, сухонького и открытого, ни на мать, правда, к пожилым годам дородную, но с бывлой красотой гладкого, румяного лица. Петр учился в местной бутовской школе, переползал из класса в класс словно на четвереньках, даже за четверками не охотился, сказал раз отцу, когда тот попрекнул его:

— Мне науки не нужны,— как позднее сказал и о людях.

А после восьмого класса учиться дальше не захотел, устроился на какой-то работе в Москве, не пояснил на какой, сказал только неопределенно:

— По металлу.

Трофим Гордеевич, однако, узнал, что сын заведует пунктом по приему металлолома, и хорошо, что хоть так, не ушел в сторону от отцовской специальности металлиста. Петр женился на разводке, Варваре Петровне Микуловой, привез познакомиться ее с отцом. Варвара хозяйственно оглядела дом, оглядела и кусты темно-лиловой и белой сирени в садике, сказала теплым голосом:

— Рай. Нет ничего лучше, чем на природе жить,— будто Трофим Гордеевич всю жизнь жил только на природе и никаких трудов и забот у него не было.

Как-то нехорошо стало от ее несколько бесстыдно-размытых голубых глаз, от ее быстрых взглядов, от того, что широко были накрашены ее губы, и без того красные, и лицо она, наверное, напудрила тоже для того, чтобы понравиться отцу мужа. Но она не понравилась Трофиму Гордеевичу, не захотелось ему внутренне такого родства, хотя был вежлив, назвал ее снохой, а Варвара сказала:

— Уж будьте уверены, оправдаюсь в этом качестве.

Но он все же сказал себе, что не положился бы на нее ни в чем.

В Бутове зимой было тихо, дом теплый, уголь припасен еще с осени, но уйти совсем на стариковское житье Трофим Гордеевич не мог по своим душевным потребностям, работал внештатным инструктором на ближнем пуговичном заводе, все-таки его руки старого лекальщика умели кое-что.

В один из декабрьских дней, с утренним ломким морозцем, когда выпавший снег крахмально хрустит под ногами, неожиданно приехал сын с женой. и та, румяная, раскутывая ковровую шаль, сразу же медово сказала:

— Наконец-то выбрались навестить вас, Трофим Гордеевич. С Петей разве скоро выберешься, у него то одно, то другое.

Обычно сын скупой привозил килограмм сушек или нарезанной копченой колбасы в целлофане, но на этот раз Варвара, служившая продавщицей в гастрономическом магазине, оживленно сказала:

— Сегодня мы с вами попируем, Трофим Гордеевич. Я через наш стол заказов хорошей ветчинки достала и гусиного паштета венгерского. Я три баночки привезла, одну разведем, а две себе на утренний завтрак оставите. К гусиному паштету я, например, неравнодушна.

Она достала из хозяйственной сумки ветчину и паштет, а сын

привез бутылку водки с изображением тройки на этикетке, сказал «сибирская», и Трофим Гордеевич, взглянув на этикетку, немного подивился щедрости сына. Варвара сразу принялась хозяйствовать, надела фартук, зажгла газовую плиту на кухне, потом накрыла на стол, видимо, давно приметив, где и что находится на полках или в буфете.

Она старалась, чтобы Трофим Гордеевич оценил ее хозяйственное умение, понял бы, что сын нашел надежную подругу, так что он, отец, может только порадоваться. Хотя она и улыбалась ему, однако не дарила рубль своей улыбкой, а словно отнимала что-то, и Трофим Гордеевич не мог объяснить себе, почему чувствует так. Водки он выпил только одну рюмку, а сын выпил три подряд, побагровел до волос, низко росших надо лбом с мясовитой поперечной складкой.

— Мы с Петей часто над вашим житьем-бытьем задумываемся, Трофим Гордеевич,— сказала Варвара.— Так печально, что вы в одиночестве живете, но что ж тут поделаешь, жизнь человеку всякое готовит, да еще приплюсовать разные неприятности приходится.

Трофим Гордеевич не сразу понял, что она говорит о себе с Петром, а не вообще.

— И народ ужас какой избалованный пошел, одним это не так, другим то не так, вы обратите внимание, какой окорок, а нарежешь или расфасованный лежит — претензия: слишком жирный, и сквозь целлофан руками перещупают. Уж сосиски, скажем, все одинаковы, и те пощупают, такую антисанитарию разводят.

Варвара искала сочувствия к своей работе, но Трофим Гордеевич сказал только «случается», и нельзя было понять, сочувствует он ей или порицает за неуважительность к покупателям.

Сын выпил еще рюмку водки с ямщицкой тройкой на этикетке, как-то краем глаза взглянув на жену, Трофим Гордеевич заметил его взгляд, и Варвара сказала:

— Пойду посуду перемою, потом чайник поставлю. Вы как, Трофим Гордеевич, насчет чая, я кекс хороший привезла.

— Что ж,— ответил он, хотя после еды никогда чая сразу не пил.

Варвара ушла в кухню, и Трофим Гордеевич остался с сыном вдвоем.

— Собираемся мы с Варей на Новый год к ее матери в Иваново поехать,— сказал Петр неверным голосом.— У меня в связи с этим будет одна просьба к тебе. Я на машину денег коплю, пока четыре тысячи накопил, брать с собой в дорогу опасно, сохрани у себя, пожалуйста, папа, у тебя в целости будут.

Он сунул было руку во внутренний карман пиджака, но Трофим Гордеевич спросил вдруг:

— Ты сколько же в месяц получаешь, Петя?

Сын чуть помедлил:

— У меня проценты и премиальные случаются.. По-разному бывает.

Однако хоть проценты и премиальные, четыре тысячи сразу не набегут, но Трофим Гордеевич сказал лишь:

— Чего же мне их хранить? Положи в сберкассу.

Но сын словно ожидал, что услышит это, сидел совсем с темным, хотя и красноватым от выпитой водки лицом, минуту помедлил, потом сказал:

— Ладно... Не хотел посвящать тебя, но тут такая петрушка получилась: я на приемном пункте принимал всякий лом, не вдаваясь в подробности откуда, мне один слесарь с автозавода кое-какие детали принес, я их по весу заприходовал, а тут сгребли этого слесаря, и он стал капать.

Слесарь, о котором говорил Петр, был не то чтобы пьяница, а из выпивальщиков, веселый и говорливый, начал с того, что принес три килограмма колпачков для автомашины. Петр дал ему два рубля

на разливной портвейн «три семерки», заприходовал как лом, и они со слесарем сошлись в понимании, что жить всухую неинтересно, а если человек с умом, можно поразнообразить свою жизнь. К тому же слесарь намекнул, что на заводе ведется подписка на автомашины, но, конечно, годик-другой придется пообождать, «Жигули» под ногами не валяются. Варвара, с которой поделился Петр, сразу зажглась, представила себе, как славно будет приехать на своей машине хотя бы сюда, к Трофиму Гордеевичу, только настаивала, чтобы он с осторожностью все-таки, Петр, и слесаря Сенечкина держал бы в страхе, а то в случае чего ни на копейку не пожалеет его.

Почти полтора года все шло мирно, нашлось и еще кое-что, принимавшееся как лом, однако шедшее в дело, любителям для своих автомашин всегда требуются детали. А слесарь Сенечкин хотя и действовал осторожно, но однажды, может, перепил, а может, не допил, но самым глупым образом попался, идет следствие, а положить деньги в сберкассу — можно поставить себя в случае чего под удар.

Говорить все это отцу не хотелось, и Петр нехотя и досадуя, что вынужден, рассказал о слесаре, умолчав о других, более крупных делах.

— Не могу, Петя, не могу и не хочу,— сказал Трофим Гордеевич.— Я у себя дома только свои деньги храню, хотя и совсем немного их.

— Ты что же, под секиру подвести меня хочешь? — спросил Петр. И где только выискал он эту секиру?

— Я твой отец, одно только добро могу желать тебе. А так ничего доброго не получится.

— Ловко,— усмехнулся Петр.— Ловко ты от меня отмахиваешься.

— Я не от сына отмахиваюсь, а от поступков сына. Я трудовую жизнь прожил, сам знаешь какую. Тридцать пять лет на заводе работал, меня по чести на пенсию провожали, на моей совести все как стеклышко должно быть, а ты в болото меня приглашаешь.

— Глупость,— сказал Петр,— одна глупость. Кто узнает, что ты эти деньги хранишь, у тебя самого могли быть накопления.

— Не могу и не хочу,— повторил Трофим Гордеевич.— У меня станок есть, я на нем свою жизнь выточил, а теперь на старости брак выпускать? Я брака никогда не выпускал и своей рабочей чести никому не уступаю, а сыну тем более.

— А что если сына в тюрьму поведут, только платочком вслед помашешь? — спросил Петр уже совсем неуважительно.

— Если мой сын ничего не украл, зачем же его в тюрьму поведут?

— Значит, отказываешь, в таком пустом деле отказываешь? — сказал Петр.— А я ведь думал процент тебе дать, рублей двести.

— Поезжай, Петр,— сказал Трофим Гордеевич коротко.— Поезжай.

Варвара перемыла посуду, сразу поняла или, может быть, подслушала, что отец отказался, ее лицо пошло пятнами, и она, уже не сдерживая себя, сказала:

— Старые люди всегда эгоисты. Кажется, уже получили от жизни свое, так нет — мало им, от молодых отнять хотят.

— Ты о чем, Варя? — спросил Трофим Гордеевич.

— Так, ни о чем... Про себя мечтаю. Побудем еще или поехали? — спросила она мужа.

Петр ничего не ответил, поднялся, стал собираться, Трофим Гордеевич сказал:

— Водку свою забери, я не пью.

— Не пьешь — вылей.— И больше сын ничего не сказал, а Варвара улыбалась такой злой улыбкой, что не только рубль, а все на свете отнимет.

Трофим Гордеевич постоял у окна с горшком бальзамина на подоконнике, посмотрел вслед сыну с женой, как они идут к станции по обледелой дорожке, ставшей из-за выпавшего снега такой узкой, что не разойдешься со встречным. Он смотрел вслед не только сыну, но и тому, что, должно быть, навсегда ушло из его дома, некогда дорогое душе и лелеемое. Но лучше так, и он не мог заставить себя даже подумать о том, как могло бы быть иначе, как впустил бы он нечто не по своим правилам, не по своему добытому в жизни, с трудом добытому, с таким трудом, что сейчас подивишься даже, откуда только хватало сил на такой труд?..

ОСЕННИЙ, МЕЛКИЙ ДОЖДИЧЕК

Пролегомены

Свет рабочего утра лежит на твоём столе, и нужно приниматься за труд — без этой необходимости с утра не может быть и дня. Но замыслы, сюжеты, намерения — все пока еще рыхло, текуче, походит на плазму, хотя и держишь наготове перо.

По слову Герцена, у нас нет молитвы, у нас есть труд. Труд — наша молитва. Эти слова предпосланы им одной из самых страстных, исповедальных его книг. О чем же может молить писатель? О ясности мысли, о внутренней зоркости, о выполнении своего назначения, да еще о силе духа...

За окном середина июля, но серенького, с дождичком по временам. Куст позднего жасмина набирает тугие, фарфоровые шарики, палевые султаны спиреи, похожей на эгрет, уже в полном оперении; и вот, может быть, из спиреи или из луча солнца, пробившегося сквозь темно-лиловую тучу, возникла картина лазурного царства, похожая на мираж.

И хотя сеет дождь, нет-нет да и выглянет солнце, наскоро просушит траву, наскоро шепнет бабочке, простодушной капустнице, где можно полетать немного, или шмель со звуком отпущенной виолончельной струны тоже наскоро, пока не ушло солнце, потеревит своими мохнатыми лапками розу...

Воображение писателя походит на центробежный процесс, — еще один оборот и частицы уже туго сбиты в сюжет, поставлена задача, которой начинаю служить, и расцветшая карминно-красная роза в саду, и пригревшаяся на солнце простодушная капустница, и шмель, летящий со звуком вибрирующей виолончельной струны.

Пролегомены означает введение или предварительные теоретические рассуждения. В работе писателя теория отступает перед внезапным, поистине магическим озарением, хотя слово «магия» и сродни слову «алхимия», писатель же по-своему вечный искатель философского камня.

Композитор Рахманинов в молодости неутомимо повторял гаммы, которыми, наверно, изводил окружающих, а вслед за гаммами возник «Алеко». Наша молитва — труд, гамма за гаммой, и смотришь, уже бродит по одинокой тропинке некто, которого назовут впоследствии одним из твоих героев.

К вечеру пчела тяжело летит к улью, потрудилась в розах и зонтичных, но принесла нектар и в твои закрома. И даже чтобы описать только полет пчелы — повозишься, такое уж оно наше ремесло, гамма за гаммой, и чем больше повозишься — тем вернее.

Постскрипtum

Я решил признаться у осени для последней строчки, для постскриптума, который должен заключить сделанное тобой за те дни, когда множество людей отдыхало, предавалось блаженному теплу или

загорало на горячем песке у моря. Но такова уж природа того, что ты делаешь на выбранной тобой или самой бросившейся тебе под ноги дороге, когда только труд — твой отдых и твое спасение.

В лесу уже мягкая, влажная тишина, деревья неторопливо стелют пуховик из опавшей листвы, чтобы, вытянув ноги и подложив руку под щеку, земля могла улечься на добрый отдых после трудов своих. А результат ее трудов показывали на экране телевизора, хлеборобы принимали из рук женщин цветы, стояли в сплетенных из колосьев пшеницы венках, непривычные к тому, что их называют героями жатвы, и, наверно, вроде писателя размышляющие только о том, что, выбрав себе трудовую дорожку, нужно с достоинством пройти по ней. Разница, однако, в том, что у хлебороба есть свои сроки сева и пора уборки, жатвы, а у писателя все вместе круглый год, такой круглый, что не за что уцепиться.

Лес уже почти скинул свой золотолиственный убор, как именовали старые поэты листопад, а над полем висели почти сливовой сизости облака, изнутри лежал в них закат, и все, что дано перламутру или морской раковине с ее розово-телесной, почти влажной на вид изнанкой, было в этом пространственном небе, уже прикрывавшем осенний закат голубым просвечивающим пологом. А на западе, где полог еще не дотянулся до земли, стоял желто-розовый освещенный дворец, весь в торжестве своего пышного праздника, и не хватало только спадающих дуг фейерверка.

Я пошел в сторону этого дворца, но, наверно, опоздал к празднеству, потому что постепенно стали тушить огни, дворец померк, а вскоре его закрыл уже опущенный до земли полог. И вдруг туча воронья, колдовство тех черных птиц, которые не улетают на зиму, а печатают крестики своих лапок сначала на пороше, потом на свежесвыпавшем снегу, без этих птиц не представишь себе русского зимнего пейзажа, и даже на казни стрельцов они присутствовали, как избразил верный исторической правде Суриков.

А то, что сделано тобой, лежит пока в виде груды вышедших из плавильной печи слитков, которые нужно еще прогнать через прокатные валы, чтобы получились рельсы хотя бы для подъездной ветки к тому главному пути, который видит перед собой писатель. Но сколько раз мысленно скажешь себе, бессильно откинувшись в просиженном тобой кресле: ведь я об этом уже писал, однако поддержи себя: повторение — мать учения, и писателю нужно повторять, если у него есть что повторить.

Праздник в розово-золотом дворце кончился, встал холодок вечера, начал постепенно твердеть, а утром будут, наверно, заморозки.

И я признаю еще у осени, что одинокая тропинка не заброшена, пока ты идешь по ней с твоими сомнениями и размышлениями, и нередко чем одиноче, тем больше мыслей и образов вокруг, вспомнишь и многих из тех, с кем дружил и кто так и не прошел до конца своей тропинки: но ведь таланту всегда мало отведенного ему времени. Тогда подумаешь еще и о том, что писатель — это и чернорабочий, и зодчий, — все на его руках: расчистить площадку, выложить фундамент, подвезти строительные материалы, возвести здание по своему чертежу, и чтобы без перекосов, без крутых лестниц, по которым поднимаешься задыхаясь, а то кляня строителя: эх нагородил... А не мог разве попроще, посердечнее, почеловечнее?

В конце поля язычески горел костер, бледное пламя стояло несколько зловеще неподвижно. потом в костер что-то подкинули, пламя заметалось, горела, может быть, вторая часть «Мертвых душ», одинокий Гоголь стоял возле, и осень холодно легла на плечи его табачно-коричневого сюртука. Сюртук этот мне привелось повидать при перенесении праха Гоголя: на останках был сюртук табачного цвета и башмаки на высоких каблуках, таких же, как и у Глинки

на репинской картине «Славянские композиторы», — видимо, Гоголь был малого роста...

Все же признаю я кое-что у осени для постскриптума, для нескольких заключительных тактов: и языческий огонь костра, который мертвенно горел, пока Гоголь не кинул в него свою рукопись, и то, что выяснил для себя, чего не выполнил, не дописал, — однако не по лени или нерадению, а просто потому, что у времени своя линеячка с делениями.

Теперь остается дописать только последнюю строчку, кинуть ее в грудку металла, из которого прокатный стан прогонит рельсы хотя бы лишь для подъездной ветки... Но если по ним пройдет только маневровый паровоз, что еще может быть нужно писателю с его воображением — ничегошеньки, только одно это. А постскриптум даже расказом не назовешь.

Ритурнель

Пошел скучный дождь, тот еще мелкий озноб природы, когда уже кончено с теплом, сильным светом и скоро переходить на зимнюю форму одежды.

Однако в такие именно дни поэты на твоих книжных полках как бы приглашают к некоему ритурнелю, как в старину именовалось приглашение к танцу, но на поэтическом языке это означает предложение выйти все же под дождь, и я, следуя мудрому призыву одного поэта: «Не знаю сам, что буду петь, — но только песня зреет», вышел поискать эту песню.

У забора на груде ярко-желтого песка сидела полуторагодовая Васенка и пересыпала лопаткой песок, сосредоточенно занимаясь тем, чем некоторые люди занимаются всю жизнь, пересыпая из пустого в порожнее. Но у Васенки был занятой вид, и я наделил ее философскими размышлениями, чтобы ее занятие не походило на автоматическое ничегонеделание, поскольку ее усердие немножко походило на мое.

Я вернулся в дом за леденцом, а Васенка еще до того, как я подошел к ней, открыла круглый ротик, и я невольно подумал о высшем на земле — доверии людей друг к другу.

Мне хотелось приобрести еще что-нибудь от серенького дня с дождем, я снова вернулся в дом, отрезал от буханки хлеба ломоть, и мне навстречу сразу кинулось общество белых молодых петухов, сбивая друг друга с ног и выхватывая один у другого из самого клюва крошки. Один петух был серый и уже давно задал мне задачу своим поведением: он позволял погладить себя по головке, стоял замерши, пока я гладил его, тихо шел затем следом за мной, хлеб не подхватывал жадно, как другие петухи, а казалось, даже немного стеснялся их бесцеремонной жадности. Петух был, видимо, непротивленец и праведник, и у меня с ним установились особые отношения. Он разделял мои мысли о том, что жадность и себялюбие отвратительны, и мне хотелось вообразить, что он следовал за мной из-за единства с моими мыслями.

Эх, скажет кто-нибудь, уже про петухов стал писать, совсем исписался... Но к чему доказывать, что природа вещей, которую некогда раскрыл славный латинский поэт, включает как петуха, так и тех птиц, которые спасли некогда Рим.

И вот «не знаю сам, что буду петь» стало постепенно находить свои ноты, ибо прославление мира во всех его проявлениях — самая призывная песня, наподобие рассветной песни петухов...

Илларион Абрамович Щустев встретил меня по дороге к станции, я хотел купить в киоске газету, а он возвращался с привокзального рынка. В его сумке была свекла — значит, молодецкими руками

старого вдовца он сварит себе борщ, а когда-то борщ варили славные, полные руки его жены, но уже давно в душевном хозяйстве Иллариона Абрамовича все пришло в расстройство.

— Не помешаю, если немножко попутствую? — осведомился Илларион Абрамович, и мы пошли вместе в сторону станции: видимо, потребность поговорить о чем-то, явно для него мучительном, была сильнее усталости.

А поговорить со мной Илларион Абрамович хотел о том, о чем однажды уже говорил мне, правда, вскользь, лишь пунктиром намекая трудность своей сегодняшней жизни. Трудность заключалась в том, что его сын год назад женился, теперь у него с женой Феней родился ребенок, а домик совсем маленький, в свое время переделанный из сторожки при фруктовом саде, и хоть весной яблони в цвету, нет никакой радости от их цветения: в двух маленьких комнатах теперь такая теснота, что норовишь уйти куда-нибудь.

— Вот я и надумал насовсем уйти в сторону, — сказал Илларион Абрамович, — молодым жить надо, а я свое от жизни уже взял, к сестре в деревню уеду. Сестра в последнем письме пишет, что насчет моего поселения не против, но у нее самой большая семья, предлагает сарайчик под жилье переделать. А много ли мне нужно, дорогой человек? В семьдесят три года человеку, да еще бобылю, обходиться с самим собой приходится, ничего тут не сделаешь, закон жизни. В свое время я посвятил вас в мои дела, так что повторяться? Мне одобрение моего плана хочется послушать.

— Почему же вы полагаете, что я одобряю ваш план, Илларион Абрамович? — спросил я. — И что значит «свое от жизни уже взял»? Человек до конца должен брать, а жизнь неистощима на щедрости, если не предьявляешь больших требований. И нельзя так: день прошел — и слава богу, надо, чтобы день не зря прошел, другому кое-что ты уделил: ну хотя бы кошелку соседке помог донести, соседке тоже, скажем, семьдесят три, но мужские семьдесят три покрепче.

Мудрость была не ахти какая, и проповедовать, что человек живет, пока жив, было не очень-то к месту. Но Илларион Абрамович вдруг задумался:

— Конечно, по своим дедовским силам и помощи другой раз, с внучком посижу, каши ему сварю, помощь все-таки снохе. — И казалось, он даже повеселел от этой простой мысли. — Спать я, конечно, могу уходить на поветь, накошу сенца, и такая славная постель будет, а зимой уж как-нибудь, я для других незаметный.

И таким кротким показался он, некогда работавший в посылочном отделении московского почтамта и попросивший у меня однажды «Горе от ума» Грибоедова, чтобы выяснить, почему ему поставили памятник неподалеку от почтамта.

— Сестра, конечно, не против, чтобы переехал к ней, но если отбой с моей стороны, все-таки облегчение для нее будет, — сказал Илларион Абрамович скорее самому себе. — По правде, не хотелось бы мне на старости лет жительство менять, я все-таки городской человек.

И хотя это было уже совсем некстати, я спросил:

— Илларион Абрамович, приходилось вам когда-нибудь встречать петуха, который позволил бы погладить себя?

Илларион Абрамович сначала помолчал, потом спросил, в свою очередь, несколько подозрительно:

— Вы к чему это?

— А к тому, что гладил я сегодня одного серого петуха и подумал при этом, что если ты с добром, то и петух тебе поверит.

Я несомненно несколько проповедовал, но мне хотелось внушить Иллариону Абрамовичу, что человек никогда не должен ссылаться

на то, что взял уже свое от жизни, неизвестно какие радости может она поднести еще... А его внуку, может быть, никогда не будет тесно с дедом.

— До новой встречи, — сказал Илларион Абрамович, остановившись. — У Фени сегодня производственное совещание на ее работе, в обед не придет, молоко в бутылочку отцедила, а к соске Никола́й Федорович уже привык.

И он в своем мокром плаще, лаково блистающем, заторопился к дому, а Николай Федорович лежал, наверно, уже мокрый, и в обязанности деда входило перестелить простынку.

В поле было уже совсем седе от дождя, теперь начнет поливать и поливать, доставай понемногу из сундука зимнюю одежду, садись перестукивать написанное тобою за лето, и на всю долгую зиму со снегопадами или оттепелями работы хватит.

Но что утешительнее работы — ощущение крепости еще не сдающейся мысли, хотя и сам нередко не знаешь, какую песню будешь петь... Но вот некий ритуфель, некое утреннее приглашение — и приходят постепенно в гармонию и серый петух-непротивленец, и седое поле под седым дождем, и озабоченный Илларион Абрамович, наверно с дедовским упреком «эх ты, морячок, морячок» уже сменивший мокрую простынку внука. Повторишь для себя и слова другого поэта, что через твой порог не перешагнут, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убогою душой.



О ЧИЕ РУКИ НАШИ ИХ ДНЕИ

ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО



БОЛГАРСКИЕ ОГОРОДЫ

Для своей поездки по селам Природопья я выбрал июль. В Пловдивский край ехал не впервые, знал некоторые маршруты, города, села, представлял трудности, которые могут возникнуть... С бухты-барухты ничего и нигде не делается. Сначала надо было обсудить программу. Я хотел как можно больше времени провести рядом с Кирилом Кралевым, генеральным директором Научно-производственного сельскохозяйственного комплекса «Пловдив» имени Георгия Димитрова, познакомиться с самыми разными специалистами хозяйства, посетить побольше бригад, сел, побывать в горах у чабанов, на консервных комбинатах, в научно-исследовательских институтах...

Еще в Москве узнал: НПК «Пловдив» объединил под одной крышей землю, науку, консервную промышленность и торговлю, что сильно повлияло на мой выбор. Узнал также о том, что эта одна из первых «метрополий» в сельском хозяйстве Болгарии работает по единому наряду, а главный показатель, по которому оценивают хозяйственную деятельность НПК,— конечный продукт, конечный результат

Принимавшая меня в Союзе болгарских писателей Иванна Славова, черная, круглолицая, с длинными прямыми волосами этакая болгарская Ярославна, толковая и подвижная, окончившая в Москве Высшие литературные курсы и свободно владеющая русским языком, уточнив некоторые детали программы подытожила:

— Не программа, а пружина тугая. Успеть бы вам ее раскрутить до конца. В каждом доме там есть ракия и вина много, так что берегитесь!

— Чего? Гостеприимства?

— Да, да! — засмеялась она.

Раскручивать программу-пружину мы начинали в девять утра. Каждый день — и ровно в девять. А заканчивали когда как...

В Пловдиве я жил, а точнее ночевал в Доме творчества писателей под названием «Ламартин». Он находится в самом центре старого города. На работу оттуда мы выезжали всегда втроем.

Переводчице Наде Стоичковой негде было пристроить десятилетнего сына Йордана, и она взяла его с собой в поездку, уточнив, не мешает ли он.

— Скучно не будет? — тут же спросил я у мальчика.

— Не-ет,— протянул он застенчиво, но с достоинством человека, собравшегося впервые уехать так далеко от дома. От Софии до Пловдива — 160 километров.

Я быстро привязался к Йордану. Мальчик он хоть и застенчивый, но сметливый, внимательный и, как мне показалось, серьезный. С первого класса изучает русский язык и сносно говорит по-русски.

— Пусть мой Даня послушает, как говорят у вас дома, пусть привыкает к правильному произношению,— сказала Надя перед дорогой.

В «Ламартине» мне предоставили небольшую комнату с шестью огромными окнами. Стены-окна, окна-стены! По утрам, встав посредине комнаты, я через них окидывал одним взглядом почти полгорода. От меня лесенкой сбегали десятки, сотни черепичных крыш старой постройки. Где-то вдали, внизу, черепичный темно-красный ряд обрывался, резко переходя в белые и серые тона — новый десяти-пятнадцатизэтажный город. Любовался мгновение, другое и густой, буйной зеленью, словно изумрудным поясом отделившей старый город от нового.

Дому, в котором меня поселили, лет за двести, а снабжен он всеми современными удобствами. Не так давно это здание, как и соседствующие с ним, находилось на грани полного разрушения. Их спасли творческие союзы — писателей, художников, журналистов, архитекторов, другие ведомства... Каждое взяло на сохранение по дому. Некоторые строения реставрированы государством и отданы музеям. Так удалось сохранить восхитительные линии и краски архитектуры Болгарского национального возрождения. В памятниках этой эпохи воздушная чистота синих прямоугольников сочетается с теплотой оранжевых гнутых эркеров. Архитектурные решения настолько многообразны, что не повторяются не только фасады, двери, но даже стрехи и трубы. Чувствуется, что люди, строившие здания и стремившиеся сохранить чистоту, самобытность народного почерка, были наделены смелым, буйным воображением. Интерьер домов на треххолмьи уникален также резным узором потолков, настенной росписью комнат.

Дом творчества в Пловдиве не случайно носит имя французского писателя-романика, общественного деятеля Альфонса де Ламартина. Во время своих путешествий на Восток Ламартин когда-то останавливался в нем. Болгары чтут память Ламартина: он был одним из тех просвещенных людей Запада, кто, побывав в Болгарии, во всеуслышание заявил о зверствах и издевательствах, чинимых турками на болгарской земле.

...Каких только имен не носил Пловдив! Одно из древнейших дошедших до нас — Эвмолия — обозначает «сладкозвучный». Полагают, что это было первое название фракийского поселения, в котором по легенде родилась нежная и трагическая любовь Орфея и Эвридики. Нынешнее название также происходит от фракийцев, которые в более поздние времена стали именовать свой город Пулпудев. На мягком славянском говоре слово звучало как Плоудин, а теперь стало — Пловдив. В начале нашей эры Лукиан в хрониках определял город как «самый большой и самый красивый из всех, великолепие которого сверкает издалека».

Ныне Пловдив второй после Софии культурный и промышленный центр страны. Археологи, производя раскопки, обнаружили великолепно сохранившийся античный театр и чашу олимпийского стадиона, подтвердив тем самым, что Пловдив — ровесник нашей цивилизации...

Каждый день в девять утра к нам в «Ламартин» приезжал Коля Александров. Кирил Кралев, которого я еще и в глаза не видел, отдал в наше распоряжение свой «фиат-польский». Забравшись почти на самую высшую точку города — на исторически знаменитое древнее треххолмие (по-латински — тримонциум), «фиат» подкатывал, переваливаясь на горбатых булыжниках, к Дому творчества и тоненько бибикал, призывая всех в путь.

Обычно нас провожал Саша Примов, директор Дома творчества. Не Александр, хотя Примову под шестьдесят, а именно Саша. У болгар Александр и Саша — два разных имени, как Коля и Николай, Гриша и Григорий и т. д. Так сложилось.

Саша Примов провожал нас молча, с еле заметной улыбкой. В Дом творчества он вложил всю свою душу, отдал ему без оглядки свой труд и крестьянский опыт. Вместе с женой живет здесь же. Саша радушен и внимателен, хотя и молчалив и нетороплив, как многие болгары. Переехал он в Пловдив и стал директорствовать по настоянию писателя Николая Хайтова, уроженца того же села, что и Примов, — Яворово. Несмотря на возраст. Примов крепок, как та приземистая орешина, что растет рядом с домом у окна-стены. В Яворово он держит виноградник. И ему в пять — полшестого нередко приходится покидать Пловдив, чтобы к семи быть на огороде, а к полудню вернуться обратно.

Надя садилась на переднее сиденье, мы с Йорданом — на заднее. Коля на «фиате» легко скатывался по древним камням вниз и вез нас в Управление НПК «Пловдив», на густо-зеленую улицу генерала Данаила Николаева. Там ждал нас Кирил Кралев, либо кто-то из его заместителей, или, наконец, кто-нибудь из специалистов, без кого ни одна поездка в поле, в бригады, в села, отстоящие от Пловдива на десятки километров, не дала бы и сотой доли того, что мы получали от общения с этими людьми.

Первый основательный разговор с Кирилом Кралевым мы провели, кажется, на третий или четвертый день. Сначала хотелось понять структуру комплекса, выявить рычаг, с помощью которого НПК пятый год подряд выполняет и перевыполняет планы, накапливая прибыли, расширяя производство и с каждым годом улучшая жизнь своих людей. Кралев начал с общего:

— НПК — научно-производственные комплексы, АПК — аграрно-промышленные комплексы, ТКЗХ — трудовые коллективно-земледельческие хозяйства. Современное

сельское хозяйство в Болгарии начиналось, как вы догадались, наверное, — обратился он к нам, — с маленьких частных хозяйств, за ними шли ТКЗХ. Были трудодни, была мизерная оплата и натуроплата, и такой же мизерной была заинтересованность в результатах своего труда. Лишь бы прошел день до вечера — и скорее в собственный огород. На своей земле крестьяне находили успокоение и радость, землю они любили и любят до сих пор. Развитие нашего сельского хозяйства я покажу вам, пожалуй, — предложил Кралев, — на примере нашего НПК, так будет понятнее. Наш комплекс сейчас объединяет тридцать два села. Вскоре после освобождения от фашизма, после Девятого сентября, на этой земле мы создали тридцать два кооперативных хозяйства. В каждом селе был свой кооператив. Так продолжалось до пятидесяти восьмого года. Потом стало ясно, что мелкие хозяйства не способны решать серьезных задач дальнейшего развития села, и Центральный Комитет БКП предложил провести укрупнения. Начался на наших полях, впервые, кстати, процесс концентрации, специализации и механизации. Впервые мы начали строить и значительные мелиоративные сооружения. В каждом новом хозяйстве насчитывалось от двух до трех тысяч гектаров земли. Вместо тридцати трех кооперативов стало тринадцать ТКЗХ. Позже, в семидесятом году, по новой оценке развития сельского хозяйства партия приняла курс на дальнейшее укрупнение на селе, специализацию и широкую механизацию, перевод сельскохозяйственного производства на промышленную основу. На базе тринадцати ТКЗХ были созданы два аграрно-промышленных комплекса. Это новая форма организации сельскохозяйственных предприятий. Ее принцип: земля — конечный продукт...

— В Москве задолго до этой поездки, читая газетные статьи, разговаривая с побывавшими в Болгарии людьми, я представлял себе АПК как объединение, имеющее промышленную базу для переработки собственной продукции.

— Не совсем так, — уточнил Кралев. — Подобные комплексы в Болгарии есть, наш, например, НПК, доберемся скоро и до него, но у большинства АПК нет своих предприятий по переработке сельхозпродукции. А промышленный комплекс понимается как аграрный комплекс на промышленной основе. Мы, собственно, и подошли к НПК. Их в стране несколько. Это еще один шаг в сторону концентрации производства, а значит, и прибылей, более интенсивного внедрения науки, лучшей организации труда, широкого использования механизации, новой сельхозтехники. Где можно применять мощную высокопроизводительную технику — современные трактора, мощные сельхозмашины, самолеты, вертолеты? В крупных хозяйствах, конечно. Или кто может использовать противораковую ракетную технику? Тот, кто в состоянии заплатить за нее. В семьдесят седьмом году на базе двух АПК, пяти консервных комбинатов и трех научно-исследовательских институтов был создан наш НПК «Пловдив» имени Георгия Димитрова. У нас свой принцип: земля — наука — конечный продукт. В сельском хозяйстве произошла научно обоснованная концентрация и специализация, вертикальная интеграция. Но, думаю, размеры нашего НПК — предел. Мы не должны нарушать равновесия в природе. Концентрация и специализация проводятся и в консервной промышленности. Комбинат «Витамина» специализируется на производстве соков, нектаров, компотов. «Партизаны», что в тридцати километрах от Пловдива, в городе Первомай — на консервировании овощей и фруктов, «Бригада» выпускает только детское питание...

— Одним увеличением площадей да специализацией, — пробовал я возразить, — проблему продовольствия все равно не решить.

— Любая форма организации труда нуждается в честном экономическом рычаге, в хорошем стимуле. Помните как было: в одном кооперативе за трудодень платили два килограмма зерна и полтора лева деньгами, а в другом — три и три, хотя работали люди одинаково. В один год платили по два лева, а в другой — по шестьдесят стотинков. Что сейчас происходит у нас? Мы выращиваем овощи, фрукты, производим зерно, мясо, молоко, но в основном огородную культуру и сами все реализуем. Часть продукции идет в наши фирменные магазины — их в округе более двухсот, а часть — на переработку и на экспорт. Наши заводы за год вырабатывают до двухсот тысяч тонн различных консервов. Эту продукцию мы тоже реализуем — через свою торговую сеть и через государственную. Многие из того, что мы производим, пользуется спросом за границей. Около двух третей своей продукции мы отправляем в СССР. Наш экономический принцип ясен любому рабочему. Вырастил продукцию, переработай ее либо продай в чистом виде, если это выгодно, и сполна рассчитайся с непосредственными работниками. Чем больше будет произведено продукции и, главное, реализовано ее, тем выше станет зарплата у крестьян. Поэтому люди наши заинтересованы не только в количестве

конечного продукта, но и в его качестве, в эффективности своего труда. Если мы, скажем, вывозим на продажу помидоры, огурцы или яблоки, то они не должны быть хуже домашних. Иначе их не купят... Мы все делаем сами, у нас замкнутый цикл производства: вырастил, продал, рассчитался. В прошлом году НПК получил двадцать два миллиона левов сверхплановой прибыли.

— Не хлебом единым... — возразил я Кралеву, вспомнив известный афоризм.

Он кивнул головой в знак согласия, потом добавил:

— В чем нуждается еще наш крестьянин — разговор впереди. И как он живет, и что его держит на земле — тоже. Я думаю сейчас о том, что с созданием АПК и НПК найдена оптимальная форма, удобная структура управления сельским хозяйством. Из нее надо держаться. Вот наш комплекс. Он состоит из девяти отраслевых специализированных хозяйств, или клоновых стопанств, как мы говорим, трех научно-исследовательских институтов (овощеводства, садоводства и консервной промышленности) и пяти консервных заводов. У нас три оранжерейных хозяйства, информационно-вычислительный центр и пять обслуживающих производств: агрохимическое, автотранспортное, строительное, закупочно-реализационное и торговое.

— Кому еще кроме генерального директора доверено управление такой машиной?

— В НПК есть Совет из ста тридцати человек. Он избирается общим собранием рабочих на два года. Текущие проблемы решает исполнительное бюро Совета. Генеральный директор — тоже выборная должность. Голосование — тайное. У меня два заместителя: по производственно-хозяйственным вопросам Стефан Пенков, по науке Милко Йорданов. У каждого из девяти клоновых стопанств свое руководство. Есть у нас главный агроном, садовод, зоотехник, цветовод и так далее. С восьмидесятого года мы ввели у себя повсеместно новобригадную организацию труда. Деятельность бригад строится на хозрасчете. Плановое задание ей определяет НПК, учитывая такие показатели, как площадь обрабатываемой земли, урожайность, объем продукции и прибыли, расходы, фонд заработной платы. Но НПК обязан также предоставить бригаде полное материальное обеспечение. Если фонд зарплаты фиксирован, то бригада может сама устанавливать число своих членов.

— И это на многие годы?

— Нет. Мы вправе уменьшить фонд заработной платы, если план по вине бригады не выполнен.

— А если повлияли погодные условия или еще что-то?

— В таком случае потери покрываются из резервного фонда НПК.

— А если и он будет исчерпан?

— Тогда мы обратимся в НАПС (Национальный аграрно-промышленный союз — высший орган руководства сельским хозяйством Болгарии) за разрешением получить заем у государства.

Я израсходовал все свои «если» и перевел разговор на науку, спросив:

— Те три института, что подчинены НПК, тоже строят работу на принципах хозрасчета?

— Практически да. Хотя там есть некоторые свои поправки. — И Кирил сказал мне о главном. — Объединившись с производством, наука двинулась на поля наших стопанств более быстрыми темпами. Предложения ученых по внедрению новой технологии возделывания различных культур, по хранению и переработке овощей и фруктов, по организации труда уже на третий год после объединения начали давать ощутимую прибыль нам, и институтам в том числе. Урожай всех культур в НПК значительно выше, чем в АПК и других хозяйствах страны. Поймите: наши поля, консервные заводы, сады стали для ученых своеобразной экспериментальной площадкой. Помимо этого у институтов есть свои опытные хозяйства и в других краях Болгарии.

— Что еще дает вам такая организация производства на селе? — не унимался я.

— Мы миновали районное звено в управлении...

На светлом полированном рабочем столе Кралева зазвонил телефон. Он поднял трубку, отвлекся, а я вспомнил наши разговоры в НИИ овощеводства «Марица», где мы были накануне. Нас принимали два ученых: Христо Симидчиев, заместитель директора института, молодой доктор, среднего роста крепкий, и приятный собеседник, ученый секретарь института, кандидат наук Спас Генчев. Он годами постарше Симидчиева, с коп-

ной белых волос на голове, с пронзительным взглядом. Кроме административных функций Христо Симидчиев увлеченно занимается гидропоникой, выращиванием овощей в закрытом грунте. Мы даже не заметили, как, начав рассказывать о селекции овощных культур в «Марице», Христо увлек нас проблемой круглогодичного выведения овощей в теплицах и оранжереях.

— Пока это еще дорогогато, но с расширением площадей, главное, с массовым внедрением пластиковых, полиэтиленовых оранжерей (они намного дешевле обычных) наши помидоры и огурцы сравняются в цене с теми, что выращиваются летом на полях. Достоинство этого метода налицо: свежие овощи можно получать круглый год в любом количестве.

И Христо Симидчиев сообщил нам в связи с этим много интересного. В Японии, оказывается, на человека приходится по четыре квадратных метра пластиковых оранжерей. Болгария пока отстает от Японии. Сейчас в стране ими занято около тысячи гектаров. Но уже действует Полимерстрой, производящий «мягкую архитектуру» — теплицы, склады, гаражи, сушилки с полиэтиленовым покрытием. К концу восьмидесяти пятого года в Болгарии на человека будет по два с половиной квадратных метра теплиц.

— Какова их окупаемость?

— Два года в цветоводстве и три в овощеводстве. Хороший хозяин в ноябре — декабре будет выращивать салат, редиску, в феврале — ранние томаты и огурцы, в августе — поздние томаты. Эффективность земли можно поднять в три раза. И не забудьте, что используется в основном даровая солнечная энергия.

— Но полиэтиленовые оранжереи применимы, наверное, только в теплых странах?

— Нет, они эффективны буквально везде. У вас под Москвой оранжереи дадут тот же урожай, что и в Пловдиве.

Так же увлеченно, как о своей гидропонике, Христо Симидчиев стал рассказывать о новых сортах помидоров, огурцов, перца. Но особое внимание уделил внедрению новых технологий.

— Раньше как было бы? — рассуждал он. — Допустим, разработали мы промышленную технологию выращивания томатов (весь процесс — от посадки до сбора урожая — механизирован) и на этом поставили б точку. Кому надо, пусть тот и внедряет. Теперь в этом заинтересован сам институт. Мы действительно разработали такую технологию и сейчас внедряем ее в одном из стопанств, в Цалапице. Одновременно под эту технологию обкатываем модель оптимальной хозрасчетной бригады, чтобы потом распространить ее повсеместно. Бригаду возглавляет научный сотрудник института Никола Касабов.

— Это делается ради престижа?

— Нет. Но на первом плане здесь материальное благополучие. Наша работа будет считаться завершенной, если даст экономический эффект. Тогда и нам что-то перепадет...

Кралев закончил телефонный разговор и уверенно продолжил свой рассказ, как будто бы его и не прерывали:

— Наш НПК располагает статусом юридического лица, и он во всех отношениях (в финансовых тоже) — самостоятельная организация. Девять клонных хозяйств, о которых уже говорилось, а также другие предприятия НПК лишены такого статуса. Но там введен внутривладельческий расчет. Каждое из стопанств, специализирующихся на выращивании и производстве двух-трех определенных видов продукции, располагает собственным счетом в банке и ведет свою экономическую политику.

— Выходит, у каждого своя, определенная степень самостоятельности?

— Да, от бригады до комплекса. Но у каждого и свой план, свои обязательства, а главное — независимый хозяйственный расчет.

— А кто спускает вам планы?

— Мы сами этим занимаемся. От областного Аграрно-промышленного совета (ОАПС), нашего непосредственного руководящего органа, мы ежегодно получаем задание на производство восьми видов продукции: зерна, риса, мяса, молока, помидоров, перца, яблок, винограда. Но сколько, чего и где сеять — решает Совет НПК, специалисты, наша дирекция.

— Это все, что вы производите?

— Нет. Мы выращиваем порядка семидесяти сортов овощных, садовых и других культур.

— И по всем семидесяти отчитываеесь?

— В плановой отчетности у нас только пять обязательных показателей — продажа готовой продукции в необработанном и обработанном видах, вклад в государственный бюджет, лимиты на снабжение основными материалами, техникой, энергией, топливом, валютные поступления от экспорта и лимит на импорт и закупку сырья в других районах страны, у крестьян...

В этот момент неожиданно вошла Йонка, секретарша Кралева, и что-то шепнула директору на ухо. Кирил медленно поднялся, мы сидели за журнальным полированным столиком, сделал два шага к своему рабочему столу и резко поднял трубку красного, как зрелая рябина, телефона. Помолчав немного, ответил:

— Минут через двадцать — тридцать буду.

Затем, бросив какие-то бумаги в тоненькую коричневую папку, сказал как само собой разумеющееся:

— Вы едете со мной.

В машине Надя заняла переднее сиденье, а мы с Кралевым — заднее. Йордан сел между нами, и я поинтересовался:

— Тебе нравится ездить по полям?

— Да. Очень! А летом особенно.

Он резко откинулся на спинку сиденья, высоко задрал голову, и с детской непосредственностью спросил:

— Мы куда сейчас поедем?

— В сторону Родоп, — ответил Кралев. И, повернувшись ко мне, как только тронулась машина, продолжил: — Земли наши идут от берегов Марицы до самых гор — на юг и на восток. Есть одно хозяйство и севернее Пловдива, это Цалапица — море томатов. Сейчас мы едем в Ягодово, там увидите новый принцип орошения. Потом... Потом посмотрим.

Километрах в десяти от города Коля остановил машину. Справа густо стояли стебли высоченной кукурузы, а слева росли карликовые, облепленные плодами и почти безлистные яблони. На каждом кукурузном стебле ветер шевелил по два-три, а кое-где и по четыре султана. Я подумал: «Вот где кукурузица! Сколько же она даст?» Не то телепатия сработала, не то мысли наши совпали, только не успел я открыть рот, чтобы спросить Кирила об этом, как он произнес:

— Центнеров по восемьдесят — восемьдесят пять возьмем в этом году.

Неспешно к нам подошел бригадир-кукурузовод. Протянув руку, поприветствовал:

— Добре дошли!

С другой стороны на «газике» подъехал директор клонового стопанства Атанас Стамболиев. Выглядел он заправским борцом. Розовощекий, выше среднего роста, черноглазый, с высоким лбом и крутым подбородком, уши спрятаны в чуть поседевших волосах, рука сильная, голос ровный, спокойный. Пожав руку Кралеву, а затем нам троим, пожаловался:

— Не успеем полить, Кирил. Боюсь, погибнут наши с тобой помидоры. Затянули с трубами.

О каких трубах шла речь, я не понял, потому что нигде их не видел. Кирил задумался, внимательно посмотрел на Стамболиева, потом перевел взгляд на кукурузовода, успокоил:

— Ничего, кукурузу мы больше поливать не будем, всю воду передадим томатам.

Бригадир, запахивая полы наброшенного поверх майки темно-синего халата, прикрывающего забрызганные глиной резиновые сапоги, кивнул в знак согласия головой и пошел перекрывать воу. Отойдя метра на два, он повернулся к нам.

— Пожалуйста, — спокойно произнес он, — кукурузу я уже напоил, в каждой борозде вода стоит.

За светло-зеленым кукурузным массивом потянулись чуть ли не до самых гор малахитовые грядки с помидорами.

— Эти земли, — перешагивая через неширокий бетонированный канал, сказал Кралев, — отведены под промышленное производство томатов.

Последовав его примеру, мы двинулись к середине поля. Там вдали маячил трактор. Я шел молча. Кирил то и дело нагибался, приседал у какого-либо куста и осторожно тряс его, словно грибу любимой лошади.

— Ничего. Пока держатся. — удовлетворенно восклицал он и шагал дальше.

Наверное, после шестого или восьмого куста Кирил поделится с нами своими заботами:

— Чуть было не упустили урожай. Началось массовое цветение, а с водой загодя вышла. Но два дня у нас в запасе еще есть. Это крайний срок. Не выдержим, все цветочки опадут. Поле это неровное, плохо спланированное. Если пустить воду по грядкам, то в одном месте будет недолив, в другом — перелив. Вот мы и решили использовать трубы. Сегодня первая проба.

Я шел вслед за Кралевым в помидорном желто-зеленом междурядье и слушал. Кирил все еще останавливался, трепал то один, то другой куст, довольно потирал руки, оглядывался — не отстал ли кто — и продолжал говорить:

— Всякое дело человека интересно своим результатом. Вот как с этими томатами. Без них в Болгарии ни одна хозяйка не обходится. У нас почти полторы тысячи гектаров занято, как говорят итальянцы, золотыми яблоками. В недалеком будущем мы на всех площадях введем промышленную технологию. Машины будут сеять, обрабатывать, поливать, подкармливать, убирать урожай и доставлять его на рынок, в магазины либо на консервные заводы.

— Но эти помидоры такие хрупкие,— попытался я защитить нежнейшее создание природы, вспомнив, как Михаил Луконин говаривал: «Хлеб, соль и помидоры надо брать рукой, пальцами».

— Нам для этого нужны нежные машины и... — Кирил улыбнулся, повернувшись ко мне на ходу, замедлил шаг,— и особые, твердые сорта томатов. Они у нас уже появились. Вам в «Марице» рассказывали?

— Да, рассказывали.

Кралев замолчал. Его высокая фигура заслонила от меня трактор, и я, не видя его, не мог определить — долго ли нам еще шагать. Зато слева открывался необозримый простор. Вдали узорчато синели Родопы, а кругом, открывшись настежь солнцу, благоухала природа, кругом стрекотали кузнечики, парами и в одиночку, словно старые миниатюрные самолеты, над землей важно кружили стрекозы. Стояла середина болгарского лета. Воздух был напоен нежным запахом трав, распустившихся в цветении растений, созревающих плодов и немножко парным, терпким теплом, издавека, от самого солнца нисходившим на землю. Я шел шаг в шаг за Кирилом и, ничего не видя перед собой, вспоминал «Марицу».

— У Кралева особая привязанность к томатам,— говорил мне Спас Генчев.— Где бы он ни был, что бы ни делал, а для томатов время найдет. Не бывает дня, чтобы Кралев не заглянул к нам. Вовлечь институты в производственную сферу — его идея.

— А что дает вам новая форма работы?

— В одном только хозяйстве, в «Первомае» мы круглый год выращиваем гидропонным способом томаты и огурцы на площади более трех гектаров. Почва там — каменная вата, питание растений капельное, а сам процесс полностью автоматизирован. Вручную мы закладываем только рассаду да снимаем урожай. За всем остальным следит автоматика. Эксперимент длился два года. Теперь такие теплицы, в том числе и полиэтиленовые, строят все клоновые хозяйства. На эксперимент мы затратили триста тысяч валютных левов. Мог ли раньше институт позволить себе такую роскошь?

— Наверное, нет,— согласился я.— И понять вашу радость можно.

— В наших фирменных магазинах томаты продаются круглый год,— продолжал ученый секретарь.— Правда, зимой они еще дороги — два лева. Но кому надо, тот может купить, да и цены постепенно будут падать.

— За счет увеличения парниковых площадей?

— Плюс научные достижения,— подтвердил Генчев.

— Ваши исследовательские работы финансирует НПК? — адресовал я тогда вопрос Спасу Генчеву и Христо Симиичеву.

— Половину бюджета мы обеспечиваем сами,— ответил Христо как человек более посвященный в эту проблему.— От любого новшества, дающего экономический эффект, институту отчисляется от двадцати до сорока процентов.

— Кто же покрывает остальные расходы?

— Три миллиона левов ежегодно выделяет НАПС. Помогает нам и научно-производственный комплекс. Кроме того, до четырех пятых работ мы ведем по общенациональной программе, привлекая в свой бюджет двадцатипроцентные отчисления от прибылей...

Погруженный в размышления, я и не заметил, как мы очутились возле трактора. Успел еще вспомнить, как оба ученых размышляли тогда о назначении науки. Христо говорил, что конкретные, такие, как у них, близкие связи института с практикой, заставляющие больше заниматься внедрением, сводят на нет фундаментальные исследования, и может случиться, что внедрять будет нечего. Его же коллега Спас Генчев возражал, взмахивая своей пышной белой шевелюрой, утверждая, что в институте надо создать два направления: одно исследовательское, второе занятое внедрением.

— Ученые бывают разные,— рассуждал он.— Одних по складу ума больше тянет к глубоким исследованиям, к чистой науке, других — к внедрению...

Перед нами вырос толстоватый, рыжий, скорее светло-рыжий, высокий тракторист с голубыми глазами, смахивающий на немца или шведа. Он был в шортах и сандалиях на босу ногу. Во рту, свисая к подбородку, торчала сигарета. Выбритый, чистый, будто только что из-под душа, он протянул руку, бросив традиционное «Добре дѳшли».

Я ответил на приветствие, а в голове мелькнуло: «Может быть, такими были фракцийцы?»

Тракторист перекрыл канал, дожидаясь, чтобы повысился напор воды. Метров на пятьдесят вправо от нас, поблескивая на солнце, тянулся смятый полиэтиленовый рукав. Другой его конец исчезал в агрегате трактора. (Вот о каких трубах говорил Стамболиев!) Минут через десять «фракцийца» включил насос. Вода хлынула в мягкий полиэтилен, от метра к метру деляя его упругим, твердым, как камень, и круглым. Над каждой бороздой водопроводом засверкали струи воды, которая, не успев плеснуться на землю, исчезала в ее трещинах.

— Заждалась земляница влаги,— вздохнул рядом со мной Кралев, и глаза его, следя за появлением новой струи у нового рядка, отходили, теплели, и когда, изогнувшись дугой, самая последняя струя, хрустально сверкнув, ушла в землю, он улыбнулся и выдохнул: — Все! Получилось!

Он крепко пожал руку «фракцийцу», и мы спешно покинули поле. А трактор продолжал тарактеть.

Ту же самую картину наблюдали мы и на другом поле. Разница была лишь в том, что на новом месте полиэтиленовый рукав отливал цветом воронова крыла, а сам тракторист не походил ни на немца, ни на шведа. Но и там прозрачные струи воды, изогнувшись параболой, мягко журча, поили землю. Потом на «фиате» Коля перебросил нас к следующему массиву изумрудных помидорных завитушек, а затем еще к одному.

В дороге Кирил рассказал, что эксперимент с поливом по-новому, вместо бороздкового, задуман был им еще в прошлом году. Выгода (и большая) этого метода в том, что экономится вода и всхолмленную землю поливают, избегая затоплений. Трактор, оросив один участок поля, может переехать на другой. В пять раз увеличивается производительность.

Затяя Кралева полностью себя оправдала. На следующий день заблаговременно припасенные дефицитные полиэтиленовые рукава срочно были доставлены на помидорные плантации всех девяти стопанств. Слух об эксперименте быстро разнесся по окрестностям. В НПК имени Георгия Димитрова из Пазарджика приехал взволнованный директор АПК вместе со своими бригадами, чтобы те собственными глазами увидели, как надо поливать по-новому.

В тот день к обеду мы оказались в Цалапице, севернее Пловдива, в бригаде Николы Касабова. «Фиат» пересек древнюю дорогу «великого переселения народов» (ныне это не очень широкая, комфортабельная трасса, соединяющая Восток с Западом), свернул на асфальтированный проселок и минут через десять притормозил у грядок. К нам подошел тот самый Касабов, о котором я слышал в институте «Марица». Слово за слово, и Никола рассказал о своей «модельной» хозрасчетной бригаде.

— Когда создавалась наша бригада, от крестьян буквально отбоя не было,— говорил он.— Тогда в нее вошло пятьдесят наиболее добросовестных и квалифицированных работников, в том числе двенадцать механизаторов. Бригаде передали две комбинированные машины, снабдили элитными семенами. Потом мы получили севалки точного высева, томатуборочный комбайн советского производства. Таким образом, наша «модельная» бригада оказалась обеспеченной по высшему классу.

— А отдача? — не удержался я от вопроса.

— Спустя год нас в бригаде осталось тридцать. Без такого обеспечения поле, на котором мы работаем, потребовало бы не менее трехсот пар рук. В прошлом году один наш механизатор произвел продукции на семьдесят две тысячи левов, а в рядовой

бригаде этот показатель не выше десяти тысяч. Через четыре года мы подойдем к цифре сто тысяч.

Вспомнив о том, что мне рассказывали о «модельной» бригаде в институте, я спросил у Касабова:

— Почему вы, ученый человек, стали бригадиром? Разве в НПК мало специалистов с высшим образованием?

— Специалистов много,— ответил он,— но работать по-новому они не научились еще. Мы считаем, что разработчики должны сами внедрять свое новшество и на ходу, в действии, в налаженном виде передать его практикам. Так надежнее. Экономический эффект от науки в этом случае наступает на два-три года раньше. А мы все заинтересованы в конечном результате...

Встреча с Николаем Касабовым напомнила мне о его однофамильце Господине Касабове, с которым я встречался в горах. Он бригадир или, как называют в Болгарии, предводитель чабанов. Ему лет за шестьдесят. Стройный, с молодежьим лицом, искрящимися глазами, с сильным голосом, потому как он запросто, по-чабански гордо пел тогда в Родобах и его песня широко разносилась вокруг.

— Мы в горах выращиваем семенной картофель,— говорил он,— без единого грамма минеральных удобрений. Высаживаем там, где недавно были овечьи кошары, площадки для отдыха овец, а их самих через месяц-другой перегоняем на новое место.

В горах я пробовал настоящую болгарскую брынзу, меня угощали кислым овечьим молоком, которое можно резать ножом. Но лучше об этом не вспоминать: теперь ни такой брынзы, ни такого молока почти не производят. Чабанское крупное горное село Лилково давно опустело и домашним способом эти продукты редко кто готовит, на потоке же они получают несколько другими. В горах и дойка овец теперь проблема. Ведь этим здесь занимаются чабаны, в основном мужчины. А их становится все меньше и меньше: молодежь в горы не идет. Теперь пробуют применять машинную дойку. Но бедные животные шарахаются, с трудом отдают молоко...

От Пловдива до Лилково шестьдесят километров. Из них более двадцати в горах, притом труднопроезжих.

— Лет пятнадцать — двадцать назад в горах построили бы асфальтированную дорогу,— рассуждал Господин Касабов,— и сегодня не было бы этих проблем: ведь почти у всех чабанов машины, но туда разве проедешь?

Где бы я ни был, с кем бы ни встречался, какие житейские проблемы ни вставали бы предо мной, я так и не изменил своего мнения о том, что болгары — это прежде всего прирожденные огородники. Они не мыслят своей жизни без помидоров — помидоры, без фасоли и перца, без зелени, без персиков, яблок, винограда, которые заменяют им мясо, хлеб, молочные и другие продукты. Болгары успешно выращивают до сорока различных сортов только овощных культур и в свое время (вскоре после Октября 1917 года) приезжали к нам на юг России и Украины, а потом в Молдавию делиться опытом.

Слушая рассказы знающих людей, я и сам вспомнил широко известную в Узбекистане историю, связанную с болгарскими огородниками. Русский генерал Скобелев по окончании освободительной русско-турецкой войны пригласил в Ташкент на поселение группу болгарских земледельцев. Они выращивали редкие для тех мест овощные культуры к генеральскому столу, обучали своему искусству местных жителей, оставив о себе добрую память. Одна из трамвайных и автобусных остановок, притом недалеко от центра Ташкента, и по сей день называется «Болгарские огороды».

Но важно не только то, что болгары умеют выращивать. Важно, что они научились хранить, перерабатывать овощи, в достатке обеспечивая ими себя, отправляя многие тысячи тонн на экспорт. В одном из домов Брестовицы я попал в подвал и был поражен количеством закупоренных стеклянных банок.

— Была тысяча,— сказал хозяин.— Осталось штук триста. От сентября до сентября как раз хватает.

И еще. За всю мою поездку не было дня, который не напомнил бы мне о помидорах. И не столько о них (за столом или в поле), сколько о производстве, реализации, выгоде — выгоде и т. д. С середины лета и по сентябрь Болгария завалена помидорами. Ныне один только НПК «Пловдив» производит их в полтора раза больше, чем вся Болгария до сентября сорок четвертого года. Цена порой падает до пятнадцати стотинок за килограмм, но ненадолго и не везде. Кстати, летом цены на рынках Болгарии управляемые, а если точнее — регулируемые. В зависимости от сезона, наличия продукции в государственном секторе, складывающейся конъюнктуры — на рынках вывешиваются объявля-

ния, предупреждающие о том, что цены не должны быть выше указанных в тот или другой день. 15 июля, заехав на пловдивский рынок, я прочел такое объявление: «Не выше! Помидоры — 20 ст., перец зеленый — 35 ст., картофель — 25 ст., черешня — 80 ст., огурцы — 35 ст., капуста — 38 ст., персики — 40 ст., виноград — 60 ст.»

И что интересно. Ныне при ручном возделывании среднегодовая себестоимость килограмма помидоров — 9—12 стотинков, а средняя продажная цена с учетом промышленных закупок летом выше 16 не поднимается.

— Значит, помидоры дают хорошую прибыль? — спросил я у Кралева, когда мы разглядывали кусты на грядках в бригаде у Николы Касабова.

— Да, — ответил он. — И прибыль эта должна возрастать.

— А за счет чего?

— Внедрение промышленной технологии позволит снизить себестоимость килограмма до восьми-десяти стотинков, цена же пока останется прежняя (пусть даже снизится), но и тогда НПК на каждом килограмме заработает две стотинки, а это почти полтора миллиона левов чистой прибыли... Мы неплохо подрабатываем и при заготовках помидоров с приусадебных участков. Дело поставлено так, что ни один помидор не должен пропасть. Ни один! Если крестьянину в тягость везти выращенный урожай на рынок, он отдает его нам. У него одна забота: сообщить в стопанство время, когда его продукция будет собрана для отправки. Наши люди с нашим транспортом заберут все в течение получаса. Мы платим крестьянам за килограмм от восемнадцати до двадцати стотинков...

Есть еще один путь сбыта излишков сельхозпродукции. Ее охотно берут рестораны, общественное питание. Об этом мне рассказывал Коля Кюльханов, директор гостиницы «Тримонциум» в Пловдиве, один из старейших работников «Балкантуриста», мой давний болгарский товарищ. Он не первый год директорствует и знает, что такое сервис, тем более когда и ресторан и гостиница отданы иностранным туристам. Рестораны в Болгарии не первый год пользуются правом прямых закупок продуктов, будь то у крестьян или у кооперативов. Удобно, выгодно, а главное — вкусно. Те же помидоры прямо с грядки идут на стол.

Труд земледельца у болгар в почете. И ни яблоко, ни груша, ни огурец не будут брошены, их обязательно соберут и вовремя доставят потребителю. Для этого у НПК есть надежные экономические рычаги, стимулирующие крестьянский труд. Один из них — рубль, как мы говорим дома, а у болгар — лев. К примеру, за килограмм помидоров, собранный до десяти утра, крестьяне получают по две стотинки (в виде надбавки к основной оплате), а после десяти — по одной. «Подумаешь! — скажет кто-нибудь. — Какая разница?» Оказывается, большая. Плод, сорванный утром, в тот же день попадет на рынок, в магазин, и будет продан на 2—3 стотинки дороже, а тот, что позже, ночь простоят в корзинах или ящиках и потеряет ряд своих качеств или, как говорят, утратит товарный вид. Материально заинтересованы здесь и грузчики и водители, доставляющие продукцию потребителю. Ежедневно в сезон они могут дополнительно заработать по 5—6 левов.

В середине лета, когда Болгария завалена помидорами, начинается и экспортная отправка. Первые самолеты и первые составы в том же июле следуют и в Москву. Мы порой с нетерпением ждем появления болгарских помидоров, а приобрета за полтора рубля килограмм, нередко разочаровываемся. Они кажутся безвкусными, у них отсутствует запах.

В тот день, когда мы расстались с «модельной» бригадой Николы Касабова, Кралев решил показать мне отправку одного из первых составов с помидорами в Советский Союз, но по пути намеревался заглянуть еще в несколько мест: Стамболийски и Златитрап.

Мы снова пересекли дорогу «великого переселения народов», на сей раз, правда, с большой задержкой. После обеда увеличился поток машин с иностранными номерами. Оказалось, что тем летом тысячи иностранных рабочих (в основном турки) были уволены с фабрик и заводов ФРГ, Италии и со всем своим скарбом, нагроможденным поверх крыш автомобилей, возвращались домой.

За магистральной дорогой мы сразу оказались в стопанстве Радки Налбантовой и, проехав несколько километров, остановились у пшеничного поля. Назавтра транспортно-механизированный отряд переезжал в район Перуштыцы, и Кярил решил уточнить, выполняется ли установленный график. Пять комбайнов «Нива», словно огромные од-

ноглазые циклопы, пожирали тугие, крупные колосья вместе с желто-коричневыми прямостоячими стеблями.

Мы прошли по стерне и застыли. Комбайны громадой проплывали мимо нас, выбрасывая на землю помятые и пожеванные стебли, превращенные в золотисто-желтую солому, проплывали, откидывая далеко назад хвостатые космы пыли, урча, цокая, щелкая тысячекратно, слегка покачиваясь и мерно жужжа. Кое-кто из комбайнеров узнал Кралева. Я замечал взмахи рук.

С пшеничного поля мы отправились в город Стамболийски, на комбинат «Витамина». Там я воочию увидел, как интеграция в сельском хозяйстве влияет на развитие других отраслей, в частности, консервной. Ведь интеграция позволяет рационально использовать не только рабочую силу, основные фонды хозяйства, но и все средства. Каждый аграрно-промышленный комплекс, централизовав капитальные вложения на техническое усовершенствование своих предприятий, может вдвое, втрое эффективнее использовать их. Примеров тому в НПК немало. Реконструкцию на «Витамине» практически произвели за год. Теперь этот комбинат вместо 120 может перерабатывать 600 тонн яблок в сутки.

Увеличилась мощность линий — увеличится и прибыль. Значит, можно планировать молодые сады, расширение производства на других предприятиях, освоение новых земель и т. д. Для НПК важно не распылять средства. Но не менее важно и другое: вложить их в один объект, быстро завершить работы, чтобы немедленно окупить затраты и получить прибыль. Не исключено, что та же реконструкция «Витамины» в других условиях могла растянуться на три-четыре года...

Для Кралева то был пройденный этап. В наш приезд его интересовал иной вопрос. Через неделю-другую сюда потоком пойдут помидоры, готовы ли их здесь принять? Весной задумали переоборудовать бункера и вместо них сделать огромные приемные чаны с водой, куда бы ссыпались «красные яблоки», а также переделать питающие транспортеры, чтобы меньше было придавленных, «пришибленных», как говорил Кирил, помидоров.

Работа кипела вовсю, шла к концу. Кирил заглядывал в каждый угол, залезал в каждую дыру, а специалисты включали и выключали транспортеры, шнеки, чтобы доказать: день-два еще уйдет на отладку оборудования — и подавай сюда продукцию. Директор комбината Петр Динов и его заместитель Иван Павлов были того же мнения. Все же Кралев покидал комбинат посуровевшим.

— Приеду в девять утра, — сказал, прощаясь. — Завтра — день генеральной приемки оборудования...

Златитрап — центр стопанства, где не первый год директорствует Радка Налбантова, — лежит на юг от города Стамболийски. Шурша по асфальту, «фиат» вез нас к горам. Справа вдоль шоссе сколько могли увидеть мои глаза тянулись яблони и яблоньки с множеством поблескивающих на солнце плодов. Деревья растут густо, крона небольшая, роста невысокого, а яблок больше, чем листьев. Передо мной был новый, самый современный способ образования кроны у яблоневых садов — грузбек. Пальметные сады уходят в прошлое. Другую сторону дороги охраняют могуче-грузные, толстоствольные, зеленые разлапистые черешни, дней десять назад освободившиеся от плодов. За ними шли слившиеся в одну огромную нежно-зеленую крону персики, увешанные оранжевыми, зреющими глодами. Нас со всех сторон окружала нежная, благодатная природа.

Радка Налбантова встретила гостей на сортировочно-погрузочной станции. Среднего роста, лет за пятьдесят, русоволосая и круглолицая, с загорелым лицом и лучистыми серыми глазами, с неизменной улыбкой, она без лишних слов повела нас на сортировочный пункт.

Только здесь я впервые узнал, что помидоры на экспорт (если речь идет о железной дороге) отправляются зелеными-зелеными. На самолеты идут, конечно, спелые, красные. К огромному, легкой конструкции зданию с широким козырьком от дождя и высоким пандаусом автомобиля в тот день один за другим подвозили помидоры. В зал они поступали по транспортеру. Их принимали сортировочные устройства, снабженные электроникой, и разграничивали по установленному стандарту. Затем проворные женские руки (немало было и школьниц) аккуратно укладывали обернутые бумагой плоды в легкие, почти воздушные деревянные ящики, которые автокары доставляли в пудмановские вагоны, к полновесному железнодорожному составу.

Выйдя из цеха сортировки, я услышал, как Радка сказала Кралеву:

— К вечеру мы загрузим весь состав. Тепловоз уже заказан.

— Этот отойдет, подадим следующий,— отозвался тот.— Ежедневно отсюда должен уходить один состав, а с аэродрома один самолет. График — жесткий.

Я вмешался в их деловой разговор:

— А когда состав попадет в Москву?

Ответила Радка Налбантова:

— Дня через три-четыре. Бывает и через пять.

— А сколько времени уходит на созревание помидоров?

— Примерно неделя.

Уезжая с сортировки, я взял с собой четыре экспортных стандартных помидора, из тех, что дня через четыре будут в Москве, решив проследить, на какой стадии они лишаются своих качеств. Из четырех плодов один был с покраснением внизу, второй с желтизной, два совершенно зеленые.

В «Ламартине» я положил помидоры на письменный стол у окна на бумажных салфетках. Мне в той комнате оставалось жить дней пять. И все пять дней в ней стоял легкий, еле уловимый запах только что разрезанного помидора, хотя я их не резал, а только наблюдал за ними. Через пять дней тот, который был с желтизной, прилично покраснел, а тот, что с покраснением, полностью созрел. Два других пересекли со мной границу. Один оказался «пришибленным» и на десятый день начал портиться. Последний продержался двенадцать дней. Он был еще сочный, красный, упругий. Но... без запаха. Когда именно помидор лишился своего специфического аромата, я не смог определить, не зная, видимо, методологии проведения подобного эксперимента. Мне ничего не оставалось как позвонить на овощную базу. Там тоже не смогли ответить на мой вопрос.

Тогда я спросил:

— Сколько дней уходит на доставку помидоров от болгарского поля до нашего потребителя?

— От двенадцати дней до трех недель,— ответили мне.

— До трех недель?!

— ?!

Впервые я увидел Кирила Кралева за год до нашей встречи. Увидел на газетной фотографии. С первой полосы газеты «Отечествен глас» на меня смотрел подтянуто-стройный человек в светло-сером костюме и белой тенниске. Высокий лоб, открытое лицо, свободно откинутая назад голова говорили о простом нраве генерального директора НПК «Пловдив». Рядом с ним стояли десятка два мужчин в белых рубашках с коротким рукавом. Был июль 1981 года.

Газета рассказывала о семинаре специалистов сельского хозяйства, партийных и научных работников округа Пловдив. На нем рассматривался опыт бригадной организации труда. По завершении работы семинара ОАПС подвел итоги деятельности бригад за предыдущий год, выдав лучшим денежные премии. В их числе оказались четыре коллектива из сел Ягодово, Златитрап, Брезово и Куклен. Село Куклен в газетной статье поминалось несколько раз.

Не зная Кралева, я никак не связывал это село с его именем. А оказалось, что треть своей жизни он провел в Куклене, там и родился. Отец и мать — огородники, виноградари.

О поездке в Куклен мы договорились с Кирилом на второй, кажется, день нашего знакомства. Он сам назначил ее на среду, 14 июля. Но дня за три до этого его известили, что именно 14 июля в Софии состоится отчетно-выборная конференция Болгарской торгово-промышленной палаты (Кралев член ее руководящего совета).

— В Куклен поедете одни,— сказал накануне Кирил.— А меня ждите из Софии после конференции. Приеду часам к четырем...

В тот же день с самого утра шефство над нами взял Рангел Бухалов, заместитель Кралева, и увез нас в город Первомай, на консервный завод «Партизаны».

— Там находится одно из старейших предприятий Болгарии,— рассказывал в дороге Бухалов.— Оно оборудовано машинами и автоматическими линиями отечественного производства, быстро растет, расширяется. За двадцать лет вдвое увеличило свои мощности. Большинство продукции идет на экспорт...

Старинный городок Первомай так же чист, прибран и красив, как и вся Болгария. Он стоит на правом берегу Марицы. Ворота завода «Партизаны» выходят на одну из

рядовых магистралей, а за воротами — розы. Розы в Болгарии везде: в садах, на клумбах, в скверах и парках, при дороге, вдоль домов и улиц.

Директор завода Димитр Вулджев, самый молодой среди пяти директоров НПК, проработал в «Партизанах» без малого четырнадцать лет. Он был и мастером, и начальником цеха, и главным инженером. Ему хорошо известна ситуация временных рабочих на консервных заводах и огромные потери от нее. Потери в двух измерениях — моральном и экономическом. Морально страдают те, кто приходит на завод весной, а потом уходит поздней осенью. Даже если тебе работа по душе, если ты зарекомендовал себя с наилучшей стороны, если трудолюбие — главная твоя черта.

Все равно приходится покидать завод. Ничего не поделаешь: сезон кончился. Год от года экономический ущерб предприятий не уменьшался. Нехитрая порой специальность, но подучить человека надо. Значит, расходы неминуемы. Хотя в следующий сезон на завод из числа тех, кто обучен, вернутся немногие. Снова учи, и снова эксплуатировать оборудование будут не мастера-профессионалы, а недоучки. Опять убытки. Но главный ущерб — психология сезонника, самая примитивная психология: бери больше, кидай дальше. Димитр Вулджев рассказывал обо всем этом без тени уныния, весело, оживленно. Секрет его оптимизма стал понятен несколько позже: для завода «Партизаны» это дело прошлое. Именно здесь впервые внедрен метод асептического хранения сырья — персиков, черешни, помидоров, различных соков, разработанный в Институте консервной промышленности.

— Дело это очень выгодное с любой стороны, — объяснял Вулджев. — Помидоры, огурцы, яблоки — дольками или целые — хранятся в естественном виде, в собственном соку и могут быть реализованы тогда, когда на них поднимется спрос.

Знакомясь с работой завода, автоматических и полуавтоматических линий, на которых происходит подготовка посуды и сам процесс консервирования, мы с интересом разглядывали окрашенные в серебристый цвет огромные танки-раструбы, каждый из которых может вместить до тридцати тонн ценного сырья. Завод их уже загрузил и с декабря по май перейдет на использование того, что там хранится. Стоя у поднятых высоко над землей чанов, я услышал из уст Бухалова такой рассказ:

— В пятьдесят девятом году небывало уродилась черешня. Не знали, куда ее девать. Комбинат «Витамина» затоварился в течение нескольких дней. У его ворот собралась десятка полтора машин, веренища подвод, груженных черешней. Груз, сами понимаете, деликатный, в высшей степени нежный. Но завод все равно не может его принять. Какая разница — где он пропадет: в кооперативе или на заводском дворе. Улаживать конфликт в Пловдив срочно прилетел министр пищевой промышленности. Прямо с аэродрома поехал в Стамбулийски, на комбинат. Там «нажал» на директора, и тому ничего не оставалось, как принять сорок тонн черешни. Через несколько дней директору пришлось утвердить акт на списание тех же сорока тонн по статье естественных потерь. Комбинат фактически выплатил деньги кооперативам за хороший урожай. Сам он внакладе тоже не остался. Деньги ему перевело министерство за то, что комбинат... не сумел переработать ту черешню. Потребителю же досталась дырка от бублика.

Первым, дослушав Рангела Бухалова, заговорил Димитр Вулджев:

— Нас никто не может заставить ни принять, ни тем более списать хотя бы полтонны сырья. У нас хозрасчет.

Бухалов вставил:

— И само село не пойдет на то, чтобы спихнуть свою продукцию и умыть руки.

— Невыгодно? — уточнил я.

— Да, именно невыгодно, — подтвердили оба собеседника. — Никому выгоды не будет: ни заводу, ни крестьянам.

— Мало вырастить сырье — помидоры, яблоки, персики, виноград, огурцы — и сдать его заводу, — начал объяснять Вулджев. — Крестьянину важно, чтобы мы не только приняли его продукцию, но и полностью переработали, а потом продали, отправили потребителю. В НПК все звенья взаимосвязаны конечным результатом, конечным продуктом, экономически связаны.

— Заводу «Партизаны» часть сырья идет с полей НПК, а часть с соседнего АПК «Первомай» имени В. Коларова, — рассказывал Бухалов. — С «Первомаем» у нас твердый договор на поставки сырья. А НПК сам заинтересован (АПК, собственно, тоже) поскорее получить деньги за проданную банку огурцов или бутылку «Нектара». Заработная плата в агропромышленном комплексе и в нашем НПК, а практически во всех

подразделениях хозяйства, образуется как остаток после отчислений в нормативные фонды и после платежей государству.

— Значит, все черпают из одного котла?

— Получается, да.

— И «ложки» у всех одинаковые?

— Нет, у каждого своя, — возразил Димитр Вулджев. — Каждый получает согласно трудовому вкладу. При хозрасчете обезличка в оплате немислима. Она вредна. — Вулджев замолчал, считая, наверное, что тема разговора исчерпана, взглянул, чуть откинув назад голову, на ряды серебристых танков-раструбов, потом на часы и пригласил на чашку кофе.

Рангел Бухалов по пути в столовую, стремясь дополнить Вулджева, сказал:

— В нашем НПК хозрасчет во всех подразделениях (агротехническая служба, ремонтная база, завод по производству тары), на консервных комбинатах, на предприятиях обслуживания (строители, автотранспорт) и в девяти специализированных основных производственных хозяйствах.

— А бригады, фермы, цеха?

— Они, как и ряд других подразделений, которые я уже называл, работают по принципу внутрихозяйственного расчета...

В уютной заводской столовой разговор возобновился. Казалось, Бухалов, грузный, среднего роста мужчина, остался неудовлетворен своими собственными объяснениями. Поэтому, сев за стол и отдышавшись от ходьбы и летней духоты, он начал:

— Зарплата по НПК, вся вместе и каждого человека в отдельности, величина результативная. Что заработал, то и получи. Никакие волевые решения не могут ее изменить или повлиять на нее, так же как и на нашу хозяйственную деятельность. Кирил Кралев и подчиненный ему Совет НПК — полноправный хозяин. Фонд заработной платы целиком зависит от доходов НПК. Поэтому нам невыгодны снижения утвержденных показателей. Наоборот, мы заинтересованы в напряженном плане. Сами понимаете, чем выше доход, тем больше денег перепадет рабочим комплекса.

— Но сбои бывают? — уточнил я. — Внутрихозяйственный расчет, наверное, не застрахован от этого? Вот село Златитрап, к примеру. Там хозяйство специализируется на томатах, яблоках и персиках. Допустим, что хозяйство не сумело вырастить того количества томатов, которые Совет НПК заложил ему в план, и тем самым подвело консервный завод, не обеспечило его сырьем...

— Если завод простаивал по вине стопанства, оно и возместит убыток. И наоборот, если завод сгноит какую-то часть сырья, то заплатит из своего кармана. НПК, как когда-то министерство (вспомните сорок тонн черешни), не возьмет на себя эти расходы.

— А если те же томаты или яблоки не были своевременно вывезены с поля, из сада и утратили определенное качество?

— Рассчитываться придется автопредприятию. Оно лишится части премии. Если агрохимслужба недодаст удобрений и урожайность снизится, она и будет внакладе.

Ситуация прояснилась. В рамках комплекса за чужой счет не проживешь. Выходит, себя же и накажешь. Если урожай недостаточен, надо своевременно закупить сырье на стороне. НПК, кстати, имеет право на определенный процент закупок в других районах страны. А если избыток урожая? Тогда его надо активнее реализовать, продать побольше готовой продукции в необработанном виде. После консервирования это вторая статья дохода в агропромышленном комплексе. В те магазины, которыми располагает НПК в Пловдивском округе, овощи поступают прямо с поля.

Получив деньги за реализованную продукцию после расчетов с государством и крестьянами, НПК создает свои фонды: регулирования цен и оплаты труда, развития, технического совершенствования, социально-бытовых и культурных мероприятий, резервный и т. д. Важно, что агропромышленным комплексам стала доступной (в широком понимании) централизация капитальных вложений, чего из-за своей маломощности не могли делать кооперативы. НПК заинтересован в том, чтобы вложенные средства окупались как можно быстрее. И они окупаются. Эффективность капитальных вложений в НПК возросла втрое по сравнению с аналогичным периодом на той же территории в бывших кооперативах.

Пока разговор касался только тех организаций, которые объединились в научно-производственный сельскохозяйственный комплекс. Но НПК сам торгует своей продукцией, выполняет госпоставки, вступает в деловые контакты со снабженческими ор-

ганизациями, например, с заводами, производящими стеклотару. Поэтому, когда наша машина уже покинула «Первомай», я спросил у Бухалова:

— В каких отношениях с НПК снабжающие организации?

Он не задумываясь ответил:

— Отношения жесткие, без поблажек. Если снабженцы не выполнили обязательств, они выплачивают нам неустойку и возмещают полную сумму понесенного убытка, вплоть до валюты.

Сказанное Рангелом Бухаловым подтвердило мои собственные выводы: самостоятельный агропромышленный комплекс может существовать даже при самой лучшей, идеальной внутренней системе только тогда, когда его действия подкреплены не просто словами, а государственным законом об ответственности смежников.

В Куклен мы приехали около двух часов. Село лежит на взгорье. Земли вокруг — виноградные. Внизу — сады, пшеничные поля, плантации томатов, болгарского перца. На улицах тишина, пусто. Проедет случайная машина, как та, на которой мы прибыли, и снова тихо. Лето. Мутновато-ласковое солнце. С одной стороны — зеленые горы, с другой — разноцветье полей. Идет страда. Созрели раннесредние томаты, огурцы, накануне убрана черешня, пора табак сушить, косовица в разгаре. Крестьяне обрабатывают виноградники, сады, вносят удобрения, поливают — в общем, все в поле, все заняты важным делом. Люди выходят в поле по субботам и воскресеньям, зная, что зимой стопанство возвратит им выходные дни сполна. В селе тишина, а в полях гул стоит.

В конторе, на втором этаже массивного дома, что в центре села, нас поджидали Димитр Петров, немолодой, серьезный на вид мужчина, директор стопанства (как потом выяснилось, друг детства Кирила Кралева, его соратник по многим достойным делам в селе и его округе), Иван Куртев, главный бухгалтер, и Янко Штерев, старый партиец, председатель местного отделения Отечественного фронта.

Димитру Петрову под шестьдесят. Он года на три-четыре старше Кралева. Петров говорит тихим, спокойным голосом. Мы слушаем. Я уверен, он скажет что-то и о Кралеве.

Петров вспомнил, как нелегко создавали ТКЗХ, как агитировали людей. Он был секретарем партийной организации, затем председателем сельского совета, а Кирил председателем ТКЗХ. Жили в одном доме, снимали по квартирке. Родительские старые колибы (почти шалаши) рушились, зимой снег в постель залетал, да и места всем не хватало. По ночам вместе объезжали на лошадях свои «владения». Врагов кооперативного строительства хватало: они жгли общее добро, стреляли в активистов, воровали.

— Хорошо, что все позади, — вздохнул Петров. — Молодежь, привыкшая к роскоши, не очень верит в то, что мы пережили. «Смешно, — говорят иногда молодые. — Вставать среди ночи, чтобы проверить, все ли на месте, все ли в порядке!» Иная жизнь, другая психология. Хозяйство наше большое, — продолжал Димитр Петров. — Девятьсот гектаров зерновых, да тысячу — виноградников, тысяча триста — сады, четыреста — овощи, свое животноводство. Восемь сел входит в наше хозяйство. Когда-то на этих землях было пять или шесть кооперативов.

Я решил кое-что записать, но не успел, Иван Куртев положил передо мной справку о деятельности хозяйства за первую половину года. Пробежав глазами все четырнадцать ее граф, я обратил внимание на крайний столбец справа, где стояло «сальдобульдо». Напротив позиции «Среднесписочный состав работающих» (полторы тысячи человек) стоял прочерк. Значит, по плану и по отчетности за полугодие изменений не произошло: никто не покинул села, не приехал и никто новый. В следующей графе «Наличие основных производственных фондов» — тоже прочерк. В одной графе я обнаружил «минус 2,5 процента». Но это оказался хороший минус, положительный. На сто левов реализованной продукции хозяйство затратило на 2,5 процента меньше средств, чем в среднем по НПК. Остальные позиции шли с плюсом по отношению к установленному плану и к среднему показателю по всему комплексу.

Слушая Петрова, я поглядывал на колонку цифр и, главное, на столбец сравнений. Рентабельность составила 155 процентов, фонд зарплаты вырос на 17 процентов, главное же, на 25 процентов больше произведено и почти на столько же больше реализовано продукции.

Улучив момент, я спросил у Димитра Петрова:

— Как хозяйство рассчитывается с крестьянами и какой (основываясь на данных за первое полугодие) ожидается средний заработок в этом году?

— Каждый месяц в течение года мы авансируем своих работников, — начал директор. — У нас есть нормативные ставки от ста восьмидесяти до двухсот пятидесяти левов. Механизаторам, животноводам мы платим (если говорить упрощенно) по высшей, а разнорабочим — по низшей ставке. Дополнительную оплату произведем, когда год завершится и будут подведены итоги. Средний заработок поднимется в этом году очень резко, левов на двадцать — тридцать. Мы расширили площади под овощи, яблоки, виноград, значительно увеличили поливные земли. А людей, как вы видели, не прибавилось. Рассчитываем, что крестьяне получают в среднем двести тридцать — двести сорок левов в месяц.

— О процентах дополнительной оплаты наперед говорить, наверно, рано?

— Можно, конечно, но приблизительно. Лучше вспомнить прошлый год.

— Он чем-то характерен для вашего хозяйства?

— У нас еще не было года без дополнительной оплаты. А в прошлом сезоне она поднялась до двадцати процентов, точнее, выплачивали надбавку от нуля до двадцати процентов.

— Специалистам сельского хозяйства в том числе?

— Нет. У них этот показатель немного выше — от нуля до двадцати четырех.

— А если план по хозяйству не будет выполнен?

— Специалисты получат девяносто процентов заработка. Внакладе останутся и многие крестьяне. Но некоторые из них по завершении года даже в этих условиях могут получить надбавку за хороший труд. У нас действует главный принцип: люди работают на себя, создают общую массу прибыли. Кроме того, мы широко используем натуральную оплату — зерно, ракия, вино, яблоки...

— К примеру, сколько конкретно?

— Зерна крестьяне могут получить в дом до полутоны; иногда выходит и больше. Ракии — три литра на сто заработанных левов, вина — по шесть литров, яблок — по шесть килограммов.

Наша беседа с Димитром Петровым подходила к концу, когда дверь его кабинета распахнулась и на пороге показалась высокая фигура Кралева.

Я ни разу не видел Кралева усталым. Даже в этот день он был свеж, жизнерадостен, хотя поднялся около шести утра, три часа потратил на езду в Софию и обратно да четыре-пять часов провел на конференции.

По привычке кто-то спросил:

— Как прошла конференция, Кирил?

— Хорошо, но могло быть лучше.

Почти с первых дней знакомства я подметил у Кирила одно свойство. Он не жалел своих усилий, знаний, опыта, привлекал окружающих его специалистов, науку и хотел, чтобы любое новое начинание в поле, в селе или в области экономики хозяйства получалось не хуже, а лучше, чем где бы то ни было: у соседа либо в окружном центре. И у него выработалась своя мерка, свое отношение к тому, что происходило в НПК. И, к примеру, на вопрос: «Как дела со строительством дома культуры?» — неизменно отвечал: «Хорошо, но могло быть лучше».

«Могло быть лучше» — кредо жизни Кирила Кралева.

Ему исполнилось восемнадцать лет, когда Красная Армия освободила Болгарию от фашизма. Восемнадцать было Кирилу, когда произошло Сентябрьское восстание. За плечами пять классов, курсы земледелия, работа в поле. Рядом с отцом, с братьями и сестрами. У них было около полугектара земли, немного овец. Он уже приготовился к жизни в родительском ветхом доме, но после 9 сентября судьба распорядилась по-иному. Кирила послали в сельскохозяйственную гимназию города Пештера, а оттуда спустя три года он уехал в Пловдив и поступил в Высший сельскохозяйственный институт. Мечта Кирила сбылась.

Жили, правда, бедно. Родилась у них с Марией дочка Славка, и в Добруджу, завершив учебу, уезжали уже вдвоем. В хибаре, которую снял Кирил, недоставало воды, не было электричества. Работал в МТС агрономом. Через год его сделали уполномоченным Министерства земледелия, и семья переехала в Пловдив. Потом он возглавил Управление земледелия Пловдивского Народного Совета. Кирил не уверен, что то был рост молодого специалиста. Он поднимался по служебной лестнице. Его передвига-

ли, не дав опомниться, с одного места на другое. Настоящий рост начался позже, не карьера, хотя бы и в хорошем смысле, а рост — обогащение опытом, новыми знаниями.

Произошло это в 1956 году. Стали создавать ТКЗХ. Зашел как-то в кабинет к Кириу — ему шел тогда уже тридцатый год — секретарь окружного комитета партии Георгиев. Он ведал вопросами сельского хозяйства и, будучи уроженцем Куклена, знал Кирила давно и хорошо.

— Кирил, в Куклене первый ТКЗХ формируется, — сказал он.

— Наконец развернемся, — поддержал его хозяин кабинета.

— Но нет председателя, — садясь напротив, как бы между делом бросил секретарь.

— Найдем, ерунда. Свято место...

— Два схода провели в селе и бесполезно, — перебил Георгиев. — Кооператива не получилось. — Помолчал, внимательно разглядывая Кралева. — Тебя народ требует... Просит и требует...

Три пятилетки председательствовал Кирил в своем родном селе...

Видно, дорога все же притомила немного Кралева. Он шумно сел за длинный стол, налил стакан «Швепса» и опрокинул залпом.

— Душно. Жар-ра. О чем разговор? Чем хвастается мой старый друг Димитр Петров? — спросил.

— О том, как живем. Как будем жить, — отозвался Димитр.

Кирил вытаскивал белоснежный, но смятый (видно, не раз прибежал сегодня к его помощи) носовой платок, отер им высокий, смуглый, с глубокими залысинами лоб и как человек деятельный, как настоящий хозяин предложил:

— Надо показать гостю наше село. Желаете?

Скрипнули, грохотнули почти одновременно отодвигаемые стулья, и кабинет опустел.

Я еще не знал, куда ведет нас Кирил. Мы шли по центральной, совсем как в городе, улице сначала в одну сторону, потом развернулись и двинулись в другую, разглядывая добротные, сплошь кирпичные двухэтажные крестьянские дома-крепости. Не знал, но полностью доверился Кралеву.

— Колибы, — иронично произнес Кирил. — Конец шестидесятых. Время создания АПК. Поворот в экономике. Начало переустройства сел. Новое строительство... А главное, по-новому стали смотреть на землю и на человека, что на ней работает... Теперь дела идут хорошо. О натуроплате Димитр рассказывал?

— Немного.

Кралев помолчал, разглядывая пышные бутоны роз. Нагнулся к одному, сладко вдохнул аромат.

Кирил человек энергичный, но вместе с тем степенный, несуетливый. Сплеча не рубит. Смеется негромко. Улыбается мягко, хитровато. В разговоре не частит. С ответом не торопится.

— Хорошее дело натуроплата, — поднимаясь от куста, сказал Кралев, — живое. Были трудодни, вспомните, ушли в прошлое. Потом миш-маш: трудодни и денежная оплата. Теперь только деньги. А натуроплата как была, так и осталась. К ней большой интерес имеется. Я о таком случае расскажу. После пятнадцати лет председательствования я решил уйти в науку и ушел. Меня отпустили. Но примерно через год вернули назад. Ошиблись, говорят. Ты больше нужен на производстве, чем в науке. Я поработал немного председателем окружного кооперативного союза¹, потом меня утвердили заместителем председателя областного Народного Совета. В апреле семьдесят первого года состоялся апрельский Пленум ЦК БКП. Он обсудил проблему дальнейшего развития сельского хозяйства и поставил перед страной такую задачу: углублять концентрацию и специализацию на селе, перевести все земледелие на промышленную основу, внедрить на полях современную технологию. Товарищ Тодор Живков выдвинул идею: земля — наука — конечный продукт. Он первым увидел необходимость в интеграции на селе. Началось создание аграрно-промышленных комплексов. Я как заместитель председателя исполнительного комитета окружной народной власти участвовал в разработке программы АПК. Однажды наш председатель спросил меня: «У тебя есть предложение на АПК в Хисары? Кого будем рекомендовать директором?» «Пока нет», — ответил я. «Тогда поезжай сам, — решительно сказал он. — Вопросы есть?» «Нет». И я поехал. Время было нелегкое. Ведь мы только брались за АПК. Вскоре непредвиденные события

¹ Сейчас в Болгарии повсюду вместо кооперативного союза вопросами сельского хозяйства занимается НАПС — Национальный аграрно-промышленный союз.

произошли в АПК «Первенец», куда входило шестнадцать сел, в том числе и Куклен. Там перегнули палку, считая, что крестьянам не обязательно иметь свой огород. Достаточно того, что они работают на общественной земле. Встал вопрос о замене руководителя. Меня вызвали в окружном БКП. На следующий день в «Первенце» состоялось собрание. Меня выбрали директором АПК. Я вернулся в Куклен. О том, нужна ли крестьянам и в каком количестве собственная земля или нет, возле дома или подальше от усадьбы на совместном огороде, дискуссии велись на разных уровнях: в крестьянской среде, среди специалистов, в руководящем звене. Нашлись горячие головы, которые предлагали вместе с огородами отменить и натуроплату. «Пусть, как горожане, получают деньги, а потом идут и покупают все, что им надо». Я тогда спросил у одного руководящего товарища: «А будет ли это «все», если мы лишим крестьян собственной надела?» Он опомнился, ответил: «Вопрос не простой, надо еще подумать». Время необоснованных решений ушло безвозвратно. Крестьяне остались с огородом и с натуроплатой, а главное, у них не отняли веру в землю и в право на заработок. Через два года после того, как я стал работать в «Первенце», почти не уродились яблоки. Окружной комитет партии принял решение, запрещающее закупать яблоки на стороне, за пределами АПК (прежде такое допускалось). Узнав об этом, я понял, что крестьяне лишатся натуроплаты: не получат ни яблок, ни ракии. А у нас были деньги, и мы могли закупить тысячу тонн яблок по более высоким, чем заложено в плане, ценам. Стоило раз согласиться, отказаться от натуроплаты, думал я, и покатилося бы... Поехал в окружном, стал доказывать, что решение опрометчивое. Ничего у меня не вышло, не доказал, значит. Начал упрашивать разрешить нам в виде исключения закупить яблоки на стороне, в Варненском округе, где я уже договорился и где нас ждали. Разговор прошел впустую. Спустя два дня я снова туда явился. Пришел с новыми аргументами. Нажимал на доверие к руководителю, на специфику крестьянской психологии, на ее особую чувствительность к переменам, к нарушению обязательств. Ведь в договоре записано, сколько и чего должны получить люди в конце года... Знаете, убедил.

Миновал современный, почти воздушный, торговый центр, построенный в конце 50-х годов колхозный Дом культуры с толстыми серыми стенами, большими окнами и с тремя массивными колоннами в центре, мы и не заметили, как оказались на краю Куклена. Кралев подвел нас к высокому дому — стены глинобитные, неровные, завалькованные, грубой мазки, выбеленные. Крыша черепичная, провалившаяся. Окна маленькие, подслеповатые.

— Колиба, в которой я родился, — сказал Кралев, — была в сто раз хуже. А в этой когда-то жил учитель, и его дом считался лучшим в селе.

Я оглянулся. За спиной рядами, на небольшом друг от друга расстоянии, заполненным фруктовыми деревьями, виноградником, огородными грядками, выстроились на верхней, центральной и нижней улицах десятки добротных домов. Их вместе с огородами обрамляли великолепные узорчатые заборы и заборчики с изящно выполненными деревянными или металлическими калитками. К домам проложены асфальтовые дорожки, а во всю улицу тянулись длинные ряды акаций и каштанов. Дома из кирпича. Фундаменты высокие, бетонные. В цокольных этажах — у кого подвал хозяйственный, у кого — гараж зимний. Дома с верандами, иные — с балконами. Крыши шиферные либо черепичные. Окна просторные, рамы белые. Я еще раз взглянул на дом бывшего учителя. Он выглядел самым бедным и невзрачным. Его время ушло.

Кралев хотел, видно, еще что-то добавить или показать и предложил пройтись вверх, за село. Все охотно согласилось. Было приятно, что он никуда не спешил, расслабился и с ним можно было обсудить кое-что.

Разглядывая несколько минут назад колыбы, как иронично отозвался Кралев, я обратил внимание, что окна вторых этажей почти во всех домах не гляделись, будто ослепли, на них висели темные шторы, не пропускающие ни света, ни постороннего взора. Шагая рядом с Кирилом, я спросил:

— У болгар принято строить дома в два этажа?

— Знаешь, у нас было так заведено: дети жили с родителями, внуки тоже. Все переходило от одного рода к другому. Поэтому когда-то строились дома со многими комнатами, а теперь — двухэтажные. Второй этаж для детей и внуков. Сейчас это большая тема.

— Она больше затрагивает родителей?

— Да, старшее поколение. Что-то не так, не совсем так получается, как полагалось бы. Кажется, все у нас хорошо, да не так, как хочется. Вы видели, в каких домах

живут наши кооператоры? От села к селу благоустроенные дороги, асфальт проложен в каждую бригаду. У людей машины, мотоциклы. Из Пловдива в любое село ходят рейсовые автобусы. В Куклен, например, автобус прибывает каждые полчаса. До Пловдива сорок минут езды. В каждом селе свои читальни, кинотеатры, бани, магазины, не говоря уже о современных школах, детских комбинатах. В Куклене есть сельское профессионально-техническое училище.

Кирил замолчал, а Димитр Петров, который шел чуть поотстав, бросил нам в спину:

— Там его жена, Мария, директором работает.

Для меня это была новость, притом неожиданная. Я знал: жена у Кирила вместе с ним кончила сельхозинститут, мог допустить, что она работает в одном из учреждений Пловдива. А она, оказывается, каждый день трясется в автобусе в Куклен и обратно. Не велико расстояние, и все же на дорогу уходит час с лишним. Мария, как и Кирил, влюблена в свое дело, в людей, ее окружающих. Начала с преподавателя, стала директором. Училище теперь одно из лучших. Разве его можно оставить? Она всю жизнь трудится. С Кирилом вырастили двух дочерей.

— Славка наша замужем,— подхватил Кралев,— живет в Софии, окончила технический институт, работает инженером. Вторая родилась во время полета Терешковой, и ее без колебаний нарекли Валей. Она настояла на своем, не послушалась нас, поступила в театральный институт и тоже уехала в Софию... Квартира в Пловдиве опустела.

Последние слова Кирил произнес со вздохом, приглушенно, и я услышал в них родительскую боль. Такая же участь постигла родителей из Куклена, Брестовицы, других сел.

— А ведь условия у нас хорошие,— продолжал Кирил.— Ясли-сад, если оба родителя работают в комплексе,— бесплатно, если только один — за полстоимости. Мест всем хватает. У нас двадцать пять домов просвещения и двадцать профсоюзных домов культуры, двадцать восемь библиотек, сто пятьдесят коллективов художественной самодеятельности... Десять процентов надбавки даем тем, кто работает у нас после средней школы... Пенсию платим всем без исключения. Живешь в селе, но никогда не работаешь в кооперативе — все равно получи прожиточный минимум...

Кралев, медленно шагая по асфальту, называл и другие цифры. Сказал, что почти каждый второй кооператор пользуется услугами столовых НПК, где для всех сорокапроцентная скидка. Полуобернувшись ко мне, он вдруг спросил:

— Скажите, что еще надо человеку для хорошей жизни? — И зашагал быстрее. Через минуту он повернулся и добавил: — Все это нам дала новая организация труда. Но я сейчас хочу сказать о другом. О миграции молодежи из села. Что им не хватает, молодым-то? Кажется, только птичьего молока нет.

Кирил снова замолчал и несколько минут шел наморщив лоб, с плотно сжатыми губами.

Никто из нас на вопрос Кралева не ответил. Шли молча.

— Жизнь у вас хорошо налажена,— не выдержал я.

— А люди все равно в город уходят,— будто не соглашаясь со мной, проронил Кирил.

— Пригородная зона ведь...

— Сейчас расстояние переселению не помеха,— твердо произнес Кралев.— Но у нас есть села, где этот процесс приостановлен, «по нулям», как говорят. Ни отъезда, ни приезда, ни убавки, ни прибавки

— И давно это произошло?

— Недавно. Но фундамент заложен давно.

И Кирил рассказал, как закладывался этот фундамент. Чтобы поосновательней казалось, он даже привел слова Сократа: «Земля дает обрабатывающему ее все необходимое для жизни, прибавляя еще и то, что услаждает существование... Земледелие является источником и благосостояния и удовольствия».

— Вот с этого и начинали,— вздохнул Кралев от нахлынувших воспоминаний,— с разъяснений. За дело по-настоящему взялись, когда наш кукленский кооператив разбогател, когда привели в порядок угодья. Конечно, и до этого, до нас, люди работали как следует. Правда, до ТКЗХ здесь были маленькие кооперативчики да частные огороды. Семьи разрастались, огороды делились между сыновьями. Самый большой доход получали от черешни и вишни. Бедная земля! На ней возникло несметное количество

делянок, участков, заплат. Виноград, вишня, яблони, зелень всякая, пшеница росли вперемежку. Обрабатывали делянки вручную. От сорняков отбоя не было. Их породила жуткая чересполосица. Сначала взялись за землю. У нас в кооперативе имелось два трактора. Это в первые годы. Однажды на закате, когда село отходило ко сну, я вывел двух трактористов на окраину и спросил: «Видите ту черешню?» — «Видим». — «А эту близкую, что у виноградика?» — «Тоже видим». — «Проведите мысленно линию между ними и все деревья вправо от нее, к горам, корчуйте и вывозите». Один тракторист отказался, и я не стал его принуждать. А второй вывел трактор в поле и начал корчевку. На следующий день на меня посыпались жалобы. Приезжало несколько комиссий. Но я стоял на своем. С той землей, какая была тогда, мы и пяти лет не прожили бы. Тракториста дважды за лето избивали. Но задуманное дело все-таки двигалось. На следующий год начались посадки виноградишков. Потом выбрали место под сады. Определили, где будем сеять пшеницу. Начали внедрять перец, томаты. Лет через семь-восемь крестьяне сами убедились в полезности всей работы. Кооператив обзавелся различной техникой. Из Советского Союза к нам пошли трактора, автомобили, стали поступать удобрения. От культуры в земледелии мы перешли к культурному переустройству в селах. Один раз собрали правление кооператива и стали решать: кому из крестьян в первую очередь построить новые дома? какой проект выбрать для читальни, детского сада, бани и пекарни? Денег у нас было достаточно. Люди сами сделали свое хозяйство передовым и богатым. Да у них появились и личные сбережения. Вот тогда мы с Димитром Петровым (он был у нас секретарем партбюро, потом председателем сельсовета) пришли к мысли, что человек при деньгах долго в селе не удержится, сбежит в город. Не сам, так дети его. Партийная организация и правление кооператива во всеуслышание объявили о коренном переустройстве сел, особенно центрального — Куклена, где находилось правление. Приступили к строительству ряда зданий культуры и быта, начали кампанию за чистоту и гигиену. Тогда по всей стране за это брались. И все же подходящий момент, наверное, был упущен. Молодежь, почувствовав тягу к городской жизни, начала покидать села. А мы свою программу не свернули. Наоборот, расширили, усилили ее. Взялись за строительство торгового центра, в каждый дом провели воду, электричество, заасфальтировали улицы, подъезды к усадьбам. В то же время потребовали от кооператоров навести чистоту в домах, садах, установить порядок на огородах. Крестьяне, видя, как меняется облик села, сами стали сносить старые постройки, возводить новые. Кооператив охотно помогал им строительными материалами. В середине шестидесятых годов наш ТКЗХ по культуре и гигиене села занял первое место в стране. Мы получили большую премию. К нам приезжало тогда много гостей.

...Преодолев километра два серого, стерттого асфальта, мы свернули влево и оказались на импровизированной смотровой площадке. Распластавшись красной черепицей по садам да огородам, под нами лежало село. А впереди, слева и справа открывалась чудесная панорама.

— Впервые я приходил сюда, — поделился воспоминаниями Кирил, — когда тракторист начал корчевать черешни. Мне хотелось представить будущее кооперативной земли. А теперь взгляните, — он повел рукой. — Красотища!

От подножья гор простирались поля пшеницы, обширные густые сады, строгие ряды виноградишков, грядки томатов, перца. Справа белизной новостроек выделялся Асеновград. Налево ленты и ленточки дорог вязали между собой с десяток сел, уходя к городам Крычим, Стамболийски и теряясь в дымке. Прямо по курсу, как сказал бы моряк или летчик, виднелся Пловдив.

На одном из его холмов стоит Алеша. Отсюда он еле заметен. Серой точкой обозначен на фоне сине-голубого предзакатного неба. А вблизи грандиозен — «Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги...», как написал поэт Ваншенкин. Высота гранитной фигуры одиннадцать метров. Бывая в Пловдиве, я не раз задумывался о происхождении самого названия памятника. Привлекал к этому делу пловдивских писателей, собрав несколько легенд и гипотез.

Вспоминают, что в дни открытия этого монумента в Пловдиве демонстрировался фильм «Падение Берлина», в котором Борис Андреев исполнял роль советского солдата по имени Алеша. Говорят, что когда шел монтаж памятника, участник болгарского Сопротивления Митофи Витанов на одном из блоков жирно написал имя своего русского друга времен войны Алексея Скурлатова, разысканного им недавно на Алтае с помощью журналистов, что... Есть версия о болгарской матери, которая, обознавшись, бросилась на шею советскому солдату с криком «Алеша!», не зная еще, что ее единст-

венного сына-партизана уже нет в живых. Потом много дней кряду она ходила по городу и у каждого встречного спрашивала: «Вы не видели Алешу? Вы не знаете, где Алеша?», а когда памятник воздвигли, поднялась на холм Освободителей и сказала: «Здравствуй, Алеша!»

В праздник пионеры несут цветы «для Алеши», выпускники школ традиционно встречают восход «у Алеши», влюбленные назначают свидание «у Алеши». Молодые семьи после загса приезжают к нему на поклон. Алеша давно стал символом древнего города.

Рассматривая издали Пловдив, не дома, не памятники, а почти игрушечные кубики, ковер зелени, я не заметил, как Кирил подошел ко мне слева, взял за руку и сказал:

— Знаешь, мы сами виноваты в том, что молодежь не остается в селе.

Мне казалось, что я ждал от Кралева этих слов и наконец дождался. Потому что сам часто думаю об этом, пытаюсь найти причину, докопаться, что называется, до корней явления. Недавно мне случилось побывать в селе, где родился. Вспомнил, как после уроков мы спешили домой помочь матери по хозяйству. Узнал, что колхоз построил новую прекрасную восьмилетнюю школу, пошел туда с радостью. Но разочаровался, увидев, как верзилы-акселераты шестого — восьмого классов гоняются друг за другом по коридорам, обрывая пуговицы, бросаются учебниками и портфелями.

— Им же надо куда-то энергию девать, — сказала мне моя старая учительница.

— Надо, — поддержал я. — Другой вопрос, куда?

Она согласно кивнула головой.

Вернувшись в Москву, позвонил в Министерство просвещения СССР: по стране сотни восьмилетних сельских школ на продленке... Значит... Нет, не стану обобщать. И так все ясно. Мы порой даже не замечаем, где теряем. До семнадцати лет говорим сыну или дочери: «Учись. От тебя мы ничего больше не требуем! Ты только учись!» Так говорят на пионерском сборе, а потом на комсомольском собрании. Выходит полная абстракция. Выучится человек, а как жить, не знает, потому что ни разу почти не видел, как отец дрова рубил или ведро воды из колодца поднимал либо как мать садилась корову доить. Не брал такой молодец в руки грабли или тяпку. Не видел он и переживаний родительских, их волнений, если что-то в доме не ладилось или, наоборот, удача какая приходила...

Журналисты и писатели ныне нередкие гости за рубежом. Вернувшись, мы часто рассказываем, реже пишем, но пишем — сам это делал, — как семилетний Джон из маленького американского города Оверлендпарк или такая же крошка Мери из Лимптона, дочь достаточно обеспеченных родителей зарабатывают на разноске газет десятку-другую долларов в год. И никто не видит в этом ничего зазорного. Так, обычное явление. Для кого мы это пишем? И для чего?..

Кирил слушал меня внимательно. Он какое-то мгновение думал, а затем сказал:

— Я знаю немало молодых семей, где у ребенка первое слово не мама или папа, нет, а слово — дай. Живут сейчас люди хорошо. Когда-то жили бедно. И теперь, словно в укор кому-то, говорят: «Мы жили плохо, так пусть наши детки поживут!» Все зло в нас. Мы сами виноваты. Создали прямо-таки тепличные условия от яслей до десятилетки и выше. Видели, наверное? Зайдешь в детский сад и только слышишь: «Дай! Дай! Подай, няня, поднеси!» Слущком заорганизовали воспитание детей, лишаем их самостоятельности, а потом жалуемся.

Кирил, казалось, выговорился. Отошел в сторону и устремил свой взгляд на поля, на Пловдив. Мне почудилось, что он никак не может успокоиться, что и вторую дочь отпустил в Софию, не удержал при себе, вот и переживает.

Я вспомнил разговор с Димитром Петровым и ту справку, которую мне вручил бухгалтер Къртев: «Никто из шести сел стопанства за полугодие не уехал и никто новый не приехал». Положение стабилизируется. Чтобы хоть как-то успокоить Кралева, я напомнил ему об этом, сказав:

— Ты ведь многим помог остаться в селе...

— Не в этом дело, — возразил он. — У нас в прошлое уходит старинный уклад жизни. Мое поколение росло и жило с родителями, а следующее захотело самостоятельности. Но кроме города, городских условий жизни мы в свое время, именно в свое, ничего другого им не смогли предложить. А старики наши все же на что-то надеются. Они держат наготове чистенькими, убранными вторые этажи в своих домах и ждут, что внуки к ним когда-нибудь да приедут...

Солнце, зависнув у гребня горы, клонилось к западу. Я еще раз посмотрел вниз. В долине кипела жизнь. Из «Первенца» в Перуштицу, мигая желтым неонам, двигался уборочно-транспортный отряд. Под Ягодово вслед за пресс-подборщиком шел трактор с плугом. На наших глазах появилась черная полоска среди желтого жнивья — начался подъем зяби. Людей почти не видно. В садах, на винограднике дымят, пылят трактора, по дорогам, обгоняя конные повозки, бегут автомобили, над полем скошенной недавно люцерны взметнулись тугие струи, бросаемые вверх и подальше от себя поливальными машинами... На карте, созданной самой природой, можно отыскать еще множество действующих лиц и примет современной жизни, но пора возвращаться.

Куклен проехали медленно, разглядывая его сонливую летнюю умиротворенность. В центре от остановки медленно отошел рейсовый автобус «Куклен — Пловдив». Навстречу ему из-за поворота выполз трактор «Белорусь» с прицепом Коля сбросил газ.

Выехав за село, мы узнали, что здесь у Кралева есть свой огород, виноград, вишни — семь соток. Остановились. Поглядели издали.

— Выйду на пенсию, построю свой дом,— сказал Кирил, когда Коля прошелся по скоростям и разогнал машину.

Под конец поездки я предложил Кралеву составить портрет современного болгарского крестьянина. Кирил, поколебавшись, согласился:

— Законченного портрета может не получиться.

— Тогда хотя бы набросок. Начнем с характера?

— Уживчивый, уравновешенный, нрава веселого... — начал Кралев.— В нас развили и чувство собственного достоинства. Болгары терпеливые, отзывчивые.

— Натура у болгар добрая и широкая,— поделился я своими наблюдениями.— Они старательны, бережливы. Вы хоть и южный народ, но невозмутимость и сдержанность ваших людей поражают.

— Я бы отнес последние два качества к недостаткам,— спокойно заметил Кирил.

Я с этим не соглашался. Невозмутимость болгар мне приходилось наблюдать не раз, и она мне импонировала. В магазинах торговля обычно идет неспешно. Пусть соберутся десять — двадцать человек, но никто и голоса не подаст, что продавец работает медленно. Подсчет денег он ведет на листке бумаги по старинке, по-школьному — в столбик. Бывает, что продавец провожает до самой двери своего знакомого. Но покупатели на это не сетуют. Как не возмущаются и пассажиры в переполненном автобусе или на остановках, ожидая запаздывающий трамвай. Болгары не выплескивают своих эмоций. В общественном транспорте редко вступают в разговоры.

— Как одеваются ныне болгары? — задал я следующий вопрос.— Чего больше — национальных костюмов или современной одежды?

— Национальные костюмы больше в праздники. Когда-то болгарин имел один наряд. В нем работал, шел на свадьбу, в церковь... Теперь у каждого два-три костюма. Большинство стараются отставать от моды.

— Мы достаточно много говорили в Куклене о молодежи. Но один вопрос остался невыясненным: сколько детей в болгарской семье?

— Да, верно, говорили, и немало. Но основного я, пожалуй, тогда не сказал. Лет с семи-восьми наши дети должны трудиться. Посильно, конечно. Надо приучать их к работе с малолетства, если мы серьезно озабочены будущим общества. Отвечу и на твой вопрос. В среднем в крестьянской семье у нас двое-трое детей. Раньше доходило до пяти-шести.

— Выросла культура крестьян?

— Не без того. Но и социальные условия в этом помогли. Может быть, на людей психологически влияет то, что дети покидают родителей, уезжают в город.

Получалось, что мы невольно вернулись к проблеме города и села, к той самой, которую обсуждали в Куклене, и я пробовал возразить Кралеву:

— Так ведь то, о чем ты говоришь, диктуется законом развития общества, производительных сил, прогрессом.

Кирил сомневался:

— Это скорее мода, чем необходимость, плюс наше упущение...

К обеду я, Кирил, Надя и Йордан оказались в Брестовице, в доме у старого виноградаря Славчо Дамянова. Кралев (словно не было никакого перерыва в разговоре и бесед в садоводческом институте совсем на другие темы) с некоторой укоризной, как мне показалось, сказал:

— У Славчо две дочери. Обе живут в Пловдиве.

Славчо подтвердил кивком головы и бодро, даже энергично сообщил:

— Оба зятя с машинами. Частенько приезжают за зеленью, за вином да консервами, в общем, за разными продуктами.

— Хорошо устроились,— крикнул Кирил.

Дом у Дамянова огромный. Двухэтажный, кирпичный. Когда мы приехали к нему, он не знал, куда нас посадить. Показал и подвал и подворье. В подвале, и это я видел не впервые, стояло множество закупоренных банок. Хозяйка дома Мария рассказала, что в консервировании крестьянам здорово помогают НПК и НИИ консервной промышленности.

НПК заботится о крышках для личного сектора, институт разрабатывает инструкции консервирования для домохозяек.

Дамянов показал свой огород. Возле дома у него четыре сотки — здесь помидоры, укроп, салат, лук, перец, огурцы, первостепеннейшая зелень, идущая ежедневно к столу, да в поле, за селом — еще десять. Оттого, что огороды у домов небольшие, села в Болгарии компактные.

Село Брестовица издревле славится виноградарством. И дед Дамянова и отец жили на этой земле. В доме у Славчо мы стали дорисовывать портрет болгарского крестьянина штрихами из его биографии. Я собирался расспросить хозяина о заработках, семейном бюджете...

В годы войны Славчо снабжал партизан одеждой и продуктами. После 9 сентября служил в Народной Армии. Добровольно записался в парашютисты. До сих пор помнит неизгладимое впечатление свободного падения. Совершил за год тринадцать прыжков. Страшно ли было? Нет, не ощущал. После армии два года был секретарем РМСа — Революционного молодежного союза, его избрали в Околийский совет, потом он стал бригадиром. И по сей день с землей не расстается.

Сейчас в бригаде у Славчо сто человек. На двухстах гектарах они выращивают виноград — культуру выгодную, прибыльную. Закупочные цены в зависимости от характеристик доходят до сорока стотинков за килограмм, а себестоимость выше пятнадцати не поднимается. Может быть, не к месту, но важно, что три четверти своего вина болгары отправляют на экспорт. Бригада у Дамянова специализированная. Несмотря на это, у нее есть и свои помидорные грядки, и картофельное поле, и своя оранжерея в Брестовице.

— Какова у вас средняя зарплата? — поинтересовался я.

— В год с премиями и надбавками зарабатываю три тысячи двести левов.

— Из чего складывается семейный бюджет?

— Мой заработок и оклад жены. Мария получает в месяц семьдесят левов. Она работает продавцом в магазине. Ну и доход от огорода со счетов снимать нельзя.

— Как вы расходуете свой заработок?

— На зелень я не трачу ни копейки. Обед берем в столовой НПК со скидкой — это пятнадцать левов в месяц. Телефон, радио, вода, телевизор, свет, отопление — сто пятьдесят левов. Каждый год отдыхаем, путевки обходятся девяносто левов. На книги, газеты уходит сто — сто десять в год. Читаю полтора-два часа вечером. Больше времени нет. Люблю стихи Христо Смирненского и прозу Ивана Вазова. Ходим с Марией в кино. Ежемесячно восемьдесят левов отшоу в сберкассе. На одежду, обстановку ежегодно уходит четыреста — пятьсот левов. Гостей принимаем и сами в гости ходим.

Прикинув, мы установили, что Дамянов тратит в год до двух тысяч.

— Примерно такая же сумма у вас остается неизрасходованной?

— Вроде бы так. Но вот в прошлом году мы справили свадьбу младшей своей, Васке. Вместе с родительским подарком она обошлась нам в четыре тысячи левов.

— А сколько же гостей было на свадьбе?

— Шестьсот человек...

Кирил, сидевший рядом, толкнул меня локтем в бок: видишь, мол, как мы балуем нынешнюю молодежь.

— Да, расходы эти не всегда запомнишь. Деньги как вода... Текут, текут. На Трифона Зарезана еще уходит левов двести. Мы любим принимать гостей в этот свой виноградарский праздник.

О Трифоне Зарезане я слышал не раз. В день этот виноградарь имеет право... напиться.

Трифон Зарезан давно утратил религиозное начало, рассказывали мне болгары, но сохранил многие черты древней обрядности. В Болгарии эту дату отмечают как День виноградаря. Трифон Зарезан — народный праздник подрезания лозы, освобождения природы от зимней спячки, от морозов. Он неизменно отмечается 14 февраля.

— Задолго до февраля, — рассказывал Кралев, — всегда возникает одна и та же проблема. Каждый год мы долго ищем белого ослика. Раньше их было много, а теперь никто не держит. А без него и праздник не в праздник.

— Кирил, — вставил слово Дамянов, — ты забежал вперед.

— Да, праздник начинается, конечно, не с этого. А с хороводов и песен. На центральной площади Брестовицы выходит все село, все гости, а их приезжает тысяч тридцать.

— Нет, Кирил, в прошлом году было под сорок, — поправил Славчо.

— Да, значит, собираются люди в центре села, а для Брестовицы это самый большой сельский праздник, и идут к Белому полю. Во главе шествия на белом ослике, размахивая огромными ножницами, едет молодой виноградарь. На голове у него — веночек из виноградной лозы. Он в национальном одеянии. За ним следует расписная красочная телега с бочкой вина. Ее окружает молодежь. В руках — подносы с хлебом, виноградом, яблоками, грушами, луканкой (колбасой). На специальном подносе покоятся виноградные ножницы. Шумная, веселая процессия с песнями, музыкой, танцами, достигнув Белого поля, замолкает. Все уже знают: кто-то должен слово держать. В прошлом году был Иван Пернев, наш директор по растениеводству, в позапрошлом я выступал. Итоги, задачи... и веселье до утра. Все поют народные песни, танцуют, приглашают гостей и вместе с ними подрезают лозу. Юноши вином из фляг поливают виноградник и обрезают лозы, желая растению приносить богатый урожай.

— А помнишь, как выбирали царя виноградарей в каком-то там году?

— В семьдесят восьмом. И он кричал тогда Трифону: «Трифон, где ты?» А тот в ответ: «Под кустами, меня не видать за гроздьями!» И царь пожелал ему: «Пусть же тебя вовсе не будет видно».

— Хороший царь был, — удовлетворенно хмыкнул Дамянов, — богатый урожай нам предрек.

— И вот ритуал подрезки закончен. — Кирил посмотрел на часы: пора, мол, и честь знать. — Снова песни, танцы. Всех угощают вином, особенно гостей. Пьют из ведерок, фляг, больших деревянных кружек. Люди возвращаются в село и разбредаются по домам. Гости разъезжаются, а жители села пьют и гуляют до самого вечера, если не всю ночь. Один раз в году можно...

На Трифона Зарезана женщины не пьют. А мужчины, хоть и имеют прево, не напиваются. Они ведут себя как истинные дегустаторы. Получая удовольствие, головы не теряют. В Брестовице до сих пор вспоминают, как году в семьдесят пятом к ним приезжал шведский журналист. Говорят, он появился тогда на празднике с одной целью: увидеть пьяных болгар. Вышло наоборот — болгары увидели пьяного шведа...

Мы покидали Брестовицу поздно вечером. Проехали мимо читалиште. Здание светилось всеми своими окнами. Когда я впервые столкнулся с этим помещением, не сразу уловил — библиотека это или клуб. И все-таки это клуб. Болгары очень чутки к старинным народным традициям, укладу. Читалиште — национальное, типично болгарское учреждение культуры. Оно родилось во времена оттоманского ига и призвано было сохранить и продлить жизнь национальной культуры.

В читалиште Брестовицы — богатая библиотека, своя художественная самодеятельность, танцевальные кружки, национальный оркестр... Там можно посидеть за чашкой кофе с соседом по дому, с другом или с кем-то из родственников.

Есть в селе кинотеатр, торговый центр, школы, больница. Село электрифицировано. В каждом доме — телевизор, радио, да не просто радио, а радиосистемы. Мотоциклы, стиральные машины, автомобили уже давно не редкость... Современное, совершенно цивилизованное село, а скорее — гибрид города и села. Так постепенно по мере роста культуры села, повышения благосостояния его жителей на прежнем фундаменте рождался агрогород. И произошло это на глазах одного поколения. На глазах Славчо Дамянова.

Было бы несправедливо считать Брестовицу таким цветком посреди пустыни. В Верхнефракийской долине таких сел много. У них крепкие корни, как у самой виноградной лозы, что дала им жизнь. В предгорье с виноградной лозой связано все: и сама жизнь, и история, и традиции, и обычаи, и уклад, меняющиеся от века к веку.

В начале 80-х годов сельское хозяйство Болгарии претерпело еще одну, но незначительную реорганизацию. Во-первых, произошло некоторое разукрупнение хозяйств АПК. Теперь все подчинено принципу: на территории АПК расположен один сельский Совет и один партийный комитет с правами райкома. Во-вторых, во всех АПК, а их в стране около 300, введен новый порядок оплаты труда по конечному результату.

— В НПК,— говорил Кралев,— подобной реорганизации не произошло, так как наше хозяйство создавалось именно на таких принципах. Мы лишь ввели оплату за конечный продукт повсеместно. Главное, со всеми вытекающими из новой системы оплаты труда последствиями: премированием и депремированием, улучшением социальной структуры.

Чтобы полнее представить себе НПК «Пловдив», я попросил Кралева назвать некоторые показатели работы в 1981 году.

— У нас тридцать тысяч гектаров пахотной земли и двадцать шесть тысяч работников,— начал он.— Сверхплановую прибыль НПК я уже называл — двадцать два миллиона левов. В прошлом году произведено сельскохозяйственной продукции на сто четыре миллиона, а промышленной (в основном консервов) — на двести двадцать миллионов левов. За год мы вырастили триста восемьдесят тысяч тонн овощей, фруктов и винограда.

Разговор с Кралевым о показателях невольно затронул проблему управления.

— Справляетесь? — поинтересовался я.

— Техника помогает,— спокойно ответил Кирил.— Я покажу вам сегодня наше АСУ.

Оказавшись под вечер в селе Первенец, мы собственными глазами увидели еще одно любимое детище Кралева.

Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) он начал создавать, став председателем АПК с помощью Института кибернетики в Киеве. К нему не раз приезжали академик В. М. Глушков и другие украинские специалисты. Летом 1982 года автоматизированная система управления находилась в процессе наладки.

С ИВЦ нас знакомил его директор Сребро Писанов. Стоило спросить те или иные данные о деятельности НПК, и программист нажатием кнопки выводил на дисплей подробнейшую информацию: от числа бригад до средней зарплаты за прошедшее полугодие, от количества произведенной продукции за июнь до прибыли, полученной в том же месяце.

Специалисты оснастили электроникой три уровня: нижний — несколько сот бригад, ферм, цехов, от которых исходит первичная информация; средний — информационные устройства стопанств, институтов, промышленных, торговых, обслуживающих предприятий НПК; и верхний уровень — сам Центр.

— ИВЦ — великое дело,— говорил Писанов.— Некоторые его системы уже функционируют. Мы, к примеру, получаем полную информацию об использовании машинно-тракторного парка, о производстве продукции, ее реализации, складировании. У нас в НПК триста семьдесят пять складов. В любой момент можно получить полную выкладку об их содержимом.

— Раньше,— вмешался Кралев,— ко мне часто обращались из стопанств за помощью: то нужен дополнительный трактор, то автотранспорт, то еще какая-нибудь техника. Сейчас этого нет. Потому что лента об использовании машинного парка идет не только мне, но и директорам хозяйств, а если надо, то и бригадиру.

Еще одно очень важное техническое новшество обнаружил я в НПК буквально в первый день, едва только сел в «фиат» и познакомился с Колей Александровым. Это — радиотелефон. Коля тогда же сообщил Кралеву: «Гости в машине. Выезжаю от „Ламартина“».

Телефонной и радиотелефонной связью обеспечены все хозяйства комплекса, заводы, обслуживающие предприятия, транспортно-уборочные отряды, отдельные бригады, автомашины главных и ведущих специалистов НПК.

Аграрно-промышленные комплексы в Болгарии, получая лучшее техническое оснащение в виде АСУ, современной оргтехники, выходят на новый уровень управления хозяйством. Не зря говорят: чтобы управлять — надо знать, чем управлять.

Из многих составляющих складывается успех НПК, который вот уже шестой год работает с большой прибылью. Тут многое значит и характер генерального директора и его увлеченность. И отношение к делу специалистов, и техническая оснащенность полей, здоровье и настроение крестьян, ухоженность детей, культура и гигиена и даже

такая мелочь, как телефон. Главное же состоит в том, что сельское хозяйство Болгарии прочно опирается на новый, устойчивый экономический рычаг — коллективный подряд и оплату по конечному результату.

Более десяти лет шли в Болгарии к новой форме управления сельскохозяйственным производством, к сегодняшним результатам. За минувшую пятилетку производительность труда на селе возросла на 41, а зарплата крестьян — на 28 процентов. Резко сократилось количество убыточных хозяйств.

Жаль расставаться. Но отведенные на поездку дни кончились. Раскрутилась до конца программа-пружина.

Я прожил рядом с Кирилом Кралевым две недели. И как нередко случается, мы с ним сдружились. Но несмотря на это, лишь к концу поездки я узнал, что Кралев — Герой Социалистического Труда. Ни разу не надевал он свою звездочку и ни разу не обмолвился о ней, хотя и был повод. Он член ЦК БКП. И тоже умолчал об этом. Несколько удивленный, я поинтересовался:

— Почему не сказал?

— Ты же не спрашивал. Спросил бы — сказал.

Теперь, кажется, о Кириле Краleve — генеральном директоре научно-производственного комплекса «Пловдив» имени Димитрова — я знаю все...

Пловдив — София — Москва. 1982 год



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Б. М. КЕДРОВ

★

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ ОБРАЗ ЛЕНИНА*

Глазами юноши

3. ЭПИЗОДЫ 1920 ГОДА

В броне,
В крови,
В заплатах —
Вперед,
Вперед,
Вперед! —
Страдал и шел
Двадцатый,
Неповторимый год!!!

Иосиф Уткин.

1920 год. Январь. Его задание выполнено! И так, еще одно ответственное задание Ленина было выполнено, и я горжусь, что своими слабыми силами смог участвовать в этом деле. Из Сибири мы вернулись в Москву через Екатеринбург (ныне Свердловск) и Казань. По прибытии о результатах нашей поездки было подробно доложено Владимиру Ильичу.

Время шло. Я быстро рос и мужал и из подростка незаметно превратился в юношу. Началась новая полоса моей жизни.

Февраль — апрель. Рассказы свердловцев о встрече с ним. Я, как и вся тогдашняя молодежь, мечтал учиться. С мыслью, что мне надо учиться, я вернулся в Москву вместе с отцом.

В Москве мать сказала мне, что идет набор на шестимесячные курсы Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова. Я ринулся туда, но оказалось, что нужна командировка от какой-нибудь партийной организации или партийного учреждения. Я вспомнил о Марии Ильиничне и бегом бросился к ней.

Застал я ее в такой знакомой мне комнате секретаря редакции «Правды». Говорю, что хочу учиться в Коммунистическом университете имени Свердлова и прошу у нее командировку от «Правды» на шестимесячные курсы этого университета. Она взяла листок бумаги и так же, как писала когда-то мне рекомендацию в партию, написала командировку, подписалась и поставила ту же небольшую печать.

— Когда кончите, приходите к нам работать, — сказала она.

Но этому пожеланию не пришлось осуществиться. В конце августа 1920 года началась партийная мобилизация на фронт, и я записался добровольцем...

С командировкой от «Правды» я принят в Коммунистический университет, который с этого момента коротко именуется Свердловка. После зачисления проводится вступительное собеседование. Со мной беседовала девушка из лекторской группы, образованной из предыдущего выпуска Свердловки. Она задавала мне всякого рода вопросы, в том числе: «Почему вы вступили в партию?» Я хотел было патетически ответить, что верю в победу мировой революции и хочу по мере своих сил участвовать в борьбе за коммунизм, следуя за Лениным, и т. п., но вдруг почему-то застенялся и ответил весьма прозаически: «Да потому, что мои родители старые большевики». Она уточнила: «Значит, вы хотите сказать, что в партию вы вступили под влиянием родителей?» Я молча

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

кивнул, а мой экзаменатор поморщилась. Когда я уезжал на фронт, я увидел свою вступительную анкету с ее резолюцией: «Развит. В политике разбирается. Но психология не совсем пролетарская».

Конечно, я сразу догадался, что такой вывод сделан на основании моего ответа на вопрос, почему я вступил в партию. Но этот вывод показался мне тогда несправедливым и обидным. Я действительно не задумываясь и не колеблясь мог отдать жизнь за коммунизм, за партию, за Ленина. Но сказать об этом вслух, да еще постороннему человеку, экзаменуящему тебя, которого видишь в первый раз, было как-то неудобно, неловко. Что ж тут поделаешь? Таким уж я был в свои юные годы.

Первые же вопросы к нашему преподавателю в Свердловке В. И. Невскому были такие: «А будет ли у нас выступать Ленин? Что он нам прочтет?»

Ответ был неутешительным: Ленин очень занят и вряд ли сможет еще раз выступить. О чем он читал в Свердловке, вы можете узнать у своих старших товарищей из лекторской группы.

Мы — к ним. У них есть записи лекции «О государстве», которую прочел Ленин. Затаив дыхание мы слушаем пересказ ленинских мыслей, которые успели записать наши старшие товарищи. Мне особенно врезалась в память одна мысль Ленина, один его совет, обращенный к молодежи, которая только еще приступает к учебе, к овладению марксистским учением: стараться самостоятельно разбираться в сложнейших и запутанных нашими противниками вопросах общественной жизни, марксистской теории, таких, как вопрос о государстве. Не догматически подходить к таким вопросам, не искать на них готовых ответов, каких-то законченных решений, а самим продумывать эти вопросы, самим вникать в их существо.

Я, разумеется, передаю далеко не все содержание ленинской лекции, рассказанной нам, молодым курсантам Свердловки, а только то, что произвело на меня особенно сильное впечатление и запомнилось на всю жизнь.

Много лет спустя я вчитывался в опубликованный текст ленинской лекции «О государстве», и теперь мне хочется привести уже не по памяти, а точно, по напечатанному, замечательные слова Ленина, обращенные к молодежи, приступающей к овладению наукой, к изучению марксизма.

«И самое главное,— говорил Ленин,— чтобы в результате ваших чтений, бесед и лекций, которые вы услышите о государстве, вы вынесли умение подходить к этому вопросу самостоятельно, так как этот вопрос будет вам встречаться по самым разнообразным поводам, по каждому мелкому вопросу, в самых неожиданных сочетаниях, в беседах и спорах с противниками. Только тогда, если вы научитесь самостоятельно разбираться по этому вопросу,— только тогда вы можете считать себя достаточно твердыми в своих убеждениях и достаточно успешно отстаивать их перед кем угодно и когда угодно»¹.

Этот замечательный, исключительно мудрый ленинский совет или, можно сказать, завет советской молодежи, как овладевать марксистским учением, нам нужно было глубоко продумать. Сокровенная суть его в том, что не следует заучивать, зазубривать формулы марксизма, полагая, что они могут быть автоматически применены ко всем случаям жизни, а надо научиться самому правильно ориентироваться в любых условиях, в любой обстановке, опираясь при этом на понимание существа марксистского учения.

Другими словами, Ленин популярно разъяснял молодежи смысл марксистского положения: наша теория не догма, а руководство к действию. Именно с этим положением и связано многократно повторенное ленинское указание на необходимость выработать умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах.

Именно об этом, заглядывая в свои прошлогодние записи, и рассказывали нам наши старшие товарищи из лекторской группы. Я сопоставлял это впоследствии, когда ленинская лекция «О государстве» была опубликована, с тем, что запомнилось мне из устных рассказов о ней моих товарищей по Свердловке. Оказалось, что я уловил и сохранил в памяти общий дух ленинской лекции, ее главное направление, основной совет, данный Лениным молодежи. И самым главным как я понял тогда, был его настойчивый совет научиться самим самостоятельно разбираться в сложнейших вопросах современности — теории и практике

И как прямое развитие и продолжение этих положений звучит ленинская речь на III Всероссийском съезде РКСМ «Задачи союзов молодежи» (2 октября 1920 года).

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 65.

Но, как я сказал, наш созыв курсантов Свердловки не мог ее слышать, хотя она была произнесена в ее стенах, в здании, где тогда помещалось наше отделение. Не мог ее услышать потому что, как и предыдущий созыв, он весь ушел на фронт, большей частью на Южный, а частью (в том числе и я) на Западный.

Май. Он с лопатой на закладке памятника. Скажу два слова о первомайском празднике 1920 года. Вся Свердловка была в этот день на субботнике в железнодорожных мастерских. Но мои тети, жившие во 2-м Доме Советов (гостиница «Метрополь»), в комнате № 427, выходящей окном на Театральную площадь, рассказали о том, что они видели в этот день из своего окна. Они видели, как в самом центре площади (ныне площадь Свердлова) Ленин, работая лопатой, заложил камень будущего памятника Карлу Марксу.

Тогда через эту площадь проходила трамвайная линия, и камень был заложен недалеко от нее, перед входом в сквер, что напротив 2-го Дома Советов.

В 1920 году гражданская война шла полным ходом. На юге, в Крыму, сидел со своей армией барон Врангель делавший набеги на побережье Северного Кавказа и на Южную Украину. На западе действовали не разбитые до конца белополяки. В мае 1920 года значительная часть слушателей Свердловки отправилась на фронт. Записывались очень многие товарищи, и, конечно, я в том числе. Но меня вычеркнули из списков, так как мне было всего 16 лет.

Но я не успокоился. Написал заявление в ЦК партии и пошел в ЦК, который помещался тогда на Воздвиженке (сейчас проспект Калинина) в здании, где ныне Музей архитектуры. В коридоре я столкнулся с секретарем ЦК партии, которого знал по работе в «Правде». Говорю ему, что хочу на фронт, а меня вот не пускают, говорят, что я еще мал, а ведь мне уже 17 лет (полгода я себе прибавил). Напишите, пожалуйста, на моем заявлении, чтобы меня пустили! Он улыбнулся и написал что-то вроде «поддерживаю» или «разрешаю». Торжествующий, свое заявление с наложенной на нем резолюцией и вместе с пуровской анкетой — личной картой коммунистов (я заполнил анкету, составленную Политическим управлением Революционного республиканского управления Красной Армии, а именно форму № 1, мобилизационная часть ПУРА; эта анкета, заполненная мною 14 мая 1920 года, до сих пор хранится в моем личном архиве) я понес в ректорат Свердловки, но, увы, не помогла даже резолюция секретаря ЦК: в число отъезжающих на фронт меня так и не включили, и я остался в Москве.

Мои товарищи по Свердловке уехали на фронт, я провожал их на вокзале и чувствовал себя предельно и несправедливо обиженным. Мне так хотелось быть со всеми там, где с оружием в руках Красная Армия громит врага, грудью защищая советскую родину.

Июнь. О работе в деревне — слушая его речь. Перехожу к главным событиям в моей жизни лета знаменательного 1920 года. В течение этого лета я имел счастье дважды слышать речи Ленина.

Первый раз — на Втором Всероссийском совещании ответственных организаторов по работе в деревне в Колонном зале Дома Союзов 12 июня 1920 года. Как это случилось? В Свердловке началась разбивка слушателей по секциям соответственно избранной ими области будущей грудовой деятельности. Меня в то время увлекла работа в деревне, и я записался в эту секцию. Секцией руководил Владимир Иванович Невский. Он читал нам историю партии, много говорил о Ленине, о его деятельности как вождя партии и революции, о его научных трудах. Помню, один раз, отклонившись от основной темы лекции, В. И. Невский стал рассказывать нам о том, как держится Ленин на трибуне во время своих выступлений, каковы типичные его жесты и позы. При этом Невский сам так увлекся, что пытался иллюстрировать свой рассказ движением рук, наклоняя вперед плечи или же отступая немного назад, словом, стараясь наглядно передать жесты Ленина.

Особенно мне запомнились два момента.

Первый: Невский показал, что по ходу своего выступления Ленин любит закладывать большие пальцы рук за жилет, отодвигая отвороты сюртука, а потом раздвигать локти, не вынимая больших пальцев из-за жилета.

Второй: заканчивая аргументацию и завершая свою мысль, Ленин режет воздух рукой.

Так рассказывал и так показывал, жестикулируя, Невский. А я в тот

момент вспоминал, видел ли я сам у Ленина такие жесты, и мне казалось тогда, что видел, настолько образно изображал их Невский.

Я надеялся тогда, что мне удастся еще много раз увидеть Ленина на трибуне и услышать его выступления, но ошибся: после этого всего два раза я слышал Ленина летом неповторимого 1920 года.

В июне, как я уже упоминал, в Колонном зале бывшего московского Дворянского собрания (ныне Дом Союзов) проходило совещание ответственных представителей по работе в деревне. Невский включил свердловцев, записавшихся, как и я, в его секцию, в число гостей. Стало известно, что на совещании выступит Ленин.

Колонный зал полон, хоры тоже битком набиты. За столом президиума несколько человек, но председательское место пусто, а слева от него я вижу Н. И. Подвойского, который возглавлял тогда дело всеобщего военного обучения (Всевобуч).

Вдруг быстро входят Ленин и Невский, и Невский, заняв председательское место, представляет Ленину слово. Ленина встречают бурными аплодисментами, но он быстро начинает говорить, и зал стихает. Сначала Ленин останавливается на международном положении, потом переходит к работе в деревне.

Он говорит о советско-польской войне, об обстановке на фронте, об успехах Красной Армии. Так как я не оставил надежды попасть на фронт и сражаться с оружием в руках за советскую родину, я слушал речь Ленина с особенным вниманием. Я и сейчас помню, как Ленин подчеркивал, что, несмотря на мирные предложения и огромные территориальные уступки с нашей стороны, панская Польша, науськиваемая Антантой, внезапно напала на нашу страну и вынудила нас к войне. А раз война началась, надо у польских капиталистов и помещиков отбить охоту и впредь нападать на нас. Я твердо помню: Ленин говорил именно о том, что панская Польша вынудила нас к войне, а раз так, то все для войны. И Ленин рассказал о начавшемся контрнаступлении Красной Армии на фронте — о взятии Житомира, что прервало связь Польши с захваченным ею Киевом.

Я, конечно, не могу по памяти дословно воспроизвести то, что тогда говорил Ленин, и рассказываю лишь об общем тоне его выступления. Но чтобы точно изложить те его мысли, которые мне особенно запомнились, я мог бы процитировать несколько мест из опубликованного текста речи. Ленин говорил: «Должен быть лозунг — все для войны! Без этого мы не справимся с польской шляхтой и буржуазией; необходимо, чтобы покончить с войной, отучить раз навсегда последнюю из соседних держав, которая смеет еще играть с этим. Мы должны отучить их так, чтобы они детям, внукам и правнукам своим заказали этой штуки не делать (а п л о д и с м е н т ы)...»² Среди аплодировавших был, разумеется, и я, два с половиной месяца спустя уехавший на тот самый польский фронт, о котором говорил Ленин.

Когда Ленин дошел до Всевобуча, то очень резко сказал, даже голос у него стал суровым, осуждающим, что работа по всеобщему военному обучению ведется еще очень плохо, что аппарат Всевобуча слаб и засорен, что там мало преданных людей, — и тут Ленин строго поглядел в сторону Подвойского. Надо было видеть, как от этих ленинских слов сразу вдруг сжался, опустил голову критикуемый Подвойский. И весь зал почувствовал, что нельзя работать плохо, когда Ленин следит за твоей работой и проверяет тебя, каждый твой шаг.

Когда совещание кончилось, Невский собрал нас, свердловцев, которые готовились к работе в деревне, и рассказал, как ему удалось упросить Ленина выступить с той самой речью, какую мы только что выслушали с таким вниманием. Невский говорил, что, когда он приехал к Ленину просить его выступить на совещании, тот сначала наотрез отказался, ссылаясь на большую загруженность работой. Зная, как Ленин всегда подчеркивал важность работы в деревне, особенно с середняками, не говоря уж о батраках и бедняках, Невский продолжал упрашивать Ленина выступить, упирая на важность этой работы и ссылаясь на интерес, какой проявляют участники совещания к ожидаемой ими с нетерпением речи Ленина. Владимир Ильич наконец сказал: «Ладно, ладно, я все это знаю» — и согласился выступить, но с условием, что Невский тут же информирует его о том, как шло совещание, какие вопросы на нем обсуждались, как налажены отдельные звенья общей работы в деревне. «Обо всем этом, — продолжал рассказывать нам Невский, — я информировал Владимира Ильича, пока мы ехали с ним в автомобиле от Кремля до Дома союзов. Быстро задавая мне один за другим вопросы по существу, он сразу же составил себе общую

² Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 145.

картину и вместе с тем план своего выступления. А когда Владимир Ильич услышал о Всевобуче, то сердито прервал меня, сказав, что эта организация работает из рук вон плохо и что ее надо обязательно подтянуть».

Я, конечно, передаю смысл рассказа Невского, точной записи его у меня не сохранилось.

Замечу, что Н. И. Подвойский был одним из самых близких друзей Невского, его товарищем по подпольной революционной работе в царской России, а потом — в «военке» (в 1917 году). А тут, подробно рассказывая нам о том, как Ленин сердился на плохую работу Всевобуча и как он отчитал за это Подвойского на совещании (хотя не назвал его по имени), наш наставник даже не поколебался рассказать и не попытался хотя бы смягчить все то, что наедине с ним, с глазу на глаз говорил Ленин по поводу того учреждения, которое возглавлял один из лучших друзей Невского. И мы чувствовали, что каждое ленинское слово, каждая ленинская оценка выше любых наших личных симпатий или антипатий. Раз Ленин сказал, что то или иное дело плохо, то надо немедленно приложить все силы, чтобы как можно скорее исправить создавшееся положение.

Нечего говорить, что ленинская речь всех нас, будущих работников в деревне, буквально вдохновила и что мы с удвоенной, с утроенной энергией продолжали теоретические занятия в Москве, в стенах Свердловки, и практическую работу, все чаще выезжая агитаторами в различные уезды Московской губернии.

Июль. Слышу и вижу его последний раз. Второй раз я слышал речь Ленина 19 июля при следующих обстоятельствах. В середине июля 1920 года стало известно, что скоро в Петрограде откроется II конгресс Коммунистического Интернационала. Я принялся просить Н. И. Подвойского, у которого был свой вагон-салон, взять с собой в Петроград меня и моего товарища, тоже свердловца, комсомольца Илью Федоровича Богданова (он потом стал химиком, доктором наук, работал в одном из институтов Академии наук СССР в Москве).

И вот мы едем в Петроград. Утром на Николаевском (ныне Московском) вокзале я вижу группу: идет Ленин, с ним рядом Мария Ильинична, М. Горький и еще много народа.

Подвойский взялся только довести нас до Петрограда, но гостевых билетов на открытие конгресса достать для нас не обещал. Мы стали действовать самостоятельно. Узнали, что гостевые билеты распределяются в Петроградском совете профсоюзов. Пришли туда. Молоденькая девушка-секретарша нас внимательно выслушала. «Мы,— говорили мы ей,— свердловцы, слушатели Коммунистического университета имени Свердлова, специально приехали сюда из Москвы, чтобы попасть на открытие Второго конгресса Коминтерна, услышать речь Ленина. Помогите нам, пожалуйста!»

Девушка нам явно сочувствует, но помочь ничем не может: все билеты давно распределены по различным организациям, а желающих получить гостевые билеты так много, что Таврический дворец не смог бы их всех вместить. Мы совсем пали духом и понурили головы. Было видно, что девушка нас жалеет — ее тронуло наше революционное воодушевление, — что ей хочется нам что-то посоветовать, но она колеблется. «Впрочем,— говорит она неуверенным голосом,— если товарищ Анцелович разрешит, то вы, возможно, еще сможете получить билет на завтрашнее открытие». «А где сидит этот товарищ Анцелович?» — с внезапно вспыхнувшей надеждой воскликнули мы в один голос. Девушка указала нам дверь, и мы вошли в комнату, полную людей, что-то взволнованно обсуждавших. За столом сидел товарищ Анцелович, и по его лицу было видно: он устал и нервничает. Мы протиснулись к нему. «Что вам тут нужно? Кто вы такие?» — отрывисто и недружелюбно спросил он. Я коротко изложил ему суть дела: мы — двое свердловцев из Москвы и хотели бы получить у него билеты на завтрашнее открытие конгресса Коминтерна. «Как вы сюда попали? Кто вас ко мне послал?» — еще более резко спросил Анцелович. «Да вот девушка-секретарша, что сидит в соседней комнате». «Вы лжете! — взревел тут товарищ Анцелович. — Она не могла вам этого сказать! Я сейчас это проверю, и если вы мне наврали, я вас арестую!» Мы оторопели, не зная, что и подумать.

Однако пришедшая девушка подтвердила, что это именно она направила нас к нему: ей показалось крайне несправедливым, когда два мальчика, с таким трудом добравшиеся до Петрограда специально, чтобы попасть на открытие конгресса, не смогут на нем присутствовать. Анцелович сразу успокоился, устало махнул на девушку рукой и сказал: «Вот я оскорбил этих молодых товарищей, заподозрив, что они лгут,

а теперь мне придется перед ними извиниться. Извините, пожалуйста, что все так получилось. А вы,— обратился он к девушке,— выдайте им два гостевых билета».

Так вместо грозившего ареста нам дали то, о чем мы мечтали, ради чего приехали из Москвы в Петроград,— два гостевых билета на хоры большого зала Таврического дворца на 19 июля 1920 года.

Этот эпизод мне запомнился на всю жизнь. Сколько раз я вспоминал его позже и думал: соври мы тогда, нас с позором изгнали бы как жалких обманщиков и ничего другого, кроме острого чувства стыда, это воспоминание в нас позднее не вызывало бы. Но мы говорили правду, и даже такой человек, сверх меры занятый организацией предстоящего открытия конгресса Коминтерна, как Анцелович уловил в общей сумятице, что незаслуженно нас обидел, ибо сомневаясь в правдивости слов другого человека, ему наносят большую обиду. Я никогда не забуду и то, что девушка, увидев разгневанное лицо своего начальника, не побоялась взять вину на себя, хотя, как всякий разумный человек, она, конечно, понимала, что послать двух неизвестно откуда появившихся мальчишек за гостевыми билетами в канун открытия конгресса было нельзя. И я по гроб жизни буду благодарен этой девушке — она своим чутьем угадала, что нами руководило не праздное любопытство, а именно революционное воодушевление, которое, вероятно, было написано на наших лицах и светилось в наших глазах. Благодаря ей нам удалось услышать одну из самых замечательных речей Ленина.

И еще одно: обращаясь к Анцеловичу, я не хотел говорить, кто мой отец и мой дядя, не хотел воспользоваться этим как протекцией, считая возможным говорить только о себе как о свердловце, молодом коммунисте, хотя не сомневался, что Анцелович хорошо знал и Подвойского и моего отца.

Я сегодня так подробно пишу об этом потому, что в моей памяти события мирового масштаба и мелкие, незначительные эпизоды тех лет не разделены, а слиты в одно яркое понятие, имя которому — Ленин и революция. Не будь инцидента в кабинете Анцеловича, я, наверное, не попал бы на открытие конгресса Коминтерна и не пережил бы один из самых волнующих дней моей жизни.

19 июля мы с Богдановым вошли в Таврический дворец на Шпалерной (ныне улица Воинова), куда два с половиной года назад я входил, чтобы присутствовать на открытии Учредительного собрания, и где тоже видел Ленина. На книжном прилавке я купил только что вышедшую из печати работу Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».

Те же лестницы, те же хоры. Только на открытии Учредительного собрания я был на боковых хорах, а теперь оказался на средних, прямо против трибуны и президиума. Перед началом заседания в зале обычный гул голосов, кто-то проходит на свое место, кто-то стоя указывает рукой на трибуну. Мне сверху видны главным образом затылки сидящих в зале делегатов конгресса.

Внизу среди делегатов я различаю людей всех цветов кожи, вижу итальянца Сerratи, которого узнаю по белой бороде (его портрет я уже где-то видел раньше), и еще много, много лиц... И вдруг в зале все замерло, все головы повернулись в ту сторону, откуда должен появиться Ленин. Наступило напряженное ожидание. Еще момент — и произойдет что-то такое, чего ждут эти люди, съехавшиеся сюда со всего света.

Надо напомнить, что то было время, когда казалось: вот-вот во всем мире вспыхнет долгожданная революция. Ее признаки уже были ощутимы в разных странах Европы, гребни революционной волны поднимались все выше и выше. В Италии складывалась революционная ситуация, забастовочное движение грозило перерасти в баррикадную борьбу. Германия изнывала под гнетом Версальского договора, и представлялось, что ноябрьская революция 1918 года лишь на время сдержана деятельностью своры убийц и предателей — шейдеманов и носке.

В Венгрии и Баварии, где только недавно была подавлена советская власть, казалось, снова вспыхнут революционные волнения. И на этом фоне — победа Красной Армии, которая, разбив напавшие на Советскую страну войска панской Польши, быстро продвигалась на запад. Красная Армия — армия победившего буржуазия российского пролетариата несла в себе ту искру, которая, упав на подготовленную политическим кризисом почву, могла вызвать всеобщий революционный взрыв в Европе и во всем мире. Известно, что история пошла иначе, но в тот момент коммунисты ждали именно такого развития событий, которое приведет к победе мировой революции.

В такой обстановке собрался II конгресс Коминтерна; все его делегаты и гости с замиранием сердца ждали появления Ленина на трибуне, так как Ленин воплощал в себе эту мировую революцию, был ее реальным выражением, ее живым образом, ее олицетворением. Сейчас он войдет и скажет делегатам коммунистических, революционных, рабочих партий всего мира свое мудрое ленинское слово...

И он вышел, как всегда, быстрыми шагами, держа в руке сверток бумажных листов. Зал увидел Ленина, и тут произошло что-то невообразимое. Никогда ни до, ни после этого я не видел и не слышал ничего даже отдаленно похожего. То, что произошло, ничем не напоминало выполнение заранее установленного церемониала. Нет, это походило на какой-то внезапно налетевший вихрь, словно электрический ток пробежал по залу, и все присутствующие в нем вдруг вскочили, выкрикивая на разных языках приветствия Ленину; люди неистовствовали от внезапно охватившего их чувства радости и какого-то небывалого восторга. Они видели Ленина (и многие из них впервые), того самого Ленина, о котором говорил весь мир как о гении революции, — одни с сияющими счастьем глазами, другие со скрежетом зубным, но говорили все. И вот теперь он стоял перед делегатами спокойный, уверенный, твердый, как скала, и ждал, когда наконец кончится весь этот ураган бурных приветствий.

Я ничего не сознавал в тот момент, будучи, как и все, захвачен вихрем, налетевшим на зал и хоры, я не видел никого, кроме Ленина, и смотрел только на него одного. Потом я вспоминал, кричал ли я вместе со всеми, когда Ленин взшел на трибуну, и не мог вспомнить. Думаю, что кричал, и руками махал, и вообще вел себя как безумный, но уже не ощущал этого сам.

Также не могу сейчас вспомнить (а тогда не мог даже заметить), сколько времени продолжалась эта буря. Наверное, долго, и я видел, как Ленин, стоя на трибуне, несколько раз делал руками нетерпеливые жесты, словно стараясь утихомирить, успокоить бушующее в зале человеческое море. Но достичь этого ему никак не удавалось, и каждый его жест вместо успокоения вызывал новый взрыв оваций. Наконец зал как будто утих, и Ленин произнес своим таким знакомым мне голосом, слегка картавя, первое слово: «Товарищи!» Но достаточно было людям, собравшимся в зале, услышать первые звуки ленинского голоса, все повторилось снова, и снова вспыхнула овация с бурным выражением чувств безграничной любви и преданности Ленину как вождю революции, как гению человечества.

По лицу Ленина я видел, что он недоволен и с нетерпением ждет момента, когда кончатся овации — эта пустая трата времени и сил на приветственные крики, тогда как важно и нужно было скорее перейти к серьезному обсуждению проблем той самой мировой революции, которую уж слишком долго приветствуют, словно малые дети, собравшиеся здесь взрослые люди — руководители революционных партий разных стран. Так мне тогда казалось, когда я с восторгом (как и все, кто был в зале и на хорах) глядел на Ленина.

Но вот Ленин стал наконец говорить. Он простирали вперед руки — в одной из них он держал текст доклада, который он так и не развернул в течение всей своей речи. Насколько бурной была реакция зала на появление Ленина на трибуне, настолько все затихло и замерло, когда Ленин делал доклад. Буквально затаив дыхание, в глубокой тишине, боясь проронить хотя бы слово, слушали делегаты конгресса то, что хотел сказать им Ленин, чем он хотел с ними поделиться, обсудить и обдумать сообще. Едва ли только раз или два в середине доклада вспыхивали аплодисменты.

Доклад Ленин сделал очень темпераментно, с большим подъемом, и тишина, в которой он был прослушан, очень резко контрастировала с бурей оваций, вспыхнувшей при встрече с Лениным. Доклад Ленина опубликован, и я не буду здесь пересказывать его содержание, тем более что мне сейчас уже трудно отделить то, что мне запомнилось тогда из этого доклада, от того, что наложилось позднее, после его чтения в сочинениях Ленина.

Ленин подчеркнул, что закончившаяся империалистическая война велась ради передела мира, чтобы определить, какой из групп крупнейших государств удастся получить возможность и право грабить, душиить и эксплуатировать всю землю. Война поставила ряд стран в условия, которые равносильны колониальным. В их числе и Германия, которая была одной из самых передовых, культурных, технически оснащенных стран. А вот Соединенные Штаты Америки только выиграли от войны: из государства имевшего массу долгов превратились в державу, которой все должны. Но положение трудящихся масс становится все тяжелее не только в побежденных

странах, но и в странах-победительницах. Поэтому рост революционных идей неизбежен. Надо, предупреждал Ленин, использовать этот кризис для успешной победоносной революции.

Я коснулся лишь некоторых моментов ленинского доклада, которые мне запомнились, хотя с тех пор прошло более шестидесяти лет. И странно: то, что было очень очень давно, мне видится так ярко, словно произошло вчера. Не потому ли и образ Ленина как живой до сих пор стоит перед моими глазами, а его голос звучит в моих ушах, несмотря на пролетевшие с тех пор десятилетия? И это лучшее воспоминание всей моей жизни.

Помнится, что меня поразила и увлекла тогда удивительная ясность ленинской мысли, весь ход ее, простота ее изложения при анализе сложнейших вопросов международной обстановки и развития мировой революции. Невольно напрашивалось сопоставление с недавно прослушанным мною докладом Ленина о работе в деревне: очень просто, доходчиво и вместе с тем содержательно и глубоко он ставил перед своими слушателями обсуждаемые вопросы и формулировал задачи, несмотря на всю их сложность, причем так, что отнюдь не поучал других, говорил не наставительным тоном, а как равный с равными обсуждал поставленным им проблемы, советуя, каким образом поступать в том или ином случае или ожидая, что на этот счет скажут сами слушатели.

В ознаменование начала работы конгресса в Петрограде состоялась многолюдная демонстрация, я в ней тоже участвовал.

Так прошел этот замечательный день, оставивший неизгладимое впечатление на всю жизнь. И особенно запомнилось это все еще потому, что я тогда в последний раз видел и слышал живого Ленина. Мог ли я тогда это знать или хотя бы подумать об этом? Конечно, нет!

...Не так давно в Комитете по присуждению Ломоносовских премий за лучшие научно-популярные и учебные ленты, председателем которого я состоял, демонстрировался фильм о Ленине — «Один день из бессмертия», составленный из кадров кинохроники, снятой в Петрограде 19 июля 1920 года. Была снята и демонстрация. И в рядах демонстрантов я увидел Н. И. Подвойского. Кажется, и я был где-то рядом. Может быть, себя я просто не узнал? Ведь прошло столько десятилетий с тех пор.

Август — сентябрь. Письмо с фронта, прочитанное им. В августе моя мать с новорожденной дочкой Сильвой (ее так назвали в честь деятельницы английского рабочего движения Сильвии Панкхерст) уехала в подмосковный санаторий. Вскоре была объявлена партийная мобилизация на фронт. В конце августа я снова записался добровольцем в Краснопресненском райкоме РКП(б), в котором состояла парторганизация Свердловки. На этот раз мое давнишнее желание осуществилось.

Попал я в 12-ю армию (штаб ее стоял в Киеве), в 24-ю стрелковую Железную дивизию, в 70-ю бригаду, полки которой были укомплектованы главным образом молодыми татарами из Казанской губернии. Меня назначили политруком отдельной роты связи бригады, а потом — военкомом этой же роты. Из Киева на поезде мы доехали до станции Броды — она была совершенно разрушена еще в первую мировую войну, когда здесь, в Галиции, проходили большие сражения между русской и австро-венгерской армиями. В Бродях, в Красных казармах (недалеко от станции) я нашел свою роту связи и сразу же приступил к работе в качестве политрука. Вместе с ротой я сделал большой переход от Бродов до местечка Стояново. С белополяками велись тогда напряженные бои, и где-то на севере от нас они осуществили большой прорыв и отбросили далеко на восток Красную Армию, перед этим подошедшую уже к Варшаве.

Состоялось организационное партийное собрание работников штаба бригады и приданных подразделений. Меня выбрали секретарем ячейки РКП(б), причем тут же некоторые коммунисты отдали мне свои партбилеты то ли для регистрации, то ли на хранение, и я их долго возил в своей старенькой корзиночке, пока шло отступление наших войск. Я тогда думал, что это так и надо, что секретарь должен сохранять партбилеты коммунистов своей ячейки.

Дня три мы пробыли в Стоянове, а потом стало известно, что полки нашей бригады разбиты в первых же боях с противником и что нам надо отходить на восток по направлению к реке Стырь. Было начало сентября, погода стояла ясная, теплая, и мне хорошо запомнилось тягостное чувство, которое охватывает тех, кому приходится отступать во время войны.

Несколько лет назад, будучи на научной конференции во Львове, я попросил местных товарищей свозить меня в Броды и Стоянов, где мне пришлось воевать в 1920 году. Когда мы отъехали от Стоянова, я на повороте дороги вышел из машины и оглянулся назад. И мне вдруг так ясно вспомнился тот осенний день в 1920 году, когда мы шли по пыльной дороге и я на этом же самом повороте оглянулся и увидел издали в последний раз красную стояновскую колокольню и крыши окружающих ее построек...

Когда Стоянов скрылся из глаз и дорога пошла вдоль небольшого перелеска и соседнего поля, переходившего в лощину, на противоположном склоне лощины вдруг показались всадники. Расстояние между нами и ими было километр — полтора. Это была польская кавалерия (с приданной ей артиллерией), которая явно намеревалась отрезать нам путь к реке и захватить нас в плен. Кто-то из отступавших, но не из нашей роты, скомандовал образовать цепь, я поддержал его, мы залегли и стали отстреливаться. У меня тоже была винтовка, и я стрелял в скачущих на нас всадников. Тогда я впервые пережил то чувство, которое испытывает человек, когда в него стреляют. Свист пуль я слышал и раньше. Но тогда это были пулеметные очереди или одиночные выстрелы, а теперь пули свистели — з-з-з! — часто и словно со всех сторон, а главное, совершенно новым было странное чувство, вернее сознание, что сейчас нельзя от этих пуль уйти, убежать, спрятаться, а надо лежать под пулями, делать перебежки навстречу им, слушать их свист и уханье пролетающих над головой снарядов.

Мы несколько раз делали перебежки, передвигаясь вперед, по направлению к противнику, и снова ложились. Было ли мне страшно? Нет, это не то слово — было как-то странно, необычно, словно ты уже не принадлежишь самому себе и больше не распоряжаешься собою. И еще: хотелось находиться поближе к соседу, а надо соблюдать дистанцию. И когда мы поднимались, чтобы сделать перебежку, я кричал: «Вперед, товарищи! Держите дистанцию!» — а сам невольно чувствовал, что так и тянет, словно магнитом, приблизиться к бегущему рядом с тобой красноармейцу. Над нашими головами пролетали снаряды, глухо завывая, и падали позади нас, за перелеском, громко взрываясь. Противник спустился в лощину и стал не виден. Казалось, он вот-вот появится совсем близко от нас, и тогда бой перейдет в рукопашный. Рядом со мной красноармеец крикнул: «Я ранен в ногу!»

Пули продолжали свистеть, а снаряды рваться где-то поблизости. Но потом все смолкло. Мы еще некоторое время продолжали отстреливаться, но вскоре обнаружили, что атаку противника мы отбили и он, встретив сопротивление, ушел со своей артиллерией обратно, не выходя из лощины.

Сохраняя строй, мы продолжали отступать и к ночи подошли к реке Стырь. Мост через нее был наведен, и на обоих ее берегах горели костры. Скопилось много войск, и во избежание беспорядка и паники пропускали всех строго по очереди. Только тут я обнаружил, что все три командира нашей роты — ротный и два взводных — отсутствуют: они бежали, их не было в бою, и я один, необстрелянный юнец, привел маленький отряд красноармейцев на поле боя, где под командованием настоящих командиров других частей мы вступили в первый бой с противником.

..Когда я рассказал однажды маленьким дочуркам про этот первый свой бой, они почему-то запомнили, что моя рота оказалась без командиров и что я один остался с ней. Потом они иногда меня просили: «Папа, расскажи еще раз, как командиры убежали». Значит, вот что подействовало сильнее всего даже на детское сознание...

Остаться в строю, участвовать в бою — к этому меня обязывало не только мое положение политрука, но и сознание, что я — коммунист, добровольно ушедший на фронт, и не могу не только уклоняться от выполнения своего прямого долга защитника советской власти, но не имею права дрогнуть, показать, что мне страшно. Было еще одно обстоятельство, которое в тот миг заставляло думать не столько о себе, что меня вот сейчас, сию минуту могут убить, а о других, которые доверили мне свои жизни и за которых я отвечал. Пожалуй, это сознание ответственности за других придавало ту силу духа, которую можно было бы условно назвать в данном случае храбростью.

Свое участие в первом бою и свои переживания во время него я подробно описал в письме к моим родным — отцу, матери и братьям, причем описал во взволнованном, как мне помнится, тоне, но очень искренне, без прикрас и хвастовства, пи-

сал, что поначалу было страшновато, но я заставлял себя идти вперед. Закончил письмо я словами: «Продолжение следует». Это письмо я просил отправить в Москву одного товарища, который ехал в штаб дивизии (или в штаб армии), и мои родные его получили. Мать отдала его Марии Ильиничне (хотя я ее об этом вовсе и не просил), а та, по словам моей матери, сказала, что показывала мое письмо Владимиру Ильичу.

Вот почему здесь я так подробно описал все, что само по себе не имело бы большого значения, разве только в плане чисто личном, касающемся одного меня.

Но раз мое письмо прочитал или хотя бы пробежал глазами Владимир Ильич, раз оно побывало в его руках, то само письмо, его содержание и сама история написания его приобретают для меня большое значение.

Я не знаю, где и у кого осталось это письмо, во всяком случае моей матери Марии Ильиничне его не вернула...

Октябрь — декабрь. Конец гражданской войны. 1920 год продолжал идти «в броне, в крови, в заплатах», и было, конечно, еще много такого, о чем можно вспомнить и рассказать. В конце октября было заключено перемирие с поляками, а потом мы исколесили почти всю Подольскую губернию, преследуя бандитские шайки, возглавлявшиеся всякими атаманами. В декабре мне исполнилось семнадцать лет, а в самом конце декабря меня (по приказу ПУРа) как не достигшего совершеннолетия отозвали из Красной Армии и направили учиться. Зима на Украине стояла суровая, а у меня не было теплой шапки. Когда я в летней фуражке ехал на лошадях в Винницу, где стоял штаб нашей 24-й дивизии, я отморозил уши. Так, с отмороженными ушами, которые стали похожи на лопухи, я под Новый год вернулся в Москву. Начиналась новая жизнь, полоса мирного строительства в стране. Но еще немало вооруженных схваток предстояло выдержать советскому народу: кронштадтский мятеж, антоновщина в Тамбовской губернии и другие. «Какова-то будет эта новая жизнь?» — думал я.

4. ГОДЫ С 1921-го ПО ЯНВАРЬ 1924-го

1921 год. Отклик на его призыв учиться. Итак, страна вступила в полосу мирной жизни. В сознание молодежи крепко запал ленинский призыв с трибуны III съезда комсомола (октябрь 1920 года): учиться, учиться и учиться. Сотни тысяч и даже миллионы советских юношей и девушек, следуя этому призыву, скоро устремятся в различные учебные заведения — и среднетехнические и высшие, чтобы приобрести специальность. Но какую? Ведь такой вопрос обязательно должен встать перед каждым молодым человеком, желающим иметь определенную профессию. А это порой сделать нелегко, особенно представителям рабоче-крестьянской молодежи, которая впервые приобщалась к науке. Я помнил, как это происходило в Свердловке на моих глазах.

И вот в самом начале 1921 года мой отец решил заняться практической психологией и вместе с психологом К. Х. Кекчевым организовал лабораторию по изучению вопроса о выборе будущей профессии приступающей к учебе молодежью. Проблема эта тогда была весьма актуальной в связи с задачей массовой подготовки новых кадров специалистов самого различного профиля. Я стал выполнять обязанности лаборанта по обработке полученных результатов.

Так прошли у меня первые четыре месяца 1921 года.

Во время дискуссии о профсоюзах накануне X съезда РКП(б) мой отец, Н. И. Подвойский и К. А. Мехоношин, связанные еще с давних пор по партийной и военной работе, а также близкой дружбой, по собственной инициативе подготавливали анализ обстановки и практические предложения в виде записки, которую они составляли на имя Ленина. Они запирались в одной из комнат, занимаемых в 1-м Доме Советов (ныне гостиница «Националь») семьей Подвойских (номер 130-й), и никого туда не пускали. Когда записка была готова, они сами передали ее Ленину. О ее содержании я мог лишь догадываться из бесед с отцом, когда мы с ним говорили о взаимоотношениях между рабочим классом и средним крестьянством (средняком). О себе могу сказать, что я твердо держался позиции Ленина, будучи наперед уверен, что Ленин прав, а Троцкий, Бухарин и вся так называемая рабочая оппозиция глубоко ошибаются, отходят от линии партии.

В конце апреля 1921 года отец отправился на Южный Каспий для организации там рыбных промыслов. Я и на этот раз поехал с ним, и это была моя последняя

поездка с отцом. В ноябре я выполнил последнее поручение отца: привез из Баку его письма Ленину и Дзержинскому. В конце декабря я окончательно вернулся в Москву с твердым намерением в будущем году поступить в университет.

1922-й. Следуя его призыву. Свое намерение учиться я осуществил осенью 1922 года, поступив в Московский университет на физико-математический факультет (химическое отделение). Так для себя лично я выполнил ленинский наказ учиться.

Весной и летом того же 1922 года я увлекся философией под влиянием бесед со старым большевиком В. Ф. Гориным (Галкиным). Он рассказал мне о том, что Ленин осенью 1908 года дал ему просьбу рукопись своего «Материализма и эмпириокритицизма»; когда же книга вышла в свет, Ленин ему ее подарил.

Из рассказов Подвойского я знал, что Горин (Галкин) готовит работу в виде лекций для Свердловки на тему об основах философии истории. Сам я в 1920 году купил брошюру Горина (Галкина), написанную им в 1919 году, под странным названием «Долой материализм!», которую с интересом прочел. Лозунг «долой материализм!», как оказалось, принадлежит не автору, а махистам (эмпириокритицистам), которых автор как раз и критикует. Свою брошюру автор 16 августа 1920 года преподнес Ленину со следующей надписью: «Дорогому учителю и вождю Владимиру Ильичу Ленину от автора в знак глубочайшей преданности. Вл. Горин (Галкин)».

Позднее, когда я уже лично был знаком с Гориным (Галкиным) и услышал от него, что ленинский «Материализм и эмпириокритицизм» он имел счастье прочитать еще в рукописи, то невольно задал себе вопрос: «Почему в брошюре «Долой материализм!», направленной против махистов, нигде ни одним словом не упомянут «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, хотя вся книга Ленина своим острием бьет по махистам?» Имя и работы Плеханова упоминаются часто, а Ленина — нет. Это осталось для меня загадкой. Я не спросил об этом самого Владимира Филипповича, о чем ныне очень жалею.

После бесед с Гориным (Галкиным) и его рассказов о Ленине образ Ленина стал для меня раскрываться все больше и все глубже. Теперь Ленин представлялся мне и как философ. Этому сильно помогло чтение замечательной ленинской статьи, помещенной в мартовском номере нового журнала «Под знаменем марксизма». Статья называлась «О значении воинствующего материализма». В. Ф. Горин (Галкин) привил мне в ту пору вкус к философии, и я ему за это буду всегда глубоко благодарен.

Владимир Филиппович рассказывал мне и о том, что старая профессура и оккупавшиеся в МГУ меньшевики во главе с Л. И. Аксельрод (Ортодокс) мешают его преподавательской работе и что он написал об этом Ленину. Спустя много лет, разбирая личный архив Горина (Галкина), я обнаружил это письмо. Вот выдержки из него:

«Дорогой, глубокоуважаемый
Владимир Ильич.

Как мне известно стало, на днях деканат 1-го Государственного университета послал Вам 2 мои работы по философии на предмет Вашего отзыва о том, можно ли мне дать систематический курс по предметам моих книг, вместо данного уже мне курса эпизодического. Вышло это, по-видимому, потому, что я протестовал в ученой комиссии деканата по поводу моего эпизодического курса, данного мне в то время, когда буржуазным профессорам, читающим всякую вредную дребедень, дан курс систематический.

Обращаю Ваше внимание, дорогой Владимир Ильич, что мне известно Ваше отрицательное отношение к моей старой книге. Но ведь эта книга написана 10 лет тому назад и по ней никаким образом нельзя судить о моей нынешней философской позиции. До известной степени о последней можно судить лишь по 2-й книжке... о моей нынешней позиции Вам ничего не известно. На основании этого я бы Вас очень просил раньше отзыва поговорить со мной лично по вопросам философии, в которых у нас вышли разногласия, в частности, по вопросам диалектической логики... Основано решение деканата на экспертизе Л. Аксельрод».

Вторая книга, о которой говорит Горин (Галкин), это брошюра «Долой материализм!». Письмо Горина (Галкина) Ленин переслал в Наркомпрос. В 52-м томе Полного собрания сочинений Ленина читаем:

«т. Покровский! Посылаю Вам к сведению. По секрету. Дайте два слова отзыва. Автор — старый (с 1903) большевик, но вполне ли годен как профессор, не

знаю. Думаю, что все же годен. Мало искренних, а он таков. №: его отзыв о Волгине?

4/IV. Ваш Ленин» 3.

(В П Волгин, бывший меньшевик, был в то время ректором МГУ.) Чем все это кончилось, мне неизвестно.

Добавлю, что еще в 1913 году, когда Горин (Галкин) болел туберкулезом легких, Ленин запрашивал Г. Л. Шкловского: «Пожалуйста, узнайте адрес Горина в Давосе и пришлите»⁴.

Уже тогда Ленин интересовался судьбой Владимира Филипповича.

1923 год. В тревоге и думах о нем. Я — студент физмата. Со мной учится Оля Лепешинская, дочь старого большевика, которого дома ласкательно звали Пантелеймончиком. Мы, студенты, часто бываем у Лепешинских, и нас пленяет юмор и жизнерадостность белого как лунь Пантелеймона Николаевича. Он рассказывал о том, как их дочка, когда ей было три-четыре года, увидела Ленина и разговаривала с ним на свои детские смешные темы, задавая ему замысловатые вопросы, причем, по словам Лепешинского, был случай, когда даже Ленин не сразу нашелся, что ответить на эти наивные вопросы крохотного ребенка.

В 1923 году стал распространяться зловещий слух о тяжелом заболевании Ленина. Слух этот расплодился как черный туман и сжимал нам сердца. Мы все так боялись за здоровье дорогого и беззаветно любимого нами Владимира Ильича. Тех, кто мог сказать что-нибудь определенное, а главное утешительное, мы постоянно расспрашивали, надеясь услышать хоть что-нибудь обнадеживающее, ободряющее. Помню, что в конце декабря на собрании нашей физматовской партячейки докладчику была послана записка: как здоровье Владимира Ильича? Он ответил, что Ленину стало гораздо лучше, что он поправляется и есть надежда, что мы все скоро его снова увидим. Как стало легко и радостно на сердце от таких слов! Это было последнее сообщение о здоровье Ленина, которое я услышал. А следующим за ним, спустя месяц, явилось страшное известие о его смерти.

1924 год. Январь. Прощание с ним. Моя клятва. Январь 1924 года начался, как всегда, с зимних каникул, потом возобновились занятия, собрания, обсуждения и дискуссии. Под вечер 21 января мне позвонила мать и голосом, прерывающимся от слез, сказала: «Ты знаешь, сегодня умер Ленин». Услышав эту страшную весть, я растерялся и прямо у телефонной трубки расплакался, как ребенок. Казалось, что из жизни ушло что-то самое дорогое, самое важное, на чем держалась вся наша жизнь, и что эта нить внезапно порвалась. «Как теперь будем жить без Ленина?» — такой вопрос вставал в тот момент, наверное, перед всеми советскими людьми, а не только передо мной. Без Ленина! — как сиротливо звучали эти два слова, и все не верилось, что это правда, что Ленина больше нет среди нас, что он умер. Какое это страшное слово, когда оно связывается с кем-то для тебя близким и родным, и каким оно стало неопишимо страшным, неизмеримо более страшным в сочетании с именем Ленина.

Нет слов описать горе, охватившее меня, как и миллионы людей, горе общенародное, чувство утраты самого близкого, самого дорогого, самого любимого человека. Слезы были лишь первой реакцией на сообщение о смерти Ленина. Потом наступило какое-то оцепение, какая-то потерянности. Хотелось собраться с мыслями и ходить, ходить, ходить и все думать о живом Ленине, вспоминать до мельчайших подробностей все, что знал о нем, что видел и слышал, встречаясь с ним.

Я словно отрешенный бродил по московским улицам, думал, вспоминал и столкнулся с Олей Лепешинской, которая, по-видимому, была в таком же состоянии, как и я: шла неизвестно куда и зачем. Мы крепко пожали друг другу руки, печально поглядели друг другу в глаза и, словно сговорились, задали один и тот же вопрос: «Как же теперь без него-то будем жить?»

Для встречи гроба с телом Ленина от университета выделили делегацию. От студенчества физмата вошел я. В Москве свирепствовали тогда жуткие морозы. Мы простояли несколько часов на площади против Павелецкого вокзала. Я был в довольно холодных бурках и основательно обморозил ноги.

Когда прибыл поезд с гробом, вся масса встречающих двинулась к вокзалу, но я оказался далеко и не видел, как вынесли гроб с телом Ленина.

³ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 52, стр. 126.

⁴ «Ленинский сборник», XXVIII, стр. 106.

В эту же ночь, несмотря на обмороженные ноги, я отправился в Колонный зал попрощаться с Лениным. О том, что его тело будет набальзамировано, тогда еще не было известно, и я полагал, что увижу бесконечно дорогие мне черты его лица в последний раз. В первую ночь очередь была еще сравнительно небольшой. И вот я вхожу в тот самый подъезд, куда входил летом 1920 года, чтобы услышать речь Ленина на совещании по работе в деревне. Поднимаюсь по той же лестнице, следую в тот же Колонный зал, но только сейчас он весь завешан траурными — красными с черным — лентами и флагами, а посредине зала на большом постаменте, утопая в цветах и зелени, гроб с телом Ленина. Сердце мучительно сжалось, на глазах слезы, делаешь неимоверное усилие над собой, чтобы не разрыдаться. В зале полнейшая тишина, переговариваются только шепотом. Тихо льются звуки траурного марша Шопена. Мимо гроба молча проходят люди, многие вытирают слезы, слышатся приглушенные рыдания. Какой-то военный не выдерживает и громко вскрикивает, видно, что он плачет, как ребенок, — и этот человек, наверное не раз смотревший смерти в глаза и не дрогнувший, когда речь шла о его собственной жизни, теперь плачет, как маленький. Его берут под руки и осторожно отводят в сторону, где он стоит, прислонившись к стене. Другой падает, с ним обморок...

...А люди все идут, идут, вот и я уже прохожу мимо Ленина и сквозь слезы врываюсь в него глазами, чтобы на всю дальнейшую жизнь запомнить это лицо, которое столько раз я видел живым, а теперь вижу неподвижным, застывшим навеки.

Потом были похороны Ленина, и в туманном сумраке над Москвой протяжно звучали прощальные гудки фабрик, заводов, паровозов. Я был на Красной площади и видел, как вся Москва, вся страна, весь народ, все рвущееся к свободе человечество прощалось с Лениным.

Теперь партии и народу предстояло идти без Ленина по ленинскому пути. Предстояло завершить начатое при Ленине восстановление народного хозяйства страны, затем — пятилетка за пятилеткой — надо было осуществить индустриализацию страны, коллективизацию ее сельского хозяйства и в результате построить в СССР фундамент социализма. Это завещал сделать Ленин, говоря, что из России нэповской возникнет Россия социалистическая.

Но в те дни, много десятилетий назад, когда страна хоронила любимого вождя, все это было впереди, все это предстояло еще пройти и пережить.

Советские люди и партия отдавали себе отчет в том, что только великим напряжением трудовой энергии, сплочением всех коммунистов, вдохновляемых ленинскими идеями и планами, можно восполнить утрату, которую нанесла смерть, отняв у человечества такого гения, каким был Ленин.

В те дни, когда миллионы охваченных скорбью людей прощались с Лениным и клялись следовать его заветам, я тоже дал себе торжественную клятву идти по пути, указанному им, посвятив Ильичу свою жизнь, направив все помыслы к одной цели — разрабатывать и пропагандировать идеи Ленина. При этом на первом плане у меня стояла разработка материалистической диалектики, завещанная Лениным в его статье «О значении воинствующего материализма».

Мне было тогда двадцать лет. В этом возрасте легко даются клятвы на всю жизнь. Но это была особая клятва, записанная кровью сердца. О том, как я сдержал ее в последующие шесть десятилетий своей долгой жизни, следовало бы рассказать особо. Твердо знаю только одно: через всю жизнь я пронес образ Ленина, навсегда запечатленный в моем сознании и моем сердце.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ



СОПЕРНИЦА ВРЕМЕНИ

Странное это дело — чувство истории, ощущение прошлого, подмешано тут что-то неясное, что-то от сна, уловить его, ухватить под силу разве что поэзии (блоковское «Ты, как младенец, спишь, Ра-венна, у сонной вечности в руках»). Это в общем-то легкое чувство: возвращаться в прошлое нетрудно, нашего воображения ничто уже не тревожит (во всяком случае, сильно) — отшумевшие битвы, боль, которая отболела (или — почти). Ведь память вообще порядочная лакировщица, романтической дымкой затягивает она морщины и шрамы; грубейшая проза, и кровь, и грязь — все уже как бы размыто временем. Давно прошедшее видится нам скорее таинственным, чем трудным и тяжким. Но все же путь к нему лежит через кладбище, и потому чувство печали и как бы легкой боли всегда сопутствует воспоминанию об ушедших веках. К слову сказать, историческая проза могла бы считаться с этим нашим поэтическим восприятием, не бояться «дымки времени», не делать вида, будто в прошлом ей все яно видно и доподлинно известно, оставить недоговоренность там, где жизнь не дала материала. Впрочем, написать подобную прозу, так сказать, дымчатую и дырявую (и вместе с тем сильную и точную), тоже, наверно, мог бы только поэт.

А как хочется иногда заглянуть в прошлое (недаром так часто туда путешествовала фантастика то в калошах счастья, то на машине времени), встретиться с людьми, жившими столетия назад, — увидеть, например, вживе Пушкина, взгляд, улыбку, даже просто повадку. Это желание, казалось бы неразумное, потому что несбыточное, бывает томительным и острым — до тоски. Чтобы утолить эту жажду, у нас есть единственный способ: история во всех ее разветвлениях. Тщательно собирать крупички памяти, сохранившиеся в письмах, дневниках, воспоминаниях, старых вещах, порт-

ретах, — работа огромная, трудная, «мелкая, хуже вышивания» (как сказал бы Е. Шварц) — медленный труд реставратора. Порой хочется ему (да еще как хочется!) дописать утраченную живопись жизни, заполнить пробелы собственной догадкой, но этот путь заказан профессиональным долгом, ответственностью перед истиной, «...истина же, — процитируем Сервантеса, — есть родная дочь истории — соперницы времени, сокровищницы деяний, свидетельницы минувшего, поучительного примера для настоящего, предостережения для будущего». История потому и стала соперницей времени, что, воскрешая, отвоевывает у него людей. Мы благодарны историкам, реставраторам былой жизни, это они дают нам увидеть давно исчезнувшие лица, услышать давно умолкнувшие голоса.

«— А матка их... тоже, видать, хороша курвица!.. Этот «партизан» приплод нам оставил... Пусть окотится, как-нибудь прокормим!»

Кого же это так воскресили, о господи, чей же это голос? Русской императрицы Елизаветы Петровны. А кто такая «курвица»? Польская графиня Понятовская. А окотится кто у нас должен? Великая княгиня Екатерина Алексеевна, будущая Екатерина II. А что же все это значит?

А значит все это, что следом за историком, реставратором прошлого, идет исторический романист, не всякий, разумеется (не станем обижать исторических романистов), а тот, кто уверен, будто ему дано право кроить и перекраивать былую жизнь — и все дозволено. Каким образом превращает он материал этой жизни в материал своих произведений, можно проследить на примере того же, только что процитированного романа. Елизавета Петровна у себя в спальне. Она «встала и, скребя в голове, отворила двери... «Кой час ныне,

люди? — спросила она, зевая. — Да где граф Карлушка? Уж не пьян ли? Пушай кафу мне варит...» Шлепая босыми пятками, простоволосая и распаренная, императрица снова таяко бухнулась в провалённые пуховики. Вспомнила тут, как вчера Ванечка ее пьян был».

В своей рецензии на «Юрия Милославского» Пушкин писал о некоторых авторах исторических романов: «...подобно ученику Агриппы, они, вызвав демона старины, не умели им управлять и сделались жертвами своей дерзости. В век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений».

Но самое для нас главное происходит дальше: придворный истопник, подбежав к Елизавете, с криком: «Эх ты, лебедь белая!» — «вдруг чмокнул императрицу в румяную пятку, торчавшую из кружев». Как, почему возник в голове автора этот непостижимый истопник?

Императрица Елизавета была женщиной с весьма слабой (чтобы не сказать — сорванной) нервной системой. Не сиделось ей, все время она куда-то ехала, то в Москву, то на богомолье, то к кому-нибудь погостить; несмотря на всю свою набожность, даже в церкви не могла устоять спокойно и непрерывно переходила с места на место. Ночью металась и стонала, а если положить ей руку на лоб и сказать тихо: «Лебедь белая» — успокаивалась; поэтому специальный человек дежурил возле нее, клал руку ей на лоб, говорил про белую лебедь (и получил за это дворянство и фамилию Лебедев). Вот из такой сцены (скорее даже лирической — тревога и успокоение) автор «исторического» романа создал свой замечательный эпизод с истопником и царской пяткой. Пример, разумеется, крайний (но, как мы сейчас увидим, — не самый), зато принцип переделки, перекройки жизни (до неузнаваемости) встречается довольно часто. «Не так все это было», — говорит историк. «Неважно», — отвечает иной романист. — Я так это вижу». Именно императрицу румяную пятку, торчавшую из кружев. А кому из нас нужна эта пятка? Не только не нужна, но и вредна, так как подобного рода «сочная деталь» придает неверную и дурную окраску и Елизавете, и ее окружению, и самой эпохе. Кстати, Ванечка, который вчера пьян был, это Иван Иванович Шувалов, основатель и первый куратор Московского университета, покровитель Ломоносова, просветитель, президент Академии художеств.

Где уж тут говорить о поэзии прошлого и прочих тонких вещах, речь пойдет о делах куда более простых — о праве и обязанности автора исторической беллетристики.

Для Дюма, как писал он сам, история всего лишь гвоздь, на который он вешает свои картины, — метод распространенный, чего только не навешивали на этот гвоздь — от приключенческого романа до философской системы. Все дело, конечно, в том, какая картина. Я не знаю, достоверно ли отразил Дюма Францию XVII века, как большинство читателей, я самое эту Францию представляю себе по Дюма, но картины, им созданные, привлекательны своей яркой витальностью. А вот как нам быть с такой картинкой (я долго сомневалась, приводить ли ее, и читатель сейчас поймет мои сомнения, но она — напечатана, а значит, пущена в жизнь): «И што это вы окон не отворяете? — брезгливо фыркала Лизка. — Никитишну забрали, так и горшка никто не вынесет». — «А ты возьми да и вынеси». — «Еще чего! Я и за собой-то их никогда не нашивала». — «А из-под меня будешь носить... Бери, тварь, неси!» И заставила вынести... А это, как вы думаете, кто и с кем мог бы так разговаривать (на уровне санузла)? Опять же великая княгиня Екатерина Алексеевна, на этот раз с графиней Воронцовой. На каком же гвозде висит эта наша прелесть?

Как видите, дела обстоят серьезно.

Было время, когда широкий читатель получал сведения о прошлом главным образом от исторического романиста, теперь развился и окреп мощный жанр художественной публицистики, документалистики, который дает возможность читателю общаться с прошлым напрямую, без посредников (если не считать, конечно, автора, подбирающего и организуящего исторический материал). Надо ли говорить, что оба жанра исторической прозы, и документальной и беллетристической (построенной тоже на документе, но с некоторой помощью воображения), служат одному и тому же делу — исторической истине. В рамках одного и того же жанра могут быть удачи, могут быть и неудачи, но историческая беллетристика именно потому, что в создании ее участвует воображение (порой вступающее в родство с произволом), требует, как мне кажется, особого внимания.

Говорят, исторический роман открыт до ступу художественного вымысла, открыт широко и, главное, принципиально. Оставим в стороне слово «художественный»,

главное — «открыт широко». Но где та грань, за которой исторический роман становится антиисторическим? Я говорю даже не о достоверности факта в таком романе (вопрос теоретически сложный), но об отношении к прошлому, об уважении к нему и ответственности перед ним.

Честно говоря, меня вообще всегда поражала смелость авторов исторической прозы, взваливших на плечи такую ответственность — говорить от имени давно умерших людей и даже читать их мысли. Ближайшего соседа, и того не всегда поймешь (откуда знать, почему он так поступил и что при этом думал?), а уж если человек жил в эпоху иных нравов, иного уровня мышления? Неужели не боязно вступать на столь зыбкую почву? Тем паче, что тут возникает и еще одно важное и отчасти щекотливое обстоятельство. Героем исторического сочинения бывает, как правило, замечательный человек (поэт, ученый, государственный деятель, герой), и автор сочинения о нем по уровню понимания жизни, по степени духовности должен быть во всяком случае не ниже своего героя; это чтобы восхититься гением, насладиться его творчеством, не нужно конгениальности, но чтобы заглянуть в его внутренний мир, заговорить его голосом... Автор вообще не может быть ниже своего героя (грубо говоря, Плюшкин не может написать Гоголя), применительно к нашей теме: Пушкин мог написать таких крупных людей, какими были Пугачев и Екатерина II, но кому дано написать Пушкина?

Знаю, писали. Мне, конечно, напоминают прежде всего роман Тьнянова. Пример замечательный. Тьнянов, как известно, был блестящим знатоком пушкинского времени, он не просто его знал, он, кажется, уже дышал его воздухом и думал его мыслями. Тончайшая языковая стилизация (и легкий отзвук пушкинского слога) позволяет нам проникнуть в самый дух эпохи. Именно это, кажется, одно из лучших достижений нашей исторической прозы позволяет сделать некоторые наблюдения относительно исторической прозы вообще.

Великолепная, многообразная, изящно тонированная (опять-таки в духе эпохи) жизнь начинает свое медленное движение вокруг пушкинской колыбели (а потом вокруг детства и юности — роман, как известно, не окончен); мы лобуемся легким и точным словом, четкостью образов, тонкостью стилизации, тут уж нечего нам бояться вторжения какой-нибудь «пятки», безвкусицы, антиисторизма — все выверено, все соразмерно.

Самые блестящие из представленных персонажей это, конечно, братья Пушкины, особенно Василий Львович, бонвиван, эфемер. Хороша, кажется, и Надежда Осиповна с ее желтыми ладонями и бешеным нравом — и многие другие. Но нетрудно заметить, что над этой жизнью, с такой свободой и мастерством изображенной, витает дух иронии, которого не избежал почти ни один персонаж этой жизненной карусели — ни Пушкины, ни Александр Тургенев, ни сам Карамзин. Этот покров иронии делает персонажи пусть живыми, но все же силуэтами (жанр, кстати, столь модный в ту эпоху), а силуэт, сколь бы выразителен он ни был, полнокровного характера выразить не может, потому что плоский. Но если он неполон, значит, все-таки искажен? Да, постепенно начинаются сомнения: такими ли были эти люди — ведь не проверить?

Но есть образы, которые можно проверить, и тогда видно, что силуэты неточны, а подчас и искажены, и это прежде всего Карамзин — именно его, изображенного беллетристически, сейчас легче всего проверить документалистикой, поскольку только что выпло исследование Н. Эйдельмана о Карамзине. Нет, совсем не таким был подлинный Карамзин, каким его представил нам Тьнянов; да, монархист, но взгляды его куда сложнее и противоречивее, чем полагают обычно, есть в нем понимание страны и соотношения сил (чего стоят строчки: «...те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и в лимфе»). Подчеркивая всю остроту его столкновения с декабристами, Эйдельман показывает, что то был спор честных, «явление всегда примечательное, — пишет автор, — и открывающее, как правило, больше истины, нежели ясное противоборство черного и светлого. Прислушаемся же...». И перед нами развертывается интереснейший спор. Действительный Карамзин совсем не был тем плоским, робким царедворцем, каким он изображен в романе Тьнянова; слова самого Карамзина: «Я не придворный! Историографу естественнее умереть на гряде капустной, им обработанной, нежели на пороге дворца» — это не просто декларация. Отношения с царем? Они не только лишены угодливости — напротив, доказывает автор, Карамзин нужен был царю больше, чем царь Карамзину. Александр, конечно, ищет общества историка, в их многочасовых беседах (так поражавших царедворцев) Карамзин «не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе фи-

нансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные», — не для того ли стал близок царю Карамзин, чтобы иметь возможность говорить ему такие слова (тут и декабристы подписались бы)?

Общественная позиция Карамзина абсолютно независима, его личная — не меньше. Он пишет царю: «Ваше величество, у Вас много самолюбия — у меня никакого. Мы равны перед богом... Я люблю только ту свободу, которой ни один тиран не сможет меня лишить». «Эта фраза, — комментирует автор, — чуть не поссорила их, но Александр стерпел».

Вот эпизод, рассказанный Пушкиным: «Однажды, отправляясь в Павловск (ко двору. — О. Ч.) и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались», — совершенная внутренняя независимость в этом мимолетном эпизоде, который, быть может, красноречивей многих абзацев. Но вот другой эпизод, связанный с Пушкиным, где Карамзин нам еще привлекательнее. Известно, что семнадцатилетний Пушкин вдруг письмом объяснился в любви тридцатилетней Карамзиной и муж (которому было пятьдесят) узнал об этом письме. «Какие же слова нашел втрое старший знаменитый писатель, — пишет Эйдельман, — чтобы такой «внук» во время этой сцены (как утверждали современники) плакал и смеялся, но притом не обиделся... Какое же слово знал Карамзин, чтобы в столь невыносимом, щекотливом положении сохранить дружбу и любовь молодого гения? Ах, если б угадать...» Нет, слов мы не узнаем, но общий смысл их, но их свет, их благородство — все это угадать можно.

Появление «Истории государства российского», по свидетельству современников, потрясло читающее общество. Все, от царя до декабристов, от высшего света до иных представителей «податного сословия» (даже их!), с жадностью впервые читали историю своей страны. Известны пушкинские слова: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем

ином не говорили». «Россия, вернувшаяся из великого похода, — пишет Эйдельман, — желала понять саму себя» — и приводит слова Вяземского: «Карамзин — наш Кутузов двенадцатого года: он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть, как многие узнали о том в двенадцатом годе». Колумб! Кутузов! Великие открытия, великий спаситель, великое завоевание! Но ведь и у нас, читателей исследования, тоже ощущение открытия — открывается неизвестный нам, нет, нами забытый, искаженный нами Карамзин.

Атмосфера того восторга, который охватил русское общество с появлением «Истории государства российского», передана автором с такой силой, что невольно охватывает и читателя, — это чувства глубокие, перереживания сильные, как глубока и сильна карамзинская мысль. Особое потрясение (и мыслей и чувств) вызвал IX том, где описан царь Иван IV («Ивашка» называет его в письмах Карамзин) и его правление. «Прежние историки и публицисты, — говорит Эйдельман, — не решались откровенно описывать эту эпоху... Карамзин же пишет свободно и страшно. Об «изверге вне правил и вероятностей рассудка», о «шести эпохах душегубства», когда царь, в очередной раз казнив своих сподвижников, набирал новых: «...сокрушив любезное ему дотоле орудие мучительства, остался мучителем!». И, наконец, такой взлет карамзинской мысли: «Зрелище удивительное, навеки достопамятное для самого отдаленнейшего потомства, для всех народов и властителей земли; разительное доказательство, сколь тиранство унижает душу, ослепляет ум привидениями страха, мертвит силы и в государе, и в государстве! Не изменились россияне, но царь изменил им!» «Царь — изменник!» — восклицает пораженный Эйдельман; есть чему поразиться: слова и в самом деле поразительные в устах приверженца самодержавия (почитать бы эти карамзинские строки недавним апологетам «великого государя»).

Такой Карамзин свободно, со свойственным ему достоинством входит в мировую культуру, чтобы занять здесь свое место.

Видите, нам казалось, что совершенное знание эпохи и тонкая интуиция позволяют мастеру тыняновского уровня дать всю свою вообразенность, но оказывается, что даже и тут нужна некая осторожность.

Но роман-то Тынянова о Пушкине, а Пушкина, предмет своей великой любви, он не написал. Конечно, Тынянов талантливо изобразил живого мальчика и юношу

(именно начала 20-х годов), но гениально-го? — этого ему не удалось (да кажется, и не могло удаться). Даже Тьнянову! Между тем мы сейчас имеем дело с потоком историко-биографической литературы, которая писана людьми куда менее сведущими, появился даже, кажется, некий тип биографабеллетриста, который сегодня пишет Россию, завтра Францию, сегодня XIII век, завтра XV, послезавтра XVIII, без труда произнося монологи от имени любого исторического лица. Но роман о человеке далекого прошлого, я убеждена в этом, ты можешь попробовать написать только раз в жизни и при том непременно условии, если этому человеку отданы не только годы работы, но еще и вся твоя любовь.

Без субъективности, разумеется, роман написать нельзя, но неужто ее права по отношению к живым людям неограниченны? «Они уже не живые», — возразил мне один литературовед, имея в виду, что — уже не обидятся. Вот странная мысль. Разве у мертвого уже нет доброго имени? Разве его смертью оно стало выморочным?

Стоит поднять вопрос об ответственности писателя перед историческим лицом. Сейчас романистов повело на упоминавшуюся нами императрицу, она то и дело возникает на страницах романов — то шпионкой, то любовницей. «... где бы теперь ни появлялась Екатерина, серые глаза прекрасного Пяста (Понятовского.— О. Ч.) с тоской преследовали ее гибкую фигуру... «Ваше высочество...» — бормотнул он, становясь жалким. Екатерина шумно вздохнула: «Я не высочество для тебя — я слабое женское ничтожество. Так возлюбил же меня, прекрасный Пяст!» И падая на гриву, мокрую от росы, она увлекла его за собой. Вдали рокотал голштинский барабан».

В романе другого автора Екатерина — кошмарная баба с проваленным ртом — избивает лакея, которого застала спящим; она «ударил Шкурина по лицу, дергала его за руки, за плечи, щипала с вывертом — Шкурин не просыпался. Придя в совершенное бешенство, императрица приподняла юбки и стала пинать его, норовя попасть носком туфли в самое чувствительное место — по кости голени». На самом деле Екатерина страшлищем не была, а была, напротив, шармершей, очаровательницей и умело этим своим даром пользовалась. И любила она не под голштинский барабан. И Шкурина ногами не била, а сам он был не лакеем, но гардеробмейстером и одним из наиболее доверенных ее людей (она сделала его дворянином, отдала ему на воспитание своего сына от Орлова и т. д.).

Ну почему бы авторам приведенных романов не придумать в конце концов собственную царицу, предположим, Евдокию VII, и пусть она вступает в какие угодно отношения с истопником? Но нет, сказавши «Елизавета» или «Екатерина II», автор отлично знает, что память и воображение читателя тотчас заработают, передним сами собой встанут и век, и быт, и характеры, и сюжеты — все дано, нет нужды трудиться, можно, немножко почитав «Русский архив», кроить и перекраивать уже данный материал. Да и кому нужна Евдокия VII? Но, с другой стороны, Екатерина, которая бьет ногами Шкурина, уж заведомо никому не нужна.

А вся соль в том, что историческая беллетристика — жанр опасный и коварный, он обладает кажущейся легкостью, а на самом деле безмерно труден. Я даже думаю — труднее любого другого.

Он требует особого умения — взглянуть на изображаемую эпоху изнутри этой эпохи, как бы забыв опыт последующих поколений (что, разумеется, почти невозможно), здесь нужен особый «гений истории». Даже Пушкин обладал им не всегда — так, в «Арапе Петра Великого» он поместил в начало XVIII века молодого человека, явно принадлежащего к веку XIX и в воздухе петровской эпохи нежизнеспособного. Зато гений истории вполне владел Пушкиным, когда он писал «Капитанскую дочку».

Есть сюжеты, которые вообще беллетристике не даются. Известно, например, что Державин был очень активен в подавлении пугачевского восстания — и это правдиво показано в книге О. Михайлова о Державине. Но существует эпизод, к которому не знаешь как отнестись, — столкновение Державина с крестьянами одной из деревень, собравшимися перейти к Пугачеву, когда Державин велел повесить двух зачинщиков. В пушкинской «Истории Пугачева» этот эпизод снабжен таким примечанием: «И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэгического любопытства, нежели из настоящей необходимости». Свидетельство загадочное. Дмитриев отлично знал Державина, говорил не для красного словца (иначе Пушкин не привел бы его замечание в своем столь серьезном труде). Что говорит нам это об эпохе, о Державине, и что же это за вурдалак, у которого подобное поэгическое любопытство? О. Михайлов этот эпизод опустил и правильно сделал, конечно. В беллетристической форме его передать невозможно (тут нужен был бы Достоевский, автор, не боящийся бездны). Зато он впол-

не доступен другой форме художественного анализа — жанру документальной прозы. Здесь ужасная сцена была бы вписана в контекст эпохи, исследована и как социальное и глубоко психологическое явление.

Проблема языка, основная для любого жанра, в документалистике не более трудна, чем в любом другом жанре, — в исторической беллетристике с ней связаны трудности особые. В самом деле, каким языком должен говорить автор исторического романа или романизованной биографии, каким языком должны разговаривать его герои? Хотелось бы, чтобы языком эпохи, да как догадаться, каков он был, этот язык, если никто из нас его не слышал. И вот герои некоторых исторических произведений начинают говорить на неведомо каком наречии, никогда не бывшем, а потому неживом и уродливом, как «восковая персона». «Кой час ныне, люди?... Пушай кафу мне варит...» Или в том же романе: Елизавета жила «в шепелевском доме своей подружки, Маврутки Шуваловой, что на Мойке-реке — как раз насупротив Строгановского палаццо». Иным авторам кажется, что нужно взять в основу некий простонародный говор («Маврутка», «насупротив»), украсить былинной напевностью («что на Мойке-реке»), натащить сюда разных «палаццо», «викторий», «ретирад» (язык канцелярии и воинских реляций), вместо «так» писать «тако», вместо «этот» — «сей», а глагол поставить далеко в конце фразы, чтобы придать ей некую анапестическую заумность, — и получится чистый XVIII век. Вместо того чтобы преодолевать языковой барьер, его увеличивают, и тогда ушедшего века уж вовсе не видать.

Труднейшую задачу — писать на языке, которого не слышал, — решить не может и самый добросовестный, «научный» подход к ней. О. Михайлов, как сам он пишет, начал свою работу над книгой о Державине с того, что создал «словарик на несколько сот слов, выписав их из ряда монументальных изданий, наподобие четырехтомного словаря церковнославянского и русского языка (СПб, 1867), а также сборников русских пословиц, поговорок, загадок». Но реконструкция языка по словарям и сборникам пословиц тоже дело невозможное. «Пойдем, братец, в компанию, — предложил раз Блудов. — Спознакомлю тебя с прекрасной иностранкой...» «Мне, право, стыдно, — усумнился Державин. — Ведь пересмены платья какой не имею... Вон гляди... перекропки ношу да в отопках хожу...» Ритмизованная проза, очевидно, от пословицы.

«Отопки», наверно, оттопанная, сношенная обувь, можно догадаться. А «перекропки»? По смыслу — отрепья, а может быть, и нет? Смотрю в словарь, приложенный в конце книги: «Перекропок — одежда, переделанная из старого платья». Автору кажется, что он вводит «колорит эпохи», а на самом деле неизвестно зачем отвлекает внимание читателя к справочнику, да еще посередине диалога. «Ничего, братец, — отвечает ему Блудов. — Во всяком плаге ты пригож! Все тебе личит». Интонация умышленная, демонстративная, заставляющая вспомнить адмирала Шишкова, написавшего в альбом светской дамы: «Без белил ты, девка, бела, без румян ты, девка, ала» (я, кстати, вовсе не собираюсь смеяться над А. С. Шишковым, в том, что он писал, было много смешного, зато в его защите старого языка был свой смысл). Но когда уже в авторской речи читаешь: «Сии офицеры гвардейские постоянно упражнялись в пьянстве... наезжая с пряниками-жмычками... маковой избоиной и другими вкусными заедками и никого посторонних, кроме девок, не впуская», — недоумения возрастают. Для современного уха (и кто знает, как это звучало во второй половине XVIII века?) слово «избоина» неприятно напоминает «убоину», а «заедки» — «объедки», ненужная побочная ассоциация, создающая впечатление небрежности, с которым нельзя не считаться. Да и от имени кого — и кому? — говорит автор все эти «впускающая»?

Между тем живая речь явно звучала не так, как письменная, свидетельством тому мемуары эпохи, чей язык порой поражает близостью к нашему современному. Если речь идет о русском XVIII веке, прямым советчиком может быть тут опять-таки Пушкин, его «Капитанскую дочку» в какой-то мере можно рассматривать как исторический источник, настолько точно отражена в ней эпоха. Язык XVIII века при Пушкине был еще на слуху, на нем говорили многие пушкинские знакомцы, это был, конечно, тот же русский язык (отчего бы ему вдруг да измениться? — менялся литературный, а не разговорный), лишь с некоторым налетом старомодности. Пушкин не уснащает речи своих героев ни «перекропками», ни «решпектами» (слово подобного рода возникло в «Капитанской дочке», но не в разговорной речи, а в письме Маши Миронской, когда она просит поскорее прислать «сикурсу»). Пушкинские герои говорят на прекрасном, чистом и сильном языке, столь свойственном XVIII веку.

Словом, попытка за незнанием разговорного языка эпохи говорить на языке, ко-

торый должен быть на него похож, вряд ли может быть успешной (примерно так говорят с иностранцем люди, не знающие его языка и почему-то перевирающие от того свой собственный: «Моя твоя не понимать»).

Мы уже упоминали о том, с каким тактом осуществляла языковую стилизацию Тынянов; замечательным мастером ее предстает в своем «Петре» А. Н. Толстой, перед которым стояла сложнейшая задача — передать язык петровской эпохи — и который не польстился на сплошную его архаизацию.

Иные полагают, будто повествование, строго следующее за документом, обладает некой ползуцелью, в то время как воображение позволяет взлетать.

Посмотрим, как они порой воплощаются на практике, эта ползуцель и эти взлеты. В 1982 году вышло две книги об одной и той же судьбе — о поразительной и короткой жизни Жанны д'Арк. Сперва о книге беллетризованной — А. Левандовского (недавно переизданной в серии «ЖЗЛ»).

Автор свободно ведет рассказ от детства Жанны и до конца ее дней, очень много говорит о ее внутреннем мире. В детстве она, например, погружалась «в чудную страну грез», из этой чудной страны она переходила в другой мир — мрачное подземелье соседнего замка. «Это было, — пишет А. Левандовский, — царство кошмара и смерти. Ужас душил Жанну, слезы подступали к горлу... Но она не плакала, так как знала, что достаточно подняться наверх, и все станет другим, совсем другим... Позднее она поняла, что так бывает и в жизни: после сказочного взлета, после солнца и счастья наступает падение и давящий ужас мрака. Но она не боялась этого. Она знала, что мрак не может убить света, что солнце все равно выйдет из тьмы, что сила человеческого духа — чудесная страна, возвышающаяся над смрадным царством лжи, несправедливости и тяжелого гнета». Что сообщает нам о Жанне подобного рода текст? И уместны ли эти бодрые строки, когда речь идет о человеке, заживо сожженном на костре? В Руане в 1431 году для Жанны солнце не вышло из тьмы. Вот он — взлет.

Внешне Жанна то и дело предстает юным пажом («Черное шелковое трико плотно облегалo стройную фигуру»), но средневековый паж — лицо феодальной иерархии, у него свои функции, свои опознавательные знаки, средневековое сознание Жанну пажом представлять не могло, этот паж — из маскарада; в битве Жанна была подобна

белому ангелу. Время от времени «непрощенные слезы» затуманивали ее взор. «А душа Жанны горела неугасимым огнем. Ее сердце кровоточило. Ей было безумно жаль...» и т. д. — слог, чуждый нашей современности, не совместимый со стилем XV века (а если он и стилизация, то под приложение к дореволюционной «Ниве»).

А теперь послушаем подлинный голос источника — я беру текст из другой книги о Жанне — В. Райцеса «Жанна д'Арк» (издание ленинградского отделения издательства «Наука»).

Один из придворных Карла VII — Персваль де Буленвилье — сообщает своему зарубежному адресату последние, можно сказать, сенсационные новости; в Европе уже слыхали о появлении Девы, вдруг повернувшей ход тяжкой войны, всем хотелось знать, какая она. «Дева сия сложением изящна; держится она по-мужски, говорит немного, в речах выказывает необыкновенную рассудительность... Ест она мало, пьет еще меньше. Ей нравятся боевые кони и красивое оружие... Она любит общество благородных воинов и ненавидит многолюдные сборища... С неслыханной легкостью выносит она и тяготы ратного труда, и бремя лат, так что может по шесть дней и ночей подряд оставаться в полном вооружении». Текст сдержан и точен, ничего лишнего, а как запоминается!

В. Райцес построил свою книгу как ряд загадок — не искусственно-детективных (какие порой придумывают, чтобы привлечь внимание читателя), а честных загадок, рожденных самим прошлым, которое от нас скрыто. Автор задает нам (и себе) задачи и старается их решить в ходе исследования источников.

А. Левандовский, напротив, избрав беллетристический жанр, взвалил на себя бремя всеведения. Никаких сомнений, он знает все — кто как поступил, кто кому что сказал и кто что подумал. Вот образец внутреннего монолога архиепископа Реймского: «...король, этот трусливый убождок, как будто занял решительную позицию... Чего же добился самонадеянный индюк шамбеллан? Ничего, если не считать письма монсеньера Жака Желю. Но это долгожданное письмо тоже — хе-хе! — оказалось не совсем таким, как рассчитывал де Тремуйль. Монсеньер Жак Желю большой пройдоха... Его письмо составлено в духе „нельзя не сознаться, но нельзя и не признаться“». Вот именно так, в стиле российского фельетона (и к тому же «хе-хе»), думал канцлер средневековой Франции, архиепископ Реньо де Шартр.

«Что за слог и что за тон!» — писал Пушкин по поводу некоей весьма развязной рецензии на мадам де Сталь и слово «гон» выделил курсивом. В суждении о прошлом, в передаче прошлого слог и тон тоже играют роль первостепенную — как знак, что понят дух эпохи. А без понимания ее духа не поймешь и ее фактов, особенно если речь идет о такой невероятной истории, как история Жанны.

Ее судьба действительно сплошная цепь загадок: семнадцатилетняя крестьянская девушка оказалась во главе королевского войска (и это во Франции с ее непереодолимыми сословными барьерами!) и одерживала одну победу за другой, — чтобы понять, как это случилось, нужен некий род «исторического сопереживания», нужно уметь как бы выскочить из собственной кожи со всем тем временным, национальным, социальным, культурным, что на нейросло, и переселиться в кожу средневекового человека, глядеть его глазами и думать на уровне его знания и мыслей, только тогда можно понемногу начать разгадывать загадки этой поразительной истории.

Что такое, например, голоса, которые слышала Жанна? А Левандовский явно стесняется этого ее свойства — слышать голоса святых. И «е ли вина была в том, что она росла темной и суеверной, как все средневековые люди, что ее высокие стремления и порывы облекались в религиозные одежды?» — так писал он в первом издании, а во втором говорит, что «Жанна была не такой, как другие. Она глубже чувствовала, острее переживала и мыслила образно». Вот из этой ее способности «мыслить образно» и возникли будто бы ее голоса. «...это были вопли измученных людей, стоны страдающей родины, зов ее большого и чуткого сердца». Подобное невятно-аллегорическое объяснение ничего нам, разумеется, прояснить не может. С самой Жанной, с живой, что происходило? Слышала ли она голоса, видела ли она святых? И правда ли это, что она именно в отличие от других «мыслила образно»? Если А. Левандовский стремится как бы размыть видения Жанны — «ей представлялись образы, неясные, но дорогие сердцу», то В. Райцес, напротив, углубляется в проблему, приводит собственные свидетельства Жанны (из протоколов допросов в ходе суда), из которых мы узнаем, что голоса святых она слышала отчетливо, что говорили они по-французски, что она видела святых («Я видела их собственными глазами так же, как вижу вас»), первым ей явился архангел Михаил, он предупредил ее, что к

ней придут святые Екатерина и Маргарита. Она с ними разговаривала, она их обнимала, а когда они уходили, плакала и просила взять ее с собой — тут аллегориями не отделаешься. Жанна была в непрестанном живом общении со своими видениями. Психопатия? Сумасшествие? «Действительно, — пишет В. Райцес, — все, что нам известно о «голосах и видениях» Жанны, как будто полностью соответствует классической картине галлюцинаций. Однако, взятое само по себе, вне исторического контекста, это определение мало что объясняет в феномене Жанны и может лишь внушить совершенно ложное представление о ее личности. Для современного человека галлюцинации связаны с расстройством сознания, патологическими отклонениями от психической нормы. Но подходить к современным понятиям о норме и патологии к средневековому человеку, чувства которого, по известным словам Ф. Энгельса, «вскормлены были исключительно религиозной пищей», значит заведомо закрыть себе путь к пониманию его внутреннего мира».

Да, чтобы понять столь чуждое нам явление, каким было средневековое визионерство, необходимо напрячь фантазию. Наверно, пока не представишь себе, как архангел Михаил, покровитель Франции, крылатый, в рыцарских доспехах, невидимый, но ясно представляемый (ведь крылатый и в доспехах), летит над страной (вернее всего слявшись с горы Сен-Мишель, где знаменитый, посвященный архангелу монастырь), летит на зов молитвы, вмешивается в жизнь, защищает беспомощных, карает злодеев, пока не поверишь в это, история Жанны останется за семью печатями. Поверить в архангела Михаила — требование бессмысленное? И тем не менее архангел был как бы реален, поскольку реальностью было то общественное сознание, в котором он прочно поселился как реальность. От этой твердой веры в обитателей потустороннего мира средневековому человеку уже было недалеко и до того, чтобы увидеть их пролетающие тени, а при более нервной и пылкой натуре даже вступить с ними в общение. «Средневековые изобиловали разного рода видениями, — пишет В. Райцес, — и визионерское воображение воспринималось не как аномалия, а как естественное явление». Не понимая этой глубокой, растворенной в жизни веры в сверхъестественное, нельзя понять ни собственной уверенности Жанны в том, что она посланница неба и спасает Францию, ни того, почему король поставил ее во главе армии. Я приведу аналогию, которая будет

звучать странно (и даже вроде бы грубо и кощунственно), но зато резко обозначит проблему. Когда в XI веке толпы крестоносцев двинулись на Восток, во «глазе одного из отрядов шла гусь и коза, священные животные (остатки язычества). Конечно, XI век — это не XV, а святая — это не священное животное, и все-таки Жанну поставили во главе армии не в качестве полководца, каковым деревенская девочка быть не могла, надежды возлагали на таящуюся в ней сверхъестественную силу пророчицы, ясновидящей, святой.

Другое дело, что сама Жанна была реальным чудом, неповторимым соединением ума, воли, таланта, огромного обаяния, бескорыстной жажды спасти «милую Францию». Эти ее качества дали невиданную силу освободительной борьбе.

В последнем романе Томаса Манна «Избранник», который являет собой блестящую стилизацию средневековья, на первой же странице начинают сами собой звонить колокола. Свечи, которые зажигаются сами собой, колокола, которые сами собой звонят, — все это частая принадлежность средневекового жития или хроники (это дух повествования звонит в колокола, лукаво сообщает Манн). Человек неученый, прочтя подобный текст, скажет: «Колокола сами собой звонить не могут» — и будет думать, что сделал дело. Ученый человек задумается над тем, почему бы это колокола вдруг сами собой зазвонили.

К свидетельствам источников можно подходить по-разному. Документалист — с осторожностью, он тщательно проверяет, сопоставляет их с другими источниками, устраняя противоречия. То же делают и беллетристы, авторы романизованных биографий, но иные считают себя вправе из противоречивых, спорящих друг с другом источников произвольно выбрать тот, который кажется им эффективней или удобней, не заботясь о том, что было в действительности.

В истории Жанны есть известный эпизод: король, желая испытать, на самом ли деле она наделена даром ясновидения, прячется среди придворных — Жанна должна сама узнать его (и она, разумеется, узнает). В. Райцес тщательным сопоставлением источников доказывает, что эпизод этот — позднейшая легенда, современникам Жанны неизвестная. А Левандовский берет легенду впрямую, как факт. Ему было бы легче, если бы он считал Жанну экстрасенсом, но он и этого не считает. А потому эпизод в его изображении выглядит так: в

зале, набитом придворными, появляется «юный паж в черном суконном костюме, с волосами, подстриженными в кружок. Паж останавливается. Его губы вздрагивают. Его глаза скользят по лицам придворных. Затем уверенно, без тени смущения, быстрым шагом идет он вперед, к центру зала...».

Придумать пажа со вздрагивающими губами ничего не стоит, а вот объяснить (вне мистики и телепатии), почему этот паж без тени смущения угадал короля! Автор так выходит из положения: Жанна вдруг видит «из-за» придворных чьи-то испуганные глаза. А кто во дворце мог глядеть испуганно? Только король. «Жанна падает на колено и протягивает к нему свои сильные и добрые руки». Убедительно? Интересно?

Можно было бы опустить эпизод как легендарный, можно было бы стилизовать его под средневековую легенду, но передавать легенду с тяжеловесной серьезностью факта?

Книга А. Левандовского — это попытка сложную, тончайшую по своей духовности историю Жанны перевести в очень простую социологизированную схему. Жанна оказывается «идеологом народа», уже с детства задумывалась она о причинах социального неравенства и (обогнав столетия) даже предъявила счет самому богу (как, мол, допустил). Достигла она власти поддержкой народных масс, ненавидимая господствующими сословиями (механизм ее прихода в армию оказывается, таким образом, совершенно непонятным), была окружена врагами, среди которых первыми выступают попы. Выступают они, неотличимые, черным скопом — скопом шипят, иногда почему-то хором кудахчут, коллективно думают свои черные думы: «Будь их воля, они показали бы этой строптивой мужичке, где раки зимуют» (интересно, как «раки зимуют» на старофранцузском?). Они ежидно переглядываются, в бога, по-видимому, совсем не верят, сворой кидаются на Жанну и, задавая ей вопросы, «всегда жалаящие, сверлящие», устраивают подлинную нравственную пытку. У этих попов «были постные физиономии и жадные глаза», и «когда они смотрели на девушку, ей казалось, что ее раздевают» (первое издание).

На самом деле все было, разумеется, не так: когда Жанна явилась ко двору со своими невероятными требованиями, решено было ее испытать (и странно было бы, если бы этого не сделали): не сумасшедшая ли, не обманщица ли, а если и обладает сверхъестественной силой, то от кого эта

шла — от бога или от дьявола. Испытание поручили ученым-богословам, у которых ввиду важности задачи вряд ли было время и желание раздевать девушку глазами (автор вообще явно путает ученых-богословов с теми жирными и пьяными монахами, которых высмеивали гуманисты Возрождения). Некоторые их вопросы с точки зрения А. Левандовского «прямо поражали своей глупостью», например: если бог хочет спасти Францию, зачем он прибегает к помощи воинов?

Всякий, кто хотя бы поверхностно знакомился с культурой средних веков, знает, какова сложность этого богословского вопроса (весьма возможно, что экзаменаторы, убедившись, что Жанна от бога, с волнением и любопытством задавали ей этот вопрос — а вдруг знает!), в нем в конце концов заложена проблема свободы воли, о которой яростно спорили лучшие умы средневековья, которая и сейчас, кстати, являет собой одну из серьезных проблем нравственной, уже внерелигиозной философии. Жанна могла, конечно, не понять всей сложности вопроса (а впрочем, могла и понять, она была очень умна), но думать: «Что, этот жирный (?) монах издевается... или действительно ничего не смыслит» — вряд ли бы стала, а уж: «На, чертов поп, получай» — не стала бы наверняка. Автор совершает не меньшую ошибку, когда делает набожную католичку Жанну (недаром она и в тюрьме требовала, чтобы ее допустили к мессе и причастию) чуть ли не социально-религиозным бунтарем, мыслителем, реформатором, близким Яну Гусу.

Не менее яростно, чем попы, ненавидят Жанну «господа» (то есть дворянство). Большинство из них «находили целесообразным» (так и написано) «устранить крестьянку», разбить ее «союз с чернью». А впрочем, ею «занялись и по другой линии» (так и написано) — решили подкупить привилегиями и титулом. Но главным их чувством была ненависть. Снова грубая ошибка: в святую миссию Жанны поверили все, в том числе и духовенство и знать. И недаром не успела она появиться, как могущественный герцог Лотарингский позвал ее, чтобы она его исцелила (а она, как всегда честно, ответила, что не умеет).

Иначе как «девкой» попы и дворяне ее между собой не называют: «Что они, спятили с ума, белены объелись? Какая-то ошалелая деревенская дуреха всех водит за нос!», «Девка явно корчит из себя небесную избранницу» и т. д. В этой «девке», кстати, чувствуется привкус секса — де

Тремуйль хотел бы отдать ее на потеху солдатам, и архиепископ Реймский подумывал о том же. Впрочем, первым начал разработку этой темы капитан Воквлера — Робер де Бодрикур. Когда Жанна, еще никому не ведомая, пришла к нему просить, чтобы он отправил ее к королю, капитан будто бы обратился к ней с такою речью: «Крошка Жаннетта, все это прекрасно... ты умница и ведешь отменные речи. Но как ты думаешь, не сделать ли нам с тобой для начала славного ребеночка?» Каково!

Робер де Бодрикур, капитан Вокулера, — о нем мы знаем немного, но то, что знаем, вызывает уважение. В трудные годы войны и предательства, когда многие французские феодалы во главе с герцогом Бургундским стали на сторону англичан, Бодрикур остался верен Франции (за что англичане захватили его личные владения). Оказавшись в замкнутом англо-бургундском кольце, в очень тяжких условиях, он отстаивал и отстоял Вокулёр. Левандовский же утверждает, что Бодрикур был бесчестен, служил и нашим и вашим, «ловил жирную рыбку в мутной водичке». Как можно!

Если о Бодрикуре историкам известно немного, то другой персонаж книги, граф Дюнуа, — фигура очень известная.

Жан, Орлеанский батард (которому, судя по первому изданию книги Левандовского, удалось разом быть сыном Луи Орлеанского и некоего неведомого герцога Карла), был одним из самых ярких людей эпохи. Когда он встретился с Жанной, под Орлеаном, ему было 27 лет. Принадлежал он к среде изысканной культуры (был братом знаменитого французского поэта Шарля Орлеанского), сам высокообразован и всевозможно талантлив — один из лучших полководцев Столетней войны. Создать литературный образ этого человека — задача заманчивая и безмерно трудная. Дюнуа был блестящим оратором (первым во всем французском королевстве, говорит источник), чтобы реконструировать, предположим, его речь на военном совете, нужны огромные знания (исторические, историко-культурные, лингвистические) и тонкая интуиция. А. Левандовский справляется с этой задачей попросту: Дюнуа предлагает на военном совете «дьявольский план» — подставить возглавляемое Жанной народное ополчение под удар англичан, которые перебьют «подлый народ» и «заодно утрут нос его обожаемой Деве». Как не вспомнить еще раз слова Пушкина об исторических романистах, которые вместо того, чтобы перенести читателя в прошлое, перебира-

ются туда сами «с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений».

Жанну нельзя понять вне современной ей культуры. Споры нет, груба была эпоха с ее классовым угнетением, жестокими насилиями, грязью и кровью, тем не менее культура, ею созданная (так порой бывает в истории, так было и в русском XVIII веке), отличается особой, высокодуховной красотой. Натуру Жанны, может быть, лучше всего постичь через Реймский собор, который так страстно взлетает в небо и так прочно стоит на земле — точное соответствие удивительному сочетанию в Жанне экзальтации и здравого смысла.

Многое дошло до нас от той эпохи, вобравшей в себя опыт предыдущих. Готические соборы, чьи тела словно бы насквозь продуты ветром; фантастический свет их цветных витражей; соборная скульптура с ее лиризмом и высокой нравственностью страдания (а эти хрупкие мадонны, изгибающиеся под тяжестью своих огромных корон, а эти кудрявые ангелы с их слепыми улыбками). Красота замков, городских стен, ратуш, Ковры-шпалеры, похожие на цветущие луга. Изысканность красок, изящество линии, контура, слога. Деликатность и тонкость чувств в стихах, в легендах, в романах, в любви Изольды и Тристана. Ничто так не говорит о людях прошлого, как портрет, — стоит взглянуть на портрет Кэрола VII, того самого, кого короновала Жанна, на это лицо с его сонным скепсисом, чтобы понять, чего достигло мастерство художников, сколь высок был интеллект эпохи и тонок ее психологизм. То была национальная культура, истинно народная. Жанна с ее благородством, ясным умом и душевной тонкостью представляется мне наивысшим выражением этой культуры.

Когда в исторической книге нет ощущения первоисточника, книга увядает. Совсем не все равно, какие материалы положит автор в основу своей книги, первичные или вторичные: по чужим книгам, пусть самым добротным, нельзя почувствовать былую жизнь. Даже популярная работа, я в этом убеждена, требует писателя-ученого, который пишет на основе собственных исследований.

Документы, рассказывающие о жизни Жанны д'Арк, изучены с такой тщательностью, что, казалось бы, никакие открытия уже невозможны, однако знание эпохи, ее источников позволило В. Райцесу разгадать одну из психологических загадок в истории Жанны.

В ее судьбе особую и в конце концов роковую роль играл мужской костюм, который она носила вопреки каноническим запретам церкви; на суде в Руане этот костюм стал одним из главных пунктов обвинения в ереси и чуть ли не гвоздем процесса.

У Жанны домогались отречения — от божественной миссии, от ее «голосов», от мужского костюма; от нее требовали признания в том, что она еретичка и ведьма — тогда прахом шло ее дело, ее победы, коронация короля. Жанна выдерживала натиск с мужеством необыкновенным (и кстати, с поразительным умом она, неграмотная крестьянка, разгадывала ловушки, расставленные искуснейшими богословами) — вела свой последний бой. И тогда, чтобы ее сломить, решено было прибегнуть к некоему спектаклю. Ее привезли на кладбище аббатства Сент-Уэн, поставили на высокий помост (неподалеку стояла тележка палача, готового везти ее на костер), трижды предложили ей отречься — и трижды она отказалась. Тогда председатель суда (предоставляю слово В. Райцесу) «начал читать приговор. Он читал медленно и громко и прочел уже большую часть, когда произошло то, чего так нетерпеливо ждали постановщики этого трагического спектакля. Прервав епископа на полуслове, Жанна закричала, что она согласна принять все, что соблаговолят приказать судьи и церковь, и подчиниться во всем их воле и приговору. "Тогда же, — сказано в протоколе, — на виду у великого множества клириков и мирян она произнесла формулу отречения, следуя тексту составленной по-французски грамоты, каковую грамоту собственноручно подписала"».

Отреклась! С таким мужеством держалась на процессе, не дрогнула перед угрозой пытки («Вы можете вывернуть все члены и даже убить меня, но и тогда я не скажу ничего другого») — а тут, когда стояла на помосте, увидела тележку палача и поняла ее значение, а кругом толпа выла: «На костер ведьму!» — отреклась. Никогда — ни в дни победоносных сражений, ни в час триумфа коронации — не была она нам дороже, чем сейчас, потому что именно сейчас нам до конца становится понятным, что приходилось ей переносить. Она сама потом объяснила, почему отреклась: она испугалась костра. Этого ли не понять?! Непонятно другое: откуда нашла она в себе силы через два дня после кладбища Сент-Уэн взять обратно свое отречение? Зная, что это смерть, зная и род смерти. И тут же, как бы окончательно утвер-

ждая собственный приговор, вновь надела мужскую одежду (повторное впадение в ересь само собой, так сказать, автоматически влекло за собою смерть на костре).

Признаться, читая книгу А. Левандовского, я надеялась, что хотя бы тут он перестанет «взлетать» и ограничится строгим изложением фактов. Но увы, он опять пустился в безудержно беллетризованную выдумку. Когда Жанну везут на кладбище Сент-Уэн, попы по дороге предлагают ей сделку: если она отречется, они спасут ее из рук англичан. «Девушка задумалась. Это что-то новое...» На помосте проповедник Эрар «соловьем разливался» (умеет же автор найти время и место для нужного слова), но Жанна его не слушала, она «смотрела в небо, прослеживая полет птиц», она думала о воле, но вместе с тем и соображала: «Конечно, попасть в руки этих попов тоже не сладость» (первое издание). Я не знаю как кому, а мне эта сцена кажется кошунственной.

Все дело в том, что Жанна д'Арк А. Левандовского не может испугаться смерти, ей как героине это не положено; отрекаясь, наша разумница делает очередной ход. Правда, во время чтения приговора ее опять «окружили клирики», уговаривая ее отречься, предлагая сделку, и совсем задурили ей голову, а тут еще толпа ревет: «На костер!» — потому и пошла она на эту сделку. Искажение невозможное.

От чего именно отреклась Жанна на кладбище Сент-Уэн? Ученые много занимались этим вопросом. В протокол процесса подложен явно фальшивый документ, обширный, велеречивый (и оскорбительный для Жанны), в то время как очевидцы всей этой сцены единогласно утверждали, что в тексте отречения, подписанном Жанной, было всего несколько строк. Вероятно, она обещала подчиниться церкви, безусловно, обещала снять мужскую одежду. Отказалась ли она от «голосов»? — наверно (может быть, именно потому так бурно переживала свое отречение) «Спрошенная, слышала ли она после четверга (спектакль на кладбище Сент-Уэн.— О Ч.) свои голоса, отвечала, что да. Спрошенная, что они ей сказали, отвечала, что господь передал через святых Екатерину и Маргариту, что он скорбит о предательстве, которое она совершила, согласившись отречься, чтобы спасти свою жизнь, и что она проклинает себя за это». Как сильно и чисто звучит голос подлинной Жанны по сравнению с грубым резонерством ее прубо намалеванного подобия!

Итак — мужской костюм. Почему Жанна

придавала ему такое огромное значение? А. Левандовского этот вопрос не занимает, вопреки действительности он утверждает, будто мужскую одежду посоветовал ей один из спутников просто ради удобства. Именно тут В. Райцес делает открытие, которое теперь, конечно, войдет в научную биографию Жанны д'Арк.

На бесчисленные вопросы о костюме во время суда Жанна отвечала, что ей велели это сделать голоса, — и умолкала. В. Райцес задался целью, казалось бы, недостижимой: дознаться, о чем умолкала Жанна, что отстояла как тайну от своих судей. Разгадка состоит в том, говорит В. Райцес, что под святой Маргаритой, «являвшейся» Жанне, обычно по традиции разумели раннехристианскую мученицу, но, оказывается, в XV веке была почитаема еще одна Маргарита, которая, согласно ее житию, бежала из дому, надев мужской костюм и остригши волосы, — точь-в-точь как это сделала Жанна! Вот, оказывается, кто был ее героиней, советчицей и образцом. Вот почему в вопросе о костюме она так мужественно выступала против церковных запретов и обвинений в ереси.

Именно в книге документальной, написанной ученым, из повествования строгого и спокойного встает образ сильный, живой и благородный. Великая француженка принадлежит мировой культуре, нам далеко не все равно, как — точно, приблизительно или «с точностью до наоборот» — описана ее жизнь.

Мне могут возразить, что в своих рассуждениях я сравниваю не жанры, а книги, из которых одна удачна, а другая нет, но различие тут определяется не только качеством обеих книг, но и тем методом, который положен в их основу. Спор документальной точности не с исторической беллетристикой вообще, но с безудержным и безответственным воображением беллетриста. Между тем книга Левандовского вышла в серии «ЖЗЛ», а эта серия была задумана именно как воскрешение реальных людей, каждая книга предполагалась как окно в прошлое, через которое можно увидеть не все, но многое и, главное, достоверно. М. Горький, основывая «ЖЗЛ» в 1933 году, разумеется, рассчитывал на то, что читатели получат жизнь замечательных людей, а не фантазию на тему их жизни. Когда Шиллер в своей трагедии заставил Жанну влюбиться в Дюнуа, тут тоже был произвол, но все же опасности большой, пожалуй, не было, от трагедии фактической достоверности не ждут (хотя и тут опасность искажения общественной памяти на-

лицо), но для биографии в «ЖЗЛ» фактическая точность обязательна, а следовательно, беллетризации и тем более прямой выдумки уже быть не может. Да она и не нужна, художественная документалистика справляется с подобными задачами куда лучше (другое дело, что она требует куда больше работы и мастерства). Осторожно, легкой кистью реставратора очищает писатель-историк истину от легенды и ошибок, протирает ее, как стекло, и дает нам драгоценную достоверность. И самый дух первоисточника тут важен. Он не только гарантирует автора от фактических ошибок, он обязательно скажется на его языке: источники эпохи просто не дадут, не позволят безвкусицы и развязности, они сами собой внесут в книгу необходимые дисциплину и строгость. И красоту, потому что «сквозь магический кристалл» времени тексты, написанные людьми, которых давно нет в живых, — не только дневники или письма, но даже простые деловые бумаги, какие-нибудь хозяйственные распоряжения — и те приобретают некий поэтический отсвет.

В последнее время появились исторические романы высоких достоинств — «Нетерпение» Ю. Трифонова, «Глоток свободы» Б. Окуджавы, книги Ю. Давыдова. С другой стороны, мы видели, что и документалистов порою заносит — примером тому статья С. Ласкина («Нева», 1982, № 6), извлечшего из документов эпохи небывалый роман императрицы (везет все же нашим императрицам) Александры Федоровны, жены Николая I, с кавалергардом Трубецким. Да, документалист может оказаться в плену концепции, но в том-то все и дело, что он обязан тут же, на страницах, представить доказательства, аргументацию, выложить свои козыри, которые тут же, на страницах, могут быть и биты (как это и оказалось с С. Ласкиным).

Речь, повторим, идет не о преимуществе того или иного жанра, не о преимуществе документалистики перед исторической беллетристикой, но о безмерной трудности последней. Скомпоновать литературное произведение из жесткого и неподатливого материала жизни; незаметно, без швов, врезать текст первоисточника в структуру, созданную воображением, что само по себе нелегко — как при пересадке физиологических органов данная структура не принимает чужого белка (и тогда с тоской слышишь, как герои говорят собственными дневниками и письмами); решить проблему стиля и языка (я уж не говорю — такта и вкуса). Без всего этого вместо воскрешения

наших предков произойдет их вторая смерть, прямое убийство.

Выдумка на основе подлинно бывшей жизни — вещь опасная. Беллетризованная историческая проза не может многого из того, что доступно документалистике, которой нет надобности заполнять лакуны в материале (либо он есть, либо его нет), у которой куда меньше опасность фактической ошибки (привязанность к документу), в которой решительно невозможны «непрощеная слеза» и «румяная пятка», куда больше места для анализа, важных рассуждений, интересных сопоставлений. Строгая историчность, беспримесный документализм в умелых руках производят большее впечатление, чем эффектные и придуманные пассажи. В частности, именно этим и приходится объяснять тот факт, что художественная документалистика сейчас безусловно лидирует. Отметим в «ЖЗЛ» «Чаадаева» А. Лебедева, «Лунина» Н. Эйдельмана. Недавно в ленинградском отделении издательства «Просвещение» вышла биография Пушкина, написанная Ю. Лотманом, — кто мог себе представить, что в наше время гигантских накоплений в пушкинистике можно написать маленькую биографию Пушкина такой свежести и глубины!

Эйдельмановского «Лунина» следовало бы в связи с нашей темой подробно разобрать как пример высокохудожественной публицистики (я читала книгу давно и до сих пор помню, как удивили меня письма Лунина с их наивно-высокопарным слогом, странным под пером героя-декабриста; помню забавные мелочи — как, например, Лунин, доказывая начальству, что уланы одеты неудобно, вдруг скомандовал: «На конь» — и тут же посыпались застежки и крючки. А главное, конечно, помню судьбу, жизненный подвиг, крупную мысль. И то ощущение поэзии прошлого, о котором мы говорили в начале настоящей работы). «Лунин» Эйдельмана — это книга-событие, книга-открытие.

Мы говорим о равноправии жанров, а на деле нам то и дело приходится беллетристику проверять документалистикой — как, к примеру, пришлось ошибки беллетриста исправлять документалистикой Н. Эйдельмана. Уже, казалось бы, готова была и концепция — все-таки о преимуществе одного жанра над другим, — как вдруг произошло неожиданное: сам Эйдельман выступил в жанре беллетриста, написал повесть об Иване Пущине. Читать мне эту книгу не хотелось; я слышала (в чтении автора) главу из нее. Здесь Пущин (повесть являет

собой его выдуманные записки), уже вернувшийся из ссылки, посещает вдову Пушкина и пространно о ней рассуждает.

Наталья Николаевна! В последнее время вокруг ее имени в связи с новыми материалами заметно оживление, распространяемому мнению о ней как холодной светской красавице нынче противопоставлен облик куда более привлекательный, зато обнаруживается и перехлест — до патоки. О жене Пушкина можно было бы и не говорить так много, но ведь речь не о ней — о нем.

Глава из повести Н. Эйдельмана резко вступает в спор. Наталья Николаевна (ей сорок шесть) написана тут с большим искусством, она и сейчас еще хороша, и печальна, и трогательна, но это некая беспмятная психея, невинная и безответственная губительница (концепция, близкая Цветаевской). У нее нет слов, она не говорит, а журчит, «журчит — и славно». Не верится этому образу. Пущин полагает: «...не следовало ему, ох, не следовало жениться»; он убежден, будто уж он-то Пушкина знает, в то время как на самом деле тридцатилетнего он не знал (сам же потом скажет, что поэт за год проживал двадцать лет — как уж тут знать!), не мог знать тоски вечно бездомного Пушкина по своему дому, его жажды иметь семью, детей, все то, что и составило душевное богатство его последних лет.

А впрочем, рассуждает Пущин, Пушкину и нужна была такая — журчащая — жена («...не нужно вслушиваться. лишь бы слушать»). Между тем Наталья Николаевна как раз вовсе и не журчала, напротив, была молчалива (тому множество свидетельств), позднее, в зрелые годы, она сама объяснит свою сдержанность: «У сердца есть своя стыдливость. Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца» — достойно звучит? Между тем Пущин начинает обвинять: она любила мужа, но мало, недогадиво было ее сердце, не поняла она, не почувствовала своих обязанностей — все больше прыгала по балам. И опять сомнения: откуда было знать Ивану Ивановичу, как любила Наталья Николаевна, если даже относительно балов он ошибается? Известные аргументы ее защитников: за пять лет родить четверых, вести очень трудное, вечно безденежное хозяйство — легко предположить, что Пушкина плясала на балах, пожалуй, меньше других светских женщин (и укорять ее в денежных тратах, наверно, так же бессмысленно, как корить Пушкина за

то, что он при таком семейном безденежье сильно проигрывался в карты). Сама Пушкина писала о светских развлечениях с неприязнью и скукой: «...тесная дружба редко возникает в большом городе, где каждый.. имеет слишком много развлечений и глупых светских обязанностей, чтобы хватало времени на требовательность дружбы» — здесь, впрочем, обычная для интеллигенции начала века интонация: презирая балы, высмеивая балы, смертельно на балах скучая, она усердно их посещала; не надо все же забывать, что это была форма общения.

Давно сказано, что в споре о том, какова была Наталья Николаевна, есть один неоспоримый аргумент — письма самого Пушкина. Сколько бы ни говорили о том, что они написаны человеком влюбленным, а потому и необъективным, нет сомнений, что обращены они не к журчащей и не к пляшущей (ведь письмо неизбежно высвечивает и адресат). Их сюжеты, их тон, юмор, дельность, откровенность в рассказах о себе, своем настроении и творческом состоянии — все говорит об адресате как о человеке близком и понимающем, участвующем в жизни мужа. Знаменитое: «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете — а душу твою люблю я еще более твоего лица» — мы опустим как знак влюбленности. По той же причине пропустим и более прозаическое: «Ты баба умная и добрая». Сделаем вид, что не знаем, как (неожиданно для него) стал счастливым Пушкин после женитьбы; не заметим пушкинских слов о прелести ее писем («...ты так тиха, так снисходительна, так забавна, что чудо»), проведем по графе влюбленности слова Пушкина о том, что замечание жены «о просвещении русского народа очень справедливо» и делает ей честь (а ведь росла она не в кругу высшей интеллигенции, как, предположим, сестры Раевские, а с темной, грубой матерью и безумным отцом) Но есть свидетельство, которое пропустить невозможно. В болдинскую осень 1834 года Пушкину не писалось. «И стихи в голову нейдут; и роман не переписываю. Читаю Вальтер-Скотта и Библию, а все об вас думаю... Пожужу еще немножко, не распишусь ли; коли нет — так с богом и в путь... приеду к тебе. Да и в самом деле: не уж то близ тебя не распишусь? Пустое». Можно найти в письмах аргументы, говорящие против Пушкиной, и все-таки при таких свидетельствах источников версия пляшущей куколочки вряд ли пройдет.

Но дело, конечно, не в этом. Для Пушкина (надворного, кстати, судьи) понятие презумпции невиновности было, конечно, понятием не только юридическим, он никогда не стал бы судить Пушкину по слухам; наверно, не мог бы, к примеру, написать так: «Наталия Николаевна, как я понимаю, передавала мужу тьму всяких ненужных мелочей, колкостей, пошлостей, даже гнусностей, которыми, положим, ее преследовали Геккерны». Мы ничего не знаем о «пошлостях и глупостях», мы знаем о том, что она рассказала мужу о кознях Геккернов и о той ловушке, которую ей расставили. И мог ли Пушкин винить Наталью Николаевну в том, что Пушкины не уехали в деревню, если бы знал, что эти вопросы решал сам Пушкин, а не его жена, — во всяком случае в 1834 году поэт подал в отставку, совсем не спросив у жены, а не поехал потому, что не пустил царь. И прав ли Пушкин, когда говорит о последних днях Пушкина? Как известно, в те дни Наталья Николаевна твердила мужу: «Ты будешь жить» — и повторяла другим: он выживет, что-то мне говорит, что он выживет. Да ничто тебе не говорит! — восклицает Пушкин, — «тут хоть почувствуй!» — мол, бестолковая, глухая душа, даже у постели умирающего не может сообразить, что он умирает. Несправедливо. Я видела мать, у которой пропал (и через полгода оказалось — погиб) ребенок, она не уставала повторять, что он жив, что она чувствует это своим материнским сердцем — запредельное отчаяние, цепляющееся за надежду (известно, что Пушкина после смерти мужа была полубезумная от горя). И уже совсем переставь понимать Пушкина, когда он комментирует предсмертные слова Пушкина жене. Мы привыкли считать их трогательными и высокими — уезжай в деревню и через два года выходи за хорошего человека. Пушкин перетолковывает эти слова по-своему: Пушкин, боясь, чтобы Наталья Николаевна по глупости не выскочила бы замуж тотчас же, устанавливает приличный данному случаю срок — от величия и теплоты последних минут ничего не осталось. Ты ни в чем не виновата, как известно, сказал жене Пушкин (и не раз повторял). «Для меня — осмелюсь заметить, не худо знающего А. С., — комментирует Пушкин, — это слова и есть главное обвинение. Пушкин старался зачеркнуть то, что есть: иначе не надо было бы и восклицать при свидетелях — ты невиновна!» А мне кажется, что надо было, необходимо: события закрутились так сложно, ловушки расставле-

ны так искусно, столько сплетено интриг, столько грязи вылито на семью, что необходимо было сказать перед смертью и при свидетелях: невиновна! Для того, чтобы опспорить такие слова и в такую минуту сказанные, мало веских аргументов, нужны неопровержимые.

А главное, никак мне не верится, будто Пушкин, впервые, только что узнав подробности о гибели драгоценного друга, мог так холодно и отчужденно их комментировать. Мне кажется, что он, с его умом и благородством, подобных разговоров вообще никогда не стал бы вести, он счел бы их великой обидой Пушкину и оскорблением его памяти. «Ее любил Пушкин, — сказал бы старый декабрист. — Мне этого довольно».

Что же это за проклятый жанр, думала я, если даже такого автора в этом жанре читать не хочется — и чуть было не упустила одну из интереснейших книг, к тому же решительно для нашей темы необходимую. Поскольку глава о Наталье Николаевне кажется мне не характерной для самой книги и даже ей чужеродной, я буду говорить о повести так, ровно этой главы о Наталье Николаевне в ней вовсе нет.

У Эйдельмана, это видно во всех его работах, особые отношения со временем — он умеет писать самое временную ткань. «Большой Жанно» тому доказательство. Временные слои здесь как бы струятся, смешиваясь и разделяясь, соединяя и разлучая героев. В сравнительно небольшой книге сжато (или, если угодно, широко разлито) временное пространство, с каждой страницей все шире разливающееся — то мы с вами в одиннадцатом году (лицей), то в двадцать пятом (восстание), а то и вовсе уходим в глубь веков. Выдуманные воспоминания Пушкина лукаво снабжены выдуманными же примечаниями Е. Якушкина, сына декабриста, что раздвигает временные рамки до начала нашего века (и к тому же создает замечательную стереоскопию). Время трансформирует героев — даже мгновенно. Как некий символ появляется в повести Пушкин-дед (который приносит с собой воспоминания о днях Екатерины и, еще дальше, Елизаветы), причем сила дедовых воспоминаний такова, что в зависимости от них сам он стареет или молодеет; примерно то же происходит и с внуком. Впрочем, у каждого из живущих свой темп. «Пушкин, к примеру, прожил как будто 38 без малого лет. Пустяки! У него колеса машины вертелись, так сказать, раз в двадцать

быстрее, плотнее, чем у обычных людей; и сил, и нервов, и мозга расходовалось в двадцать раз — в сравнении, например, со мною... Я проживу моих 60 с небольшим лет, а Пушкин — помножь 38 на двадцать — 760 лет!.. Любимый же мой автор Дон Кихота за 69 своих лет берет никак не меньше 12 веков. Может быть, эти люди оттого и любезны последующим поколениям, что, если их необыкновенные жизни представить в нормальном масштабе, тогда выйдет: Сервантес до сего дня еще и четверти положенных ему лет не прожил, а Пушкин мой будет здоров и весел даже в 2500 году. Встречаются, впрочем, и обратные биографии...»

Время сжимается, расширяется, пульсирует, ощущение его становится головокружительным, и сам герой в конце концов уже «не умеет сказать», сколько ему «настоящих лет».

Пушкин не только вспоминает, но и расследует прошлое — с великим вниманием и величайшим терпением. Нелегко ему на этом пути, сознание его то и дело как бы раздваивается — ведь живя в прошлой жизни вместе с друзьями, он знает их судьбу! Его носят по времени, но все же «не им время владеет, а он — временем», есть в его движении порядок, им самим составленная программа: хотелось бы ему еще раз в одиннадцатый год, а надо в двадцать пятый, пора (скоро умирать), дел много, предстоит разгадать множество загадок, которые несет в себе былая жизнь.

Так в многослойном времени, в сложности социальной структуры, в переплетении чувств и мыслей, пересекая временные и социальные пласты, вторгаясь в чужие душевные миры, движется пушкинская душа со всеми ее тревогами и надеждами — таково построение книги. Не слишком ли сложно? Но в том-то и дело, что эту необходимую сложность объединяет личность героя, его собственные душевные свойства и поставленная им цель.

Пушкин — настоящая (и для наших целей принципиально необходимая) удача Эйдельмана, его декабрист настолько достоверен в своем слогe, мыслях, поступках, что вымышленность его записок забыта нами совершенно; книга озарена пушкинским умом, согрета его сердечностью, нам интересно следовать именно за этим «автором» не только в прошлое, но и в некую философию истории. Именно потому, что Пушкин поверяет прошлое своей совестью, сами собой встают нравственно-исторические проблемы, важные для всех эпох, безразлич-

ные и для нашей — так во временное пространство повести вступает и наше время.

Пушкин понимает противоречия своей эпохи, видит главное из них: разрыв между рабством, царящим в России, и сознанием ее лучших людей, их сердцем — «самой свободной республикой». Он понимает, в какое странное время жил, какой странный царь был на престоле (не знаешь, любить его или ненавидеть), и «...слыханное ли дело, чтобы одновременно, во дворце и в подполье, царь и цареубийцы в глубочайшей тайне друг от друга готовили конституционные проекты, дабы осчастливить Россию? Ты скажешь: да ведь декабристы — это дружба, благородство, а наверху — злоба, подозрение... И я снова воскликну: так! Да не так!» И тут вступает одна из трагических тем декабризма, тема обмана — обмана солдат, которых поднимали именем Константина («...а нам наплевать было на Константина»), недоверия друг к другу (Пестель, который втайне от северян создает в Москве «филиал» южной управы), самообмана, наконец, когда участники тайных обществ «обменивались миражами».

Сколько проблем и вопросов! И среди них один из главных — почему бездействовали декабристы, почему допустили столько ошибок, что это было за «наваждение», «таинственный хлад», сковавший их волю настолько, что революция их оказалась «неподвижной». В ходе этих размышлений и расследований возникает эпизод весьма терпкий: Пушкин читает знаменитые стихи Тютчева о декабристах, страшные стихи — после них и сон пропал и сердце болело. И гнев поднялся. Легко ли было ему, декабристу, читать про себя и своих друзей: «Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена — и ваша память от потомства, как труп в земле, схоронена». Неужто так? Были тут, впрочем, строчки иного склада: декабристы, говорит Тютчев, думали собственной кровью растопить «вечный полюс» самодержавия, а кровь их, «едва дымясь», исчезла с поверхности льда при первом дыхании «зимы железной» — эта бедная, беспомощная кровь! Но Пушкина более всего задела строка: «Вас развратило Самовластье». Усилиями воли он умирал боль и гнев, чтобы по своему обыкновению понять противника. И вот мы присутствуем при удивительном споре умершего Тютчева с вымышленным Пушкиным, споре, которого не могло не быть. Слова Тютчева Пушкин понял так: «...вы, декабристы, похожи на противников своих... Те самовластно поработают, вы — самовластно

освобождает. Я бы мог, конечно, указать на коренную разницу в целях — но она ведь ясна и г-ну Тютчеву; он о методе говорит — и вот мой ответ ему... Если б нас действительно развратило самовластье, не его меч, а наш обязательно взял бы верх... Так что меч нас «поразил» именно оттого, что мы на них не похожи; не могли, не умели, слава богу, уподобиться самовластью». Славный ответ! Не могли уподобиться врагу, а если бы смогли, то произвели бы еще один дворцовый переворот — вместо того, чтобы совершить тот подвиг, который (вопреки Тютчеву!) сделал их именами бессмертными.

В декабристские времена так все обострилось, что разговоры поневоле становились жизненно-философскими, вставали проблемы первостепенной важности. Тяжкая необходимость выбора (и жажда как-нибудь без нее обойтись); вопрос, надо ли вмешиваться в ход событий или — «Не мешайте истории самой прокладывать путь»; если есть два сорта людей — разрушители и создатели (и оба нужны), к кому примкнуть — применительно к самому Пушкину, быть ли ему надворным судьей, где он может вмешиваться в судьбы, спасать людей, или выйти на Сенатскую площадь? «Но меня уже подхватила и несла невидимая и страшная сила, в которой перемешались любопытство, исторический долг, боязнь струсить, сознание собственной бездеятельности, честолюбие — ну, не знаю, еще что... Прав ли я?» История ответила на этот вопрос, но Пушкин-то этого еще не знает.

Сложная, многослойная ткань повести словно прошита насквозь одной и той же тревожной мыслью Пушкина: получил ли в декабре 25-го Пушкин его письмо с призывом ехать в Петербург. Известно, что поэт выехал было, да вернулся — почему? Ведь не из-за зайца же, перебежавшего дорогу, не из-за встречного пола? Все эти вопросы (важные также и для нас) заставляют старого декабриста встречаться со многими людьми и, наконец, обратиться к первому пушкинисту, замечательному Анненкову. И тут нас ждет второй яркий эпизод повести: Пушкин читает черновик знаменитых стихов «Мой первый друг, мой друг бесценный». Начинается медленное (поневоле медленное из-за черноты правки) чтение, в результате которого Пушкин как бы получает (через 33 года!) пушкинское письмо, все ему наконец разъясняющее — и почему поехал, и почему вернулся, и почему стал так весел, что написал «Графа Нулина». И хотя мне допод-

линно известно, что прочтение и комментарий черновика — плод исследовательской работы самого Эйдельмана, я этого уже не помню, с таким волнением, болью и радостью читает при мне Пушкин этот «бесовский черновик».

Ну а теперь зададимся вопросом: хотелось бы нам, чтобы этот материал был изложен в форме строгой документалистики, без выдумок? Нет, пожалуй, не хотелось бы: сколь бы ни были многочисленны документы, говорящие об этой эпохе, автору вряд ли удалось бы создать такой полный и живой образ. Тут потребовалось еще что-то, именно эта достоверная выдумка, достоверная, основывающаяся на том же, только невидимом материале (который копился всю жизнь) и ничего общего не имеющая с тем легкомысленным и безответственным «я так это вижу», с которым нам пришлось столкнуться. Придумать Екатерину, которая валяется на траве с графом Понятовским, нетрудно (только вот не нужно бы), для этого достаточно услышать их имена, поставленные рядом, и дать простор воображению. Для того, чтобы написать Пушкина, читающего тютчевские стихи или пушкинский черновик, да так написать, чтобы оторваться было невозможно, для этого нужно иное: серьезная духовная работа — здесь та интуиция, которая основана на информации, иначе говоря, чувство времени, эпохи, людей, основанное на многолетнем опыте тщательных исследований, на большом запасе мыслей и сопереживаний. Вот почему книгу закрываешь с ощущением, что вместе с ее героем прожил долгую и богатую жизнь. Мне представляется, что Политиздат в своей интереснейшей серии «Пламенные революционеры» сделал серьезный вклад в современную литературу.

Есть книги-открытия, но есть и «книги-закрывтия», которые засоряют, а порой, мы видели немало тому примеров, и отравляют нашу общественную память. Их, увы, куда больше на книжном рынке, в государственных и личных библиотеках. Подумаем же о читателе подобного рода книг. Если он хотя бы немного искушен в предмете, он начинает улавливать в тексте романа нечто знакомое, отрывки дневников, обрывки писем, и тут же впадает в тоску, гадая, что здесь правда, что выдумка. Это — если он искушен. Если же (что обычно) ничего о предмете не знает, он простодушно пьет предложенное питье. «Вот, оказывается, как все это было», — думает он с удовольствием. И горько бы-

ваец видеть, как его естественную жажду знать прошлую жизнь удовлетворяют если и не прямой отравой, то смесью, для употребления малопригодной. На защиту его простодушия должны подняться и литература и наука. Между тем исторический роман (и романизованная биография) остался без присмотра (и это жаль): литературные критики, как видно, полагают, что задачи его все-таки больше исторические, а ученые-историки — что здесь правит воображение и какой с него спрос. Так, на нейтральной полосе, часто вне истории и вне литературы, резвится этот гибрид.

Об историческом романе, о правах и обязанностях его автора, о соотношении тут правды и вымысла спорят давно, и можно без конца спорить, сам этот историко-литературный жанр так сложен и странен, что его проблемы нелегко разрешить, я же всего лишь пытаюсь ввести в этот спор принцип презумпции невиновности, мысль об ответственности перед былой жизнью. Ответственность обоих жанров перед людьми, жившими когда-то, тем более велика, что люди эти теперь защитить себя не могут. Они целиком зависят от нас, поскольку живут только в нашей памяти, другой жизни у них уже нет.



ЖИЖИОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



Литература и искусство

С. Фрейлих. Немеркнущие идеи.— **М. Галлай.** Полномочиями совести наделены.— **Д. Самойлов.** Картина мира.— **П. Николаев.** Вера в художественную истину.— **Ст. Рассадин.** Слово — дело.— **Владимир Фирсов.** Роман о великих просветителях.— **А. Павловский.** Наследственность поиска

Политика и наука

В. Манаревский. На Курской дуге.— **И. Кузнецов.** Форпост ленинской партии.— **О. Алякринский.** В поисках утраченной утопии.— **И. Забелин.** Продуктивная сила идей

Литература и искусство

НЕМЕРКНУЩИЕ ИДЕИ

И. Черноуцан. Живая сила ленинских идей. Статьи. М. «Советский писатель», 1982. 248 стр.

Перед нами историко-теоретический труд, книга, в которую вошли статьи, написанные в разные годы. И тем не менее все вместе они дают целостное изложение современной концепции литературы и искусства. Автор последовательно обращается к трудам Маркса и Энгельса, Ленина, излагает эстетические взгляды таких корифеев марксистской критики, как Луначарский и Воровский.

Глава о Воровском стоит в книге несколько особо. Дело в том, что наследием этого замечательного ученого-литературоведа И. Черноуцан занимается много лет, был составителем его работ, комментировал, объяснял их появление с точки зрения обстоятельств общественного развития, художественных пристрастий критика. Но и в других случаях, когда не дается непосредственное жизнеописание героев книги, а излагаются лишь идеи, все равно мы воспринимаем их, скажем так, во всей полноте творческой индивидуальности, чувствуем их темперамент, масштаб личности.— Идея изложена не холодно академически, книга по-хорошему публицистична, она заставляет переживать идеи. И в этом большое достоинство книги И. Черноуцана. Недаром в ходе исследования автор напоминает нам ленинскую мысль о том, что без эмоций невозможны поиски истины. И добывая истину в свою очередь, вызывает к себе эмоциональное отношение (Вспоминается еще и Эйзенштейн: прочитав «Капитал» Маркса, он увлекся идеей его экранизации, даже сценарий написал; художник ощутил огром-

ный чувственный, образный пласт, заложенный в этом капитальном научном труде!)

Эстетические идеи основоположников марксизма нередко рождались в противовес другим идеям, были плодом борьбы. И больше сказать: эстетические взгляды Маркса и Энгельса были органической частью выработанной ими программы борьбы за освобождение рабочего класса. Мыслью об этом пронизан весь труд, она становится нитью, сверхзадачей изложения материала, цементирует его.

И. Черноуцан напоминает, что в течение многих лет реформистские деятели II Интернационала насаждали (а ныне ее пытаются возродить ревизионисты всех мастей и оттенков) мысль о том, что якобы Маркс и Энгельс не стремились создать целостную и стройную теорию искусства, что у них имеются лишь отдельные, разрозненные и случайные высказывания по частным вопросам. Тысячу раз был прав Энгельс, сказавший на могиле своего великого друга, что Маркс «ни одной из областей науки не занимался поверхностно». Черноуцан справедливо подчеркивает всеобъемлющий характер марксистской теории искусства. И дело не только в том, что в суждениях Маркса и Энгельса затронуты кардинальные проблемы художественного творчества. Широко используя достижения эстетической мысли прошлого, марксизм совершил принципиальный переворот в решении главного вопроса эстетики — об отношении искусства к действительности. В материалистическом понимании истории марк-

систы находят ключ к постижению самой природы искусства, его сложной структуры, законов его развития, к анализу причин его расцвета и упадка, борьбы и смены различных направлений.

В книге диалектически рассмотрена связь тенденциозности искусства и его специфики. Эстетические суждения Маркса и Энгельса исполнены верой в то, что искусство своими специфическими средствами способно активно участвовать в благородном деле познания и преобразования мира во имя освобождения человечества от эксплуатации и угнетения. Из анализа всей исторической практики классики марксизма сделали вывод, что человечество наконец завоевало возможность взглянуть на себя трезвыми глазами и привести свои действия в соответствие с требованиями и законами социальной действительности, чтобы тем вернее ее переделат. Отсюда и вытекает их убеждение в великой и действенной силе правды — правды науки, политики, искусства. Отсюда же следует их непримиримость к дурному и беспочвенному фантазированию в науке, политике, искусстве (в то же время подлинно творческую фантазию они ценили весьма высоко, считали ее орудием прогресса).

Эти идеи ярко преломляются в ленинской теории отражения, которая в книге Черноуцана рассмотрена (и это следует особо подчеркнуть) в органической связи с идеями знаменитой статьи Владимира Ильича «Партийная организация и партийная литература». «Принцип партийности литературы, обоснованный в ленинской работе, — пишет автор, — опирается на поиски и открытия передовой эстетической мысли прошлого. Но утверждение и всестороннее обоснование его стало возможным только на новом этапе освободительного движения, когда пролетариат, освобождая себя, возглавил борьбу за освобождение всего человечества». Ленинская статья, написанная в связи с конкретными обстоятельствами партийной и литературной борьбы в канун декабрьских событий 1905 года, и сегодня (несмотря на происшедшие с тех пор грандиозные социальные перевороты, научные открытия эпохального значения, преобразования, изменившие во всех сферах нашу планету) воспринимается как боевой манифест революционного марксизма. Неудивительно, что по сей день не утихает борьба вокруг ее идей, словно бы статья эта появилась вчера! Неудивительно, что современные ревизионисты пытаются выхолостить боевую, идейную направленность этой работы, догматички интерпретируют ее вульгаризаторски.

В основе ленинского принципа партийности искусства лежит утверждение огромной и, как подчеркивает автор, ничем незаменимой роли художественного творчества в познании, объяснении и революционном преобразовании мира. Эти идеи находят сегодня дальнейшее развитие в важнейших идеологических документах КПСС, раскрывающих все возрастающую роль литературы и искусства на новом этапе строительства коммунизма.

Связь ленинских идей с современной практической работой в сфере идеологии — сильная сторона книги Черноуцана. Глубоки его компетентные рассуждения о смысле и методах партийного руководства художественным процессом. Важнейшим звеном здесь является выработка правильного отношения к литературному наследию. Ленинские статьи о Толстом, подчеркивает автор книги, классический пример такого подлинно диалектического анализа сложнейших явлений художественной культуры. Высказывания Ленина, а также Луначарского и Воровского о классическом наследию И. Черноуцан творчески использует для анализа современного состояния советской литературы, создавшей уже собственную классику, собственную традицию — традицию, которая с изменением социально-экономических условий жизни нуждается в дальнейшем развитии и обогащении.

Партийное руководство художественной культурой, подчеркивает автор, опирается на знание специфики искусства и литературы, знание объективных законов их развития. По идее Ленина, не только партия влияет на искусство, но и искусство влияет на партию, в том смысле, что вооружает ее изображением картин жизни, часто еще не осмысленных социологией и философией. И еще. Руководить искусством невозможно, не ощущая его обаяния. Этим свойством в полной мере обладали и Ленин, и Луначарский, и Воровский, о которых наиболее подробно говорится в книге.

Книга И. Черноуцана актуальна, я бы даже сказал, злободневна — и не только по содержанию, но и по тону. Риторике, восторженным и выпендренным декларациям иных скороспелых сочинений прошлых лет она настойчиво противопоставляет (как этого требует сегодняшняя обстановка) пафос изучения современной жизни всеми средствами, включая литературу и искусство, умение исследовать новые процессы действительности, распознавать и отличать, насколько на деле это ново, насколько коммунистично.

С. ФРЕЙЛИХ.



ПОЛНОМОЧИЯМИ СОВЕСТИ НАДЕЛЕНЫ

Артем Анфиногенов. Мгновение — вечность. Роман. «Знамя». 1982. №№ 8—9.

Среда обитания героев Анфиногенова, как пишет сам автор, — «фронт с его купелями, из которых выносит человек новое, прежде неведомое ему и другим понимание истин и ценностей жизни».

Редакция журнала не предпослала роману врезку, в которой сообщалось бы, что автор — бывший летчик-штурмовик, участник войны, сам видевший и переживший все увиденное и пережитое его персонажами. И, я думаю, правильно сделала. Первичность всего, написанного Анфиногеновым, очевидна.

Вряд ли справедливо мнение, будто о войне могут более того — имеют право писать только ее участники или, по крайней мере, очевидцы. Нельзя, чтобы литература о Великой Отечественной войне кончилась с жизнью нашего поколения! Нельзя хотя бы потому, что это начисто закрыло бы многие желанные перспективы — до будущей «Войны и мира» включительно.

Но бесспорно и другое: без книг, созданных участниками и очевидцами, иначе как на базе этой литературы, новых произведений о Великой Отечественной через тридцать, пятьдесят, сто лет ожидать не пришлось бы. Поэтому произведения об этой войне, разумеется, произведения значительные, такие, как роман «Мгновение — вечность», нужны не только нам, их сегодняшним читателям, но и будущему.

К воздушным сражениям переломного этапа войны Анфиногенов обращается во впервые. Несколько лет назад читатели хорошо встретили его повесть «А внизу была земля» (М. «Советская Россия». 1976). В ней и в рецензируемом романе много сходного, есть даже общие персонажи. И все-таки автор не повторяется. Мы видим только родство фактического материала, лежащего в основе романа и повести. В остальном — роман бесспорно свидетельствует, насколько глубже, эмоциональнее, раскованнее стал писать автор, как выросло за эти годы его мастерство.

Жестокую правду войны Анфиногенов показывает с большой достоверностью и широтой, лишней раз опровергая возникшую в свое время (и нельзя сказать, чтобы так уж быстро угасшую) дискуссию об «окопной», «солдатской», «генеральской», «штабной» и прочих наспех изобретенных разновидностях правды. Показывает штрихами, иногда, на первый взгляд, мелкими, но выразительными.

Верблюды, на котором за неимением автомашин подтягивают к самолетам боеприпасы... Жесткий приказ 227 — «Ни шагу назад!»... Навивные ухищрения в радиопереговорах: истребители — «маленькие», штурмовики — «горбатые», снаряды — «огурцы»... «Ты с ним был? Видел? Две недели без проверки оставлять нельзя!» — это о сбитом летчике, вернувшемся через разрывы в линии фронта в свою часть и отставленном «впредь до выяснения» от полетов... Мелкое и большое. Частное и общее. А в целом: то время, то место, те события!

Уверенность воинов в конечной победе, предощущение перелома переданы в романе как нечто само собой разумеющееся. Даже в ходе разговора об одном неудачном, ждущем официального разбора вылете: «Освободим Обливскую, опросим жителей, тогда...» Освободим — тогда. Без «если». Потому что ясное дело — освободим!

И потери, потери, потери! Летчик Грозов в первом своем боевом вылете нацелился «остроносим Илом на немецкую броню и в облаке прошитого осколками и пламенем дыма обратился в небытие». Бывало и так. «Новичков война смывает, из десяти на плаву остается один», — с горечью замечает Анфиногенов.

С облегченными, шапкозакидательскими представлениями о войне, по существу приносящими масштаб и значение одержанной нами конечной победы, Анфиногенов борется всеми доступными ему средствами. Например, выпускает на страницы романа такого «шапкозакидателя» — автора «нашумевшего перед войной опуса на оборонную тему», импозантного мужчину «в бобровой шапке с бархатным верхом, в шубе на рысьем меху с кисточками», уверенного в себе, нимало не смущенного оглушительным крахом своих лихих прогнозов. Увидевший знатного гостя, капитан-политработник силится представить себе: что же за полномочия, которыми, судя по присущему ему апломбу, этот гость наделен? И, поразмыслив, приходит к выводу: «Всеми, кроме полномочий совести».

Многого, очень многого не хватало в те жаркие дни советским воинам: самолетов, танков, средств связи, земли до Волги, боевого опыта... Но полномочиями совести они были наделены с первого до последнего дня войны в полной мере!

С одним из центральных персонажей романа, летчиком Павлом Границевым, мы

знакомимся в момент, для него весьма невыгодный: на измордованном «мессерами» штурмовике он еле-еле дотягивает до своих, с грохом пополам приземляется на ближайшей посадочной площадке и вмазывает на своей неуправляемой машине в стоящий там истребитель! Да не в чей-нибудь, а известного аса Баранова, которого, к счастью, не было в этот момент в кабине. «Пятно на полк... Жирное пятно», — сокрушается командир Границева майор Егошин.

В сущности, Границев — мальчишка. «Простоватый вид.. рябенкий нос.. несмелая улыбка», совсем не плакатный герой-летчик. Жизни он толком еще не знает, любви не ведал. Лишь здесь, на фронте, возникает и с силой овладевает им безответное чувство к летчице Елене Бахаревой. И все с этим связанное: ревность (обоснованная и не очень), самоотречение. И безысходное отчаяние, когда Павел не в силах спасти Лену, слепо идущую навстречу своей гибели.

Но воевать он учится на наших глазах. Учится быстро — иначе на войне нельзя. Вот жаркой осенью 42-го года он, раненный, на подбитом (снова!), почти не управляемом штурмовике «ИЛ-2» сбивает своего первого — обнаглевшего и поэтому утерявшего осторожность гитлеровского истребителя. А в одном из последних эпизодов романа Границев — уже сам известный истребитель — сбивает с ходу два вражеских самолета, в том числе один, пилотируемый знаменитым Брэнгле. И разговаривает после этого боя с командующим воздушной армией так, что мы видим: за истекшие полгода сержант, то есть теперь уже лейтенант Границев научился не только воевать, но и многому другому!.. Впрочем, без этого «многого другого», наверное, и воевать как следует было бы невозможно.

Интересен, хорошо выписан и другой персонаж романа — на этот раз невыдуманный, носящий известную в авиации фамилию (это вообще характерно для Анфиногенова — смело сводит в разговор, в деле, в бою своих вымышленных и невымышленных героев). Речь идет о генерале Хрюкине, тридцатидвухлетнем командующем 8-й воздушной армией, которая вместе с 16-й воздушной армией генерала Руденко несла на себе тяжесть сталинградского авиационного сражения. Воевал Хрюкин и в Испании, и в Китае, а в субботу 21 июня 1941 года вступил в должность командующего Военно-Воздушными силами одной из расположенных на нашей западной границе армий. Назавтра, в первое утро войны, не имея приказов свыше (вернее, имея никем

не отмененный категорический приказ «не поддаваться на провокации... не давать повода...»), убежденно заявил: «Фашиста надо бить по морде, другого языка он от роду не знает». И тут же (в отличие от многих других авиационных и неавиационных военачальников) решительно «все поднял. Все, что уцелело, ранним утром бросил в бой». Так и начал войну.

Под Сталинградом, где на стороне противника поначалу была «инерция наступления» и более чем двукратное численное превосходство в самолетах, командующий выдвинул — и провел в жизнь — неожиданную в этих условиях идею массированного удара по танкам врага. Противник господствует в воздухе? Самолетов нам не хватает? Тем более надо собрать то немногое, что есть, в кулак!

Отдавая должное военной целесообразности такого решения, Анфиногенов особо подчеркивает, что оно вызвало «к коллективистским чувствам, к единению бойцов»... Тактика, психология, нравственность — как оторвать их на войне (и, заметим в скобках, не только на войне) одно от другого?

Об этом Анфиногенов говорит устами того же Хрюкина: «В нашей армии без классовых различий командир обязан возвышаться как нравственный авторитет... Когда право командовать другими подкреплено морально, подчиненный в лепешку разбивается...» Правда, это говорится не в романе «Мгновение — вечность», а в упоминавшейся повести «А внизу была земля». Но и в романе Хрюкин на каждом шагу подтверждает свою верность этим принципам.

Автор этой рецензии знал дважды Героя Советского Союза Тимофея Тимофеевича Хрюкина и может засвидетельствовать: художественное воплощение этого человека, продиктованное жанром романа, сочетается с точным портретным сходством.

Мы часто говорим о проблеме живого, не ангелоподобного положительного героя. Вот они, положительные герои самой высокой пробы: Границев, Хрюкин, Бахарева, Баранов!..

Да и командир полка Егошин, порой чрезмерно жестковатый с подчиненными и в то же время весьма обтекаемый в общении с начальством, — тот же Егошин умел и за своего летчика заступиться, и на боевые задания изо дня в день ходил. А когда Границева подбили и он приземлился по ту сторону линии фронта, не кто иной, как Егошин рискованно сел рядом и вывел Павла из вражеского тыла... Нет, не ангел Егошин. Далеко не ангел... Но побольше бы нам таких неангелов!

Интересно и динамично выписана автором фигура Степана Кулева. Поначалу она, эта фигура, воспринимается как знакомая, не раз литературно обкатанная — ловчила, думающий лишь о том, как бы «зацепиться» в более или менее безопасном месте, «отвоевать, не воюя», что ему и удается без особых затруднений, благодаря умению «быть перед начальством, не мозолить глаза, не холуйствовать, именно быть». Но постепенно в Кулеве проявляются новые, неожиданные в таком персонаже черты, — он добивается назначения штурманом бомбардировщика. И оказывается неплохим штурманом! Выполняет в экипаже летчика Дралкина серию таких столь же ответственных, сколь и острых заданий, как дневная разведка одиночным самолетом. Тщеславие, зависть к более отличившимся (он считает: более удачливым) воинам, желание не остаться в стороне при распределении наград пересиливает в Кулеве даже инстинкт самосохранения, как мы знаем, у него весьма и весьма развитый.

Сколько раз вставал перед нами — и в литературе, и в жизни — этот вопрос: совместны ли гений и злодейство? Или, если обратиться к сферам менее возвышенным: может ли дурной человек быть хорошим штурманом (летчиком, инженером, врачом, ученым...)? Оказывается, бывает и так. Как бы по-человечески ни хотелось убедить себя в обратном... Хотя все-таки прав был, наверное, комиссар Богарев из повести Василия Гроссмана «Народ бессмертен», когда говорил, что люди, «очень любящие своих детей, жен, матерей, воюют как-то особенно хорошо». Особенно!..

И Кулев терпит фиаско (к этому эпизоду мы еще вернемся) не по причине профессиональной неподготовленности, а захваченный недобрыми устремлениями — покуражиться перед «какими-то лупоглазыми» — новичками на фронте.

Почти все персонажи романа на протяжении повествования живут, меняются, но остаются естественными — в полном соответствии своим характерам и свойствам личности. Едва ли не единственное исключение — трагический и сам по себе превосходно написанный эпизод перегона группы истребителей. Их лидер, бомбардировщик летчика Дралкина и штурмана Кулева, из-за потери ориентировки выводит своих подопечных не в место назначения, а прямо на аэродром, занятый противником, на верную гибель. В этом эпизоде действующие лица (за исключением разве что Границева) действуют, что называется, поперек себя. Особенно сказанное относится к Дралкину, начиная с бездумного лихого начала

полета: «„Сделал круг, они (то есть лидируемые истребители.—М. Г.) не взлетели!“ — вот и весь сказ». Это поведение не Дралкина, каким его вывел автор, а какого-то другого человека! Да и Кулев, судя по всему, что мы о нем знаем, вряд ли мог, ведя группу невдалеке от линии фронта, так уж начисто такой близостью пренебречь.

Слов нет, бывает в жизни, что люди выдают этакие неожиданные зигзаги, действуют не соответственно своему характеру. Но встречая подобную ситуацию в литературе, читатель нуждается в достаточно убедительной мотивировке поведения действующих лиц.

Встречаются в тексте романа и мелкие огрехи фактического характера. Так, не было «крыльевых пулеметов» у истребителей «ЯК» — у них все оружие устанавливалось в носу фюзеляжа. Не существовало в дни сталинградского сражения и самолетов «ПО-2»; это название было введено лишь в 1944 году. «Красно-белый муар орденов Красного Знамени» появился в романе раньше, чем в действительности. Есть неточности в написании фамилий невыдуманных персонажей: Ратуш вместо Ратауш, Кошуба вместо Кашуба. Есть ошибки в немецких словах, произносимых гитлеровскими летчиками по радио. Не вполне справедлива и безоговорочно отрицательная оценка одного из основных наших истребителей начального периода войны «ЛАГГ-3». Были у него свои недостатки, но были и достоинства (исключительная живучесть, например). Летчики Груздев, Гринчик и другие выиграли на «ЛАГГ-3» немало воздушных боев. Просто так зачеркивать эту машину не хотелось бы...

Читая роман «Мгновение — вечность», нельзя не сделать одного наблюдения — умная это книга! И автор, и его герои — люди думающие. Вот некоторые из плодов их размышлений, высказанные в афористически четкой форме.

«Короткая память свойственна благодущию, а выгоды из нее извлекает бессовестность». Или: «Бесконтрольность казалась ему независимостью.. удачливость — мастерством».

«...победный результат не должен закрывать собой просчеты и ошибок. Победитель обязан первым их знать и помнить, иначе недолго ему ходить в победителях». Только ли к воздушному бою да и к ратному труду вообще приложима эта мудрая формула?.. Так же, как и другая, отданная автором летчику Дралкину: «Главное в том, чтобы правильно распорядиться временем, остающимся для принятия реше-

ния!» Который уж раз повторяю я это «не голько в бою». Наверное, то же наблюдение нетрудно было бы сделать, читая любое честно написанное произведение на военную тему. Люди всюду остаются людьми. А в экстремальных обстоятельствах, например, в бою, просто выявляется более явно то, что в обстоятельствах более спокойных замаскировано. Недаром говорится: нет лучшего рентгена, чем война.

Инструктор политотдела, тот самый, который в «предбаннике» высокого армейско-

го начальства столкнулся с не наделенным полномочиями совести литератором, мечтает после войны написать о ней так, «чтобы выступил и вызвал мороз по коже и восхищение безмерный труд народа, чтобы стало видно всем, какой ценой оплачен перелом в ходе войны, перелом судьбы России к лучшему...».

Многие, очень многие страницы романа Артема Анфиногенова вызывают у читателя именно эти чувства.

М. ГАЛАЙ.



КАРТИНА МИРА

Олег Хлебников. Письма прохожим. Книга стихов. М. «Современник». 1982. 78 стр.

Олег Хлебников по самоощущению горожанин. Горожан часто тянет к природе, которую они знают приблизительно. Обычно дачники и туристы пишут стихи, вызывающие чувство постыдной недостовренности. Ничего подобного нет у Олега Хлебникова. То, о чем пишет, он знает хорошо.

Место действия его стихотворений — общий вагон, ночной автобус, вагон метрополитена, очередь по приему стеклотары. Очень часто — объекты движущиеся, что, как увидим, неслучайно в его поэтическом мире. Персонажи — служащие, работницы, школьники, снабженцы, командированные, родственники, сапожник, старьевщик. Его стихи населены густо, как город.

У иных поэтов такое скопление ординарных по видимости людей порождает чувство публичного одиночества и желание бежать в природу. Или же натужно воспеть свою любовь к «простым людям». Ни того, ни другого нет у Олега Хлебникова. Ему уютно в людных местах. У него есть интерес к обычным людям и делам. Он смотрит простые сюжеты «в цвете», как «короткометражное кино». Эти сюжеты не скучны, они пробуждают чувства и дают пищу уму.

Документальная короткометражка — вот откуда заимствовано устройство стихов Хлебникова.

Интерес к рядовым персонажам, к обычным ситуациям, разговорная интонация поначалу отсылают нас к Борису Слуцкому. Вот-де его верный ученик:

Иностранный автобус

ГАИ пропускает вперед.

Иностранных гостей

гостиницы вмиг принимают.
Деревенский чудака у троюродной тетки
живет
и про тех иностранцев политику
всю понимает.

Учение у Слуцкого заметно в интонациях Хлебникова. Но сходен, пожалуй, звук. Высоты и глубины разные.

По самоощущению они поэты разнонаправленные. У Слуцкого — усилие присоединения, преодоление общего ради частного и, путем этого усилия, выход из одиночества. Слуцкий жертвует своею особенностью. Хлебников ею не дорожит. Он от частного восходит к общему. Он легко выходит из толпы в уединение. Уединение без одиночества.

Но не только поверхность стиха связывает его со Слуцким и со всем военным поколением. Он сходным образом слышит «гул истории». Молодой Хлебников, оказывается, помнит войну, признает и для себя ее основополагающее значение, признает ее точкой отсчета времен, событий, нравственных состояний, ощущает всеохватность великой войны:

Не выполосканы в дыму,
не взвешены ее весами,
мы помним, как — не знаем сами,
ее огней слепую тьму.

Может показаться по первому описанию, что Олег Хлебников — поэт простого устройства и не уникального опыта. Да и короткая врезка на задней обложке «Писем прохожим» как будто подтверждает это: родился в 1956 году, окончил механиче-

ский институт и аспирантуру по специальности кибернетика, двадцати одного года выпустил первую книжку стихов, удостоенную диплома на конкурсе первых книг. К двадцати шести годам у него три книги. Он член Союза писателей. Живет в Ижевске. Образцовая биография для тех, кто думает, что путь в литературу усыпан розами.

Но биография поэта — это еще не его судьба. Легкомысленно мы часто путаем эти понятия. Мы не знаем той внутренней работы, неудач, усилий характера и ума, перипетий любви и нелюбви, сложностей человеческих отношений — всего опыта, который привел Хлебникова к «Письмам прохожим», книге сильного интеллекта и раннего понимания законов жизни.

В книге Олега Хлебникова есть профессионализм мысли. Редко у кого из молодых поэтов наличествует в стихах современная картина мира, сложная, сложнейшая и вместе с тем ясно очерченная, где разрозненные части бытия соединены в единое поэтическое целое. «...на части этот мир расколот — так, что не разъять их никогда».

Здесь, наверное, сыграло роль изучение кибернетики с ее понятиями о множестве прямых и обратных связей, да и многие другие неожиданные знания проявляются в подтексте прозаизмов и формул поэта и являются причиной их внезапных взлетов в поэзию. Может быть, он один из тех, которому суждено утолить нашу жажду поэзии интеллектуальной взамен приедающейся поэзии унылой непосредственности.

У нашего поэта, как будто ориентированного на быт, одно из главных ощущений — космизм бытия.

Вот пассажиры общего вагона: «Один между полок впрыскаду плясал, а двое вприкуску чаи попивали, четвертого с третьим насилу разняли, девятый двенадцатого целовал». А —

В окно загляделась беззвездная ночь —
беззвездность — бездонность —
бездумие — бездна...

Вроде бы обычное противопоставление мелочности нашего существования безглагольному пространству вселенной. Но не в этом главное определение нашего существования с космосом. Хлебников выявляет «обратную связь»: «Начинается космос над головой. Стоит лишь приподняться — в него окунешься, стоит только смелее поднять свою ношу и подумать добрее о жиз-

ни чужой». Подняться, поднять, прикоснуться к чужому бытию и есть прикоснуться к космосу. Мысль не простая.

Ах уж этот взгляд!

Этот взгляд особенный —
среди листьев лип, между струй дождя,
сквозь меня, сквозь вас — в космос
адресованный —
к башмаку прикованный миг спустя.

Да, взгляд особенный, присущий Хлебникову. И отнюдь не легко дается совмещение вселенского и сугубо земного.

Связать все это воедино! —
какая странная картина
колдования идей
получится.

Но это трудно.

Душевная и интеллектуальная энергия поэта уходит на преодоление этой трудности, усугубляемой тем, что мир не статичен, он образуется единым пространственно-временным движением: «Перемещения в пространстве — во времени перемещение».

Одно из основных свойств мира — пронизанность движением. (Вспомним пристрастие Хлебникова к движущимся объектам.) Движение не просто перемещение, но и переход одного в другое — материального в нематериальное, бытового во вселенское, телесного в духовное. В движении мир обретает слитность, единство: «...как отдален и слит с пейзажем жест человека». Ощущение единства мира и слитность человека с миром — редкое для горожанина — господствует в «Письмах прохожим». Особенность этого ощущения в том, что это не обычное поэтическое «слияние с природой», а слитность с движением, постоянная возможность перехода из состояния проживания обыденной жизни в категории бытия, истории, вселенной:

...какой-то человек усталый
стоит, касаясь головой
клочка проблемы мировой.

В короткой заметке невозможно описать все признаки поэзии Олега Хлебникова. Она содержательна. Недостает ей — по моему вкусу — порывистости, остроты, непредсказуемости Система его, может быть, слишком утрясена. Но серьезная заявка сделана. Поэту еще предстоит развиваться в неожиданных направлениях. И наверняка привлечет внимание читателей и интерес критики.

Д. САМОЙЛОВ.

ВЕРА В ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ИСТИНУ

В. Ф. Переверзев. Гоголь. Достоевский. Исследования. М. «Советский писатель». 1982. 511 стр.

А. Воронский. Избранные статьи о литературе. М. «Художественная литература». 1982. 527 стр.

Слова «правда» и «истина» имеют неодинаковый смысл. Первое включает в себе оттенок субъективности, исторической относительности, второе определяет адекватность содержания искусства реальному миру. Вот почему о всех значительных литературных направлениях можно сказать: в них есть художественная правда, но только реализм заслужил право характеризоваться словосочетанием «художественная истина».

Почему последнее так часто встречается в работах В. Ф. Переверзева и А. К. Воронского? Потому что эти люди, работавшие во времена становления советской критики и науки о литературе, все поверяли опытом классического реализма. Любимое ими слово «истина» указывало на эстетические эталоны, в ориентации на которые они видели саму животворящую перспективу современного искусства, «нового реализма».

Различие их литературных интересов слишком очевидно, чтобы это особо и детально разъяснять: один — методолог, теоретик и историк литературы, другой — активный организатор и участник текущего художественного процесса. Но Переверзев и Воронский близки друг другу защитой познавательной сущности литературы. Степень истинного познания, адекватность искусства объективной жизни они прежде всего определяли универсальной ценностью художественного творчества. И этот их исследовательский пафос очень созвучен современным исканиям критической мысли. Поэтому последние издания их работ не просто дань исторической памяти, а и помощь в нынешних литературно-критических усилиях.

Конечно, не все в указанном исследовательском пафосе имело плодотворный конструктивный выход (все-таки у истоков!), но, делая поправку на время, отыщем и в подчас прямолинейных конструкциях, поспешных выводах свое рациональное зерно.

Имя Валерьяна Федоровича Переверзева в недавнее время обычно вспоминалось при порицании крайностей социологического подхода к искусству. Негативные оценки варьировались лишь терминологически: абстрактный социологизм, вулгарный социологизм и — в качестве смягченного ва-

рианта — социально-генетический метод. И как-то прочно сложилось в литературоведческом обиходе представление: для Переверзева и его школы литература — повод для социологических схем и потому, следовательно, предпочтительнее, скажем, опыт формалистов, которым дорог художественный текст. Увлечение структурализмом, ведущим свою родословную от формализма, закрепляло подобное представление. Изменить его долго не могли и пронизательные замечания литературоведов (например, М. Полякова, теперь опубликованного в глущую статью о Переверзеве в рассматриваемом издании) о том, что слово «структура» одними из первых активно употребляли сторонники как раз переверзевской школы. Добавим, что Переверзеву дорого было и слово «текст».

Да, конечно, Переверзев — это социологические принципы изучения литературы. Но вот что удивительно: свою статью о формалистах он начинает с прямого заявления о «несостоятельности термина «социологический метод». Не странно ли? Оказывается, нет, поскольку формалисты тоже исповедовали социологизм. Но это, по Переверзеву, идеалистическая социология, потому что она допускает некую параллельность в литературном процессе: самодовлеющие, сугубо имманентные явления и изменения, связанные с социальными факторами. Если бы была принята лишь относительная самостоятельность первых, не нужно было бы говорить о дуализме, о метафизичности постановки вопроса. Подлинно научная концепция монистична, она должна открыть некий общий исторический источник литературного движения, полагал Переверзев. Это глубокий взгляд. Он предполагает не простую констатацию взаимодействия между собственно литературными фактами и историческими обстоятельствами, а поиски, говоря словами Плеханова, «происхождение взаимодействующих сил». Это и есть знаменитая переверзевская каузальность, причинность. Кредо ученого: «Без причинного объяснения нет науки».

Да, у Переверзева были, так сказать, издержки социологизма, и немалые. Была недооценка художественного мировоззрения, способного преодолеть узость социальной позиции автора, детерминированной его про-

исхождением и общественным положением. Но никогда Переверзев не полагал, что в художественном произведении надо искать лишь прямое и внешнее соответствие социальным явлениям жизни. Не случайно он иронизировал по поводу «наивно-реалистического взгляда» на литературу.

Познавательные возможности искусства реализуются, по Переверзеву, не в иллюстративной функции, а в особой содержательности художественных образов. М. Поляков прав, утверждая, что сама недооценка ученых мировоззрения — от полемике с Мережковским, не понимавшим, что у Достоевского дело не в «идеях», а в образах.

Естественно, мы не согласимся с противопоставлением идей образам, как и не примем одностороннего понимания художественного мировоззрения лишь как логической формы мышления. Но взгляды в переверзевский анализ творчества Гоголя и Достоевского. Эпиграфом к книге о Гоголе ученый ставит слова Белинского: «Нам мало наслаждаться — мы хотим знать». Исследователь хотел знать, какова «внутренняя сущность» гоголевского творчества. Задача, как понимаем, грандиозная. С помощью идеи социологического иллюстраторства ее не решишь. Один из реальных путей — тщательная работа над текстом. И ученый ее замечательно осуществляет. Без издержек социологизма, понятно, дело не обходится, и при каузальном объяснении стиля не раз возникает акцент на «мелкопоместной среде». Но если освободить от этой терминологической оболочки анализ «внутренней сущности» произведений Гоголя, то он ярко выступит в своей исследовательской пронизательности. Прослежены взаимодействия между основными элементами формы, оценена и классифицирована художественная характерология у Гоголя. Вследствие особой сосредоточенности на типе людей, которые «коптят небо, воображая, что они солят землю», Гоголь демонстрирует такой художественный психологизм, когда характер упрощается до примитивности, дается в резких, определенных чертах. Эта примитивность, по Переверзеву, мотивируется гесной связью персонажей с миром вещей.

Конкретные наблюдения ученого давно получили права гражданства в гоголеведении. Всем известная антитеза в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» — две стихии, два жизненных уклада: вольный, праздничный и серый, пустопорожний — впервые объяснена в ее внутренней диалектике именно Переверзевым. Ему принадлежит исследование того, как две указанные сти-

хий постепенно обособлялись в гоголевском творчестве. Успех батальных сцен у молодого Гоголя обусловлен обращением писателя к украинской исторической песне — и эта теперь очевидная мысль ранее всех была выдвинута Переверзевым. «...ритм речи, звуковую яркость произведения», многие иные качества индивидуального гоголевского стиля заметил ученый. Переверзевская формулировка задачи — «обнаружить глубокую связь и взаимную обусловленность всех частей гоголевского творчества, его внутреннюю логику и органическую стройность» — в определенной мере предвосхищала последующие системные исследования литературы.

Еще в большей мере, пожалуй, говорит об этом его книга о Достоевском. В ней много актуального. Системность здесь приобрела еще более широкий характер, чем в работе о Гоголе: Переверзев призывает не ограничиваться констатацией резкой индивидуальности автора «Преступления и наказания», а искать все точки соприкосновения его с другими художниками. Особенно замечательны у него сопоставления Достоевского с Гоголем (сходство и различие в комическом пафосе). Наша наука в последующие два десятилетия активно шла именно этим путем.

Не преувеличивал Переверзев подобно Мережковскому (добавим: и некоторым современным критикам) социальную активность персонажей Достоевского, якобы спасительную для человечества. Читаем в его книге ответ Мережковскому: «Не человечество будет просить займы масла для светильников у героев Достоевского, а оно само должно наполнить маслом их гаснущие, горящие неверным, блуждающим огоньком светильники».

Конечно, Переверзев не прав, заявляя, что не надо искать в произведениях Достоевского его политические или религиозные взгляды, — это опять-таки шло от недооценки ученым мировоззрения. Но за полемическими преувеличениями видна его вера в самоценность художественного познания: «Художник творит жизнь, а не системы».

Предлагая воспринимать у Достоевского «жизнь с ее страстями», Переверзев не советует искать у писателя окончательно сложившегося идеала. Актуальны и другие мысли исследователя. Он глубоко понял противоречия Достоевского в отношении к Западу, в интерпретации христианства. Он указал на ложность христианского религиозного оптимизма писателя, на несовмести-

мость в проповеди старца Зосимы идеи братства и социальной покорности.

Как и в книге о Гоголе, Переверзев дает здесь убедительную типологию художественных характеров. Особенно интересно рассмотрены двойники в произведениях Достоевского. Кажется, впервые в критической литературе двойничество получило социальное объяснение.

Можно было бы и оспорить прямое противопоставление Переверзевым логической правды (авторские взгляды) и психологической правды (диалектика художественного персонажа), но его право на предпочтение последней хорошо обосновано анализом текста. И ведь каковы, так сказать, социальные итоги этого анализа! Они более привлекательны, чем апология утопических деклараций писателя. Не в религиозно-нравственных доктринах, а в художественной панораме, созданной Достоевским, в картинах человеческих бедствий, причиняемых нелепым и жестоким общественным механизмом, видел ученый взрывчатую силу его книг. И потому: «...не молитвенное ожидание чуда вызовут произведения Достоевского... а жажду активного вмешательства». Разве это не самый продуктивный социальный взгляд на творчество великого писателя?

В последние годы жизни Переверзев, как и прежде, в равной мере интересовался и теоретическими и историко-литературными вопросами. Включенные в данный сборник «Основы эйдологической поэтики» говорят: ученый остался верен своим генетическим и каузальным принципам. Но эйдология (теория образа) Переверзева обрела большую широту и восприимчивость к иным научным идеям. Здесь многое заслуживает признания, и прежде всего, аргументы в пользу того, что образ не просто изображение, не копия, а «одушевленное сознание»; художественная форма содержательна, творческий акт не бессознателен (жаль только, что ученым недооценивается роль интуиции), слово само по себе выразительно, но художественным становится лишь в образе, лингвистический и литературоведческий подходы к слову принципиально различаются.

И это в духе всех исследовательских исканий Переверзева, которого всегда отличало живое чувство современности. Может быть, в таком обстоятельстве одна из причин активного интереса в последние годы к наследию Переверзева. Вероятно и другое: сейчас все чаще раздаются голоса о том, что в нынешний, постструктуралистский период в филологии все очевиднее

становится перспективность научно-социологического изучения литературы. Вот почему западноевропейские и американские литературоведы пишут специальные работы о теоретических взглядах Переверзева, вот почему советские ученые ныне более объективно оценивают его исследовательский опыт и, следовательно, вот почему выпуск однотомника сочинений одного из лидеров «социально-генетического» литературоведения надо считать своевременным.

М. Горький, сетуя на то, что на полях литературных баталий в конце 20-х годов не видно было некоторых писателей, назвал среди них Переверзева и Воронского. Равную значимость и внутреннюю близость этих литературоведов осознавали тогда и другие проникательные деятели культуры. Были, разумеется, свои нюансы в причинах, по которым Переверзев и Воронский отошли от активной литературной работы, но несомненно, что рапповский экстремизм, дилетантское отношение рапповцев к классическому прошлому и к делу подлинной науки — все это было враждебно и автору талантливых книг о Гоголе и Достоевском, и критику, видевшему в реалистических типах старого искусства «художественные истины».

Александр Константинович Воронский, сказавший эти слова, был активным воителем против рапповцев, лишь временно потерпевшим поражение, но в большой исторической перспективе он оказался прав. Время признало точность его оценки рапповской болезни: «...увлечение хлесткой фразой... невнимательное и неряшливое отношение к вопросам литературной жизни в прошлом и в настоящем... развязность... уверенность, что читатель все проглотит, лишь бы было горячо... героическая решимость блуждать даже в трех соснах... исповедь горячего сердца вверх пятнами». Не правда ли — столь универсальную оценку можно было бы адресовать не только рапповцам 20-х годов?

Привыкший, казалось бы, ничему не удивляться, Воронский, однако, всякий раз взволнованно писал о гибельности пренебрежения художественным наследием. В статье «О хлесткой фразе и классиках» (откуда взяты только что приведенные слова) критик горячо выступает против журнала «На посту», где отрицается возможность влияния классиков на современную литературу даже в области формы. Теперь может показаться наивным и нелепым подобный спор, но в ту нелегкую для литературной мысли пору такая позиция критика требовала немалого мужества.

Воронский, редактор «Красной нови», журнала 20-х годов, объединившего превосходные творческие силы, критик, заботившийся не только о своем журнале, но и о естественном и интенсивном развитии всей отечественной литературы, понимал защиту классики как историческое, общественно-политическое дело молодого государства. «На посту» не чувствует,— писал он,— не понимает, что нам передано изумительное литературное наследие, что на нас, коммунистах, лежит тягчайшая ответственность за то, какую литературу даст Новая Россия после Пушкина, Гоголя, Толстого».

Высокой классической мерой измерялся «новый реализм» (выражение Воронского), речь шла у критика об уровне художественного познания. Это акцентировалось в самом заглавии статьи, направленной против налитпостовского упрощенчества и нигилизма,— «Искусство как познание жизни и современность (К вопросу о наших литературных разногласиях)». Теоретических неточностей Воронский не избегал: например, отождествил предметы искусства и науки (да и ныне все ли видят их специфику?), преувеличил роль интуиции при создании художественного образа (но ведь хорошо, что увидел эту роль).

Однако, не занимаясь столь сосредоточенно и глобально теорией искусства, как Переверзев, критик в известном смысле более точно понял познавательную природу литературы. Неверно считать, полагал он, что старая литература отражала лишь «навыки и чувства» высших сословий. В том, что она передавала, например, настроение разночинцев, видна была способность большого таланта в процессе художественного отражения преодолевать любые сословные перегородки и предрассудки. Так думал Воронский, постоянно говоря об «объективной ценности» классической литературы и для XX века. Мысль Воронского была близка ленинскому взгляду на объективные возможности художника, если он велик. Наши классики, говорил критик, не были субъективистами, у них силен «объективный момент», потому что они были «воистину великими художниками».

Такая диалектическая широта взгляда соединялась у Воронского с конкретной социальной дифференциацией типов выдающихся художников. Тут было еще одно важное предупреждение критика — против «единопоточного» рассмотрения литературы прошлого: нельзя, по словам Воронского, следовать старую литературу «как нечто единое, цельное». К сожалению, литератур-

ная мысль не сразу учла это предостережение, и теория «единого потока» была долгое время популярной. Влияние ее ощущается и поныне.

Но что значит «объективный момент» у классиков? Здесь позиция Воронского своеобразна. Избежав опасности социологизаторства, можно было оказаться прямолинейным в ином отношении: признать простой диатат жизненного материала, заставляющий писателя быть натуралистом. Но критику чуждо и такое упрощенчество.

Вот он, характеризует текущий литературный процесс, как всегда, апеллирует к искусству прошлого, вспоминает любимого Толстого и указывает на самую главную особенность толстовского метода: «снятие покровов с вещей... их обнажение», «особые видения мира». Подлинный реалист, пишет Воронский здесь же (в статье «Искусство видеть мир (О новом реализме)»), должен уметь вносить в свое произведение «особое чувство самостоятельной данности мира». Диалектическое единство субъективного и объективного!

Естественно, субъективный пафос писателя должен обретать разнообразные эстетические формы — это Воронский понимал. И он не был сторонником жестких канонов, пусть даже классических. Как бы отводя возможные упреки в эстетическом ретроградстве, он заявляет: «...не о возврате к гончаровскому реализму мы говорим». О чем, же? О том, что нельзя отмахнуться от динамичных, уточненных художественных приемов, от изощренных стилевых форм, которые возникли в искусстве XX века. Пропагандист классики, высмеивавшийся как пролеткультовцами, так и авангардистами, Воронский, однако, любил в искусстве остроту восприятия, «богатую впечатлительность», свойственные, к примеру, импрессионистам. Более того, он предлагал не предавать забвению не только «острую манеру импрессионистов», но и «удачные приобретения футуристов». Менее всего он был музейным реставратором искусства прошлого.

Идея соединения классической и современной культуры не была для него умозрительной — она подкреплялась художественной практикой. Он любил Алексея Толстого, ибо писатель демонстрировал жизненность классики, которая вопреки ЛЕФу не изжила себя; и не видел ничего плохого в том, что в реализме автора «Ибыкуса» и «Аэлиты» присутствовал импрессионизм («в меру»). В творчестве И. Бабеля при всей «утрированной грубоватости» его стиля критик обнаружил тяготение к

классической простоте и не посчитал непоследовательностью писателя его обращение все к тому же импрессионизму.

Вообще говоря, на условные формы в искусстве Воронский смотрел широко — они не казались ему антагонистичными реализму. Доверие критика к творческой фантазии объяснялось его теоретическим убеждением: искусство не есть непременно «формы самой жизни», искусство бывает больше похоже на правду, чем сама жизнь. Так писал Воронский в статье о Вс. Иванове, указав на особую психологическую глубину его рассказов, где ярко представлена не всегда и не сразу замечаемая в реальной жизни противоречивость мужика — труженика и собственника.

С гордостью, иногда даже восторженно говорил Воронский о первых успехах молодой советской литературы. Пример с Вс. Ивановым, в частности, побудил его заявить: мерекжовские покинули Россию, думая, что она без них пропадет, а они только освободили путь здоровым и свежим силам.

Люди, потерявшие столь необходимый художнику «контакт с эпохой», могут, по Воронскому, предложить лишь торопливо сделанные сочинения типа недоброго по своему социальному пафосу романа Е. Замятина «Мы». Писатели же, чье сознание и «внутреннее чутье» позволяют понять главный смысл времени, становятся творцами истинной художественной культуры социализма. Под руководством Горького Воронский занимался активным собиранием таких новых творческих сил.

Приветствуя «сгущенную социальность» литературы (слова о Д. Бедном), Воронский никогда не забывал высоту эстетических критериев классики. Он обнаруживал в этом смысле даже некоторый известный эстетический пуританизм. А. Г. Дементьев в объективной и серьезной вступительной статье к сборнику справедливо пишет о

том, что Воронский, к сожалению, прошел мимо творчества Фурманова и Серафимовича и в целом ошибся в оценке Маяковского, а отчасти и Есенина («аполитичность»).

Однако если критик замечал в творчестве современного писателя воплощение классической традиции, он был щедр на положительные характеристики. «Разгром» Фадеева вызвал его горячее одобрение похожестью на «толстовский подход к человеку, к психологии».

Воронский не принимал «подмены художественных заданий тенденциозным, узкоагитационным отношением к материалу». Он видел, как стремительно тематически обогащается новая литература, и радовался этому. Принципиальные перемены в формах труда, в поведении труженика, неизвестный ранее быт — все запечатлевает «новый реализм». Важно только, не уставал повторять Воронский, чтобы схема не стала литературной нормой писателя: пусть герой литературы «работает, трудится, переделывает мир, спотыкается, падает, поднимается вновь, аппетитно ест, хохочет, имеет свои причуды, недостатки... а не ходит пред нами как заводной солдатик, не говорит заученных и вполне благонамеренных речей». Таково эстетическое кредо Воронского.

Книга его статей воссоздает облик человека, рыцарски служившего социалистической художественной культуре.

Две книги, два имени — напоминание о героическом и трудном времени рождения новой литературы и литературно-эстетической мысли. Необходимое напоминание, ибо в исканиях этих людей — уроки искренности, неординарности мышления, уроки самоотверженной любви к отечественной литературе. Это никогда не может перестать быть нужным.

П. НИКОЛАЕВ.



СЛОВО — ДЕЛО

Евгений Богат. Урок. Очерки. М. «Советский писатель». 1982. 472 стр.

«**З**а слова — меня пусть гложет, за дела — сатирик читит», — высказался некогда Гаврила Романович Державин. Александр Сергеевич Пушкин возразил ему десятилетия спустя: «...слова поэта суть уже его дела».

Может быть, странно начинать рецензию на книгу современного публициста воспоминанием о стародавней полемике? Не думаю. Потому что хотя Пушкин, произнеся эти шесть слов, обозначил ими начало новой литературной эпохи и бесповоротное тор-

жество нового литературного сознания, публицистика — именно она — должна соглашаться с Державиным. Точнее оказать, и с ним тоже. Ибо и его правда не ушла совсем, для нее же, для русской публицистики, не ушла ни в коем случае.

Она — в ее уже великих образцах — рождалась прежде великой российской художественной словесности; прочная ее традиция не случайно закладывалась во времена Просвещения, чья литература еще не полагала своей задачей отыскивать среди людей избранно-родственные души («хоть один пиит»), но намеревалась образумить всех. И легенда о том, будто недоросль, бывший прототипом Митрофана, так убоялся сатиры на себя, что принял за учење, учился в Страсбурге и Дрездене, стал образованнейшим человеком России, даже президентом ее Академии художеств, короче говоря, стал Алексеем Николаевичем Олениным, — эта легенда есть порождение наивной и упорной веры просветителей, что они сейчас, немедля вразумят неразумного и размягчат жестокосердого. Всех, повторяю, от простаковых до Екатерины II. Веры, которую автору современного очерка, все равно — судебного, экономического, нравственного, — терять нельзя. Не профессионально.

«Деловой» результат, счет наказанных носителей порока и побед добродетели — вот безусловный и первый критерий работы журналиста, так что я лично не решился бы третировать автора, который неоднократно от невиновных беду, даже если бы его стиль мне сильно не нравился¹. Но что правда, то правда: количество добрых дел, великолепнейшим образом характеризует человека, еще не превращает его в писателя.

С понятным удовлетворением встречаешь в «Литературной газете» сообщения о конкретных выводах, сделанных прокуратурой или министерством из очерков Евгения Богата (А. Ваксберга, А. Борина, А. Рубино-

¹ Так, в свое время меня задела статья И. Янковой «После приговора» («Литературное обозрение» № 8 за 1978 год). «Е. Богат, автор нескольких заметных судебных очерков, обычно прав в своих окончательных суждениях относительно конкретного дела», — говорилось в ней, и снисходительная полупохвала, будто бы вырванная у себя самой под мучительной нравственной пыткой, стремительно сменялась отрицанием или уж, во всяком случае, порицанием: «претенциозность, жажда словесного изыска», «достигающие к тому же «крайнего предела», «литературные и по-своему эгоистические завитушки», «манерность», даже отсутствие «деликатности», ну и тому подобное.

ва), — но в книге «Урок» нет информативных постскриптов или сносок, оповещающих о принятых мерах, которыми журналисты с законнейшей гордостью оснащают сборники своих газетных публикаций: «После опубликования этой статьи...» — и т. д.

Вернее, есть, но их мало, и роль они играют несколько неожиданную.

В очерке «Торг» сошлись две почти одинаковые истории. О том, как студенты Володя и Сергей оба были «безмотивно» искалечены пьяными болванами.

«Выписался он из больницы неузнаваемым...» — сказано об одном, о Сергее (могло быть сказано и о Володе), юноше талантливом, музыканте и шахматисте, поклоннике Гегеля и Аристотеля; но драма увечья усугубилась унижением. В одном случае виновник просто не осознал вины, не захотел, в другом он и его родственники устроили дикий торг из-за нескольких десятков рублей, необходимых жертве на лечение.

Впрочем, пересказывать нет нужды — у книги хороший тираж, у «Литгазеты» и того больше, — вот концовка:

«И все же заканчивать этот очерк печально оснований нет... Сергей Передерин учится на лечебном факультете Ивановского медицинского института.. Учится неплохо, как сообщил нам декан. Но быстро устает. Поэтому в шахматы не играет. Музыка больше не занимается. И философов не читает. Но и без этого жить можно...»

Невеселая ирония подчеркнута многоотчием, пунктуационным символом незавершенности и незакрытости, и сопровождается сноской:

«После опубликования в «Литературной газете» очерка «Торг» пострадавшему были полностью возмещены расходы на лечение, а должностные лица, виновные в бездушном отношении к нему, наказаны».

Вот, подумал я, как мы можем, поддавшись инерции собственного вкуса, позабыть о своей непосредственной обязанности: соотносить суть и внешность, объективный результат и субъективное — свое же — ощущение. В таких случаях приходится говорить о промашке не просто литературно-оценочной, но этической: странно, в самом деле, обрушиваться на человека — вообразим такую ситуацию, — который на твоих глазах старается восстановить справедливость, за то, что у него носки не в тон сорочке.

Я не зову к пренебрежению формой ради «нужного» содержания, но критику всегда подстерегает опасность существования за счет остроумно-саркастических комментариев к сочинениям тех, кто делает настоящее дело и оттого находится на виду. Примеров, увы, многовато.

Сноска должна вроде бы вызывать привычное удовлетворение (и вызывает отчасти), но рождает и душевное смятение своей наочевиднейшей неадекватностью тому, что произошло с человеком. Что делается с людьми. Это не упрек восторжествовавшему правосудию, разумеется, нет,— важно, однако, что писатель, добившись ощутимого результата, облегчив, чем мог, жизнь тех, за кого вступился (ради одного этого стоило писать), пишет все же не только ради этого и написал не только об этом. Защищая их, он тревожит нас. Не закрывает тему, а открывает ее.

В книге Богата много ответов, тем более что он весьма охотно дарит свои соображения на тот или на этот счет разным, порою, как можно догадаться, полувывмышленным персонажам, и все это по-своему интересно. Но мне здесь все-таки дороже не ответы, но вопросы,— да, подозреваю, и самому автору они важнее. Больше того. Нередко он не находит ответа, прямо в том признаваясь и даже демонстрируя свою как бы принципиальную беспомощность,— укоряя ли я его за это? Напротив. Это то качество, которое назвал А. Н. Толстой: «Честность, стоящая за моим писательским креслом, останавливает разбежавшуюся руку...»; вот откуда обилие не уверенных точек, а многоточий,— понятно, речь не о пунктуации, вернее, не только о ней, ибо и стиль тут продуманно соответствен и случайности исключены в мелочах и до мелочей.

Андрей Платонов когда-то спросил пародиста Александра Архангельского, отчего тот не сочиняет «сам». И получил ответ: «Не хочу. Я не могу написать двух слов — «Наступило утро», или «Она загадочно улыбнулась», или так: «Елизавета, опершись двумя пальцами правой нежной руки, на одном из которых было надето обручальное кольцо червонного золота, и чуть касаясь тыльной стороной левой руки своего бедра, крутого и доброго от долголетней цветущей женственности, изреда моргая веками для смачивания горькой влагой своих синих (или голубых, или серых, или задумчиво-грустных) глаз и в то же время слегка размышляя мыслями в голове под каштановыми волосами, только что утром вымытыми ромашкой для укрепления корней, размышляя относительно счастливого будущего Петра и блестящей карьеры Евгения, из которых первый был ее братом, архитектором, а второй мужем, инженером и крупнейшим облицовочником страны, в окно глядела...» — оборву ради экономии эту блестящую пародию.

— А как же нужно бы написать, Александр Григорьевич?

— Я бы написал: «Елизавета была стервой и глядела в окно».

«Елизавета была стервой» — это и есть стиль действенного, прямо бьющего в цель очерка, лично мне милый (похоже выразился и Маяковский: «Я люблю сразу сказать, кто сволочь»); но это не стиль Богата, отнюдь нет. Он-то как раз много внимания уделяет словесной «отработке», по гоголевскому словцу, своих очерков-эссе, и ориентиром для него является, я думаю, не нагая прямота публицистов второй половины XIX века (самая влиятельная из стилистических традиций), а непростая — по крайней мере, на нынешний взгляд и слух — манера просветительской прозы все того же XVIII столетия. Тут не за что корить или хвалить, потому что это не достоинство или недостаток, а — позиция, сделанный выбор; если же что и заслуживает, с моей точки зрения, упрека, то крайности избранного стиля. Для меня, к примеру, совсем не обязательны тень Цицерона или тень Отца, являющиеся автору очерков «Безумие» и «Как библиотеку меняли на «Жигули», и в этом смысле я, отдавая должное мастерству Богата, его эрудиции и изощренности, решительно предпочитаю те его вещи, которые неслучайно и названы точно и емко: «Шум», «Торг», «Реквием», «Урок», — сравним для обратного примера: «Игры на дорогах, или Сентиментальное путешествие в современном дилижансе».

Мало того. Я бы даже не повторил по отношению к Богату только что сказанного выше и являющегося, кажется, неизменным качеством любого очерка: он словно бы не очень-то и стремится «бить» прямо в цель», у него, если не ошибаюсь, другая задача — понять характер этой цели, изучить ее и в конце концов даже спросить себя: а надо ли в нее бить? То есть он как бы тормозит свою мысль собственными же вопросами, которые становятся препятствиями на кратчайшем пути к цели. В его очерках вязнешь, что порою кажется их недостатком, порою — достоинством, а является (снова!) просто особенностью. Завязив ноги, мы не можем покинуть это топкое, гибкое место, — сверх того потом, миновав препятствие, непременно вернешься посмотреть, что же именно так задержало тебя на прямом твоём пути. Богат и пишет для возвращающегося, для неторопливого читателя, поэтому я не мог бы представить себе его очерки, скажем, в еженедельных «Известиях», в отличие от шестнадцатиполосной «Литгазеты», и еще органичнее

они с их некротичным стилем оказались в книге, где продолжают и дополняют друг дружку, не снимая вопросов, а множа их.

Из вопросов же Богата и влекут больше такие, у которых ответа попросту нет. Однозначного, по крайней мере.

Зачем, вороша белье, исследовать историю молодого, казалось, благополучного — и вдруг покончившего с собой — человека, если его не воротить, а наказывать (это автор понимал с самого начала) некого? Зачем писать — очерк, статью, не рассказ — о пенсионере, доведенном до погребельного инфаркта домовой «общественностью», если виновники заведомо юридически ненаказуемы? Понятно было бы, если б их все же публично выволочь на позор, так ведь и этого нет!

«— Вас не мучает совесть?

— Совесть?!.. Вы посмели? — Она задышалась. — У меня общественная совесть, а не личная... Вы... вы... вы... абстрактный гуманист... Я... мы... выполняем долг... мы... общественная организация... мы боремся... боремся... боремся... Я материально ответственное лицо, а вы нервируете меня на работе. — Тяжело опустилась на стул, обмякла, тихо заплакала. — У меня диабет, мне нельзя волноваться, я могу умереть к вечеру. Из-за вас!

Я посмотрел в ее моложаво-старое лицо с подрагивающим массивным подбородком и, полностью оправдывая титул абстрактного гуманиста, пообещал:

— Я изменю вашу фамилию и не назову города...

Она подобрела, повеселела».

Повеселеешь: она-то сама, имярек, ушла от позора.

А понятия, к которым взывает автор, они каковы: «ЧЕСТЬ СЕМЬИ» — именно так, сплошь заглавные буквы, воплощенное обобщение. И даже очерк, написанный, чтобы преступник получил заслуженную кару, кончится все тем же образом, и впрямь «абстрактным»:

«Но ведь он, отец (О-Т-Е-Ц), убил сына (С-Ы-Н-А). Тут, казалось бы, небо со всеми созвездиями обрушиться должно!»

Это очерк «Выстрел из двух стволов», где не только разобрана трагическая ситуация, но и дан ее социолого-экономический аспект, исследован такой характерный бытовой феномен, как неожиданно возникающее могущество и связанная с ним безнаказанность вполне неприметного индивидуума, в данном случае шофера, хозяина машины в нежелезнодорожном городке («новая структура социальных зависимостей» — сформулирует автор в сильном и страшном

очерке «Двое», появившемся в «Литгазете» после выхода книги и говорящем уже о директоре продмага; надо сказать, Богата вообще занимает внутреннее и внешнее преобразование «маленького», как говорится, человека, становящегося маленьким начальником). Но патетическое воззвание к милосердию «вообще», вплоть до потревоженных небесных сфер, не литературная краснота и даже не только попытка раздвинуть, нравственно обобщить проблему. Нет, скорее уж это дальнейшая ее конкретизация — именно так. Дело сделано, убийца обличен (а будет и наказан), его судьба теряет для нас интерес, растворяется в обезличивающей мгле, и автор возлагает надежду на слово, такое нематериальное, но такое индивидуальное, «просветительно» обращенное лично им, автором, лично к нам, читателям. Нам не дают удовлетворенно замкнуться в сознании этой частной победы, реальной, однако недостаточной, нас принуждают — не отвлекаться от единичности, нет, но, сопоставляя единичное с единичным, находить конкретности на уровне социального.

У очерков «Над пропастью» и «Урок» есть «опасное сходство»: в обоих рассказано, как юные существа нежного пола жесточайше избивали сверстниц, в одном случае по пустяковому поводу, в другом и вовсе «так просто», а это, соображаем мы, доказывает, что и в первом-то случае повод был не причиной, его просто могло не быть. — жестокость выплеснулась бы так или иначе. Но, с другой стороны, именно сойдясь под одной обложкой, две жестокие истории наводят на мысль, что все же есть он, есть, этот проклятый мотив, — сходство, совпадение и не дают думать иначе. Только мотив общий — особенно, значит, опасный.

У упомянутого сходства есть и дополнительная черточка, повторяющаяся с почти неправдоподобной буквальностью: и там и тут жертву норовят непременно поставить на колени — иначе избивание не принесет сладости. Необходим, так сказать, физически убедительный акт осуществления собственного превосходства, что обнаруживает нехитрый механизм самоутверждения и бессильную его тщету: ты становишься — как бы, якобы, мнимо — выше только за счет действительного у-н-и-ж-е-н-и-я-д-р-у-г-о (еще одна перспектива самовозвышения «маленьких», правда, обманчивая нравственно, зато физически, увы, вполне реальная). И, загадочная для психологов и юристов, безмотивность становится для писателя... нет, не менее загадочной, однако

в системе вечных категорий, с которыми имеет дело литература, она выявляет свою жутковатую логику, которую в любом случае надо понять. Безмотивное зло оказывается в роли особенно отчетливой антитезы добра, также безмотивного, являющегося естественным проявлением естественной природы. Для добра тоже сыщется немало тех или иных конкретных поводов, но поводов, не более, и если ум, в отличие от случаев столкновения с жестокостью, не теряется в вопросах: «почему? за что?», то оттого, что быть добрым — «всего лишь» нормально...

Опять — «абстрактно»? Бессильно, беспомощно перед осязаемостью форм, которые способны принимать напористое зло? Но литератор не может надеяться, что остановит словом убийцу, поднявшего на сына двустолку, или занесенный кулак — тем более задним числом; ретивого жэковца, ошалевшего от запаха своей крохотной власти, и того пристыдить удастся не всегда. Что

писателю дано, так это собирать вокруг своих книг родственные или потенциально родственные души, укреплять их веру в добро, порою не проявившуюся, порою слабеющую, чаще всего не видя результатов, но надеясь на них (иначе — нельзя). А уж если такое объединение произойдет в наиболее буквальнейшем смысле (в очерке Богата «Неоконченная история» речь о том, как обращение через газету чудесно сплотило незнакомых людей и бросило их на помощь девушке, обездоленной судьбой), что ж, это особое счастье публициста, журналиста, газетчика, завидное, говоря по правде. То, за которое должно «читать», что и советовал Гаврила Романович Державин. И, между прочим, нужное всей литературе, всякой, самой что ни на есть «художественной». Нужное — как пример? Лучше сказать: как урок, как наглядно частное подтверждение общей правоты пушкинского суждения: слово есть дело.

Ст. РАССАДИН.



РОМАН О ВЕЛИКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЯХ

Слав Хр. Караславов. Солунские братья. Роман. Перевод с болгарского. М. «Прогресс». 1982. 622 стр.

Много ли мы знаем о великих просветителях Кирилле и Мефодии, давших нам, славянам, письменность? Познания наши весьма скромны. Известно, что 1120 лет назад они создали славянскую азбуку, что они и их ученики были первыми переводчиками на славянский язык богослужебных книг, что в 863 году, когда была создана азбука, византийский император Михаил и патриарх Константинополя направили братьев в Великоморавское княжество проповедовать христианство, направили, ибо, по тайной их мысли, деятельность Кирилла и Мефодия должна была помочь князю Ростиславу в борьбе против немецких феодалов и священников папы римского, а следовательно, помочь Византии завоевать Моравию, если уж не мечом, то словом божьим. Но у братьев была своя цель, отличная от замыслов Константинополя, — дать письменность славянскому народу, зажечь

«светильник разума». Известны и другие исторические факты из той далекой эпохи. Полнее знать о первых шагах славянской письменности и культуры, о становлении славянских языков, право же, нам необходимо. Народ, не помнящий «родства», не интересующийся собственной историей, не может иметь и будущего. Только оглядываясь назад, осмысливая свое прошлое, извлекая из него уроки, он способен развиваться, двигаться вперед.

Роман известного болгарского поэта и прозаика Караславова «Солунские братья» восстанавливает одну из важнейших страниц истории славянских народов.

Он состоит из трех книг: «Мир надежды», «Мир догмы» и «Мир бессмертия». В первой Караславов воссоздает жизнь и деятельность Константина (после принятия монашества в начале 869 года — Кирилла) в столице Византии — Константинополе; бого-

словский диспут с мусульманскими мудрецами в Сирии, завершившийся его победой; дипломатическую миссию в Хазарию; его взаимоотношения с императором и патриархом, с придворной знатью; его светлую любовь к красавице-византийке Ирине. Перед нами поистине мудрый, энциклопедических знаний человек (не случайно уже в молодости его называли Философом), человек кристально чистой души и высоких помыслов. Вернувшись из Багдада с победой, он довольно спокойно принял пышную встречу, вел беседу с императором. Потрясен же был тем, что Ирина вышла замуж за горбуна Иоанна, сына кесаря Варды, и стала... любовницей свекра. Молодой ученый и поэт задыхался в ядовитой атмосфере высших придворных кругов, где господствовали расчетливость и коварство, вероломство и подлость. Он писал:

...А что же я такое?.. И кто мне друг и враг?
Я разве византиец?.. Иль кесарь, может

быть?
И как могу я кровь свою славянскую
К чему мне эта слава? И разве смысл
забыть?..
в том есть,
Чтоб мне теперь сражаться за славу их
и честь?

О, как они жестоки! Как их закон суров!
Он веру иссушил мне и осквернил любовью!

(Перевод А. Гугнина)

Константин, решив навсегда покинуть мир знати, уезжает к брату Мефодию в монастырь святого Полихрона. В монастыре он и занялся осуществлением своей давней мечты — дать письменность славянским народам. И вскоре создал азбуку. Вот как автор описывает этот исторический момент:

«...Константин пододвинул свечу так, чтобы виднее стали буквы на пергаменте, и глубоко задумался. Вот тут изображены все характерные звуки славяно-болгарского говора, перед ним его надежда и вера, смысл его жизни. Усвоив азбуку, Мефодий и послушник Клямент примутся за самое трудное — за переводы. Слово господне родится еще для одного народа, божественное учение пригодится людям, презираемым до сих пор, заклеянным жестоким словом «варвар». В душе этого народа-варвара живут такие прекрасные песни, такие глубокие переживания, такие светлые человеческие чувства, что многие недруги могли бы позавидовать». И далее: «...пергамент оживал под его рукой, словно поле золотой пшеницы. Первые странички перевода неуверенно влекли их к себе, и они втроем просидели за ними допоздна. Священное писание впервые читалось на славянском

языке! Вначале было слово! И слово наполнило келью сладчайшим звучанием. Ничего варварского не было в этом языке, он звучал так мягко и приятно, что Мефодий попросил Климента прочесть перевод дважды».

Так начиналось великое дело рождения славянской письменности. Той самой азбуки, которой, с малыми изменениями, мы пользуемся и сегодня.

Во второй книге — «Мир догмы» — воссозданы сложные, а подчас и трагические события: первые шаги славянской письменности в Моравии и Паннонии, гибель Константина-Кирилла.

В третьей — «Мир бессмертия» — писатель рассказывает о смерти Мефодия, о разгуле немецких священников-инквизиторов, об убийстве лучшего ученика Константина — Горазда, об изгнании и продаже в рабство учеников Кирилла и Мефодия, о торжестве бессмертного дела великих просветителей на болгарской земле, продолженного их учениками, выкупленными из рабства

Через весь роман «Солунские братья» красной нитью проходит осязаемое стремление автора дойти «до сущности протекавших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевин». Все время схватывая нить судеб, событий...».

И он преуспел во многом. Потому что многое узнал, досконально изучил наследие Кирилла и Мефодия, древние исторические материалы, жития, пропустил все через собственное сердце, чтобы воскресить далекое прошлое и «кровью чувств ласкать чужие души». У читателя не возникает сомнений в достоверности того, о чем повествуется в романе. Автор доносит до нас живое дыхание старины: некоторые фрагменты диспутов великих просветителей взяты из древних писаний.

Под кистью художника оживает целая галерея лиц, имена которых вошли в историю человечества: помимо Кирилла и Мефодия перед нами их ученики Климент, Горазд, Савва, Наум, Ангеларий и другие, император Византии Михаил и его кесарь Вардас, патриархи Константинополя Игнатий и Фотий, папы римские Николай, Адриан, Иоанн VIII... Особая удача писателя — образ болгарского князя Бориса. Это колоритная фигура с самобытным характером, психологически очень точно выписанным. Мудрый и хитрый правитель, он вел полную драматизма борьбу за принятие Болгарией христианства. Используя вражду Рима и Константинополя, он добился само-

стоятельности болгарской церкви с правом богослужения на славянском языке. Это он пригласил учеников великих просветителей, создал первые школы, в которых изучали славянскую азбуку и переводили с греческого языка богослужебные книги, готовили собственных священников. Князь Борис (после принятия христианства — Михаил) твердо верил в необходимость укрепления государства и объединения народа на основе славянской письменности, на основе общего языка.

К сожалению, не все образы вылеплены с тем же пластическим мастерством, что и центральные. Иногда автор сбивается на описательность, и тогда он уже не показывает действительность, поступки и состояние героя, а лишь описывает. Отсюда — схематичность некоторых картин, сухость изложения.

И все-таки Караславу в значительной мере удалось, говоря словами А. С. Пушкина, воскресить минувший век во всей его истине. Его «Солунские братья» — это художественный документ об одном из важнейших событий в истории Европы, крупный вклад в болгарскую историческую литературу, в литературу всех славянских народов.

Теперь несколько слов о переводе. В свое время Н. А. Некрасов писал: «С близкого по духу языка переводить еще труднее, — может быть оттого, что ближе, нагляднее чувствуется недостижение подлинника. С итальянского, например, легче переводить иногда, чем с малороссийского. Невероятно, а между тем верно». Почему же возможно такое «недостижение»? Потому, утверждал другой выдающийся русский писатель В. Г. Короленко, что близость двух языков не дает переводчику простора, а между тем многие слова, которые так и просятся в перевод, — при всей порой однозвучности дают у нас иные оттенки...

Переводчик романа «Солунские братья» А. А. Косоруков, похоже, нашел золотую середину. Далась она ему, видимо, нелегко, ибо, сверяя подлинник с переводом, особенно ясно видишь, сколько «тонн словесной руды» было изведено «единого слова ради». Несмотря на трудности, А. А. Косоруков с большим мастерством сумел (за редким исключением) сохранить стиль, творческий почерк Сл. Хр. Караславова, передать дух оригинала. А это главное!

Есть в переводе и погрешности. Скажем, не стоило бы переделывать ятаган в саблю. Слова эти обозначают не одно и то же. Или, например, цепи, которыми приковы-

вали к судну гребцов, не следовало бы русифицировать и называть кандалами. В подлиннике читаем: «Тя търсеше леката слава», то есть «Она искала легкой славы», а переведено — «Она искала легкого счастья». Но слава и счастье отнюдь не синонимы. Караславов не случайно не употребил «счастье», а подчеркнул — «слава». Это логически оправдано. Дело в том, что красавица Ирина принадлежит к кругам придворной знати. Ее снедала жажда славы, власти, она мечтала стать первой в империи, даже путем вероломства, предательства — вот что двигало этой женщиной, вот почему она согласилась на фиктивный брак с сыном всемогущего кесаря Вардаса, чтобы затем стать любовницей свекра и обрести неограниченную власть. Какое уж тут счастье! Или еще. Рассказывая об императоре Михаиле, опекуном и наставником которого был дядя по матери — развратный и разгульный, вероломный и жестокий Вардас, автор пишет: «Като него се беше овълчило, очите му святкаха диво и зло, ръката му често посягаше към меч», то есть «Как и Вардас, он свирепел, глаза сверкали дико и зло, рука часто хваталась за меч». В переводе же читаем: «Когда Варда злился, его глаза свирепо сверкали, а рука часто тянулась к мечу».

И еще одно замечание. В романе «Солунские братья» Караславов повествует о далеком времени Византийской империи, где господствовал греческий язык. Зачем же нам греческие имена Вардас, Георгиос, Иоаннис переправлять на славянский лад — Варда, Георгий, Иоани? Ведь сегодня никому и в голову не приходит называть русским именем, скажем, Минхиса Геодоракиса, именовать Джанни Родари — Иваном, Теодора Драйзера — Федором, Даниэля Дефо — Данилой, поляка Рышарда — Ричардом, болгарина Николу — Николаем, литовца Эдуардаса Межелайтиса — Эдуардом и т. д. Между прочим, болезнь эта старая. А. М. Горький в свое время требовал от советских писателей избегать подобной практики и писал: «Русификация иностранцев (в переводной литературе) и без того является серьезным несчастьем».

Упомянув здесь о некоторых шероховатостях перевода, я ничуть не хочу принизить его достоинство. Роман «Солунские братья» в переводе А. А. Косорукова — это значительный успех в переводной литературе. Но, как говорится, большому кораблю — большое плавание. На переводах мастеров учатся молодые. А они-то могут упомянутые здесь погрешности возвести в норму...

Советские люди получили хороший пода-

рок — новый исторический роман Сл. Хр. Караславова «Солунские братья». И верится, что наши читатели по достоинству оценят произведение о далеком, но столь близком

и дорогим для нас историческом прошлом славянской письменности и культуры.

Владимир ФИРСОВ.



НАЦЕЛЕННОСТЬ ПОИСКА

А. Бочаров. Бесконечность поиска. Художественные поиски современной советской прозы. М. «Советский писатель», 1982. 423 стр.

Анатолий Бочаров принадлежит к числу критиков, работающих на переднем крае литературы, — он пишет о сегодняшней литературной жизни, о том, что еще не устоялось, не отвердело, о чем еще нет сформировавшихся и сформулированных мнений. Работа ответственная и трудоемкая. Ведь советская современная литература — это содружество литератур, и некоторые тенденции, свойственные всему советскому литературному процессу, бывает, выражаются наиболее рельефно в работе писателей какой-либо из союзных республик (достаточно вспомнить хотя бы эстонскую «экспериментальную прозу» или новейший грузинский роман, отмеченный своеобразной философичностью). А. Бочаров не только знаток всего богатства современной многонациональной литературы, но и незаурядный прогнозист — иные из явлений, подмеченных им, впоследствии действительно развились, стали заметны всем и каждому.

Новая книга А. Бочарова сложилась из многих его статей, писавшихся на протяжении прошедшего десятилетия по свежим следам литературных событий. Иные из произведений, о которых идет речь в этой книге, возможно, еще и не прочитаны достаточно широким кругом читателей, другие были предметом дискуссий, третьи прошли незамеченными. Но, по словам автора, при осмыслении литературного процесса надо обращаться не только к нескольким «вершинным» произведениям, а «ко всему потоку»: лишь в этом случае, по его мнению, могут сложиться верные оценки и убедительные выводы. Это пусть литературоведы, несколько запальчиво поясняет он, «вглядываются зачарованно в одни лишь вершины». И действительно, А. Бочаров охватывает материал широко, не выборочно, хотя у него, как и у всякого критика, есть свои пристрастия. Как бы широко он ни брал материал, реальность литературы еще шире. Однако то, что им взято и проанализировано, вполне дает возможность судить и о «потоке» в целом. И это утверждение трудно оспорить.

А. Бочарова интересуют поиски писателя-

ми таких форм и средств образной выразительности, которые расширяют возможности глубинного познания жизни. Он придерживается мнения, что социалистический реализм — исторически открытая эстетическая система правдивого изображения жизни, увиденной в свете коммунистического идеала. В его понимании художественный метод не является чем-то застывшим, он находится в состоянии постоянного внутреннего обновления — то замедленного, то интенсивного. Критик против априорных схем и навязывания художнику апробированных средств. Разумеется, А. Бочаров далек от вульгарного стремления как-то дискредитировать традиционные, оправдавшие себя средства художественного освоения действительности; наоборот, он подчеркивает, как важно уметь ими пользоваться. И настойчиво обращается к непреходящим ценностям реалистической литературы. Но А. Бочарову ясно: современный мир, включая сюда мир человеческой души, не только сложен и противоречив, но нов и постоянно обновляется. Опосредованным образом это новое состояние мира сказывается и в художественной структуре произведений, созданных художниками, особо чуткими именно к динамике меняющегося бытия. Художественное сознание философизуется, литература все чаще и, самое главное, все органичнее осваивает мир понятий.

Вместе с тем А. Бочаров справедливо предостерегает от упрощенного подхода к проблеме взаимоотношений искусства с научными идеями времени. Он полагает, что здесь необходимы не только большая тонкость и осторожность, предохраняющие от вульгаризации, но и понимание опосредованности связей между художественным сознанием и миром идей. Это очень верное наблюдение. Научное понимание мира чаще всего обнаруживает себя в художественной структуре не прямо, не обнаженно. Оно как бы пропущено сквозь призму общественных настроений, тревог и надежд, через реальную психику современного человека. Художественно освоить этот изменившийся мир может только реализм,

смело пробуящий новые средства, новые инструменты. А. Бочарова интересует прежде всего именно эта новизна средств и тематики. Он внимательно вглядывается в тенденции литературного развития, в элементы и крупцы новизны. По мнению автора, 70-е годы в развитии нашей прозы дали много принципиально нового — прошедшее десятилетие было периодом интенсивного развития.

Не случаен интерес автора книги к прозе, насыщенной размышлениями (иногда ее именуют «интеллектуальной»), достаточно громко заявившей о себе в 70-е годы. По А. Бочарову, она — симптом, явление, в котором видны потенции дальнейшего развития. «...повышенная концептуальность прозы последнего времени, — пишет критик, — повышенный ее интерес к концепции мира, к концепции человека настолько очевидный факт, что его нельзя ни обойти, ни проглядеть, ни оспорить...» Утверждение справедливое.

Общая «философизация» прозы, видная сейчас даже невооруженному глазу, сказывается на многих компонентах современного художественного произведения. Современный эпос, в том числе и широко распространившийся «эпос повседневной жизни», все настойчивее «пробует» изображать не сами, как говорит А. Бочаров, «исторические вихри», а, оставляя их «за кадром», показывать следствия, преломление их в психологии и поведении людей. Отсюда — повышенная психологичность, детализированность душевных состояний человека, оказавшегося в экстремальной ситуации, и, одновременно, столь привычная уже для сегодняшней прозы прерывистость, пунктирность повествования, обилие ретроспекций. Картины сегодняшней жизни героев, иногда подчеркнута пластичные в отдельных своих частях, как бы накладываются на достаточно четкий или, наоборот, мерцающий контур прошедшего. Сейчас литература все чаще отходит от слишком «простого» перемежения времен и элементарного монтажа, пытается сочетать разновременность в единстве изображения, в одном фокусе. Это интересное наблюдение А. Бочарова многое объясняет в современной прозе. Что же до конкретных произведений, то критик анализирует их не только с большой тщательностью и тонкостью, но и, так сказать, концептуально — в свете общей идеи, пронизывающей его книгу.

Отталкиваясь от наблюдений над прерывистостью и пунктирностью современного повествования, автор интересно объ-

ясняет причины новеллизации и романа, объясняет и то, почему столь большое место в литературе 70-х годов заняла повесть, почему, наконец, и сам роман приобрел, если можно так выразиться, «повестные» черты, превратившись в роман-повесть. По А. Бочарову, концептуальная повесть, а также «новеллизирующийся» роман, роман-повесть выражают стремление дать явление на срезе, подробно рассмотреть часть, не прибегая к приемам панорамного повествования. Такая установка подчас ведет к известной парадоксальности в изображении части, к внешней алогичности образа, к широкому использованию условности...

Поиски новых выразительных возможностей нередко приводят сегодняшнего художника к непривычному использованию традиционных, казалось бы, средств выразительности. Можно, к примеру, сослаться на столь распространенный в современной литературе внутренний монолог. Есть произведения, особенно в эстонской прозе, целиком построенные на этом приеме. Но и внутренний монолог неузнаваемо изменяется: его родовые «толстовские» черты, пройдя через опыт Джойса, более поздний опыт латиноамериканского романа, резко трансформировались. Сегодняшний внутренний монолог вводит в тайное тайных потрясенного сознания.

А. Бочаров развил эти мысли, исходя из совершенно конкретной прозы конкретного десятилетия.

Автор подробно останавливается на характерных повествовательных формах и приемах, отвечающих указанной тенденции — общей философизации повествования.

Интересны в этом отношении не только его суждения о пунктирности прозаической речи, ее обрывистости, но, например, и объяснение того, что он называет «напором пререальных ситуаций», то есть элементов фантастики в различных произведениях, которые к фантастике не относятся. В этом явлении, как полагает А. Бочаров, сказало и влияние собственно фантастики, есть что-то и от моды, но скорее всего, заключает он, здесь обнаруживается стремление прозаиков отыскать новые выразительные возможности в недрах традиционного реалистического метода.

Склонность автора к систематизаторству, развертыванию строгих логических посылок, вполне возможно, могла бы несколько засушить его повествование, но от схематизма и дидактичности критика предохраняет живой темперамент. Перечень произведений, проанализированных в обширной книге А. Бочарова, широк и раз-

нообразен. Здесь мы встречаем глубокий разбор прозы Т. Пулатова, А. Кима, в особенности его «Лукового поля», Т. Зулфикарова, повестей Д. Гранина, В. Распутина, К. Симонова, Ю. Трифонова, П. Вежинова, романов Э. Ветемаа, М. Слуцкиса, П. Загребельного, Ч. Айтматова, В. Белова, В. Тендрякова, А. Битова... Перед читателем — панорама развития эпоса на протяжении десятилетия.

Конечно, «интеллектуальная проза», оказавшаяся в центре внимания критика, имеет ряд специфических особенностей, но границы ее подвижны, открыты. И автор книги сам говорит об этом, однако на практике редко выходит за обозначенные им тематические рамки. Если верно, что наши недостатки — продолжение наших достоинств, то это в известной степени относится и к А. Бочарову. При всей непосредственности восприятия художественного произведения, живости стиля, остроумии и т. д. автор иной раз оказывается в плену у собственной схемы, стремится слишком жестко классифицировать явления. Да, конечно, художественная правда, как ее интерпретирует критик, складывается из таких-то и таких-то элементов, она имеет гносеологический, социально-психологический, эстетический аспекты. Но все же, разывая правду на элементы, надо каждую минуту помнить, что она едина. Потому, отдавая дань классификации, укладывая материал в схему, автор делает немало оговорок, от которых его схема трещит по швам.

Странное дело, но в книге А. Бочарова именно те места, которые идут после его теоретической схематизации, подчас опрокидывая схему, читаются с наибольшим интересом. При чтении книги не может не вызывать улыбки неизменный бахтинский «хронотоп», хрустящий сейчас на зубах у множества литературоведов, а наряду с ним и другие модные литературоведческие словечки, засоряющие живой и выразительный текст. Употребление этих словечек далеко не всегда бывает безобидным. Пресловутый «хронотоп» заставил А. Бочарова выстроить очередную схему, рассекающую прозу на «центробежную», «центростремительную», «проблемно-интеллектуальную». Правда, здесь же следуют оговорки, из которых видно, что ни «центростремительной», ни «центробежной», ни «проблемно-интеллектуальной» прозы в общем-то не существует, что классификация «не улавливает всю многоликость литературного процесса» и что «хронотоп» в общем-то не нужен автору, поскольку «сам Бахтин» не придавал

своему термину «критического аспекта».

Не всегда удачны термины, специально придуманные А. Бочаровым. Таков, например, термин «возгонка», который, как поясняет автор, взят им из химии. Возгонка, читаем мы, это «особый химический процесс, когда кристаллическое вещество превращается в пар, минуя процесс плавления». Сходное, оказывается, происходит и в литературе: «...кристаллы фактов превращаются в новое состояние — образы писательской фантазии, минуя превращение фактов сначала в последовательное, «разжиженное» повествование». Хороши, однако, образы, превращающиеся в пар! И хороша же вся остальная — не интеллектуальная — проза, так и оставшаяся в печальном и безнадежно «разжиженном» состоянии...

Но все это маленькие странности очень хорошей книги. А. Бочарову удалось главное: он создал широкое, насыщенное интересными мыслями литературно-критическое полотно, посвященное большому, противоречивому и, как показано автором, крайне интересному десятилетию. В его изображении литературный процесс сложен, многолик, а вовсе не однолинеен, как кое-кто склонен считать.

Автор не обходит стороной трудности, которыми отмечено движение прозы, избегает в своих характеристиках слишком уж розовых тонов. Делится он с нами и далеко не бесспорным соображением, что к концу 70-х годов литература (не только «интеллектуальная проза») как бы «устала». Так представляется автору, подошедшему к концу своего долгого повествования. «Устала, — пишет он, — лирическая деревенская проза... В известной мере устала и военная проза...» И вообще «несколько ослабла внутренняя энергия, которая двигала большинство произведений 60-х и начала 70-х годов». Это сказано на последней странице книги, в которой шла речь и о немалых достижениях нашей прозы на протяжении всего десятилетия, и об огромном заряде интеллектуально-художественной энергии, гарантирующем завтрашние успехи. Отнесем этот неожиданный вывод за счет усталости самого автора, проделавшего поистине огромную работу.

Предупреждение А. Бочарова, обращенное к читателям, что он написал не литературоведческое исследование, а как бы эссеистику, как бы «штрихи к портрету прозы», не совсем справедливо и, возможно, не лишено лукавства. Это, конечно, критика — живая, темпераментная, не чуждая субъективности и отнюдь не противостоя-

цая «серьезному» литературоведению. Надо полагать, некоторые соображения А. Бочарова, относящиеся к понятию «интеллектуальная проза», в особенности его мысли о природе притчи, мифа, легенды, столь широко бытующих в современной литературе, как и его общие суждения о закономерно-

стях литературного движения, войдут в живой обиход и критиков и литературоведов. Войдет и сама методика поисковой работы, столь успешно проделанной в книге, которая так и называется — «Бесконечность поиска».

А. ПАВЛОВСКИЙ.

Ленинград.



Политика и наука

НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Г. А. Колтунов, Б. Г. Соловьев. Курская битва. М. Воениздат. 1983. 131 стр.

Наступило лето 1943 года — разгар Великой Отечественной. Мы знали, что за плечами уже самые тяжелые ее испытания, но не знали еще, сколько таких испытаний впереди, сколько продлится война, как сложится летняя кампания сорок третьего года. Тем временем, после сражений под Москвой и Сталинградом, фашистская пропаганда твердила, что Красная Армия сильна лишь зимой. Когда ей помогает «генерал Мороз», а побеждать летом русские не умеют.

То, что главные события должны произойти на юго-западном направлении, где были сосредоточены наиболее мощные силы (как наши, так и противника), стало ясно уже в конце марта. А специфическая конфигурация советско-германского фронта с курским выступом, глубоко вклинившимся между орловской и белгород-харьковской группировками противника, окончательно определила место основных военных действий. Гитлеровское командование, конечно же, не могло не учитывать выгоду, которую ему сулило нанесение встречных ударов под основание курского выступа с целью окружения и разгрома советских войск и — в случае успеха — развитие наступления на юго-восток, а также новая попытка охвата Москвы. Наши военачальники хорошо это понимали и искали эффективные ответные шаги.

Решающим здесь оказалось мнение Г. К. Жукова: «Переход наших войск в наступление... считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выйдем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку противника» Доклад с этим предложением Жуков направил в Ставку, где и было принято решение о преднамеренной обороне советских войск

на курском выступе и последующих наступательных операциях.

Подготовка и проведение в жизнь планов Советской Армии под Курском и стали темой книги Г. Колтунова и Б. Соловьева «Курокая битва».

Авторы — видные военные историки — не раз обращались к событиям той поры (да и вообще о Курской битве написано у нас немало). И все же читатель найдет в книге Колтунова и Соловьева новые материалы, подчас новый подход к уже известным фактам, интересный анализ трудов советских и зарубежных авторов последних лет.

На мой взгляд, удачен сам метод рассмотрения происходивших событий. Наглядно сопоставлены планы и возможности гитлеровской Германии и советской стороны, что позволяет читателю ярче представить превосходство советской экономической, военной и идеологической стратегии и тактики времен третьего, переломного, года Великой Отечественной войны.

Успех или провал намеченной гитлеровцами операции «Цитадель» во многом зависел от соотношения военно-экономических потенциалов Германии и СССР, сложившегося к лету сорок третьего. Проведенная в Германии тотальная мобилизация позволила Гитлеру существенно пополнить его войска людьми, техникой и боеприпасами. Однако фашистское руководство не учло, что и в Советском Союзе в это же время была проделана колоссальная работа по мобилизации тыла и обеспечению фронта всем необходимым.

В целом Советская Армия превосходила фашистские войска, сосредоточенные на курском выступе, по личному составу в 1,4 раза, по орудиям и минометам — в 1,9 раза, по танкам и самоходным артиллерийским установкам — в 1,2 раза, сохра-

няя равновесие в количестве самолетов. С учетом сил находившегося в глубине нашей обороны Степного округа (а затем фронта) этот перевес в ходе сражения должен был возрасти еще больше.

Масштаб сражения на Курской дуге огромен. С обеих сторон в бои последовательно были введены свыше четырех миллионов человек, более 13 тысяч танков и штурмовых орудий, до 12 тысяч боевых самолетов!

Проследим по книге Г. Колтунова и Б. Соловьева динамику основных событий на Курской дуге.

Первый их этап для советских войск — оборона, для немецко-фашистских — наступательная операция «Цитадель». В это время советские войска измотали и обескровили ударные группировки врага, которому лишь ценой огромных потерь удалось включиться в тактическую оборону наших войск на 10—35 километров, — все, что сумели гитлеровцы. На северном фланге курского выступа оборонительный этап длился ровно неделю, с 5 по 12 июля; на южном — 12 июля тоже стало переломным днем, а к двадцать третьему было восстановлено исходное положение.

В книге детально описаны методы и способы создания непреодолимой обороны, ход боевых действий, переданы динамизм, напряжение, а подчас и критический характер боев, особенно на южном участке выступа, в полосе действий Воронежского фронта, где противник атаковал большими силами и проявил особенное упорство в достижении своих целей. Мощный удар отражали войска 6-й и 7-й гвардейских армий генералов Чистякова и Шумилова. А решающую роль в крушении наступления танковой армады гитлеровцев (до 400 машин) на Обоянь сыграла первая танковая армия Катюкова, ее танковый и механизированный корпусы генералов Гетмана и Кривошеина, ставшие своеобразным броневым щитом наших войск. Затем в бой вступила танковая армия Ротмистрова, и 12 июля под Прохоровкой произошло крупнейшее встречное танковое сражение с одновременным участием до 1200 танков и самоходных орудий.

В тот же день началась орловская наступательная операция «Кутузов», в которой участвовала большая часть сил Западного и Брянского фронтов, а с 15 июля и Центрального фронта. Боевые действия последовательно охватили площадь всего орловского «балкона» — около 40 тысяч квадратных километров. Советские войска на этом участке вдвое превосходили гитлеровцев в личном составе и в танках и имели

тройной перевес в артиллерии, минометах и в авиации. В тех условиях достичь успеха меньшими силами при наступлении на очень прочную оборону противника было нельзя.

Эти дни накрепко врезались мне в память. С июня я был корпусным инженером 8-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии, которая, прорвав глубокую позиционную оборону противника, уничтожила его в полосе наступления. То, что не удалось немецко-фашистским войскам в операции «Цитадель», удалось советским в операции «Кутузов». В полной мере проявился и полководческий талант нашего командующего, генерал-лейтенанта Баграмяна. Много новаторского было в его решениях, в частности, в оперативном построении и боевых порядках войск. Они были так искусно эшелонированы, что при подходе к очередной вражеской позиции или полосе обороны для прорыва ее вводился в бой новый, свежий войсковой эшелон. В центре оперативного построения армии был наш корпус под командованием генерал-майора Малышева. В памяти — мощнейшая артподготовка, стремительный удар пехоты и танков по проделанным нами ходам в заграждениях; запомнились и меткие бомбо-штурмовые удары противника, его плотные и глубокие минные поля, бездорожье, яростное сопротивление гитлеровцев. Корпус имел наибольший успех в армии, но все это далось нелегко...

3 августа началась новая битва: операция «Полководец Румянец» — наступление войск Воронежского и Степного фронтов на белгород-харьковскую немецко-фашистскую группировку. Еще более расширился масштаб боевых действий: против 300 тысяч человек, 3 тысяч орудий и минометов, 600 танков и штурмовых орудий и свыше тысячи самолетов противника было 980 тысяч советских солдат и офицеров, более 12 тысяч орудий и минометов, 2400 танков и САУ, 1300 самолетов. Гигантское сражение на Курской дуге вышло далеко за пределы курского выступа. Теперь боями была охвачена территория свыше ста тысяч квадратных километров — площадь солидного европейского государства!

В результате Курской битвы советские войска разгромили тридцать дивизий противника (из них семь танковых), уничтожили более 3700 самолетов, 1500 танков и 3000 орудий, враг потерял около полумиллиона человек. Воистину хребет фашистского зверя был сломан! Сломан благодаря полководческому таланту советских военачальников, героизму воинов, работников

тыла, партизан (только в Орловской области с 21 июля по 9 августа грянуло около ста тысяч взрывов на рельсовых путях фашистских войск). Обо всем этом рассказано в книге Г. Колтунова и Б. Соловьева.

Значение нашей победы на Курской дуге огромно. Курская битва завершилась крупнейшим наступлением Советской Армии на фронте от Великих Лук до Черного моря, привела к освобождению от врага левобережной Украины, форсированию Днепра, окончательному снятию угрозы Москве. Фашистская Германия была вынуждена перейти к стратегической обороне. Инициативой в ведении войны прочно овладели советские войска.

Наш народ и его вооруженные силы одержали не только военную, но и круп-

нейшую морально-политическую победу, давшую толчок к усилению антигитлеровской борьбы в поработанных странах Европы, да и в самой Германии.

Были созданы благоприятные условия для высадки англо-американских войск в Италии. Выдающиеся успехи советского оружия летом и осенью 1943 года оказали влияние на работу Тегеранской конференции трех держав, на принятие решения об открытии второго фронта в Европе.

Книга Г. Колтунова и Б. Соловьева — еще одно слово в нашей историко-патриотической литературе о Курской битве, 40-летие которой мы сейчас отмечаем.

В. МАКАРЕВСКИЙ,

*генерал-майор,
кандидат военных наук.*



ФОРПОСТ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ

У истоков большевизма. Воспоминания, документы, материалы. 1894—1903. М. «Московский рабочий». 1983. 350 стр.

Уж если дьявол революции схватил кого-либо за шиворот, так это Николая II. Эти слова Энгельса, сказанные им в 1895 году, стали пророческими: историческая обстановка в России на рубеже XIX—XX столетий характеризовалась стремительным приближением народной революции. Начинался ленинский этап развития российского марксизма, процесс объединения революционных марксистских организаций в пролетарскую партию нового типа, партию большевиков, завершившийся на II съезде РСДРП. «Большевизм,— писал Ленин,— существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года». Очень важную роль в ее создании сыграли местные партийные организации, прежде всего Петербургская и Московская, о деятельности которой и рассказывает сборник воспоминаний, документов, материалов «У истоков большевизма», посвященный 80-летию II съезда РСДРП и 90-летию Московской парторганизации.

Марксисты Москвы, крупнейшего революционного центра России, одними из первых приступили к распространению произведений основоположников научного социализма, а также видных представителей международного пролетарского движения — Либкнехта, Лафарга, Бебеля и других. Активную пропагандистскую деятельность среди рабочих вела сформировавшаяся в 1893 году марксистская группа в составе С. Мицкевича, А. и П. Винокуровых, Е. Спonti, М. Лядова и С. Прокофьева.

Сначала для революционной пропаганды

московские социал-демократы успешно использовали популярные брошюры и листовки, нередко написанные ими самими. В 1894 году А. Винокуров написал брошюру «Откуда взялись капиталисты и рабочие», которая в виде рукописных тетрадок передавалась из рук в руки и предназначалась в качестве пособия для первого занятия с рабочими. Для бесед и чтений в рабочих кружках использовались и «Беседы по политической экономии» Г. Круковского. В рукописном виде приходили к читателям популярные произведения М. Лядова «Как крестьянин и кустарь в фабричного рабочего превратились», «Кое-что о женщине-работнице» и работа А. Ульяновой-Елизаровой «Положение рабочих у нас по сравнению с положением их в Англии и Америке».

Осенью 1894 года с приобретением мимеографа «Эдисон» и оборудования ручного типографского станка пропагандистская деятельность московских марксистов значительно расширилась. С помощью множительной техники выпуск листовок, призывавших рабочих соединиться и «сообща дружно бороться за право на лучшую жизнь», резко возрос. Прокламации, изданные сотнями экземпляров, быстро расходились по Москве и имели большое влияние на рабочих.

Тем, кто распространял марксистскую литературу, вел повсеместную революционную пропаганду, порой приходилось преодолевать немалые трудности, традиционную, десятилетиями складывавшуюся вражду

мелкособственнической аудитории. Начальник штаба пресненских боевых дружин З. Литвин-Седой свидетельствует, что однажды он по поручению МК партии отправился на митинг к мясникам-охотнорядцам, в основном враждебно относившимся к революционерам. «Смотрю, сидят в чуйках, в картузах, физиономии красные. На многих белые фартуки, за поясом набор ножей — орудия производства, — читаем в воспоминаниях Литвина-Седого. — В глазах удивление: как-никак такой большой массой они никогда, даже в своей охотнорядской церкви, не собирались... Помню свою речь, — ведь это было совсем необычное выступление. Я начал ее следующим образом: «Вас учили бить студентов, бунтовщиков, рабочих, а спросили ли вы студентов, рабочих, почему они бунтуют?» Далее я рассказал, почему народ бунтует и чего он хочет. В заключение я сказал: «Вы слушали большевика и знаете теперь все. Я один, а вас сотни, можете расправиться со мной». В ответ потянулись руки для пожатий. Так был сдвинут лед. Товарищи поздравили меня с победой».

Таких побед было немало. Несмотря на то, что условия для организации рабочего класса в Москве были тяжелее, чем в Питере. Трудности эти определялись прежде всего тем, что московская охранка, возглавляемая «ловцом рабочих душ» Зубатовым, была весьма сильной организацией и считалась самой осведомленной в России. «Московским революционером, — писала «Искра» в первом номере, — пришлось столкнуться с очень ловким противником... Провокаторство так развилось, что в публике, естественно, образовалось крайне подозрительное отношение ко всему и ко всем. Отдельные лица и небольшие кружки, работающие среди рабочих, боятся вступить в сношения друг с другом...»

Московская охранка хорошо понимала и исключительную роль Ленина в революции. Именно Зубатов уже в декабре 1900 года доносил в Петербург директору департамента полиции Зволянскому: «...так как роль Ульянова и др. вполне выяснена, то срезать эту голову с революционного тела было бы желательно поскорее... Ведь крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого».

И все же Московская организация, получая постоянную помощь от партийного центра, от Ленина, год от года расширяла свою деятельность, укрепляла связи с массами, превратившись в оплот ленинской «Искры». Петербург без Москвы — все равно что одна рука без другой. Это высказы-

вание Ленина ясно показывает, какое огромное значение он придавал Московскому промышленному району в развитии революционной борьбы всего российского пролетариата.

Первый же приезд Ленина в Москву в августе 1893 года положил начало его тесной личной связи с московскими марксистами, руководством к действию для которых стали именно ленинские труды. В опубликованных в сборнике воспоминаниях Н. Семашко подчеркивается, что ленинская книга «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» была для московских революционеров «настоящим евангелием». Мы, пишет он, «изучили ее почти наизусть».

Существенная часть материалов сборника посвящена искровскому периоду. И это понятно — ведь «Искре» принадлежит главная заслуга в идейной и организационной подготовке революционной пролетарской партии, в размежевании сторонников Ленина с оппортунистами.

Еще находясь в сибирской ссылке, Ленин тщательно обдумывает план создания партии, в основе которого было издание общерусской политической газеты. В то время далеко не все соратники Ленина, даже ближайшие, верили в возможность осуществления столь смелого замысла. Находившийся вместе с Лениным в Шушенском Г. Кржижановский вспоминает: «Очень памятна мне одна из последних моих прогулок с Владимиром Ильичем по берегу широкого Енисея. Была морозная лунная ночь, и перед нами искрился бесконечный саван сибирских снегов. Владимир Ильич вдохновенно рассказывал мне о своих планах и предположениях по возвращении в Россию. Организация печатного партийного органа, перенесение его издания за границу и создание партии при помощи этого центрального органа, представляющего, таким образом, своеобразные леса для постройки всего здания революционной организации пролетариата, — вот что было в центре его аргументации. Мне, признаться, на первых порах показалось, что он переоценивает роль такой партийной газеты... Жизнь показала всю правильность намеченного Владимиром Ильичем пути».

Закладывание фундамента марксистской партии проходило в ожесточенной борьбе ленинцев с «экономистами». В Москве она сильно осложнялась частыми арестами руководителей Московской партийной организации. Пользуясь этим, московские лидеры «экономистов» Спonti, Уиксон, Опенченко и другие развернули весьма энер-

личную деятельность. МК РСДРП повел с ними непримиримую борьбу, выпустил в сентябре 1900 года прокламацию «Memento» («Помни»), в которой разъяснялся весь вред для революционного движения ренционизма Бернштейна и его последователей. Эту листовку, в издании которой активно участвовала А. И. Ульянова, высоко оценила «Искра».

По материалам сборника хорошо прослеживается, как под знаменем «Искры» росла и спланивалась московская социал-демократия. Уже к январю 1902 года «экономисты» были изгнаны из МК РСДРП и московская социал-демократическая организация пришла ко II съезду одной из самых сплоченных организаций партии.

Победа искровского направления на местах (в частности, в Москве) подготовила созыв II съезда. Однако провести ленинские установки на съезде было нелегко. Во время выработки программы партии внутри редакции «Искры» возникли серьезные разногласия между Лениным и Плехановым. Дело едва не дошло до полного разрыва. Наглядно обстановку в редакции во время обсуждения программы передают воспоминания Крупской, приведенные в сборнике: «Заседание было тяжелое. Вера Ивановна (Засулич.—И. К.) хотела возражать Плеханову, но тот принял неприступный вид и, скрестив руки, так глядел на нее, что Вера Ивановна совсем запуталась. Дело дошло до голосования. Перед голосованием Аксельрод, соглашавшийся в данном вопросе с Лениным, заявил, что у него разболелась голова и он хочет прогуляться. Владимир Ильич ужасно вол-

новался. Так нельзя работать. Какое же это деловое обсуждение». Напомню, что в итоге Ленин добился внесения в проект программы важнейшего пункта о диктатуре пролетариата и четкого определения руководящей роли рабочего класса в революции.

Ожесточенная дискуссия по программе, а особенно по уставу партии, развернулась и на съезде. Победу в этой дискуссии, как известно, одержали Ленин и его сторонники-большевики.

Московская партийная организация полностью поддержала решения II съезда РСДРП. Присланная в «Искру» резолюция МК гласила: «Выражая полную солидарность с постановлениями съезда, идеально выполнившего свои задачи, Московский комитет всецело подчиняется центральным учреждениям с уверенностью, что они успешно выполнят возложенные на них съездом обязанности в деле объединения революционной социал-демократии...»

«...дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!» — провозгласил Ленин в своей знаменитой книге «Что делать?». И такая организация была создана. Создана прежде всего усилиями самого Ленина, усилиями его соратников — выдающихся революционеров, чьи имена навечно вошли в историю КПСС, усилиями местных партийных организаций, в том числе и Московской, ставшей настоящим форпостом ленинской партии. Обо всем этом интересно и аргументированно рассказывает сборник «У истоков большевизма».

И. КУЗНЕЦОВ,

доктор исторических наук



В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ УТОПИИ

Э. Я. Баталов. Социальная утопия и утопическое сознание в США. М. «Наука». 1982. 336 стр.

«**В** Америку, в этот огромный приют для бедных, разными путями и в силу разных причин собрались обездоленные со всей Европы... Только здесь они становятся людьми; ведь в Европе они были чем-то вроде никому не нужных растений, взошедших на бесплодной почве... Чужеземец, независимо от того, из какой части Европы он прибывает и становится гражданином, — пусть прислушается благоговейно он к словам нашей великой родительницы, обращенным к нему: „Добро пожаловать к моим берегам, горемыка-европеец!“...» Так писал в увековечивших его имя «Письмах американского фермера» нормандский дворянин де Кревекер, в

середине XVIII века приехавший в Северную Америку и долгие годы изучавший быт и нравы осевших в Новом Свете европейских переселенцев. «Письма американского фермера» — не только интереснейший этнографический документ. В них выразительно воссоздан к тому времени уже прочно устоявшийся в европейском сознании образ Америки как блаженной земли, где «обездоленные со всей Европы» могут наконец осуществить свои заветные мечты о счастливой жизни, в которой нет места подневольному труду, нужде и невзгодам.

С момента отплытия осенью 1620 года из Плимута корабля «Мэйфлауэр» с пер-

выми англичанами, решившими навсегда покинуть родину и поселиться на неведомых берегах, и вплоть до триумфального акта американской буржуазной революции — подписания 4 июля 1776 года Декларации независимости — вся полтора вековая история североамериканских колоний читалась в Европе как славная летопись небывалого в человеческой истории эксперимента по созиданию утопии. Бежавшие из Англии от религиозных преследований мятежники-пуритане высадились в Массачусетской бухте с намерением воплотить здесь проекты своих «градов божиих». Вслед за ними сотни разоренных крестьян и ремесленников, отзываясь на заманчивые посулы судьбы, пересекали Атлантику, уверенные, что на необъятных просторах далекого материка никому не заказана возможность построить для себя личный «рай земной»...

Увы, из европейского далека трудно было разглядеть, что утопические проекты, с которыми спешили сюда переселенцы, со временем рушились, как карточные домики. Потерпела крах «пуританская утопия», выродившаяся в жестокую диктатуру теократической олигархии. Не оправдывали надежд и планы возведения фермерского рая: освоение щедрой и изобильной американской земли давалось нелегко, ценой упорного и тяжелого труда, и многие не выдерживали единоборства с суровой природой. А после революции, когда капитализм в восточных штатах стал быстро набирать силу, хозяйства фермеров-одиночек просто сметались с лица земли. К началу XIX века американская мечта все очевиднее обнаруживала свой иллюзорный, в полном смысле слова утопический характер. И по мере того как обострялось чувство утраты надежд на быстрое осуществление этой мечты о всеобщем счастье и достатке, в американском национальном сознании все настойчивее давало о себе знать упрямое стремление возродить развенчанный миф. Начались поиски утраченной утопии.

Об этих поисках подробно рассказывает книга Э. Баталова — первое в нашей стране историко-социологическое исследование американского утопического сознания, которое, как отмечает автор, стало органичной частью общественного сознания США. По сути, оно и формировалось с изначальной «встроенной» в него утопической установкой. Утопическая доминанта активно присутствовала в американском сознании и на более поздних стадиях развития нации, всякий раз давая импульс для возникнове-

ния новых типов и разновидностей утопических программ.

Хронологически исследование Э. Баталова охватывает полутора вековой период — от первой трети XIX века до наших дней. Может показаться, что из поля зрения автора ускользнул большой и важный этап развития утопической мысли в Америке — XVII—XVIII века. Однако исторические границы предпринятого в книге анализа расставлены точно: не только христианские и фермерские утопии ранне- и позднеколонического времени, но даже и знаменитая, созданная в 1825 году Р. Оуэном в штате Индиана коммуна «Новая гармония» — это лишь предыстория собственно американской утопической традиции. Еще в первую половину прошлого столетия, когда на карте материка оставались белые пятна девственных земель Дикого Запада, Америка по-прежнему, как и двести лет назад, воспринималась Старым Светом неким «где-то», вырванным из общечеловеческой истории, опытным полигоном для реализации дерзновенных социальных планов, рожденных фантазией европейских мечтателей. Но именно тогда, в 30—40-е годы, в Соединенных Штатах уже начали возникать первые утопические проекты, вызванные к жизни горьким разочарованием в жестокой реальности самой буржуазной Америки. Первые признаки этого разочарования наиболее отчетливо проявились в творчестве великих американских романтиков. «Тайпи» и «Ому» Г. Мелвилла и «Уолден, или Жизнь в лесу» Г. Д. Торо открывают новый этап в развитии американской утопической мысли. В эпоху романтизма и начинается история национальной американской утопии.

В самом деле, романтические утопии Мелвилла и Торо, значительно отличаясь друг от друга, были едины в одном: они впервые засвидетельствовали окончательное крушение иллюзий возможности создания в Америке огромного приюта для европейских беглецов. Когда Оуэн основал «Новую гармонию», он всего лишь повторил свой опыт «замены плохих условий хорошими» (Р. Оуэн), который ему не без успеха удался в Англии. Замысел английского утописта-филантропа построить коммуны именно в Америке был продиктован практическими соображениями: его утопическое предприятие в Нью-Ленарке вызвало резкое недовольство у соседей-фабрикантов, и Оуэну пришлось подыскивать место поспокойнее. Американский Средний Запад подходил для этого как нельзя лучше, но

все же неевропейский выбор Оуэна был почти случайностью.

Создание «уолденской утопии» Торо имело совершенно иной социальный смысл. Двухлетнее отшельничество Торо положило начало утопическим поискам путей социально-нравственного оздоровления Америки, поискам возможности построить не европейскую, не всемирную, но именно американскую утопию, утопию «правильную», «подлинную» — то общество свободных и счастливых, которое провозглашалось Декларацией независимости. Романтическая утопия Торо выросла из фермерской утопии XVIII века, которую с энтузиазмом обрисовали в своих сочинениях Франклин и Джефферсон. Только фермерская утопия XIX века, наследуя кое-что из фермерской утопии эпохи Просвещения, решительно переместила акценты в своей программе. То, что авторам «Бедного Ричарда» и «Записок о Виргинии» казалось вот-вот осуществимым будущим Америки, автору «Уолдена...» виделось туманным миражем, к которому приблизиться было почти невозможно.

Начиная со второй половины XIX века, показывает Э. Баталов, в США произошло еще три взрыва утопического творчества. Они приходились на те моменты американской истории, когда катастрофически обострились социальные противоречия американского капитализма и кипение магмы общественно-политических конфликтов доходило до критической точки.

Так, последняя четверть прошлого века ознаменовалась мощными антимонополистическими выступлениями фермеров, поддержанными пролетариатом индустриальных столиц Америки — Чикаго и Нью-Йорка. В то время на американском книжном рынке появилось великое множество утопических произведений, и позднее американские историки даже назвали эти годы «утопической эрой» — настолько сильным было в Америке той поры увлечение социально-утопическим проектированием. Вместе с многочисленными фермерскими утопиями, появление которых стимулировалось движением популистов (мелких фермеров, выступавших против монополий), в 80—90-е годы большим успехом пользовались первые в Америке утопически-социалистические проекты социально-экономических преобразований, предложенные Э. Беллами и У. Д. Хоуэллсом.

В XX веке обе утопические парадигмы — мелкобуржуазная фермерская и социалистическая — пережили возрождение между двумя мировыми войнами, когда недолгое

процветание 20-х годов сменилось лихольетом великой депрессии. Этот взрыв социально-утопического творчества в Америке породил новую разновидность национальной утопии — технократическую, приверженцы которой (прежде всего Г. Скотт) создавали рецепты «улучшения» Америки, ратуя за установление в стране централизованной власти научно-технической элиты.

Наконец, последний утопический взрыв произошел в 60-е годы, когда в ходе потрясших американское общество студенческих и негритянских волнений создавались новые варианты романтической, фермерской, социалистической и — уже в 70-е годы — технократической парадигм национальной утопической мысли.

Типология утопического сознания в США, разработанная Э. Баталовым, учитывает не только различия ценностей и идеалов, за которые боролись американские утописты XIX—XX веков, но также и формы существования утопического сознания, так сказать, по вертикали. Здесь автор выделяет три, как он их называет, социальных уровня утопической мысли. На первом, низшем, утопическое творчество выступает в виде стихийно возникавших, структурно неупорядоченных массовых народных верований и чаяний, устремлений к свободе, счастью и успеху — этим неотъемлемым компонентам так называемой американской мечты. Второй, средний, уровень образует творчество утопистов-теоретиков, в своих литературных или публицистических произведениях дающих систематическое, законченное выражение массовым утопическим настроениям. Наконец, на высшем уровне возникают имеющие утопическую ориентацию социально-политические программы, вырабатываемые верхушкой правящего класса. Главы, посвященные конкретному анализу социальной стратификации утопического сознания в США, занимают, пожалуй, центральное место в книге. И здесь наибольший интерес представляет рассмотрение фундамента американского утопизма — народной утопии.

Американское народно-утопическое сознание — крайне противоречивый феномен. С одной стороны, народная утопия, несомненно, представляет собой целостный комплекс определенных социально-этических иллюзий самых широких слоев американской нации, связанных с прочно укорененной в национальном сознании американской мечтой о республике независимых и равноправных одиночек. С другой же стороны, когда народная утопия, существующая в массовом сознании в виде аморфного набо-

ра разнообразных устремлений, отливается в литературно-теоретическую форму, их идеологические различия (и даже острые расхождения) проявляются в полной мере.

...Героиня повести Э. Дж. Гейнса «Автобиография мисс Джейн Питтман», неграмотная негритянка, вспоминает о печально известном в истории страны «великом диктаторе» из Луизианы Хью Лонге как чуть ли не о народном спасителе. Джейн твердо помнит, что «бедняки любили Лонга», и убеждена, что «богатые убили Лонга... зато, что он помогал беднякам, белым и черным». Воспоминания Джейн о луизианском губернаторе кажутся несколько неожиданными (особенно если мы вспомним, как во «Всея королевской рати» Р. П. Уоррена беспощадно разоблачается «народность» Лонга, выведенного в образе Вилли Старка), но вместе с тем в контексте этого романа и реалистически точными, убедительными. Прикрывавшаяся демагогическим лозунгом «каждый — король», полуфашистская утопия Лонга, обещавшего «прижать» монополии и сделать каждого бедняка богатым, прямо перекликалась с демократическими, антимонополистическими идеалами народной утопии, чем и объясняется довольно широкая поддержка программы Лонга со стороны бедных и средних фермеров Юга, считавших губернатора своим.

Прямо противоположный вариант воплощения народно-утопических мечтаний был предложен в патриархально-романтической утопии известного поэта первой четверти XX века Вэчела Линдсея, который в своем трактате «Золотая книга Спрингфилда» соединил столь характерную для романтизма идею «эстетической республики» с элементами популистской утопии, провозгласив грядущее установление в Америке «линкольновской демократии».

Противоречивость, многоликость американской народной утопии проявляется не только в возможности выступать в столь разительно отличных друг от друга обликах. Как ни парадоксально, народно-утопическая традиция служит источником идей и для творцов охранительных официальных утопий, постоянно апеллирующих к мечте простых американцев об успехе, счастье и личной независимости. В этой связи довольно важным представляется замечание Э. Баталова о неточности перевода на русский язык известного лозунга Дж. Кеннеди, выражавшего суть политического курса его администрации. В советской литературе этот лозунг обычно звучит как «новые рубежи». Такой перевод, совершенно справедливо указывает Э. Баталов, скрадывает

идеологическую окраску выдвинутой Кеннеди программы поисков «нового фронта». По замыслу президента, она должна была морально оздоровить американское общество, пережившее мрачную пору маккартизма и «холодной войны», должна была возродить в сознании американцев 60-х годов народный миф об эпохе «фронта» (покорения Дикого Запада), о самых героических страницах истории Соединенных Штатов. О той почти легендарной поре, когда американская утопия еще не была безнадежно утрачена...

Но ни романтические мечтания В. Линдсея, ни мелкобуржуазное прожектерство Х. Лонга, ни тем более помпезные политические программы того или иного президента, неизменно обнаруживавшие свою несостоятельность, не могли определить реальное содержание стихийных народно-утопических устремлений, которыми в XX веке жила «одноэтажная Америка». И здесь надо пристальнее приглядеться к богатому опыту претворения в жизнь утопических проектов, рождавшихся коллективными усилиями больших социальных групп. Характерная черта американского утопического сознания, подчеркивает Э. Баталов, — ориентированность на практическое воплощение утопических планов. Обычно они воспринимались не столько как умозрительные построения теоретической мысли, сколько как конкретное руководство к действию. Тут показателен пример того же Торо: «Уолден...» возник из дневниковых записей, которые вел бунтарь-одиночка во время своего отшельничества. То был даже не проект, а обобщение утопической практики. Этот опыт привлек к себе интерес леворадикальной молодежи конца 50—60-х годов и стал примером для подражания, важным побудительным фактором социально-утопического творчества в контркультуре. Рост числа коммун в 60-е годы, отмечает Э. Баталов, «свидетельствовал не только о желании определенной части американцев жить «иной жизнью», но и об их нежелании ждать, когда условия для такой жизни сложатся в рамках всего общества». Другими словами, создание сотен городских, сельскохозяйственных, ремесленных, мистических, экологических и прочих мини-утопий было признаком глубокой неудовлетворенности молодого поколения американцев социальными институтами и духовными (или, точнее, бездуховными) ценностями буржуазного общества. Против них-то и восстала «зеленеющая Америка», подобно Мелвиллу и Торо отправившаяся на поиски утраченной утопии.

Заявленная в самом начале книги Э. Баталова мысль об органичном вхождении утопического элемента в американское национальное сознание далее получила развернутое доказательство. Это и в самом деле повседневная реальность американского мироощущения, а не какая-то далекая, давно отошедшая в прошлое стадия духовной истории нации. В ходе своего неторопливого, обстоятельного анализа автор постоянно раздвигает рамки избранного им жанра. Книга Э. Баталова, конечно, тяготеет к жанру фундаментального академического труда. Но в ней нет и следа су-

хого академизма. Рассказывая об истории американской утопии, выстраивая классификации ее типов, автор ни на мгновение не забывает о дне сегодняшнем. Оттого прошлое американской утопии у Э. Баталова не мертво, оно входит в современную американскую жизнь, возрождаясь в ее острейших социальных конфликтах. Эта злободневность, ориентированность на совершающуюся на наших глазах историю Америки составляет важнейшую черту исследовательского метода автора.

О. АЛЯКРИНСКИЙ.



ПРОДУКТИВНАЯ СИЛА ИДЕЙ

И. И. Мочалов. Владимир Иванович Вернадский (1863—1945). М. «Наука». 1982. 488 стр.

«...Н е может быть гения без длительной воздействующей продуктивной силы, и дело здесь не в том, чем занимается человек: искусством или ремеслом — это значения не имеет. Сказался ли его гений в науке, как у Окена и Гумбольдта, в войне или управлении государством, как у Фридриха, Петра Великого и Наполеона, писал ли он песни, как Беранже, — это безразлично, все сводится к тому, жива ли его мысль, аргументы (взгляды. — И. З.), деяния и дарована ли им долгая жизнь». Это высказывание Гёте, а Гёте был личностью, постоянно интересовавшейся Вернадского: ему принадлежит большая недавно переизданная работа об этом великом немецком поэте и натуралисте.

Включаться в дискуссию «Что есть гений?» в рецензии было бы, пожалуй, не к месту, но формулировка Гёте как бы бросает отраженный временем свет на все, что мы сейчас знаем о Вернадском и судьбе его творчества. Я имею в виду прежде всего возрастающее значение трудов Вернадского и для науки и для культуры человечества в целом, и в данном конкретном случае мысль Гёте об основном «свойстве» гения можно считать бесспорной.

Книга Мочалова вышла к 120-летию со дня рождения Вернадского и венчает почти четвертьвековую исследовательскую работу автора, посвященную личности и творчеству Вернадского. Это вторая книга (я не говорю о многочисленных статьях) Мочалова о Вернадском. Первая, под названием «В. И. Вернадский — человек и мыслитель», была издана в 1970 году. Тема той и другой книги, казалось бы, одна, но они очень разные. Экспрессивный, эмоционально-философский компендиум жизни и творчест-

ва Вернадского — и нечто вроде семейного романа-хроники с его неспешным развитием событий, обстоятельностью, приверженностью к внешней детали. Строго говоря, чтобы полнее понять и оценить размышления автора о Вернадском, обе книги надо читать и анализировать как одну. Но сейчас, в сравнительно краткой рецензии, речь пойдет именно о новой работе Мочалова.

Это своеобразная энциклопедия жизни и деятельности Вернадского, фундаментальная, точная, подробная. Как всякая энциклопедия, она, разумеется, содержит факты и соображения уже достаточно широко известные. К ним относятся сведения о вкладе Вернадского в развитие минералогии и кристаллографии, в становление геохимии, радиогеологии, биогеохимии, учение о биосфере, мысли о ноосфере... Мочалов судит о них отнюдь не тривиально. Но книга его существенно отличается от всех ранее опубликованных не этим. Ее оригинальность и особая ценность в другом.

Во-первых, в освещении общественно-политической деятельности Вернадского в революционные годы. Публикаций, рассказывающих об этом, были и раньше (в том числе самого Мочалова), но обычно носили характер беглых справок. Мочалов, изучив огромный материал, смог позволить себе подробное описание общественно-политической жизни Вернадского, и он, по сути впервые, предстает перед читателем как весьма крупный политический деятель дореволюционной поры. Один из учредителей партии кадетов, постоянно избиравшийся в ЦК КД, представитель этой партии в Государственном совете, член Временного правительства, Вернадский, как показывает

Мочалов, неизменно придерживался гумано-либерального направления в своей деятельности. Известно, что Ленин, резко критикуя партию кадетов, писал, однако, что было бы в корне ошибочно объяснять лицемерие и фальшь партии кадетов «личными качествами кадетских вождей или отдельных кадетов. Марксизму совершенно чуждо подобное вульгарное объяснение... Нет, среди кадетов несомненно есть преискренние люди, верящие в то, что их партия есть партия „народной свободы“». И Мочалов совершенно справедливо полагает, что ленинские слова «преискренние люди» целиком можно отнести к Вернадскому. Добавлю, что в 1918 году, находясь на территории, не контролируемой советской властью, Вернадский, поняв подлинное содержание этой «народной свободы», публично, через газеты, заявил о своем выходе из партии.

Однако в личном плане Вернадский никогда не считал политику и науку соразмерными по значению в своей жизни. Был он прежде всего ученым, и время окончательно расставило свои акценты. И вторая — основная — особенность книги Мочалова — детальная история развития научной мысли Вернадского (до Мочалова никто с такой основательностью эту тему не раскрывал). Достоинство отнюдь не субъективного плана. Об ученых, конечно же, надо судить по сделанному, ибо благими намерениями, как давно подмечено, вымощена дорога лишь в явно ненаучное учреждение. Однако значение науки в жизни общества резко повысило интерес к самому творческому процессу исследователя, приводящему к открытию или фундаментальному обобщению. Опыт таких выдающихся ученых, как Вернадский, без преувеличения бесценен.

1882 год в биографии Вернадского поворотный, пишет Мочалов. Вернадский окончательно решает посвятить себя науке. В следующие два-три года он вырабатывает почти фантастическую научно-жизненную программу, которая фиксируется в дневнике, письмах, проявляется в некоторых рукописях, докладах. Главная цель — способствовать развитию человечества научными средствами. При этом намечается проникнуть с помощью кристаллографии в тайны строения материи, разобратся в природе пространства и времени, понять воздействие живых организмов на неорганическую природу, исследовать жизнь как планетную систему, изучить область взаимодействия живой и неживой природы, заняться сравнительным изучением Земли и планетных

миров, рассмотреть деятельность человечества как проявление новой геологической силы на планете (имея в то же время в виду, что открытие еще неизвестных природных сил может оказаться открытием «неведомых, страшных» сил).

В таких случаях принято говорить (и вполне справедливо), что любая из названных проблем могла бы целиком заполнить жизнь ученого и даже целого научного коллектива. Что это, юношеский максимализм? Или самоощущение, проявление гения? Поскольку жизнь Вернадского уже история и мы знаем, что он (пусть с разной степенью охвата) реализовал поставленные перед собою задачи, то приходится признать второе. Однако... Среди проблем, вошедших в программу Вернадского, нет ни одной не известной науке до того, как сам он приступил к активной научной деятельности (эта подробность, к сожалению, не вполне учтена Мочаловым), но уже в молодые годы проявилась замечательная способность Вернадского к синтезированию разнохарактерных научных данных.

К примеру, кристаллография как наука сформировалась еще в XVIII веке (в данном случае, правда, интересна фундаментальность замысла Вернадского). О пространстве и времени философы размышляли, как говорится, от века, а в 30-х годах прошлого столетия в науках о Земле (немецкий географ Карл Риттер) земное пространство — время стало изучаться в единстве и как явление, изменяющееся под влиянием человеческой деятельности. О воздействии живых организмов на остальную природу писали А. Гумбольдт и американский географ Г. Марш. Биосфера как единая система живого (вместе с понятием «всеоживленность планеты») была определена Гумбольдтом в 20—40-х годах XIX века (в немецком оригинале — «лебенсфера», в русском переводе 1848 года — «сфера жизни»). Комплексная земная оболочка (теперь всем известная «биосфера Вернадского» — это из «Космоса» Гумбольдта и книги Марша. Сравнительным изучением планет занимались франко-бельгийский геолог С. Менье и русские ученые Н. Головкинский и В. Лесевич (ему принадлежит понятие «астрогеология»). Представление о человечестве как новой геологической силе разделялось почти всеми натуралистами широкого профиля: Риттер ввел понятие «культурная сфера» планеты, Марш написал книгу, на сто лет опередившую современных «калармистов», — это его выражением о том, что природа мстит человеку, Энгельс воспользовался в «Диалектике природы».

Я понимаю, что перечисление имен и научных работ несколько тяжеловато, и все-таки иначе было не высветить эту тему монографии Мочалова, да и, главное, творческую судьбу ее героя...

Ровно за месяц до смерти Вернадский уже плохо повинующейся рукой записал в дневнике: «Чувство бесконечности и безначальности мышления мною и сейчас чрезвычайно ярко чувствуется». Так, без границ, наверное, следует подойти и к его юношеским «мышлениям». Они не исключительны, они в потоке развития человеческой мысли. Но исключителен выбор Вернадского. Теперь, ровно столетие спустя, можно сказать, что в программу свою он включил самые перспективные направления в развитии естествознания. Его опережали, но опережали замечательные ученые, а сам он опередил и время и самого себя, потому что попытался свести воедино результаты работы многих. И в этом, несомненно, проявился гений Вернадского.

И еще в том, как ни странно на первый взгляд, что, сведя воедино крупнейшие проблемы естествознания, ученый отказался от их немедленного решения. Вернадский, впрочем, таким образом ни в дневниках, ни в письмах свою научную деятельность не оценивал, но Мочалов-то уже с другими, современными критериями подходит к давно минувшим десятилетиям. Вернадский настойчиво и успешно занимается кристаллографией и минералогией (одно из крупнейших достижений — создание генетической минералогии); в то же время многие другие поставленные ученым задачи остаются как бы в подсознании: прочитал, например, Вернадский в 1890 году о перелете гигантской стаи саранчи через Красное море, и факт этот в памяти отложился, использован же был четверть века спустя...

А программа, намеченная Вернадским для себя, казалось бы, реализуется без него. Проблема пространства — времени получила неожиданное развитие в физике (А. Эйнштейн, Г. Минковский), влияние живых организмов на природу — в почвоведении В. Докучаева. Понятие «сфера жизни» становится общепризнанным (немецкий географ Ф. Ратцель, русские ученые Э. Петри, Н. Сибирцев, Д. Анучин, Н. Лебедев, П. Броунов...). Представления о комплексной земной оболочке под названием биосфера формулируются немецким геологом Г. Вагнером, русским географом А. Крубером. Мысль о человечестве как единой системе терминологически завершается «антропосферой» (Д. Анучин). Жизнь начинает

рассматриваться как «живое вещество» английским океанологом Дж. Мерреем. Космическая тема развивается Н. Федоровым, К. Циолковским, геологом А. Павловым. Ботаник и географ И. Бородин вводит понятие «новая географическая эпоха», подразумеваемая под ней период решающего воздействия человека на природу... Начинает проясняться и проблема «страшных сил» — в конце минувшего века А. Беккерель открывает радиоактивность, несколько позднее Д. Джолли высказывает мысль о влиянии радиогенной энергии на планетные процессы...

Вернадский очень активен в это время (предреволюционные годы), находится в первых рядах создателей геохимии, радиогеологии. Он не юноша, он зрелый муж. Но юность еще вернется... Уже вступив в шестое десятилетие, Вернадский возвращается к своей юношеской программе-максимум.

Возвращение это можно объяснить и общим ходом развития науки, и особенностями личного духовного развития (почти такой же путь проделал, к примеру, Гумбольдт)... Но главное, наверное, в другом: биокосмическими проблемами (их можно так назвать обобщенно) Вернадский вновь вплотную занялся в годы всепланетного потрясения: мировая война и революции в России — такого на планете еще не бывало. Сам Вернадский называет началом этой своей работы 1916—1917 годы. У Мочалова приведены строки из писем и дневников Вернадского, подтверждающие правомерность соотнесения мировых событий с личным ходом мышления. Но автор, на мой взгляд, мог высказаться определеннее: едва ли речь может идти о случайном совпадении — скорее всего научно-личная судьба по-своему проявилась на общемировом фоне, причем мысль Вернадского сосредоточивается на жизни, а не на смерти, на созидании, а не на разрушении.

Вернадский знал и учитывал почти все, созданное до него, он работал не на пустом месте. Но разрозненные высказывания многих натуралистов под его пером как бы объединяются и оборачиваются развернутой теорией, теоретическим естествознанием. Это закономерный этап в развитии науки. Вернадский не одинок, не случаен. Но он и необычен, ибо с наибольшей полнотой в век научной дифференциации осуществил небывалый для своего времени научный синтез.

«Концепция биосферы, — справедливо пишет Мочалов, — представляет собой обобщение столь высокого порядка, что она

уже не может рассматриваться просто как одно из частных направлений развития естественных наук. Не утрачивая качества конкретной естественнонаучной дисциплины... концепция биосферы в то же время несет в себе такое колоссальное философское содержание, что с полным основанием может рассматриваться и как одно из крупнейших философских обобщений XX века в области естественных наук, с потенциально неисчерпаемыми возможностями своего дальнейшего развития и совершенствования».

Но это теперь мы по заслугам и очень высоко оцениваем биосферную концепцию Вернадского. Книга же «Биосфера», опубликованная в 1926 году, подверглась резкой критике со стороны философов и была понята лишь немногими натуралистами. Вернадский, как мы знаем, медали, но, оказывается, все равно поспешил: потребовалось еще сорок лет, чтобы идеи его стали общим достоянием. Таковы странности судьбы гения и его мыслей, которые после опубликования обретают самостоятельную, автору неподвластную жизнь. Мысли Вернадского до сих пор активно устремлены в будущее. Скажем, еще в 1938 году, когда Вернадский заканчивал черновой вариант своей главной книги «Научная мысль как планетное явление», он написал примечательные слова в письме к другу Б. Личкову, которые приводит Мочалов: «Все космогонические построения, исходящие из начала нашего видимого мира, построены

на предположении о существовании начала, для меня ирреального». Вернадский полемизирует, таким образом, с авторами гипотез, допускающих развитие Вселенной из одной «точки», «Одной Сверхтяжелой Элементарной Частички», «Первичного Андромы» и т. п. Ведь тогда что-то должно предшествовать «точечному началу», кто-то должен заложить генетическую программу в ОСЭЧку... Вернадский участвует и в этом споре. И позиция его заслуживает внимания.

О главной же книге Вернадского у Мочалова сказано так: «...Научная мысль как планетное явление» представляет собой выдающееся явление мировой естественнонаучной и философской литературы. По-своему, через призму своего мировоззрения и научных интересов, Вернадский подходит к тем фундаментальным научным, философским и науковедческим проблемам, которые к середине 30-х гг. были поставлены в повестку дня всем ходом мирового социального и научного развития человечества и которые также нашли отражение в научном, философском и публицистическом творчестве А. Эйнштейна, Н. Бора, Д. Бернала, Б. Рассела, А. Швейцера...»

Мне хочется добавить лишь одно: идеи Вернадского, как и названных Мочаловым ученых-философов, еще на многие десятилетия сохраняют «продуктивную силу», которой Иоганн Вольфганг Гёте определял гениальность.

И. ЗАБЕЛИН.



ПО ПОВОДУ «АРАГОНИТОВОГО ТУМАНА»

В № 11 «Нового мира» за 1982 год был опубликован публицистический очерк писателя Александра Вольфа «Арагонитовый туман».

Место действия очерка — город Балаково Саратовской области. Строительство атомной электростанции. Здесь произошли события, в основе которых — столкновение непримиримых жизненных позиций. С одной стороны, начальника Саратовгэсстроя, одного из крупных специалистов страны, коммуниста А. И. Максакова. членов парткома стройки — старейших рабочих, занявших в конфликте стойкую, партийно принципиальную позицию; с другой — начальника управления Жилстрой Н. Л. Стряпчева и его покровителей.

Читатели «Нового мира» в своих письмах в журнал просят ознакомить их с принятыми по «Арагонитовому туману» мерами. Вот что сообщили нам по этому поводу в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС.

После опубликования в журнале «Новый мир» очерка А. Вольфа «Арагонитовый туман» Комитет партийного контроля при ЦК КПСС провел проверку причин, приведших к серьезным нарушениям партийной и государственной дисциплины бывшим начальником управления Жилстрой Н. Л. Стряпчевым. Как было установлено, Стряпчев в течение длительного времени, пользуясь покровительством отдельных работников, злоупотреблял служебным положением в корыстных целях, фактически вышел из-под контроля, уверовав в свою безнаказанность.

В очерке объективно освещена суть дела. Он заканчивался сообщением о том, что после вмешательства ЦК КПСС при ЦК КПСС партком Саратовгэсстроя обсудил вопрос о Н. Л. Стряпчеве и единогласно исключил его из членов КПСС.

Однако, как выяснилось позже, Балаковский горком партии отменил это решение и необоснованно восстановил Стряпчева в партии, ограничившись объявлением ему строгого партийного взыскания. Не была дана принципиальная оценка случившемуся и в Саратовском обкоме КПСС, в частности была предпринята попытка увести Стряпчева от строгой партийной ответственности. Не оценено должным образом обстоятельство, что некоторые должностные лица оказывали давление на партийный комитет Саратовгэсстроя.

Рассмотрев материалы проведенной проверки, Комитет партийного контроля при ЦК КПСС отменил постановление Балаковского горкома КПСС по персональному делу Н. Л. Стряпчева как либеральное. За грубые нарушения партийной и государственной дисциплины, а также незаконное расходование государственных средств и материалов, обустройство внеплановых объектов, злоупотребление служебным положением в корыстных целях в бытность начальником управления Жилстрой Саратовгэсстроя Стряпчев исключен из членов КПСС.

Наказаны также должностные лица Саратовской области и Минэнерго СССР, допускаящие покровительство Н. Л. Стряпчеву в его противозаконных действиях.

Редколлегия «Строительной газеты» рассмотрела вопрос, связанный с опубликованием в газете статьи «Максаков против Стряпчева», автором которой является бывшая сотрудница редакции Н. Фомина. Редколлегия признала публикацию статьи неуместной, а саму статью тенденциозной, искажающей действительное положение дел в Саратовгэсстрое. Такое отношение автора к подготовке публикации для газеты квалифицировано редколлгией как грубое нарушение ею журналистской этики, как служебная недобросовестность. Редколлегия обратила внимание руководителей отделов редакции на необходимость строже контролировать итоги работы корреспондентов в командировках.

Органы прокуратуры ведут расследование по фактам злоупотреблений служебным положением, допущенным Н. Л. Стряпчевым.

КОРОТКО О КНИГАХ



ВАСИЛИЙ ЛЕБЕДЕВ. Посреди России. Повести и рассказы. М. «Советская Россия». 1982. 397 стр.

По возрасту Василию Лебедеву было бы еще рано подводить итоги своего пути. Он только вступил в пору творческой зрелости, но так случилось, что сборник «Посреди России» стал посмертной книгой автора, трех лет не дожившего до пятидесяти. И вот — одна из немногих итоговых книг людей не военной молодости, а самого раннего военного детства. Она еще раз повеждает нам о том, каким эхом отозвалась война в этом поколении, вроде бы войны и не видевшем.

Она обожгла их, маленьких мальчишек-полусирот из прифронтовых областей, не смертоносным дыханием, которым смелá их отцов и старших братьев, а горем и стонами матерей, жгучим голодом и мучкой совсем не детских забот.

Но она же, война, заложила в них и семена суровой трудовой морали и человечности, породившие позже пронзительное ощущение слитности с родной землей — чувство, которым наполнены повести и рассказы Лебедева. Во многом автобиографичен «Маков цвет» — повесть о мальчике-сироте, взятом на воспитание колхозницей Анисьей, неприметной тихой женщиной. У нее самой горя полон дом: муж убит на фронте, дочь — в блокадном Ленинграде, и кто знает, жива ли она, нет ли. Но есть в ней, как и в других родных ей по духу лебедевских героинях, та сила мужественной доброты, которая помогает пересилить и голод, и болезни, и немощ. Обласкала она Проньку, и ожил, отогрелся одичавший шестилетний парнишка, а с ним вместе и она сама. Поглядишь — вон сколько радостей в Анисьиной жизни: и валенки удалось ей для Проньки достать да еще и хлеб в придачу, и упала она хорошо — руку не сломала, и молоко обещают каждый день приносить в обмен на сено, с таким трудом на зиму заготовленное. Недаром образ ее выливается в емкий символ — «маков цвет», что «из травы и бурьяна пробился... и весело алеет над всем». Он светит и в других рассказах Ле-

бедева как символ неиссякаемой материнской любви, впитанного с детства трудолюбия и силы духа.

Неудачно сложилась жизнь Генки Архипова (повесть «Наследник»), и быть бы ему до седых волос не наследником, а нахлебником, не узнай он радости труда на родной земле. И в тюрьме парень отсидел пять лет, поплатившись за бездумное озорство, и невеста его замуж за другого вышла. Ничего-то не связывает Генку больше с родным домом — не связывает настолько, что дом этот собрался он поджечь и, получив страховку, податься в другие места. В этом трагичность его судьбы. Оборваны корни, и легкость бесшабашной жизни может привести его только к духовному омертвлению. Но «останься» говорит Генке не только мать. Весь дом со всеми своими зарубками, березовая аллея, посаженная еще дедом, куст, под которым дед его умер, — все это туго завязано в его памяти. И он чувствует всю правоту слов односельчанина: «Займешься делом — все худое с души вон».

Там, «посреди России», где трудом создается не только хлеб, но и характеры, находится Лебедев своих героинь — терпеливую и добрую старушку Анну Афанасьевну и вдову Федосью Ивановну, оставшуюся с семьей детьми. Особенность лебедевского дарования — в углубленном психологическом анализе таких вот исконно народных, глубинных характеров, которым и подчиняются обстоятельства — даже самые трагичные.

Иногда только у Лебедева бытовые подробности недостаточны «просеяны». Главное смешано со взрослеющим. Но в большинстве своих рассказов и повестей писатель тонко и точно раскрывает мироощущение человека, вместе с родной землей хлебнувшего немало лиха, сумевшего преодолеть трудности жизни и вынести из них сочувственное и доброе отношение к нелегким людским судьбам.

Е. Щеглова.

Ленинград.

Н. ЗЛОТНИКОВ. Единственный дом. Книга стихов. М. «Современник». 1981. 180 стр.

НАТАН ЗЛОТНИКОВ. Навяный охотник. Стихи. М. «Советский писатель». 1981. 96 стр.

НАТАН ЗЛОТНИКОВ. Стихи. День поэзии. М. «Советский писатель». 1982.

Поэтический мир Натана Злотникова мне, давнему его читателю, особенно близок. Ведь мой жизненный опыт во многом совпадает с опытом поэта. Одна эпоха глядела нам в глаза.

В стихотворении «Баллада» автор описывает бомбежку эшелона, во время которой погибает мальчишка — его сверстник. Строки «Баллады» проникнуты чувством неразрывной связи судьбы поэта с той трагически оборвавшейся жизнью: «Как мне взрослее его становиться? Книжку продолжить с открытой страницы, в нашу дорогу пуститься опять, младшему другу стихи сочинять?» Чувство, одухотворившее эти строки, выражено как бы от имени всех нас, кто оставил друзей там, за трагической чертой.

Ответственность памяти — сквозная тема у Н. Злотникова. Совсем не случайно вновь и вновь возвращается автор к годам детства в Киеве, пишет о родителях, жизнь которых была связана с прославленным заводом «Арсенал». Много картин и событий удержала память поэта. Он рассказывает о школьном дворе, который с первых же дней войны стал призывным пунктом, о проходах арсенальцев на войну, об острой мальчишечьей зависти к тем, кто уходил на фронт. Военные тяготы как бы уравнили, духовно сблизили людей самых разных поколений: «У нас одна судьба — завод. А каждый год войны — все год для мальчика и для мужчины». Недаром позднее старый арсеналец скажет: «Мы все родня».

Мысль о человеческом единении, о нерасторжимых узах товарищества — одна из самых любимых у Н. Злотникова. Размышляя о друзьях, автор восклицает: «...если их не убережешь, разрушатся и жизнь и речь!»

В своем стремлении уберечь поэт готов вступить в спор с быстротечным временем. Недаром он так привержен к эпитету «вечный»: «вечная вода», «вечная гора», «вечные солдаты», «вечные сограждане», «путь наш вечный»...

Вечное и современное связаны у поэта нерасторжимой связью... Надо сказать, что в стихах Натана Злотникова всегда бьется пульс современности.

При всей мягкости своего стиля поэт беспощаден к пошлости, своекорыстию, духовному примитивизму. Его лирический герой интеллигентен, отзывчив, готов поддержать человека в беде, но и тверд, неуступчив, если дело касается коренных его убеждений и принципов.

Черты этого характера легко обнаруживаются и в стихах, вошедших в подборки, опубликованные в прошлом году в «Дне поэзии» и «Неделе».

Воспитанный арсенальцами, а потом рабочими-литейщиками, поэт верен трудовым традициям, остро чувствует и точно воспроизводит меткую речь заводчан. На крещении повседневного и высокого поэтического слова в лирике Н. Злотникова возникает стилизованный сплав, где свободно взаимодействуют «ангелы забвенья» и «футеровка ковша», «воздух пророчества горний» и «охра кирпичца». Как найти нужное соотношение слов, как добиться языковой гармонии?.. Рождение поэтической речи — всегда тайна. Поэт Натан Злотников к ней причастен.

Смоленск.

Ю. Пашков.



Н. С. ПАВЛОВА. Типология немецкого романа. 1900—1945. М. «Наука». 1982. 277 стр.

В короткой рецензии не место рассуждать о причинах, но сам факт представляется неоспоримым: значительных книг наша германистика насчитывает единицы. Если без оговорок, то три-четыре работы, принадлежащие перу В. Жирмунского и Н. Берковского, — вот и весь золотой запас.

Тем отраднее появление книги Н. Павловой, подхватывающей эстафету. Эта книга фиксирует важные культурные тенденции нашего времени.

В ее название вынесено слово «типология», которым охотно пользовались и предшественники. Но у Жирмунского типология отдельных жанровых модификаций прежде всего вписывалась в социально-исторический контекст эпохи. Берковский преимущественно внимание уделял эстетическим аспектам литературы эпохи романтизма. Все эти аспекты улавливались сетью определений, сотканной из «измов». Читая этих литературоведов, мы поражались высоте взгляда и широте обобщений, но и чувствовали: из просторных ячеек «сети» ускользало слишком многое, золотая рыбка (сама художественность) пожалуй что и уходила..

Наше вдумчивое время жаждет предельного приближения, прикосновения к материалу. Тут нужны иные формулы и слова — совсем простые, может быть, но прочно сцепленные, нагруженные смыслом, соизмеримым с художественным. Нужна, одним словом, исследовательская проза.

Возникновение такой прозы о прозе подметил в 20-е годы, ссылаясь на Ф. Гундольфа и других, Томас Манн. У нас в те же годы художественно-критическую прозу писал В. Шкловский. В германистике к нему приблизился Н. Берковский. Зато в последние годы намечается настоящий расцвет и едва ли не преобладание такого литературно-научного письма — смотри статьи С. Аверинцева, А. Михайлова, А. Карельского, Д. Затонского и других.

И вот книга Н. Павловой. Что же нового во взгляде и результатах? Взгляд вплотную приближен к объекту исследования («художественная ткань»), и обнаружилась

жизненно и художественно важная вещь: борьба идет не только между реализмом, модернизмом, авангардизмом и т. д., но и внутри каждого «изма», где художники отстаивают свои творческие принципы в заочном, а иногда и очном споре друг с другом. В данном случае это Т. Манн, Г. Гессе, А. Дёблин, Г. Х. Янн, Г. Фаллада, Г. Манн, то есть крупнейшие имена в немецкой литературе первой половины XX века. Для них выводятся формулы, которые кому-то могут показаться неожиданными и случайными, не гладкими, но это негладкость жизненной правды. Чего стоит хотя бы такое метафорическое определение — «механизмы отталкивания, сцепления и трения у Дёблина», с помощью которого исследовательница характеризует и стиль писателя, и некую доминанту его художественного мира, вобравшего многие трагические черты XX века. Подобные формулы подбираются и для других персонажей исследования. Они условны, конечно, но по прочтении всех шести глав убеждаешься: вполне обоснованны, наполнены живым содержанием.

И еще одно важное качество демонстрирует автор — умение оценивать явления искусства в его истинных масштабах. Инерция сложившихся оценок держится в литературоведении прочно. Потесненные или отодвинутые истории литературы на задний план имена нередко продолжают фигурировать в наших работах как первостепенные. Здесь же, в книге Н. Павловой, взгляд на масштаб и уровень явлений точен, так что, к примеру, долго пребывавший в тени Г. Х. Янн включен в анализ, а иные из более известных у нас авторов оценены исследовательницей как писатели второго или третьего ряда.

Спорной мне представляется постоянно проводимая в книге идея жесткой детерминированности стиля, будто бы напрямую вытекающего из символа веры писателя и послужащего следующего за всеми его изменениями. Думается, связь между формой и содержанием сложнее и диалектичнее. Но это относится уже к смежной области — теории литературы, где в последнее время ведется активная разработка затронутой проблематики. Нам же важно отметить, что история зарубежной литературы XX века обогатилась талантливым и методологически перспективным исследованием.

Ю. Архипов.



РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ. Избранное. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1982. 263 стр.

С выходом в свет этой книги советский читатель впервые получил возможность составить целостное представление о творчестве выдающегося американского поэта Роберта Лоуэлла (1917—1977). В книге представлены все основные сборники Лоуэлла начиная с раннего «Замок лорда Уири» и кончая последним «День за днем», опубликованным незадолго до смерти поэта. От страницы к странице — тридцать лет жизни, тридцать лет непрерывного творческого поиска.

Перед нами как бы автобиография Лоуэлла в стихах, своеобразный литературный жанр, в котором вымысел, отбор, «магический кристалл» творчества играют не меньшую роль, чем в любом другом жанре, о чем поэт не раз предупреждал своих читателей да и критиков. Стихи Лоуэлла, где наши отражение его личные драмы, жизнь его семьи, вбирают в себя широкий контекст американской действительности, многострадальностью нитей связаны с жизнью эпохи. Вместе с тем автобиографичность Лоуэлла не означает самодовлеющей эмпирики. Взгляд поэта на свою индивидуальную судьбу высок и философичен.

Постепенно, пласт за пластом,
пчела возводит свой мавзолей,
круглый купол — весомое свидетельство
жизни творца, чье набальзамированное
тело вызывает: «Живи, мое творенье,
живи!»,
но уже на подходе стена медведь...
Этот открытый томик —
мой гроб открытый.

(«Перечитывая свои стихи»,
перевод А. Ибрагимова)

Роберт Лоуэлл — человек и гражданин — прошел сложный путь: от богоискательства 40-х годов к активному и осознанному участию в демократических общественных движениях 60—70-х. Поэт сам охарактеризовал магистральное направление своего творческого поиска как «решительный прорыв к действительности». Совершить такой прорыв поэту помогло обостренное чувство истории. В США многие критики называют Лоуэлла «лучшим американским историком», и это заслуженная похвала. Стремление во всем дойти до самой сути, проследить истоки национального характера, выявить историческую основу духовных ценностей никогда не оставляло Лоуэлла, пронизывая собой весь его поэтический мир. Благодаря этому поэзия Лоуэлла приобрела масштабность, весомость, действительность. Не оставался Лоуэлл в стороне от борьбы прогрессивных сил своей страны. В 1967-м он читал стихотворение «Пробуждение воскресным утром» участникам марша протеста против войны во Вьетнаме:

Помилуйте землю! Одно страдание
на этом излюбленном нами вулкане;
мир детям, повергнутым рукой
то одной войны, то другой...

(Перевод В. Орла)

В 1974-м первый окружной апелляционный суд США поддерживает решение местного суда о десегрегации школ в Бостоне, ссылаясь при этом в качестве аргумента на стихотворение Лоуэлла «Павшим за Союз», посвященное борцам против рабства, героям Гражданской войны в Америке, командиру первого негритянского полка полковнику Шоу, погибшему вместе со своими солдатами. Роберт Лоуэлл был в своей жизни удостоен многих литературных наград, но что может быть художнику дороже признания общественной действительности его произведений!

Поэзия Лоуэлла — это и еще одно свидетельство того факта, что в подлинном искусстве значительность содержания слита воедино с поиском высокой художественной формы. Лоуэлл, усвоив богатые традиции англоязычной поэзии, не боялся экс-

периментировать, когда того требовала художественная необходимость.

Задачу переводчиков, подготовивших рецензируемую книгу, простой не назовешь. Справились они с нею успешно, и наш читатель теперь имеет возможность полнее познакомиться с творчеством крупнейшего послевоенного поэта США. В этом ему помогут вступительная статья, написанная составителем сборника А. Зверевым, и комментарии А. Парина.

Марина Кизима.



НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОРОЗОВ, УЧЕНЫЙ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТ. М. «Наука». 1982. 264 стр.

В начале века редактор английского журнала «Кемикэл ньюс» («Новости химии») Вильям Крукс получил из России мемуар о предполагаемом превращении химических элементов. Спустя некоторое время Крукс ответил своему корреспонденту с традиционной британской вежливостью: «Дорогой сэръ! Я получил Вашу статью, но, к сожалению, я не думаю, что она подходит для опубликования в «Кемикэл ньюс». В настоящее время нет никаких экспериментальных доказательств, подтверждающих эту гипотезу».

Нам как будто не в чем упрекнуть сурового редактора. На его часах был 1907 год, и ни Крукс, ни кто-либо другой тогда не мог знать, что физика XX столетия сделает реальностью вековую мечту б философов. И все же Крукс ошибался, полагая, что перед ним всего-навсего послание прожектера, — перед ним «с вервием на вые» стоял российский пророк. Имя пророка было Николай Александрович Морозов.

Мы хорошо знаем Николая Морозова — члена Исполнительного комитета «Народной воли». Морозов же ученый, как следует и из рецензируемой книги, по сути впервые осветившей для широкого читателя его жизнь в науке, совершенно незаслуженно оказался заслоненным Морозовым-революционером, героическим узником Шлиссельбурга. А между тем такой ученый был! Был несмотря на то, что авторитетный журнал отверг его рукопись, был несмотря на то, что его научная деятельность опиралась скорее на силу воображения, чем на экспериментальные доказательства (да и нелепо требовать их от человека, почти четверть века прошедшего в одиночном заключении).

Бесспорно, Николай Морозов — об этом свидетельствуют его сочинения и его биография — был мечтателем. Но его тюремная мечта поражает своим невероятным внутренним напряжением и поистине космическим размахом. «Я сидел не в Шлиссельбурге — во Вселенной!» — сказал он о себе, и эти гордые слова с удивительной ясностью раскрывают перед нами духовный мир выдающегося человека.

Для поколения Базарова и Рахметова, Ковалевской и Кибальчича, Морозова и Желябова наука была больше чем меч-

той — была верой, определявшей их социальное поведение, рождавшей надежду на лучшее устройство мира, от которой они не могли, не смели и не хотели отречься. Эта еретическая вера поддерживала их дух в Алексеевском равелине, делала людьми благородными, неподкупными и стойкими — такими, какими их запомнила российская история.

Революция 1905 года освободила Николая Морозова из заточения. Обладая невероятной жизненной энергией, он до самой своей смерти в 1946 году продолжал трудиться в науке: выпускал новые сочинения в самых различных областях знаний — от астрономии до истории религий, участвовал в создании научных учреждений и руководстве ими, надеялся приложить свои силы к новейшей физике атомного ядра... И почти век спустя, вникая в научные идеи Морозова, читая тяжеловесные обороты его сочинений, вдруг живо ощущаешь необыкновенную цельность замечательного человека, словом и делом своим утвердившего в истории образ русской науки, рвущейся к звездам из Шлиссельбурга.

А. Попов.

Новосибирск.



СТАНИСЛАВ СТАРИКОВИЧ. Зверинец у крыльца. М. «Советская Россия». 1982. 235 стр.

Социологи, психологи, книговеды так объясняют феномен бурного роста читательского интереса к сочинениям о животных. Урбанизация, ритм современной городской жизни, оторванность от природы — все это пробуждает у людей неудержимую тягу к живому.

Но вот что странно. В книгах, фильмах и телепередачах о животных, которыми так увлечен ныне горожанин, речь идет главным образом об экзотическом — о заморских существах, рассчитывать на встречу с которыми мы можем разве что в зоопарках. Мы гуляем с Шариком, а читаем о кенгуру и утконосе, гладим Мурку, а смотрим фильмы о слонах и носорогах, закидываем удочку, чтобы вытянуть окуня или плотву, а нам предлагают познакомиться с акулой или пиранией. Пожалуй, наш читатель больше осведомлен об интимных сторонах жизни львов и бегемотов, чем о повадках обитателей среднерусского леса. Но не надо думать, что животные-синантропы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни и которые, по мнению ряда специалистов, могут стать основой животного мира будущего, оказались вне поля зрения исследователей. Зоологи, этологи, орнитологи, охотоведы изучают фауну наших лесов, городов и сел, пишут в научные журналы статьи о физиологии и поведении белки и лягушки, сороки и тетерева, есть монографии о зайце, волке, копытных. Только популяризаторы что-то не спешат перевести все эти интересные работы с научного языка на литературный.

Автор «Зверинца у крыльца» С. Старикович взялся за такой труд и выстроил перед

читателем просторные очерки-вольеры, в которые поселил знакомых, но, в сущности, малоизвестных нам животных. И прогулка по этому зверинцу оказалась не менее, а может быть, более интересной, чем книжное путешествие в африканскую саванну или джунгли Амазонки.

Разве не любопытно, к примеру, узнать, сколько среди кошек левшей и правшей, да еще со ссылкой на такой авторитет, как «Журнал высшей нервной деятельности»? Или о том, почему лось, способный на суточный марш в десятки километров, может часами простоять по брюхо в болоте. О предприимчивой вороне, которая выстроила себе гнездо из позолоченных оправ для очков,— это не сказка, а быль. О преданности человеку собак, а заодно и о физико-хими-

ческих механизмах их тончайшего обоняния, о недавно открытом у них цветном зрении.

Однако при всей своей информационной насыщенности «Зверинец у крыльца» вовсе не энциклопедия, а добрый и умный рассказ о нашей Земле и ее обитателях, в котором автор, выступая посредником между наукой и массовым читателем, не скрывает симпатий к своим героям, хотя и сохраняет при этом научную объективность. Он, например, не останавливается перед тем, чтобы отказаться от привычного всем образа ежа — благородного рыцаря сказки. Оказывается, «рыцарь» не очень добр и весьма эгоистичен. Жаль, конечно, утраченных иллюзий, но истина, как говорится, дороже...

Михаил Кривич.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения. В 3-х тт. Т. 1. 635 стр. Цена 1 р. 10 к.
К. Черненко. Утверждать ленинский стиль в партийной работе. 574 стр. Цена 1 р. 20 к.
А. Абрамов. У Кремлевской стены. Изд. 5-е, дополненное. 387 стр. Цена 1 р. 40 к.
Г. Александров. Эпоха и кино. Изд. 2-е, дополненное. 336 стр. Цена 85 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Г. Балл. Болевые точки. Роман. 368 стр. Цена 1 р. 50 к.
В. Маканин. Предтеча. Повести. 224 стр. Цена 85 к.
Т. Чиладзе. Повести. Перевод с грузинского. 416 стр. Цена 1 р. 80 к.
С. Чупринин. Крупным планом. Поэзия наших дней: проблемы и характеристики 287 стр. Цена 85 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Бедный. Избранное. Стихи, басни, поэмы. 463 стр. Цена 2 р. 10 к.
Р. Гомес де ла Серна. Избранное. Перевод с испанского. 383 стр. Цена 2 р. 20 к.
Л. Пиранделло. Избранная проза. В 2-х тт. Перевод с итальянского. Т. 1. Новеллы. Роман. 374 стр. Цена 1 р. 90 к. Т. 2. Новеллы. Роман. 479 стр. Цена 2 р. 40 к.
В. Фирсов. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Стихотворения. 527 стр. Цена 2 р. 30 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Л. Жуховицкий. Витязь на распутье. Публицистический сборник. 206 стр. Цена 35 к.
Р. Киреев. Подготовительная тетрадь. Роман. 255 стр. Цена 70 к.
В. Крупин. Кольцо забот. Рассказы. Очерки. 255 стр. Цена 45 к.
Подвиг. Альманах. Вып. 23. 192 стр. Цена 1 р. 20 к.
Н. Старшинов. Река любви. Стихи. 191 стр. Цена 1 р.

«СОВРЕМЕННОИ»

М. Колосов. Родная окраина. Повести и рассказы. 463 стр. Цена 2 р.
Д. Кугультинов. Трудное поле жизни. Стихи и поэмы. Перевод с калмыцкого. 383 стр. Цена 5 р. 70 к.
В. Сапожников. Тяга земли. Повести. 448 стр. Цена 2 р.
А. Ткаченко. Люди у океана. Повести. 542 стр. Цена 2 р. 20 к.

ВОЕНИЗДАТ

Р. Игнатов. Большой жребий. Роман. Перевод с болгарского. 334 стр. Цена 2 р. 40 к.
Б. Орлов. Гранитный Север. Стихи. 30 стр. Цена 10 к.
Солдатские письма. Повести, рассказы. Перевод с венгерского. 413 стр. Цена 2 р. 80 к.
К. Циммерман. Таинственная незнакомка. Роман. Перевод с немецкого. 208 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Красный прекрасный цветок. Стихи венгерских поэтов Закарпатья. Пересказал Р. Заславский. 47 стр. Цена 45 к.
А. Лиханов. Мой генерал. Роман для детей. 173 стр. Цена 50 к.
С. Михалков. Праздник Непослушания. Повесть-сказка. 79 стр. Цена 1 р. 60 к.
И. Мотышов. Радий Погодин. Очерк творчества. 160 стр. Цена 75 к.
Л. Руднева. Последние листригоны. Роман. 254 стр. Цена 55 к.
Сказки друзей. Сказки народов социалистических стран. Переводы. 240 стр. Цена 3 р.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

И. Анулов. Крещение. Роман. 575 стр. Цена 2 р. 60 к.
А. Дунаевский. Иду за Гашеком. Изд. 4-е, дополненное. 256 стр. Цена 65 к.
В. Липатов. Дом на берегу. Очерки. 238 стр. Цена 65 к.
П. Мисанов. Королева долины. Повести и рассказы. Перевод с кабардинского. 160 стр. Цена 1 р.
В. Павлинов. Испытание на прочность. Стихотворения и поэмы 128 стр. Цена 55 к.

«РАДУГА»

Из современной афганской поэзии. Переводы с пушту и дари. 174 стр. Цена 1 р. 10 к.
М. Стюарт. Полюе холмы. Роман. Перевод с английского. 424 стр. Цена 2 р. 50 к.
Д. Элинджер. Над пропастью во ржи. Выше стропила, плотники. Повести. Рассказы.
К. Воннегут. Колыбель для кошки. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. Романы. Перевод с английского. 764 стр. Цена 4 р. 40 к.
Т. Уайлдер. Мост короля Людовика Святого. Повесть. Мартовские иды. День восьмой. Романы. Перевод с английского. 704 стр. Цена 4 р. 20 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Муддагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 10806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29

Сдано в набор 25.05.83 г. Подписано к печати 20.07.83 г. А 04125.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.печ. л.)
27,82 уч.-изд. л. Тираж 363.000 экз. (1-й завод 1—183.000 экз.) Зак. 1862

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1983, № 8, 1—272.